Абгосиздат
Сухум 2011

ЭТЕРИ БАСАРИЯ

СОБРАНИЕ

В 2-х томах

Абгосиздат
Сухум 2011

ЭТЕРИ БАСАРИЯ

СОБРАНИЕ

Том первый

Роман
Повести

Абгосиздат
Сухум 2011

ББК 84 (5Абх) 6-4
Б 27

Басария, Э.Ф.
Б 27 **Собрание.** В 2-х томах. Том первый. Роман, повести.
Абгосиздат. Сухум, 2011. – 560 с.

В 1-й том «Собрания» известной абхазской писательницы Этери Басария вошли роман «Взгляд поверх ворот, выходящих на луг», посвященный жизни и судьбе абхазской женщины на протяжении нескольких десятилетий трагического 20-го века, и разнообразные по тематике повести из современной жизни.

ББК 84 (5Абх) 6-4

© Басария Э., 2011
© Абгосиздат, 2011

ВЗГЛЯД ПОВЕРХ ВОРОТ, ВЫХОДЯЩИХ НА ЛУГ

Роман

Я расскажу вам историю долгой жизни Мадины, расскажу так, как однажды прошлое вспомнилось ей, когда она сидела на веранде среди мешков и алюминиевых мисок и просеивала кукурузную муку на месяц вперед, будто кроме нее некому было этим заняться. А ведь невестка уговаривала не утруждаться, обещала сама справиться до приезда гостя со всей работой. Стоял летний день. Солнечный, безветренный. Для всех обычный, но для Мадины отмеченный ожиданием. Сегодня Янис откроет новые, сваренные из металла ворота, – понравятся ли они ему? – и ступит на выщипанную телятами, выжженную зноем жухлую траву двора. Последний раз он был здесь пять лет тому назад. Ровно столько лет она не углублялась в свое прошлое, мысленно вышивая запавшими в память подробностями канву своей жизни. И не потому, что времени не хватало для обстоятельных воспоминаний, его-то как раз было вдоволь. Да только без особой нужды не выдвигают даже ящик комода, где хранятся старые платья или пожелтевшие письма... Но сегодня приедет Янис. А когда Мадина ждала Яниса, то получалось так, будто он наперед вместе с телеграммой на имя ее внука высылал и ключ, отпиравший дверь в прошлое…

Мадина просеивала муку, как время просеивала. Сито опустошалось, она наполняла его вновь горкой муки. Вкус у каждой горки был разный…

Себя, юную, шестнадцатилетнюю, Мадина вспоминала с горечью. Невзрачной она выглядела, как плод яблоньки-дичка, особенно рядом с Сончкой, приметной наподобие прекрасной птицы, невесть откуда залетевшей в глухой лесок и приземлившейся на миг – не дольше! – на прогалинку.

Мадина стыдилась своей худобы и смуглой кожи, а больше – серых удлиненных глаз. У всех вокруг черные да карие глаза, на худой конец – голубые, а у нее – серые, как камушки в неприметной лесной речушке. Себя стыдилась, а Сончкой гордилась – та в неполных семнадцать лет уже слыла красавицей. Высокая, длиннобровая, кожа белым-бела, боязно даже прикоснуться, как бы отметину на белизне не оставить, а кудрявые каштановые волосы даже в косе, как бы туго она ее не заплетала, сохраняли свою пышность и мягкость, во всяком случае, на взгляд. Зато характер у Сончки был бойкий и безоглядный. Мать только и знала, что остерегала дочь: «Запомни, девушка не красотой берет – скромностью. У худой молвы дорога коротка. Люди думают: невеста, глядят, как на взрослую, а у тебя ума – кот наплакал!» Сончка же: «Пусть попробуют меня обидеть!» – «На братьев рассчитываешь, на их защиту! – досадовала мать. – А того не понимаешь, что и на них беду можешь навлечь!»

Отец Сончки торговал с турками, продавал табак. Взамен получал не только деньги, турки могли по сходной цене и ситец привезти, и шерсть, а то кожаную обувь для всей семьи. Удача шла об руку с отцом Сончки, везло ему с купцами, с табачной плантацией, а больше всего – с сыновьями. У Сончки – трое братьев. И каких! Здоровые, ладные, работники один к одному. Какое это было завораживающее зрелище, когда Сончка выезжала со двора на каурой лошадке, свесив на одну сторону ноги в нарядных башмачках на пуговичках, сжав губы, наверное, чтобы не выпускать наружу, как шального щенка, беспричинный смех. Перед Сончкой

на вороном коне ехал старший брат, позади средний. Иногда его место занимал младший из братьев Еуган.

А Мадина смотрела со стороны – наглядеться не могла, прямо как в песне – братья и птице не дадут пролететь над сестрой. Мадина росла одна, ей в песню было не попасть. Сама Сончка не больно дорожила своей защищенностью – прибежит к Мадине и давай уговаривать, давай, мол, удерем в лес вдвоем, пока нас не хватились, там земляника поспела. Жили, считай, в лесу, выйдешь за ограду, да пройдешь немного – вот тебе и лес. Случись что, крикнешь, и помощь из дома мигом подоспеет. Но в том-то и дело, что доброй девушке не пристало, стоя в лесу голосить о помощи, ей там и делать нечего. Но так считала Мадина, не Сончка. Ту запреты лишь подзадоривали. А стоило увлечь за собой подругу в лес, как сразу начинала страхов нагонять: мол, турки раньше выкрадывали детей и подростков и увозили за море: девушек в гаремы, мальчиков в мамлюки. Да еще крест с шеи сорвут, вмиг в мусульманство обратят, не спросят: согласна – не согласна.

– Будь же ты мусульманкой, ни один турок не тронул бы тебя, если по правде, – блестя большими карими глазами уверяла Сончка. – Теперь же ты только в лес, он за деревом стоит, выжидает, зазеваешься – и рта раскрыть не даст, сразу в мешок запихнет да на вонючую свою флику…

– Это еще за напасть такая? – пугалась Мадина.

Она догадывалась: подруга нарочно стращает, над робостью ее смеется, но отлучаться из дому, никому ничего не сказав, не любила. И не столько потому, что опасалась нападения неведомых разбойников, а чтобы не выслушивать лишний раз наставления матери. Отец-то смолчал бы…

Мадину с Сончкой связывало не кровное родство, просто жили неподалеку и расстояние между дворами и взрослые и дети старались не удлинять зряшными обидами. Отец Мадины часто напоминал: путь, который для горевестника кажется нескончаемым, вестник радости одолеет не заметив. Сончка была чуть постарше соседки, меньше, чем на

год. Мадина знала ее с тех пор, как только узнавать и запоминать стало доступно детскому уму. Она вобрала ее в себя одновременно с родным домом и двором, тропой, узким в одно бревнышко мостиком через ручеек и высоким перелазом, по сторонам которого поднимались заросли ежевики – зазеваешься, и обязательно колючка вцепится в подол. За перелазом – табачная плантация Сончкиного отца, а сбоку проложена дорожка, по которой можно быстро пробежать и оказаться у боковой калитки во двор соседей. А там кроме родителей подруги еще и старшие ее братья, которые походя могли добрым словом приласкать Мадину, а сестру поддеть шуткой, изо всех сил скрывая, что души в ней не чают.

Однажды, когда Мадина мучилась в своей комнате над вышивкой – не слишком у нее это получалось, как и игра на ачамгуре, но сдаваться она не хотела – прибежала оживленная Сончка – распахнула настежь обе створки окна, словно дышать было нечем, отбросила в сторону разноцветные нитки, свой же подарок, дернула за край полотна:

– Оставь! Зимой будешь вышивать – скуку развеивать. Правда, мы и зиму перехитрили – нашли себе занятие. Плотник грамоте учит и русскому языку.

– Уж он научит, горемыка, – фыркнула Мадина, подражая матери. – За душой ни гроша, своего угла и того нет, у бездомного!

– Чтобы грамоте научить, не дом требуется, а голова! – растолковала Сончка немного свысока. – А захоти наш плотник, так он сам себе построит дом! И кому хочешь может построить! Да что там дом, он маме моей такой подвесной шкафчик для хранения копченого сыра, сработал – просто загляденье! С резной дверцей, с боками во всяких там украшениях! Главное же, человек никогда таких шкафчиков не видел, всей семьей еле-еле втолковали, что нужно, а получилось – лучше не бывает!

Прошлой осенью отец Сончки приютил заезжего человека, хотя старшина не советовал. «Язык у чужака длинный, нехороший, – уверял старшина. – Потому и не ужился на

родной стороне. И мысли у него плохие, вредные». – «Что мне язык? – отшучивался отец Сончки. – Мне куда важнее его руки». И тут он не просчитался. Плотник и впрямь оказался мастер хоть куда. Сам старшина крепился, крепился, да заказал ему стол, хотя и уверял, что, если начальство в уезде прослышит, что он дал работу чужаку, ему несдобровать. Стол с овальной столешницей получился замечательный. Старшина, рискуя своей работой, еще стулья к столу попросил изготовить. По правде говоря, Мадине тоже хотелось выучиться грамоте и еще как. Хоть у плотника, хоть у его дедушки, лишь бы выучиться. Да только мать воспротивилась, мол, незачем соседям досаждать каждый вечер, а потом еще и кому-то ведь провожать домой придется.

– Никаких хлопот с девочкой не будет, мне Мадина, как дочка, и Сончка любит ее, наверное, больше собственных братьев, – уверяла соседка. – Да толку от затеи этого бродяги немного. Какая там грамота! Будь от него польза, здесь бы не терся, пожалели мы его, даже бродячих собак люди прикармливают, дали кров. Выгоды не искали.

Но это она пустое говорила. Сончка уже умела и читать, и писать. Да как красиво. Еще похвалялась, что чужак уверяет, что она в ученье опережает своих братьев и такие как она должны ходить в настоящую школу. Только не сказал, где в лесу-то найти настоящую школу.

Мадина вот подчинилась матери, корпела над вышиванием, а Сончка сердилась, что подруга не потянулась за ней, вдвоем-то учиться было бы еще занятнее и, наверняка, и в учебе Сончка опережала бы не только братьев, но и подружку.

– Хватит нам в твоей комнате зевать от скуки, давай до леса прогуляемся, пока твоя мама одеяло стегает, там сейчас все в цвету, и ранняя земляника наверняка поспела!

Как не отнекивалась Мадина, подруга уговорила пойти с ней, на своем она всегда умела настоять. В лесу Сончка вновь поминала немирных турков и с любопытством поглядывала

на толстые стволы деревьев – а не прячется ли за ними кто-нибудь? Мадина подумала, что выскочи из-за дерева человек с самыми ужасными намерениями, Сончка не испугается. Считает, наверное, если беда нагрянет, достаточно отвернуться, как только страшно станет глядеть ей в глаза. Или Сончке никогда не бывает страшно?

– Хочешь, поиграем в прятки? Помнишь, как однажды тебя Еуган раньше всех нашел, а притворился, что не заметил – знал, что не любишь водить.

– Мы, что дети малые, в прятки играть? – рассердилась Мадина, задетая тем, что подруга вспомнила ту давнюю историю с Еуганом, из-за которой старшие братья долго подтрунивали над ним, мол, играет он нечестно – одних прикрывает, а других водить заставляет. – Пошли лучше домой, пока мама не хватилась.

Она решительно вышла на просеку.

– Не хочешь в прятки, давай землянику соберем!

Подруга не отозвалась, и ничего не оставалось, как последовать за ней. Тут они услышали топот копыт, и не успела Сончка подбежать к Мадине и взять ее за руку, как навстречу им выехал всадник, но – пронесло, слава Тебе, Господи! – не турок, хотя чудно разодетый, с золотыми штуковинами на плечах, блестящими пуговицами, словом, весь блестящий. Даже сукно, из которого была сшита его одежда, казалось, блестело в солнечных лучах. Он осадил коня. Бока гнедого под ним лоснились. Всадник с небрежной усмешкой оглядел девушек и слегка повернул голову в сторону спутника, появившегося следом. Тот был одет в привычную одежду – черкеска, архалук, на голове – ловко завязанный башлык. Натянув поводья, он спрыгнул наземь. Его конь выглядел поплоше, но тоже не последних кровей. Накинув поводья на луку седла, он подошел к девушкам и сдержанно поздоровался. Его узкое лицо с неожиданно прямым носом и небольшим ртом, – над верхней губой усов почему-то не было! – выглядело замкнутым. Но чужаком он не был. Глядя на него, Мадина поуспокоилась. Второй из этих двоих, похоже,

происходил из такого рода, который не счел бы для себя зазорным знаться с ее родней. Она была слишком молода, чтобы осознать, почему так решила, но в повадках незнакомца, даже в том, как провел ладонью по холке коня прежде, чем отойти от него, проглядывало что-то знакомое, подмеченное, быть может, у братьев Сончки или у кого-то из молодых родичей, посещавших отчий дом. А другой всадник и обличьем и непонятным выражением на лице – не гневом нет, а чем-то иным то ли всезнающим, то ли всем пренебрегающим! – внушал страх. Его, верно, ничем нельзя было пронять и удивить. Как знать, он, возможно, только усмехнулся бы и уж точно не подумал бы спешиться, приветствуя, если бы навстречу ему выехал сам Нарт Сасрыкуа на сказочном коне Бзоу.

Или он наверняка знал, где кого можно встретить?

– Широколапые совсем ополоумели! – небрежно обронил он, обращаясь к своему спутнику, стоявшему меж ним и девушками, точно посредник. – Куда своих босоногих без присмотра отпускают. Опрокинь кого-нибудь из девок на поляне – за кинжалы схватятся, и ума не хватит разобраться, на кого дозволено руку поднимать. Ну и времечко нам выпало!

Узколицый промолчал, только сердито – именно сердито, а не презрительно – глянул на девушек.

– Спроси-ка, чья она дочь, – велел всадник в чудной одежде и подбородком указал на Мадину.

Ее одинаково поразило и то, что он не напрямую обратился к ней, будто говорил на чужом, непонятном языке, и то, что выделил ее, а не Сончку. Видать в пренебрежении своем он зашел слишком далеко, если поинтересовался худшей из девушек.

– Нам какое дело, чья она дочь? – буркнул молодой человек в черкеске.

– Никак затрудняю тебя просьбой, Шартын?! – усмехнулся всадник, но против ожидания Мадины не вспылил.

Такому ведь слова поперек не скажи! Или его забавляло, когда перечили по пустякам?

– Чья дочь будешь? – уже к самой Мадине обратился всадник, и, вытянув руку, кончиком плетки коснулся ее плеча, словно пробуждая от спячки.

Она не ответила. Не столько потому, что во рту пересохло от волнения. Невозможно было, без гибельных последствий для себя с ним заговорить, как и со злым лесным духом.

– Зачем вам знать, чья она дочь? Породниться хотите? – дерзко спросила Сончка. – Можете взять меня в посредницы! Только вот прошлогодним снегом она не интересуется. Если он даже залежался на вершине горы!

– Смотри ты!

У всадника на лице отразилось не то, чтобы удивление – разве можно удивить того, кто все наперед знает? – но нечто сродни любопытству. Сончке, судя по всему, это пришлось по душе. Но Мадина подумала: зря подруга затеяла разговор с незнакомцем, пусть и говорит она дерзко, находчиво, так, как самой Мадине никогда бы не удалось, все равно зря…

Она ущипнула подругу за руку и когда та мельком глянула на нее, взглядом позвала за собой и, вскинув голову скорее со страха, чем из гордости, пошла прочь, цепляя подолом колючки с обочины.

– Стой! – окликнул всадник. – Я тебя не отпускал!

Но не было над ней его власти. Она ведь слова ему не сказала!

– Держи ее, Шартын!

Мадина свернула с просеки, кинулась бежать по лесу, не разбирая дороги.

– Арика-а-а! – точно подбадривая свору на охоте, крикнул всадник, смеха ради, наверное.

Она еще услышала звонкий голос Сончки.

– Недостойно себя говоришь!

А разве она знала всадника? Разве о чести его и уме была наслышана? Сончка, наверное, упивалась своей отвагой. Гроша ломаного не стоила эта отвага, а она упивалась.

Мадина остановилась под дубом перевести дыхание, и здесь ее нагнал Шартын. С ним-то можно было заговорить без опаски.

– Пес! – выкрикнула Мадина. – Тебя науськивают, ты бежишь!

– Напрасно испугалась, – мягко проговорил он. – Никто не думал вас обидеть.

Она прямо посмотрела в его глаза под припухлыми веками – в печальные глаза, будто неведомая болезнь, от которой спасения не предвиделось, подтачивало его изнутри и это отражалось во взгляде прощальном и прощающем.

– Не со зла он, – добавил Шартын погодя и кивнул в сторону просеки, где остались его спутник и Сончка. – Душа болит, заговорить ее пытается.

– У злого духа и вовсе нет души! – вырвалось у Мадины.

– Я думал, только твоя подруга такая скорая.

Она не нашлась что ответить.

– Иди домой, и дерзкую подругу прихвати с собой, зря она старается.

Он пошел назад, неслышно ступая длинными ногами в мягких облегающих икры сапогах.

Мадина неожиданно подумала, что у нее мог бы быть такой брат – не вспыльчивый, зато надежный защитник. Отчего-то подступили слезы. Она стояла, борясь с ними, когда подбежала оживленная Сончка.

– Что с тобой? Никак молодец укусил?! – затормошила она Мадину. – Почему ты не призналась, чья ты дочь? Или рассчитывала: смолчишь – за княжну примут?

Мадина молча отстранила ее и уже не просекой, а по глухой тропе направилась к дому. Сончка шла следом и корила:

– И со мной решила рот на замке держать? Или онемела в одночасье? Нехороший у тебя нрав, нет, нехороший!

Но долго сердиться она не умела, через минуту весело сообщила:

– Я осадила офицера как следует! Надолго запомнит. Он меня яблочком назвал. Но, видите ли, он яблочек не любит,

особенно лесных, мнящих себя садовыми. Но я не растерялась. «Яблочки не по нраву? Так может лишайники сгодятся? Вон, сколько их на пнях! Угощайтесь, господин офицер!»

– Какой еще офицер?

– А, по-твоему, кто он такой? Ты, что, погоны не разглядела, одежку? Он офицер, у русских служит. Выходит, хорошего роду. Других офицерами в русскую армию не берут. А я говорила с ним как с пастухом Плешивого Шоудада. И – ничего, стерпел, да обрить его матери голову! У русских, говорят, сейчас такое стряслось, не только офицеры, сам царь не понадобился. Уходи, сказали, не позорь наш род, отправляйся, куда глаза глядят. И поделом. Бесчестный он.

– Откуда ты знаешь? – поразилась Мадина. – Бесчестный – не бесчестный, он, что, с твоим отцом табак в Трапезунд возил?

– Тебе и не снилось всего, что я знаю! Офицеры теперь русским совсем-совсем не нужны, солдаты – куда ни шло, а офицерам – от ворот поворот! Говорят, вся Аква ими кишмя кишит.

– Говорят, – кивнула Мадина, хотя впервые о том слышала, но нельзя же выглядеть и вовсе недотепой только потому, что нет братьев, которые приносят в дом разные новости, словно пропахшие конским потом камчи. – Говорят, но ни ты, ни я этого не видели.

– Да тебя один офицер и тот в бегство обратил. Куда тебе многих видеть, со страху поседеешь!

– Тот, в черкеске, кого Шаратыном кличут, он бесчестия себе не позволит, – сказала Мадина.

– Успел уже нашептать? Скоро у него получилось! – засмеялась Сончка. – А ведь он всего лишь стремя офицеру держит.

Потом всю дорогу Сончка дразнила подругу Шартыном, пока не достигла своего. Мадина горько пожалела о том, что она никогда больше не увидит Шартына и не узнает, как он выглядит, когда улыбается или пляшет на чьей-то свадьбе. Еще она хотела знать, как наедине разговаривает с Шарты-

ном всезнайка-офицер, отметивший ее недобрым своим вниманием.

Но они встретились вновь. Правда, два года спустя. В доме тетки Мадины. Та жила со своим мужем Кьясоу на побережье. Детей у нее не было и никто из родичей не жил поблизости, потому-то отец Мадины и пообещал ей, что на лето, на два месяца, привезет дочь, чтобы та подсобила по хозяйству. Да и самой девушке, считал отец, не помешает подышать морским воздухом.

Узнав о поездке, Мадина вовсе не обрадовалась, но виду не подала и только с Сончкой поделилась своим огорчением.

– Дома – тесно, а там – простор! – сказала на это Сончка, будто подругу отправляли на скаковое поле, а не в обычный и не такой уж просторный дом родичей. – Еще там – море!

– А что море? – удивилась Мадина. – Ведь морской водой даже волосы промыть нельзя?

– По-моему ты глупая! – засмеялась Сончка. – Не видишь разницы между морем и бочкой с дождевой водой! Да я на твоем месте плясала бы от радости!

Тетка встретила Мадину приветливо, но не как родную, а как гостью, которую она из-за нездоровья не может обиходить как должно. Сокрушаясь, что болезнь подмяла ее под себя, тетка не забывала перечислить все работы по дому, которых надо было переделать. И столько всего набралось, сколько и злая мачеха из сказки не задавала своей падчерице. Но у падчерицы была подмога – корова, в чьем ухе она находила готовую работу в награду за свою доброту. Мадине же – то ли она была недостаточно добра, то ли волшебные коровы перевелись – приходилось самой справляться со всеми делами. Случались, конечно, и оплошности. Так, однажды, она оставила хозяина дома без ужина. Мадина поставила ему еду на стол, и понесла поесть тетке, лежавшей на постели в своей комнате, а дверь в амацурту – кухню – забыла прикрыть. Прежде хозяина там побывали собаки и все успели сожрать со стола. Но добряк Кьясоу не рассердился,

не дал заново приготовить ужин, съел что-то всухомятку и мягко подтрунивал над Мадиной, что она заслужила вечную преданность собак за знатный ужин, а вечная преданность кое-чего стоит. Мадина от смущения и признательности, что он все обернул в шутку, не знала, куда себя девать. Позже ей удалось убедиться, что Кьясоу не терял невозмутимости и тогда, когда происходили куда более серьезные события. Об его сдержанном достоинстве, равно как и гостеприимстве, наверное, был осведомлен и Шартын, однажды под вечер спешившийся у него во дворе. Шартын был не один. Давнишний его спутник был с ним. Правда, теперь и он был одет в черкеску и голову обвязал башлыком.

Шартын за минувшее время мало изменился, разве что лицо стало строже, а печаль в глазах – глубже. Мадина сразу узнала его. Хотя и не догадывалась, что пригнало его в этот дом, как глянула на него, так сердце сжалось от жалости. Между тем Шартын жалким не выглядел…

А его спутник – теперь Мадина услышала его имя: Тараш – как бы усох, победительной стати в нем поубавилось – или так показалось из-за того, что он сменил одежду? А вот выражение лица оставалось прежним – себе цену знающим и смотрел он по-прежнему бесстрашно и заносчиво. Он мельком глянул на Мадину – а у нее мурашки по коже! – и не узнал ее. Зато Шартын узнал. Она это поняла, когда, встретившись с ней взглядом, он удивленно поднял брови, не ожидал, мол, здесь встретить и едва приметно улыбнулся, не давая своему сумрачному лицу озариться радостью.

Гостей пригласили в гостевую комнату в доме на сваях, но они предпочли пройти в амацурту, где был разложен огонь в очаге, а над огнем висел котел с мамалыгой. Хозяин настаивать на то, чтобы они поднялись в дом на сваях, не стал – подчинился их выбору. Тараш придвинул скамью ближе к очагу и сел, подставив бок огню, будто замерз в пути. Между тем на дворе стояло лето, и вечера были такими теплыми, что лишь опасение, как кто-нибудь не заглянул в окно, заставляло Мадину зашторивать его на ночь.

Шартын жестом позвал за собой хозяина и вышел из амацурты. Они зашли за постройку и о чем-то заговорили. Переговоры длились недолго, но Шартын когда вернулся к спутнику, выглядел поспокойне, как путник, достигший, хоть и ненадолго, надежного пристанища. Он, как бы ободряя, глянул на Тараша. Мадина поначалу решила: что бы не заботило Шартына, отношение к Тарашу это не имеет. Откуда ей тогда было знать – на роду Шартына написано пренебрегать собственной безопасностью, попадать в передряги по вине других, чьи дела непонятно почему ложились на его плечи.

Кьясоу со двора позвал Мадину. Он у ограды, подвесив за ветку яблони, уже освежевал козленка – как же, в доме гости, фасолевой похлебкой да сыром с мамалыгой не обойдешься. Возле него маячила тетка, мучимая любопытством, – когда она была здорова, первой, наверное, узнавала сплетни во всей округе – что за гости нагрянули?! Пока Мадина подсобляла дяде при разделке туши, тетка вытянула из мужа, какое дело пригнало в дом нежданных гостей. Тут-то и выяснилось: Тараш убил человека прямо на одной из главных улиц Аквы. Среди белого дня. Убитый был не один. С товарищами. Но Тарашу удалось скрыться. С помощью Шартына. Всего Мадина не поняла – не разобралась, отчего произошла стычка. Тараш даже не был знаком с убитым. Ни земля, ни кровная вражда, ни женщина не были здесь замешаны. Может, напавший был не в своем уме?! Иначе, зачем он кинулся на Тараша и попытался стащить с его плеч те самые блестящие штуковины, которые Мадина видела два года назад? При этом сумасшедший кричал русское слово «долой», означавшее, наверное, что-то оскорбительное, задевающее честь. Будь по-другому, разве пришлось бы браться за оружие? Застрелив обидчика, Тараш вскочил в проезжавший мимо фаэтон, а подоспевший Шартын сбил наземь заартачившегося кучера, занял его место. Воспользовавшись суматохой, общей растерянностью, им удалось скрыться. У верного человека Тараш переоделся, обмотал голову башлыком и бежал вместе с Шартыном. Но убитый оказался важной

птицей. Матрос. Так, оказывается, его звали. Прибыл он в Акву на огромном пароходе. Не на простом, на османце или эсминце, словом, как растолковал Шартын, на пароходе для военных, на пароходе с пушками. Тем пушкам продырявить крепостные стены не сложнее, чем человеку разжечь огонь, бросив горящую головню в солому. Мадина никогда не видела больших пароходов, разве, что фелюги турков, да любовалась издали парусниками. Но парусники не могут никому вреда причинить. Она задумала даже вышить на полотенце, когда вернется домой, два ряда синих волн, а над ними – белые парусники, легкие, как бабочки. Османец же, наверное, страшный, легче ночью на кладбище сходить, чем разок на него посмотреть.

Шартын привез сюда Тараша потому, что укрыть у себя не мог – понимал: первое подворье, где будут искать беглеца, окажется его подворьем. Еще он сказал, что все выходы из города перекрыты, они едва проскользнули. Люди с эсминца, говорят, на обещания не поскупились, пригрозили разнести город пушками, если власти не выдадут убийцу. Почетные люди города вступили в переговоры с почетными людьми эсминца. К чему приведут разговоры, никто не знает. Может, на выкуп согласятся, подумала Мадина. Раньше ведь тоже случалось, что родичи убитого соглашались принять богатые дары, и вражда на том кончалась. Но не каждый станет кровью торговать. Кто знает, каков нрав у родичей Матроса. Но ведь и они должны учитывать, что Матрос первым напал на Тараша, оскорбил и все из-за одежды, которая не пришлась по душе. Но, Боже правый, ведь эта одежда от них, от русских пошла, если верить Сончке. А Матрос с эсминца кто? Русский! Да и слыханное ли дело нападать на человека из-за того, что не пришлось по нраву, во что он одет? Да что же это будет, если людей станут убивать, скажем, из-за небрежно завязанного башлыка.

Пароход, оказывается, всего на два денька причалил к Акве, и надо же было Тарашу столкнуться с безумным и немирным человеком!

На следующий день доверенный человек должен был прибыть с сообщением об исходе переговоров. На этом настоял Тараш. А Шартын уговаривал, не дожидаясь никаких гонцов, на рассвете покинуть дом Кьясоу и укрыться в Сванетии. Он знал тайную дорогу и торопился, пока ее не обнаружили, доставить Тараша в безопасное место. Уж в горы никто соваться бы не стал. Но Тараш не подался его уговорам.

Мадина совсем закрутилась, собирая на стол, хотя хозяин не стал звать к застолью соседей, как поступил бы в иное время, если неожиданно знатные гости спешились бы в его дворе. Но ей надо было помочь хозяину и с приготовлением свежатины, и самой позаботиться о другой снеди, и мамалыгу сварить в котле над очагом, щурясь от едкого дыма, да еще и копченое мясо косули из старых запасов пожарить на вертеле у огня. Хозяйка, хоть и не лежала в постели, охая, но помощи от нее ждать не приходилось. Правда, она с серым, как неотбеленная холстина лицом, сновала между амацуртой и домом на сваях, где в столовой накрывала на стол Мадина, приглядывая за тем, чтобы племянница по недомыслию не совершила какого-нибудь промаха. При этом она громко жаловалась на то, что из-за своей хвори не может достойно приветить гостей. Но в тот вечер не было никому никакого дела до ее стенаний.

За столом Тараш ел с такой охотой, что Мадина только диву давалась. Ей казалось немыслимым, что после всего случившегося, человек так спокойно сидит за столом и, неторопливо срезая нежное мясо с лопатки козленка, с явным удовольствием отправляет себе в рот. «Должно быть, в нем много силы, – почему-то подумала Мадина. – И отчего Шартын суетится, точно муравей на горящем полене? Тараш не нуждается в его помощи и советах. Похоже, двадцати шартынам не под силу совершить то, что под силу одному Тарашу».

Мадина кинула на Шартына снисходительный взгляд. Вот он-то как раз ел мало, к вину и вовсе не притрагивался и встревожено вскидывал голову при малейшем шуме снаружи.

Перевалило далеко за полночь, когда Мадина, наконец, провела Тараша в отведенную ему комнату и. поставив свечу в простом медном подсвечнике на круглый стол у изголовья деревянной лавки, на которой была разостлана постель – чистая, пахнущая свежестью, как росное утро. Мадина остановилась поодаль, чтобы помочь гостью снять туго обтягивающие икры сапоги. Так полагалось: молодая хозяйка помогала гостю – пожилому ли, молодому – снять сапоги, верхнюю одежду, уносила их с собой, чтобы назавтра он мог получить свои вещи вычищенными, наглаженными.

Тараш поднял тяжелый непонимающий взгляд на девушку, и что-то мелькнула в его глазах то ли узнавание, то ли припоминание обычаев, от которых он отвык, пока вдали от родной стороны носил ту одежду, из-за которой разгорелся весь сыр-бор. Лицо его неожиданно оживилось, он хмыкнул и сев на постель, поднял ноги. Она под его презрительным взглядом стянула ему сапоги и принялась проворными пальцами расстегивать на архалуке мелкие-премелкие пуговички – их без гусиного пера и не вденешь в петельки. Под архалуком на Тараше была рубашка, поражающая своей белизной, в отвороте которой она увидела крест на золотой цепочке.

– Господи, боже мой! – проговорил он неожиданно низким растерянным голосом, но тут же изменил тон: – Ну что, дикая моя сестра? И штаны стащишь с меня с бесстрастием лазаретной обслуги?

Тараш ухватил ее за руку и рывком притянул к себе. Она и не успела опомниться, как оказалась прижатой к белоснежной рубашке и жесткие его губы нашли ее губы. Она завертела головой, рванулась, высвобождаясь, но он держал крепко. Она с отчаяния укусила его за плечо. Он и отпустил. Но Мадина не кинулась со всех ног бежать из комнаты, всего лишь отстранилась на шаг на два, но стояла перед ним с пылающими щеками, с опущенными вдоль рук руками и ждала невесть чего. Неужто извинений?

Вместо этого услышала:

– А ты дымком пропахла не хуже копченой косули!

«Полночи вертелась над огнем, угощение готовила, как же дымом не пропахнуть?» – удивилась она его удивлению, будто в выказанном ей неуважении это было самым важным – непонимание того, что она никак не могла пахнуть яблоневым цветом. Следом за удивлением нахлынул гнев – безудержный и беспомощный. Мадина знала – никому не заикнется о том, как с ней обошелся Тараш в нарушении всех обычаев. Да и некому здесь проучить наглеца! Запоздало она подивилась тому, что неведомый человек по имени Матрос осмелился поднять руку на такого человека. Правда, жизнью за то поплатился, но ведь и Тараш, как загнанный волк, ищет укрытия.

Обидчик сидел на свежей постели – к утру он изомнет ее, пропитает своими запахами – и длинными пальцами поглаживал укушенное плечо и смотрел на девушку светлыми большими глазами, которые видели, наверное, в жизни много диковинного, но большого значения увиденному не придавали.

Мадина, будто к полу приросла. Она понимала, что не должна пялиться на гостя, равно как и находиться здесь после всего случившегося. Но она стояла там, где стояла, а сердце так гулко билось, что уши закладывало от его стука.

– Поди сюда! – велел он.

И она подчинилась. Тараш усадил Мадину рядом с собой и вовремя – ноги ее держали плохо.

– Так уважаешь законы гостеприимства? Так уважаешь дом, где хлеб-соль с хозяином делил?

Она постаралась упреком найти в нем силы, которых у нее самой не было.

– Это тебе надо блюсти обычаи, а мне… – он не договорил, а только развернул ее к себе лицом, и неожиданная улыбка раздвинула его упрямые губы.

Она же застыдилась себя, своего простенького домотканого синего платья с широкими рукавами и черных роговых пуговиц у глухого ворота. «Как плод каштана в колючей кожуре, не каждый путник нагнется поднять» – вдруг подума-

ла о себе и сдавленно попросила, прижавшись лицом к его белоснежной рубашке, вдыхая незнакомый душистый запах, источаемый то ли рубашкой, то ли им самим:

– Отпусти меня. Заклинаю твоей честью.

– Я давно предвидел бесчестье, – шепнул он. – Для всех нас. Давным-давно!

Сила, исходившая от него, – а может, это было отчаяние, где ей было разобрать? – затопила ее, как затопляет паводок берега.

– Ночь прошла, – сказал он спустя время, и голос его причинил ей боль, будто со дна реки ее, еще живую, подцепили багром.

Мадина широко распахнула глаза и уткнулась взглядом в потолок с темными шляпками гвоздей и трещинами. Он показался испещренным таинственными знаками, суть которых ей не дано было разгадать. Она не плакала, старалась только не двигаться, словно надеялась всю свою жизнь пролежать, ощущая затылком сгиб белой крепкой руки Тараша.

– Дом этот больно беспечен, – заговорил он опять. – Молодой девушки и не хватятся. Непривычно это. – Тараш осторожно высвободил руку из-под ее головы, и, опершись на локоть, сверху посмотрел на нее. – Сама ведь не знаешь, что на тебя нашло! – В глазах его мелькнуло нечто, напоминающее благодарность. – Женщины любят обреченных. Не все, – он провел по ее щеке мягкой ладонью, – самые великодушные из них.

Она молчала.

– Только позаботиться о самых великодушных потом некому.

Мадина и на это промолчала.

Вдруг он крепко сжал ее плечо и низко наклонился к ней.

– Послушай, – сказал Тараш, и голос его впервые дрогнул, и она уловила в нем надежду и теснее прижалась щекой к его плечу. – Грешен я, но если Господь милосердный сжалится надо мной, если… понесешь… не делай ничего с собой. Я

скажу… я велю Шартыну… уедешь… переселишься куда-нибудь. Мир велик, за околицей твоей деревни не кончается… дай жизнь… сыну моему.

«О чем он?» – тупо подумала Мадина и закрыла глаза.

Она бы и уши заткнула, если бы не пугало усилие, необходимое для этого.

– Спасения нет! – прежним презрительным голосом произнес Тараш, сел на постели и велел: – Поднимайся! Или надеешься, завтрак тебе в постель принесут?

Она послушно встала, попыталась оправить измятое платье, и пошла к двери. Шаг ее был легок. Мадина не ощущала своего тела, она была легка, пуста, безразлична.

– Спасибо, – догнал ее голос Тараша у выхода.

И он причинил ей такую боль, какую она в нынешнем своем состоянии и не думала, что способна испытать. Мадина прижала ладонь к губам, не позволяя боли словом вырваться наружу, и так с прижатой ко рту ладонью вышла за дверь; пробравшись к себе, наспех переоделась, пригладила волосы и спустилась в амацурту.

Хозяин и Шартын сидели напротив друг друга, разделенные очагом, и изредка перебрасывались словами. Похоже, они не ложились. В эту ночь никто в доме не решился скоротать ночь в одиночестве, разве что хозяйка, да и та мысленно перепиралась со своей малярией.

– Поспала бы еще, – мягко проговорил Кьясоу, когда Мадина вошла. – Поздно ведь легла. – И обратившись к Шартыну, добавил: – Замучили мы девочку. Хозяйка недомогает, все заботы по дому на племяннице. Два месяца как она у нас живет, а будто в этом доме выросла. Скоро приедут за ней. Не знаю, как проживем без нее, больно к ней привыкли.

– Как проживем, – повторил Шартын, поднял на Мадину усталые глаза, едва приметно улыбнулся, вроде бы с завистью к ее молодой беспечной жизни. – Как-нибудь проживем…

– К потерям приходится приноравливаться, – с горечью признал Кьясоу.

Странно, но никто не заметил, что она не такая, как всегда, никто не закричал, завидев ее: «Бесстыжая!» Напротив, тепло с ней поговорили, одарили даже улыбкой. Она занялась приготовлением завтрака, с удивлением отмечая – руки с прежней ловкостью справляются с работой.

Шартын вернулся к тому, что его мучило, и о чем он, наверное, не раз уже говорил во время бессонной ночи. Он корил себя, что не сумел уговорить Тараша, иначе они сегодня ближе к вечеру уже были бы у его добрых знакомых в горах, куда ни один человек с побережья не сунулся бы, уж не говоря о чужаках. А теперь вот приходится подвергать опасности и Кьясоу, хотя Шартын предпочел бы умереть, чем подвергать его опасности.

– Не о том толкуешь. Мой дом всегда открыт для тебя. Тараш твой молочный брат, понятно, что делишь с ним и честь и позор.

Так впервые Мадина узнала, кем они доводятся друг другу. Еще из слов Кьясоу уяснила: он, возможно, и знать Тараша не пожелал бы, не будь Шартына. «Чудно, – подумала она, – разве можно коню седло предпочесть?»

– Если бы мы с первыми лучами солнца двинулись бы в путь… – сокрушался Шартын об упущенной возможности.

– Я смотрю так, – заговорил погодя Кьясоу, – время нынче, сам видишь, смутное. Ты – последняя надежда своей матери, три года как твоего отца не стало, ты – единственный мужчина в доме, не дай зарасти бурьяном своему двору.

– Не могу же я честью поступиться, бросить Тараша в беде?! – вспылил Шартын.

– Я не о том, – мягко сказал Кьясоу. – Ты все делаешь, как должно. Только не кори себя ни в чем, и вперед не забегай в надежде на невозможное. Преломить решение Тараша тебе вряд ли удалось бы, и отец у него был кремень. И сын, похоже, броду не знает. Зазря себя растрачивает. Гибель по пятам за ним ходит. Беда не обходила и тех, кто на горе себе привязывался к тарашевому роду.

«Откуда он знает?» – поразилась Мадина про себя и, швырнув на стол нож, которым нарезала сыр, торопливо вышла из амацурты. Она поднялась в дом на сваях и, осторожно приоткрыв дверь, заглянула в комнату, где находился Тараш.

Он спал, подсунув ладонь под щеку, спал неслышно – без всхрапа, – глубоко, словно минувшие сутки ничем особым не были отмечены для него.

Ей захотелось криком разбудить его. Кто знает, может, в сонных его глазах она прочла бы призыв о помощи? Или он не снисходил до просьб, знал: если помощь понадобится, и без просьб ее получит? Он же еще прикинет: воспользоваться ею – не воспользоваться.

Мадина все смотрела на Шартына, но не войти в комнату, ни окликнуть его с порога она так и не осмелилась и, прикрыв дверь, вернулась к своим хозяйственным заботам. Кьясоу и Шартын по-прежнему сидели у очага. Гонец, прибывший в полдень, застал их там же. Шартын разбудил Тараша. Но тот не вышел из комнаты, пока молочный брат не побрил его. Потом кликнули Мадину, и она из кувшина сливала воду Тарашу, пока он умывался неторопливо и аккуратно, не разбрызгивая воду по сторонам. Вода со сложенных ковшиком ладоней, оросив лицо, стекала в медный таз, поставленный на табурет. Принимая из рук Мадины полотенце, он вдруг сказал:

– Мне стыдно такую красивую девушку утруждать, – и через плечо глянул на Шартына, находившемуся здесь же.

Тот засмущался, будто Мадина была его невестой, и смолчал. Тараш возвращая полотенце, едва приметным жестом коснулся плеча Мадины, и сказал как бы Шартыну, но для нее:

– Ночь мне показалась короткой!

К гонцу он вышел с высоко поднятой головой. Длиннополая черкеска – она так и осталась не вычищенной – была перепоясана наборным узким ремешком. На ремне висел кинжал в серебряных ножнах с чеканкой. Тараш хозяйским

шагом прошелся к амацурте, другие последовали за ним, и Мадина заняла место в углу возле деревянного шкафчика с кухонной утварью. Тараш уселся, не дожидаясь, пока усядутся другие. Гонец так и остался на ногах, видно, захудалого он был роду, не решился сесть при человеке столь достойного происхождения. Стоял он, понурившись, всем своим видом показывая: вместе с ним в дом вошла беда на скорых ногах.

– Хотелось бы думать – худых вестей у тебя немного, – проговорил Тараш. – Если только одна, меня касающаяся, это не беда.

Он в жесткой усмешке раздвинул губы.

– Лучше бы пуля меня сразила, чем напастям на тебя свалиться, – пробормотал гонец.

Тараш смолчал. Вряд ли он удостоил бы этого человека чести принять пулю, ему предназначенную.

– Требуют выдачи убий… – гонец поперхнулся и следом зачастил: – всеми нами высоко ценимого человека… Грозят город сровнять с землей… И дороги, по слухам все перекрыты.

– Пустое! – нервно вмешался Шартын. – Я знаю свободную дорогу, да и те, которые якобы перекрыты, нам не помеха.

– Те… с эсминца или как там его? – не дают доброму слову влететь в ухо… непременно хотят заполучить своего кровника…Уж как их увещевали, все без толку! Уважаемые люди города говорят…

– Лучше одним Тарашем пожертвовать, – перебил его Тараш с усмешкой. – Ничего другого от них, бесхребетных, не ожидал. Только одной жертвой не обойдетесь. Но когда опомнитесь, уже в ярме будете мычать.

– Они клянутся, что немедля снимутся и уйдут, как только… – гонец не договорил.

– Сегодня уйдут, завтра вернутся! Но куда вам так далеко заглядывать! – высокомерно бросил Тараш и легко поднялся на ноги.

Он обернулся к Шартыну, стоявшему за его спиной, точно защищая с тыла, и сказал:

– Останешься здесь!

– Как?! – не понял Шартын и вспыхнул: – Доверие твое потерял, дожил…

– Ты один и достоин доверия, – непривычно мягко сказал ему Тараш. – Только пойду без провожатых. Матросня с эсминца не нагляделась на меня. Пусть посмотрят еще раз!

– Не пущу! – вскричал Шартын. – Одного не пущу!

Тараш сдвинул брови. Даже рискуя ради него жизнью, видно, нельзя было становиться с ним вровень.

– Твой конь понес! – властно предупредил Тараш, потом помягче добавил: – Хочу сказать тебе несколько слов наедине.

Хозяин и понурый вестник беды тотчас покинули амацурту и вскоре их голоса донеслись со двора. Мадина осталась. Хозяин, наверное, полагал, что она по обыкновению хлопочет возле больной, как случалось каждое утро. А тот, кто принес дурную весть, и вовсе не удосужился заметить ее. Никому не было дела до нее. Случайным листком, упавшим в водоворот, затянуло ее в чужую, уходящую в землю жизнь. Один Шартын не лишал девушку своего молчаливого внимания. Сейчас, глянув на нее, замялся, не решаясь впрямую просить ее оставить его наедине с Тарашем. Проследив за его взглядом, тот обернулся. Мадина теснее прижалась к стене, хотя и понимала – напрасная надежда, защиты ей не видать.

Тараш смотрел на Мадину и она чувствовала: сейчас заговорит о ней, препоручит ее Шартыну, как подержанную вещь. Она взглядом молила его – остановиться. И молитвы ее были услышаны или же он сам осознал: есть такое в жизни, что никому нельзя перепоручить даже в гибельный час. Выражение его лица смягчилось, ей даже почудилось: виноватится. Но тут он резко повернулся к Шартыну и с усмешкой спросил:

– Как ты думаешь, может теперь мое имя сделать кому-то честь? К чему ни прикоснусь – огнем горит, сам видишь. Уж так проклята моя звезда!

Шартын только покачал головы и глухо проговорил:

– Возьми меня с собой! А лучше – я поеду один!

Мадина поняла: он готов явиться к товарищам матроса, назваться Тарашем, и принять их гнев на себя. Но так ли просто отыскать людей, которые согласились бы заменить Шартыном Тараша?!

– Не первый день меня знаешь, не трать попусту слова! И во имя твоей любви ко мне, прошу тебя, останься здесь, где стоишь, не провожай меня даже за порог!

Так Мадине довелось увидеть, как его твердые губы сложились, чтобы произнести слово: прошу.

Тараш быстрым шагом вышел из амацурты. Шартын сделал шаг ему вслед, а потом, обхватив голову руками, уселся на скамью.

Со двора хлопнул выстрел. Шартын вскочил на ноги. Мадина осознала, что кричит, когда уши заложило от крика.

– Тише, – глухо попросил Шартын. – Не думай, он сам себя – никогда! Он воин. Австрияков в бараний рог сгибал. «Георгия» в награду имеет. Он сам себя – никогда…

Через порог переступила изжелта-бледная хозяйка, кутаясь в шерстяной платок, малярия трепала, хоронилась от простуды. С нескрываемой досадой она сообщила:

– Коня пристрелил. Своего. На твоем ускакал, Шартын. – Она прислонилась к косяку, отдышалась. – Какого коня пристрелил, убей меня бог, если каменного дома не стоил… пристрелить недолго… никак он спятил?!

Она вероятно считала, что, если Тарашу конь не угодил, он мог бы оставить в дар хозяину, который из-за него головой рисковал, уж тот бы по достоинству оценил стать скакуна.

Должно быть, приличествующие случаю слова не шли с языка и Шартын угрюмо промолчал.

Хозяйка обвела его недовольным взглядом и вышла вон, может, в надежде найти понимания у мужа, который дорожил даже своим отнюдь не быстроногим конем. А уж попади в его руки такое сокровище, которого безумец при-

стрелил, так он, наверное, в конюшне рядом со скакуном ночевал бы.

– Я так и знал, – пробормотал Шартын, оставшись наедине с Мадиной. – Любил он его.

Мадина едва не закричала: «Как же так? Любит и убивает. Убивает и любит».

– Досталось тебе, – мягко проговорил он, внимательно глянув на Мадину. – Страху, наверное, на тебя нагнали, а уж забот сколько из-за нас…

Она беспомощно махнула рукой, комок в горле не давал слово сказать.

– Вернешься в отчий дом, обо всем позабудешь, – утешил Шартын, как мог, и погрузился в молчание.

Вошедший Кьясоу сообщил:

– Велел здесь дожидаться вестей от него.

О коне он не заговорил, прошел к лавке и уселся, сложив руки на коленях, будто все дела были уже переделаны. А ведь обычно от зари допоздна не присаживался – работа, как он говорил, всегда его находила. Шартын стоял возле скамьи, на которой недавно сидел Тараш.

– Двенадцать лет он прожил в нашем доме, – заговорил Шартын погодя. – Двенадцать ему сравнялось, когда он вернулся в отчий дом. Тараш не плакал, нет. Но заколотил дверь своей комнаты гвоздями. Не хотел – и мы не хотели, – чтобы кто-нибудь кроме него, туда заходил. Эта комната и по сей день стоит заколоченной. Отец прислал ему коня. Он выпустил его из загона. На волю. И на коня моего отца не пожелал сесть. Сколько ни уговаривали – не пожелал. Пешком ушел с нашего двора к отчему дому, точно пастух, идущий наниматься на работу. И рядом с собой идти никому не позволил. Кроме меня. Он тогда сказал: «Всё отобрали! Всё!» В отчий дом возвращался. И в какой дом?! Слава его отца по всему уезду гремела.

Еще долго говорил Шартын и все о многочисленных достоинствах Тараша. Молчаливый человек, он в тот день рта не закрывал, будто заклинал судьбу, будто надеялся не-

померными восхвалениями отвести беду. Но печаль в его глазах с каждым часом углублялась, не мог он не знать, как тщетна его надежда.

Кьясоу, не перебивая, слушал его и Мадина не оставляла своего угла.

Ближе к сумеркам хозяйка резким окриком снаружи вытянула племянницу за порог и, не слишком удаляясь от амацурты, где находились мужчины, накинулась на нее с упреками:

– И впрямь ослы сходятся почесаться к забору глупца! Кого только не приходится привечать в этом доме! Но незачем глазеть на них, разинув рот! Если бы не проклятая хворь, я позаботилась бы о снеди, с утра маковой росинки во рту не было. Никак дали обет поститься?!

Мадина непонимающе смотрела на нее – неужто кто-то в доме в состоянии сесть за стол и поднести кусок ко рту?

– Слава богу, – сказала тетка, зорко на нее поглядывая, – нам траура не носить!

– Не носить… – повторила следом Мадина.

Ранним утром следующего дня тот же гонец – теперь он дальше ворот не пошел, возле них спешился и держал под уздцы коня, словно опасался доверить коновязи, – отчужденно сообщил подошедшему хозяину, что Тараша уже нет в живых. Оказывается он сам, минуя уважаемых людей города, иначе, возможно, кровь не пролилась бы, поднялся на военный пароход, назвал себя, и главного среди них вызвал на поединок. Но те скопом набросились на него. Одного из нападавших он убил, еще одного ранил, но и сам был сражен наповал. Тело Тараша вроде бы выбросили в море. Правда, всю ночь нанятые рыбаки искали его и не нашли. А пароход ушел, не обстреляв город.

Передав известие, гонец без прощальных слов сел в седло, осторожно, словно и коня шатало от горя, тронул своего гнедого и, понурив голову, хотя бы на время, пока оставался на виду у тех, кому привез горчайшую весть, поехал прочь.

Шартын кружил по двору и время от времени подходил к ограде и, схватившись за колья, так раскачивал, будто вознамерился одним рывком выдернуть весь частокол. Опомнившись, он опускал руки и шел дальше. Кьясоу тоже не покидал двора, чтобы не бросать гостя одного, но и по пятам за ним не ходил, сначала долго стоял у ворот, затем переместился к могучей орешине, что возвышалась посреди двора, но не сел на лавку, пристроенную под ней, а, прислонившись спиной к стволу дерева, о чем-то размышлял.

Шартын остановился перед ним.

– Зачем только подчинился ему? Зачем следом не отправился? Ты бы не отказался бы мне одолжить коня.

– Я бы не отказался, но ты бы не помог. Никто бы не помог!

Шартын стукнул себя кулаком по груди и вновь пошел мять траву. Мадине казалось: он не выдержит, вот-вот заголосит, как женщина. И крик его будет страшен, так страшен, что кровля дома обвалится и она, Мадина, стоящая на крыльце, погибнет под рухнувшими стропилами.

«Так дай же себе волю, крикни!» – взмолилась она про себя.

Но Шартын молчал. И она ненавидела его за это.

– Ты-то кто такая убиваться? – полуудивленно полунасмешливо сказала над ухом тетка. – Тебе-то что за дело?

Выходит, даже скорбеть о нем ей не дозволено. Она задохнулась от такой несправедливости. На ватных ногах Мадина обошла тетку, которая ее провожала не столько насмешливым, сколько испуганным взглядом, вошла в свою комнату и закрыла дверь на крючок.

Неделю спустя за ней приехал отец. Она заметила, как он встревожено оглядел ее.

– Никак малярию подхватила? – спросил ее торопливо. – Больно исхудала. Не лихорадит?

Но в присутствии хозяев, он ни словом не обмолвился о том, что озабочен видом дочери, чтобы те не восприняли это как укор себе. Отец Мадины был из тех людей, о душевной мягкости которых говорят: «Он и траву, по которой ходит,

щадит, чтобы не примялась под его подошвами». А домом правила бойкая жена.

Как торопилась Мадина оставить дом, в котором прогостила два месяца и куда, она надеялась, уже не придется возвращаться, во всяком случае, надолго. Навсегда от родни не спрячешься. Как только выехали за ворота, Мадина ощутила такое облегчение, будто бы со стужи влетела в натопленную комнату. И этому ощущению не мешала даже боязнь, что конь, чуявший слабость нетвердо им правивших рук, сбросит ее. Она не просто уезжала, она захлопнула дверь в прошлое, чтобы никогда его больше не открывать. По молодости лет она думала – такое возможно.

Прибыли они домой уже поздним вечером, а рано поутру прибежала Сончка и затормошила, зацеловала подругу. Она заговорила о том, о сем, но никаких перемен в подружке не заметила, что еще больше утвердило Мадину в убеждении, что та дверь и впрямь затворена прочно и все, что осталось взаперти, навсегда спрятано от чьих бы то ни было глаз.

– Ух, я сейчас тебе новость расскажу. Знаешь, что такое «Кьяраз»?! – оживленно заговорила Сончка.

– Кто же не знает?! – Мадина подняла на нее удивленные глаза.

Люди, входившие в «Кьяраз», сообща поля засевали, урожай снимали, дома погорельцам ставили. Помощью добротой пахло это слово. Но, похоже, если верить Сончке – а уж так она расписывала своих братьев, точно сказочных богатырей, будто Мадина раньше их не видела, не знала! – и «Кьяраз» переиначили на свой лад. Теперь они со своими друзьями – в друзья попал и грамотей-плотник, который заодно и конюшни соседей вычищал! – не с мотыгами да с плотницким инструментам ходят по селу, а воюют за новую власть, также, как выкорчевывая пни, отвоевывали у леса новые пашни.

– И что же они посеют на тех пашнях? – спросила Мадина, чтобы не молчать, а вовсе не потому, что услышанное хоть в какой-то мере ее занимало.

– Советскую власть устанавливают! – важно сообщила Сончка.

– Какую?

– Нашу! Власть бедных. Справедливую.

– Это ты-то бедная? – поразилась Мадина

Подруга и дома-то гнушалась ходить в сыромятных чувяках, а уж на выход у нее были и башмачки на пуговичках, и туфельки, и платьев не раз-два обчелся, как у других. И все они из покупной, не домотканой материи. А уж какую конюшню держали в ее семье – всем на зависть. Даже у Сончки была своя лошадка, пусть и похуже, чем у отца и братьев, зато сбрую и седло справили отменное. Отцу Сончки само собой не сравниться с азнауром Шоудадом. И никто ему как Плешивому Шоудаду, не собирал виноград по осени, и на Пасху не сносил во двор откормленных каплунов. И полы его черкески куда короче, чем у Шоудада. Но равных Шоудаду в родовитости по всей округе раз, два и обчелся. Это ведь не значит, что остальные – голь перекатная. А Сончка вот вздумала себя беднячкой выставить. Братья же ее с оружием взялись доказать, что они бьются, чтобы нужда не придушила. Недаром по селу ходили слухи, что плотник задурил голову сыновьям достойного человека. Мол, понадеялся хозяин – еще один работник да с такими золотыми руками нелишним будет в доме, – но, выходит, просчитался…

– Кьяразовцы скоро возьмут верх! – заявила Сончка. – Не зови меня по имени, коль так не будет. Лакоба свернет голову меньшевикам, как цыплятам.

Она лукаво исподлобья взглянула на подругу, уверенная, что ни о Лакобе, ни о меньшевиках та и слыхом не слыхала.

– Откуда родом Лакоба и что за люди меншеуеки? – в угоду подруге спросила Мадина, а так ей это было ни к чему.

– Лакоба – главный из «Кьяраза», мужчина из мужчин, из тех, кто может один целую армию вспять поворотить!

– Так что же о нем песню не сложат?! – усмехнулась Мадина

– Еще сложат! – пообещала запальчиво Сончка.

И ведь так оно и получилось! Правда, много времени спустя и не тогда, когда он первым наркомом стал, а после его гибели.

– Меньшевики покойники из покойников, – сообщила Сончка. – Да отпевать их попам в церквах! Пока он, правда, в Акве хозяйничают и даже некоторых царских офицеров привечают в надежде, что они им плечо подставят. Как бы ни так! Вон, недавно один офицер в переделку попал, так меньшевики сразу отбросили его от себя, как горящее полено. Правда, офицер стоил того, чтобы его пристрелить как бешеную собаку, ведь он матроса убил.

Гулко забилось сердце Мадины, заныло. Показалось: порывистым ветром распахнулась дверь, которую, она надеялась, захлопнула за собой навсегда.

– Кто такой матрос?

– Тот же солдат, только на пароходе служит.

– Не может быть!

– Об этом знают все! Мне не веришь, нашего плотника спроси. Хотя чему тут не верить? Матрос с эсминца был. «Дакия» называется. Большевики из России прибыли на нем. Всего на два дня пристали к берегу. У них на пароходе власть Советская, справедливая!

– Какая же справедливая, коль из-за одежды на людей кидаются, как на кровников? – вырвалось у Мадины.

Сончка аж подскочила, пристала с расспросами, кто ей это сказал, кто ложные слухи распространяет, вредительские? И какие мозги надо иметь, чтобы поверить в подобную чепуху!

Мадина еле отговорилась, сославшись на болтовню женщин с побережья. Сончка хмыкнула и терпеливо, медленно подбирая слова, точно с малым дитем говорила, растолковала:

– Видишь ли, матросы с эсминца несказанно удивились, обнаружив, что Аква кишмя кишит всякими недобитками. Ты знаешь, что значит для большевиков царский офицер?

– Откуда мне знать, я вместе с большуеками фасоль не лущила!

– Большевику царский офицер все равно, что кровник! Матрос и сказал офицеру: «Сними по-хорошему офицерскую одежду. Не захочешь по-хорошему, пеняй на себя». Да офицер больно прытким оказался. Матроса убил, бежал. Но добрались до него!

– Никто не добрался, сам пришел!

– Откуда знаешь? – удивилась Сочка. – С чужих слов говоришь. Мало ли что могут наболтать.

– Сам пришел! – упрямо повторила Мадина.

– Но где тебе разобраться, если за всю жизнь только раз офицера видела и то так перепугалась, что неделю в себя придти не могла.

– Раз сам пришел, могли бы и пощадить…

– А он матроса пощадил? По-твоему, они кровнику должны были сказать, да падут твои беды на наши головы?

– Все всем кровники?

– Князья и азнауры – кровники крестьян и батраков.

– У крестьян и батраков – общие кровники?

Мадина, дочь свободного крестьянина, свысока смотрела на батраков.

– Скоро у батраков все будет, как у князей!

– Кто же скотину пасти станет? – удивилась Мадина.

Но Сончка пропустила мимо ушей насмешку. Она еще долго говорила о будущих счастливых переменах. «Для всех счастливых?» – не поверила Мадина, но промолчала. Еще подруга поведала, что скоро она поедет в город учиться и оставит с носом всех, кто сватается к ней. Может, она не просто будет учиться, но и станет полезной делу братьев.

– Что значит «Дакия»? – неожиданно для самой себя спросила Мадина.

Сончка равнодушно пожала плечами.

– Название такое. А тебе зачем?

– Незачем… Только твои братья… они не станут набрасываться на человека, как бы он ни был одет… я люблю твоих братьев, – Мадина подняла на подругу жалкие глаза, – как

родных люблю. Они ведь не станут, верно? Никого из-за одежды не убьют?

– Да что ты такое говоришь? Разжевала же тебе: не в одежде было дело, а в том, что офицер – враг!

– Все офицеры – враги?

– Ох, – развела руками Сончка, – умереть мне на этом месте, если я про всех офицеров знаю, но убитый, говорят, по заслугам получил. Да и что нам за дело? Одно ясно: чем меньше офицеров да князей, тем лучше. Не веришь мне, так у нашего плотника спроси!

– Что ты меня все время к вашему плотнику отсылаешь, точно к церковной книге! – вспылила Мадина. – Стану я совета спрашивать у человека без роду-племени…

– Ну и нрав у тебя стал за эти два месяца! Слова поперек не скажи!

Наконец-то заметила перемену подруга, хоть какую-то перемену. Но это ее долго не занимало, хмурилась не дольше мгновения, а потом подсела к Мадине, обняла за плечи, примирительно сказала:

– Врагов с друзьями никто не спутает.

Мадина с завистью подумала о красоте подруги, ее защищенности братьями, о том, что и сама она умница. Уж Сончке-то не придется захлопывать за собой никакую дверь, для того, чтобы затем, превозмогая внутреннюю дрожь, признать, что наглухо ее закрыть не удастся никогда.

Осенью Сончка уехала в Акву. Прощаясь, она прослезилась, но ожидание радостных перемен – для себя одной, для всех вокруг? – так и светилось на лице, потому-то ее слезы показались Мадине легкими, словно покапал слепой дождь, расцветив небо радугой, и прошел. Сама она не заплакала, смотрела сухими глазами на подругу и чувствовала себя состарившейся, изъявшей из жизни отведенную ей горсточку счастья.

Мать Мадины осудила отъезд Сончки.

– Куда девушку пустили одну, спрашивается? Дальняя родня, к которой они ее в городе прилепили, это, что, защи-

та? Два дряхлых старика разве уследят за внучатой двоюродной племянницей, – скажу начистоту! – совсем не скромницей? Или рассчитывают – никто ей лишнего слова не скажет, за руку не потянет, прослышав о ее широкогрудых братьях? Не такие у них широкие груди, как им самим кажется!

Муж слушал молча, вороша угли в очаге. И Мадина молчала – корпела над вышиванием. В доме, по обыкновению, не смолкала только мать. Правда, на людях от нее только и было слышно: «Хозяин сказал то, хозяин велел это». Но мало кого удавалось провести. Как однажды заметил некий краснобай: «В том доме хозяину отвели место поближе к золе – копайся хоть до полуночи, а рот на замке держи!»

И думалось Мадине, что теперь ей и осталось, что возиться с вышиванием и шитьем под брюзжание матери, ночами представлять себе расцвеченную всевозможными радостями городскую жизнь подруги и копить в себе, как влагу на дне колодца в засушливое лето, доброе отношение к ней.

Мадина с каждым днем все больше уходила в свое рукоделье, нескончаемое, как ходьба по кругу. Мать беспокойно поглядывала на нее и уже несколько раз сердито заводила разговор о том, что, судя по всему, сглазили дочь, пока она гостила на побережье у родни отца. Мать зачастила к гадалкам. Отцу же теперь поручалось достать то белого без единого черного волоска барашка, то рыжего теленка, но с белой отметиной во лбу. Все это требовалось, чтобы снять порчу. Дочь, как и отец, втайне, сердилась на мать, вознамерившуюся, точно переставляя утварь в амацурте, втолкнуть дочь в беззаботную жизнь. Теперь она повсюду брала ее с собой, хотела того или нет Мадина. И вот так вот однажды на многолюдной свадьбе дальнего родича Мадина встретила Шартына. Она, стоя в кругу подруг, украдкой поглядывала на него и дивилась тому, что он действительно существует на свете, значит, не приснилось и все, что было связано с ним. Он тоже поглядывал на Мадину и гораздо чаще, чем она. Одна из глазастых подружек даже шепнула ей об этом, но другая, злюка, сказала, что гость засмотрелся на Ярну –

статную румяную дочь Шахана Шванба. Но Мадина-то знала, на кого он смотрит. Не случайно Шартын потом зачастил в ее село, хотя там у него родни даже самой дальней не было. Мадину раздражало, что он часто попадается ей на глаза, словно задумал измучить ее вконец. Хотя, если по справедливости, откуда же ему было знать, что стоит на пороге той двери, которую она тщетно пыталась захлопнуть.

Время шло, чужое время, как называла его про себя Мадина. Это чужих занимали новые дела, Это другие – посторонние – теперь делили людей на своих и чужих и не боялись ошибиться. А разве Мадина могла разобраться, на чьей она стороне, и вообще, позаботилась ли жизнь поставить ее на чью-либо сторону?

Как-то к воротам подскакал, младший из братьев Сончки – Еуган. Он, не утруждая себя открыванием ворот, попросту перемахнул через них на своем кауром, в гриву которого были вплетены алые атласные ленты, и, не дав опомниться Мадине, тихо вышедшей с шитьем на крыльцо, – мучилась над черкеской для отца, – подлетел к лестнице, горяча коня, и со смехом крикнул:

– Проснись, Мадина!

– Какой сон среди белого дня?! – слабо отмахнулась она.

– Весна пришла! – возвестил Еуган. – Неужели не заметила?

Он был простоволос, белый башлык лежал на плечах, молодое лицо, обрамленное кудрявыми волосами, светилось таким оживлением, будто он за руку привел весну в этот двор, точно малыша, едва научившегося ходить, и теперь, довольный, следил за первыми ее шагами.

Мадина глянула поверх его головы на расцветшую алычу и подумала, что Еуган такой же праздничный, как эта алыча. Но праздники свои она уже прожила…

– Спешься, Еуган, – сдержанно предложила она. – Скоро и мать придет, она у вас.

– Отец дома?

– Нет, он спозаранок уехал на побережье, к нашей родне.

– Я только поздороваться! – отказался Еуган спешиться, узнав, что она одна дома, берег ее честь, вдруг ненароком кто-либо в дом заглянет и дурно подумает, застав их наедине. Все пеклись о чести Мадины, разве что она о ней не позаботилась.

– Спешься! – настойчиво повторила Мадина, подумав об этом. – Давно ты к нам не заглядывал.

– Я только сказать тебе…

– О весне?

– Эту-то мы принесли на кончиках наших штыков! – Он засмеялся, поймав ее недоумевающий взгляд, ласково сказал: – Не скучай! Сончка тебе любовь свою шлет!

И, повернув коня, поскакал к воротам.

– Спешься, Еуган! – крикнула вслед Мадина, и до боли захотелось, чтобы он подчинился. Но тот, озорничая, ответил:

– Теперь и сам богатырь не заставит нас спешиться! – и лихо одолев препятствие в виде закрытых ворот, пропал с глаз, только звук резкого – не рассчитал, верно, силы на радостях! – удара камчи донесся до Мадины.

Она вернулась в комнату с ощущением, будто Еуган заскочил во двор по ошибке, как порой влетает в комнату птица и мечется, пока не найдет выхода наружу, к простору.

Позже, уже в разгар лета приехала Сончка и растолковала, что ее братья установили на родной земле Советскую власть.

– «Кьяраз» не понадобился, братья сами справились? – насмешливо уточнила Мадина.

О «Кьяразе» она теперь и от других была наслышана, как и о первых лицах, находившихся на самой верхушке новой власти. И фамилии их знала: Лакоба, Эшба, Акиртава. Но братья-то Сончки не были причастны ни с отцовской, ни с материнской стороны ни к одной из этих фамилий.

Сончка вспыхнула, поняла – ерничает подруга, вскочила на ноги.

– Такую власть установить – не призы на скачках брать! В одиночку и богатырь из богатырей не справился бы. И сто

богатырей не справились бы! Но за справедливость не сотни – тысячи встают! Ты знаешь, как эта нечисть держалась на реке Псоу? Да откуда тебе знать! Зубами да когтями держалась. Но не удержалась! Зарыли ее в землю кьяразовцы. Красная армия тоже задала врагам жару!

У Сончки разрумянились щеки, говорила она громко, четко, словно опасалась что подруга, сидевшая поодаль, не разберет и половины слов. Она так напряженно, так твердо упиралась крепкими ногами в дощатый пол, будто стояла против течения и изо всех сил держалась, чтобы не дать себя снести потоку.

Мадина догадалась, что Сончка старается не для нее одной. Правда, других слушателей здесь не было, но та, видать, отвыкла говорить для одного человека. Теперь она, похоже, собиралась осветить своей правдой одновременно множество невежественных душ. Так недолго и голос сорвать.

– Ты лучше посиди со мной, Сончка, просто так посиди, – неожиданно для себя попросила Мадина.

Сончка опомнилась, повинилась:

– Понесло меня! – села рядышком, обняла подругу за плечи и наконец-то обнаружила перемены в ней – До чего же ты исхудала! И бледненькая какая! Что с тобой? – и тут же, не дожидаясь ответа, живо добавила: – Ничего! Начнем новую жизнь – вмиг расцветешь!

«Я мечена старой!» – едва не сказала ей Мадина.

Сончка посулила:

– Перво-наперво обучу тебя грамоте. Мы и других научим, но тебя – раньше всех! Если хочешь, могу взять тебя с собой в Акву. Твоя мать, ясное дело, меня проклянет и тебе дорогу заступит. Но решать тебе! Сейчас – свобода для каждого человека!

Ее вроде опять начало заносить, последние слова едва ли не выкрикнула.

– Сыграй на ачамгуре, – предложила Мадина, отвлекая подругу, да и хотелось ее увидеть прежней.

Сончка порывисто вскочила, сняла со стены ачамгур, и, усевшись, принялась перебирать струны. Кожа на лице подруги немного огрубела, как бы обветрилась – неужто морской воздух тому виной? – в движеньях появилось что-то размашистое, не девичье. Но, наигрывая на ачамгуре, склонив голову на одно плечо, она из-под длинных ресниц глянула на подругу прежними сияющими глазами, и у Мадины потеплело на сердце.

– Так я и не научилась играть на ачамгуре, – сказала она. – Не то, что ты!

– Научим! – заверила Сончка. – Всех научим!

– Зачем всех?

– Как зачем? Тебе нужно, другим – нет? Всем нужно, все научатся!

Мадина представила себе, как все девушки села, не исключая даже криворукой дочери дармоеда Фатыша, сядут рядком и заиграют на ачамгурах и прыснула.

– Смейся, смейся! А вот возьмусь за тебя и в активистки выведу! – шутливо пригрозила Сончка. – Ничего, что ты до сих пор жила на отшибе!

«А сама-то где жила?» – едва не спросила Мадина, но потом решила: главное, наверное, не в том, где стоит дом человека, а кем он себя чувствует в нем.

– Теперь никаких хуторов не будет! – пообещала Сончка.

Все лето она учила грамоте Мадину, но дело продвигалось туго, не хватало новоявленной учительнице терпения, чуть что – и она разражалась едкими насмешками над подругой, мол, в кого такая медлительная, все надо хватать на лету. Потом, стыдясь своей несдержанности, Мадина вовсе не была тугодумкой, Сончка в утешение себе и подруге читала вслух старые пожелтевшие газеты под названием «Апсны». В них все было на абхазском, и можно было понять без толмачей.

И вот однажды из уст Сончки, но со страниц газеты, Мадина, сидя на крыльце, заваленная толстобокими красными яблоками, услышала историю о крестьянском сыне Елкане жестоко и безвинно пострадавшем из-за того, что всей

душой был предан своему молочному брату Алдызу. Елкан взял на себя вину князя. Царские собаки сослали его в Сибирь. И там, накануне большого праздника Пасхи, он умер в тоске по родной стороне.

– Виной тому драгоценный князь! – отчеканила Сончка заключительные слова, а потом от себя еще подчеркнула: – Молочный брат!

Мадина уронила нож, которым разрезала яблоки на дольки – она нанизывала их на шнурки и сушила на зиму, – и, схватив из кучи яблоко побольше, приложила его к щеке, но оно против ожидания не оказалось прохладным, наоборот теплым и душистым.

– Тело Елкана хоть домой привезли? – спросила тревожно. – Неужто зарыли на чужой земле?

Сончка усмехнулась:

– Может, такого человека с горькой долей по имени Елкан вовсе и не было. Это ведь рассказ. Выдумка. Называется «Под чужим небом».

– Жестокая выдумка, – нахмурилась Мадина. – Дать человеку умереть на чужбине, неоплаканным сгинуть, врагу такого не пожелаешь.

– А князь обрек на такое Елкана!

– Но ты же сама сказала, про Елкана – выдумка.

– Мадина, ты меня с ума сведешь! Неужели неясно, это выдумка, но как бы и правда! Добра от князей молочным братьям не приходится ждать. Вот в чем правда! Высокородные не смотрят на них, как на людей, погубят и не почешутся!

– Он мог погубить, – вырвалось у Мадины.

– О ком ты? – удивилась Сончка и пристально посмотрела на подругу.

– О князе Алдызе да Елкане, о ком еще? – опомнилась Мадина.

– Князь взял и погубил, Мадина! Битый час тебе втолковываю. Все равно не поняла о чем речь, да?

–Поняла, поняла, – раздраженно фыркнула Мадина. – немного ума надо – понять!

А сама подумала: «Но Шартын-то жив!» И множит ее боль, встречаясь с ней то там, то здесь.

Сончка уже несла карандаш и бумагу.

– Оставь-ка свои яблоки, возьми карандаш! Вон как научилась вышивать – любо-дорого смотреть. Так неужели не научишься писать?! По мне так это куда проще!

Неуемная она все-таки была. После занятий Сончка бралась за ачамгур или рассказывала о своих братьях. О старшем и среднем, которые нынче в уездном центре работали. Мац, старший, даже милицией ведал, средний следил за тем, чтобы всем поровну землю поделили, чтобы никто в обиде не остался. Мадина сроду не думала, что есть такая работа. Даже на пиру тот, кто мясо распределяет, не всем поровну кладет, гостям – получше куски, хозяевам похуже, да и среди гостей самое лучшее – одним, поплоше – другим. Недаром ведь говорят: каков человек – такова его доля на пиру. А брат Сончки, даже не видя самого человека, а лишь глядя на бумажки, знал, кто сколько заслужил.

Поговорив о старших братьях, Сончка принималась расхваливать младшего – Еугана. Он был на четыре года старше ее самой, но и она, как все в доме относилась к нему как к младшему – заботливо. Впрочем, теперь-то, когда старшие братья покинули родительское гнездо, Еуган взвалил на свои плечи столько забот, что вряд ли все это окупалось сестринской нежностью. Мадина была согласна с подругой, уверявшей, что на младшем брате держится родительский дом, что он в семье самый красивый, самый добрый, самый работящий, но слушала она все эти восхваления с тоской, зная наперед куда свернет разговор Сончка.

– До чего жалеет Еуган, что мы соседи. Иначе взял бы и заслал сватов. Причем соседство?! Кровного родства ведь нет! Боится, что ты заупрямишься. Вот и все валит на близкое соседство.

– Некрасиво жену возле ограды своего дома искать, – рассудительно говорила Мадина, пряча от Сончки глаза. – Соседка, пусть она и не родня, все же вроде родни.

– Скажи прямо: не люб Еуган, а то рассуждаешь, как старухи! – заводилась Сончка. – Говорят тебе: новое время на дворе. Или, может, кто другой тебе приглянулся? Неужели лучше, чем Еуган? Думай, что хочешь, но лучше Еугана не найдешь никого на свете!

– Еугану чистая девушка нужна! – вырвалось однажды у Мадины, измученной восхвалениями брата подругой.

– Уж чистоты тебе не занимать!

Мадина вдруг подумала: признайся она подруге о том, что приключилось с ней на побережье, то Сончка немедленно взялась бы вернуть ей утерянное. Будто бы это было возможно.

Неужели она нашла бы выход? Или все списала бы на новое время?

В конце лета Сончка вернулась в город, а Еуган как бы вестником от нее зачастил в дом, хотя забот ему хватало и не только по дому, но и по делам всего села. Теперь при новом времени выходило, что надо прислушиваться не только к словам почтенных старцев, но и к безусым юношам, особенно, если те юноши были из уездного центра присланы и носили маузеры на боку. Правда, Еугана никто ниоткуда не присылал и обходился он без маузера. Зато братья его были в силе, что, наверное, и заменяло оружие. Новой властью Еуган был поставлен мирить кровных врагов и растолковывать им: позор не в том, чтобы остаться неотомщенным, а в том, чтобы мстить.

Так уж выходило: когда бы к соседям не заглянул Еуган, он там заставал одну Мадину. Отец ее то на поле трудился, то близ гор расщеплял дранку, а то на каком-нибудь торжестве скромно пировал в конце шатра. Мать подолгу из дому не отлучалась, но Еуган, тем не менее, приходил в ее отсутствие и с порога, узнав, что Мадина одна дома, заявлял:

– Тороплюсь, заглянул узнать, как поживаешь?

Может, поэтому она не сразу догадалась, что он нарочно приходит тогда, когда надеется застать ее одну. Пусть совсем

ненадолго, чтобы не бросать тень на ее имя, но предпочитал побыть с ней наедине, хотя он говорил о том, что мог бы повторить при всем честном народе.

– Сончка тебе свой привет шлет! – и вручал ей от имени сестры то ли носовой платок, обшитый кружевом, то ли нитки для вышивания.

– Ранняя весна, – сообщал он. – Доброго жди урожая.

Или же:

– Скоро праздник рабочих и крестьян. Первое мая. Скачки устроим.

И только, прощаясь, случалось, говорил:

– Ликбез открыли в доме Басята Рацба. Приходи. А то позабудешь все, чему учила Сончка. Девушки и юноши не только грамоте учатся, потом и пляшут и поют… хоть бы раз пришла, всех перепляшешь, перепоешь.

– Куда мне, – отнекивалась Мадина. – Плясать не горазда, а петь и подавно не умею.

– Нет, – не соглашался он. – Я же знаю: у тебя все получается лучше, чем у других.

– Будешь в Акве, расскажи Сончке, как я по ней соскучилась! – переводила разговор на другое Мадина.

Так шло время. И однажды после долгого перерыва она увидела на одной свадьбе Шартына. Он, улучив момент, когда бдительная мать Мадины куда-то отлучилась, подошел к ней и коротко, как о давно обговоренном, сказал:

– Скоро дам о себе знать!

– Прежде поговорить надо! – вырвалось у нее.

– Через неделю! – посулил он и отошел.

Троюродные сестры Мадины, стоявшие неподалеку и не сводившие с них глаз, засыпали Мадину вопросами, о чем с ней толковал ладный по всем статьям молодой человек.

– Он что, прославленный танцор? Так прямо спину держит и так легко ступает?! – допытывалась младшая из сестриц.

«Странно, а мне он всегда казался сутулым. Когда же плечи расправил?» – удивилась про себя Мадина, а вслух сказала, что не знает танцор – не танцор, мол, у него было пору-

чение к Еугану, не застав его здесь, решил через нее передать весточку.

– Но ведь мать Еугана тоже здесь. Чего же в посредницы тебя выбрал, к матери друга подойти не мог?! – не унималась младшая. – Хи-хи, между двумя глазами селезенка посредничала…

Мысленно Мадина пожелала ей навек онеметь.

Ровно через неделю молоденькая дочь мельника Варлама пришла в дом с просьбой одолжить глиняный кувшин.

Мать нехотя отдала, не забыв посоветовать гончара, у которого за две мерки кукурузы можно получить превосходные глиняные кувшины, что прослужат не один год.

Девушка слушала, склонив голову к одному плечу и похихикивая.

«Часом не дурочка ли?» – допытывалась потом мать.

Мадина вышла проводить гостью. У ворот дочь мельника, все так же похихикивая (и впрямь, ровно дурочка) пожаловалась, что придется гнуться под тяжестью глиняного кувшина, хотя никакой надобности в нем нет. Кувшин она приплела, чтобы как-то оправдать свой приход. На самом же деле ей нужно передать привет Мадине от одного человека.

– Хорошо, что тебе не пришло в голову давильню одолжить! – насмешливо сказала Мадина. – Могла бы и без всякого повода придти, никто бы не удивился.

– Спустись к дубу, – посоветовала та. – И не к тому, что растет возле родника, а к тому, раскидистому, что в лощине близ дороги из Дранды. Ну да ты и сама, наверное, знаешь…

– Почему я должна знать?! – вспыхнула Мадина.

– Потому что о нем в нашем селе все знают, – с невинным видом ответила дочь мельника. – Помнишь, позапрошлым летом молнией ему верхушку расщепило?

– И зачем мне к нему спускаться? Клад, что ли, под ним зарыт?

Рассчитывала, что прозвучит шутливо, а вышло – раздраженно, нетерпеливо. Но смешливую дочь мельника не так-то просто было сбить с толку, вовсе она не была дурочкой.

– Может, клад найдешь, а может, что получше. Только поторопись, как бы не перехватили!

С тем она и ушла, унося с собой свою хитрую ухмылку и пустой кувшин, которого водрузила на плечо.

«Никуда не пойду! – глядя девчушке вслед, сказала себе твердо Мадина. – Только пищу молве дам».

Но она знала, что пойдет, хотя бы для того, чтобы Шартын, наконец, перестал мозолить ей глаза.

Мадина не переоделась, так и отправилась на встречу в домотканом густо-зеленом платье, в котором казалась заморышем, не подрумянила бледных щек, даже пышные блестящие волосы не пригладила ладонью.

Шартын стоял под дубом, прислоняясь спиной к стволу. Своего гнедого он привязал в сторонке к ольхе. Шартын шагнул навстречу и, хотя выражение его лица оставалось печально строгим, он вдруг, обернувшись к коню, вполголоса произнес «тише», будто опасался, что конь, оборвав узду, кинется на Мадину, точно шальная собака. Промашка эта и обнажила его растерянность и то, что он невесть почему побаивается Мадины.

– Извини, – произнес он тихо – побеспокоил тебя.

– И ты зря побеспокоился! – сказала Мадина.

– Так ли уж зря?

– Зря! – твердо повторила она. – Затем и пришла, чтобы сказать: зря!

– Прежде выслушай меня…

– Не надо, ничего не хочу слушать!

– Спасибо, что щадишь меня. Но, если я и наткнусь на отказ, позвав тебя в жены, я все равно хочу тебе сказать…

– Остановись, прошу!

Она подняла на него глаза. Как жаль, что он молодой, высокий ладный, еще и добрый. О доброте его она догадывалась с первой минуты встречи еще тогда на просеке. Только настолько ли он великодушен, чтобы принять ее такой, какая она есть? Куда было бы легче, будь он пожилым вдовцом с выводком детей или человеком, запятнавшим свою честь.

Тогда, возможно, достало бы у человека ума понять: с него хватит и такой жены, которая другому забавой была. Но в упрек Шартыну нечего было поставить! Такая вот беда!

– Почему не оставишь меня в покое? – спросила она в отчаянии.

– Тогда увидел тебя на просеке, весной, как сейчас весной. Помнишь? Я тогда с горемычным Тарашем был. – лицо его омрачилось, он отвел взгляд, умолк.

Она не торопила его. В сущности, ей незачем было его выслушивать – она и без того знала все, что он скажет, но стояла, слушала.

– С той весны я думал о тебе, – сказал Шартын погодя и с улыбкой добавил: – Ждал, когда подрастешь.

Она знала: это правда.

– Как видишь, подросла. И тебя успели опередить!

– Не может быть! Будь ты за кого-то просватана, я бы знал!

– И все же напрасны твои слова…

Тем не менее, она с такой жадностью слушала, будто запасалась его добротой впрок.

– Без тебя в моей жизни ладу не будет. Сам не пойму отчего, но это так.

Последние слова он произнес шутливо. Устыдился, видать, что слишком обнажил душу. Устыдился или остерегся? Не желал ей давать власти над собой? Будто власти своей она не ощущала с того мгновенья, как он сделал шаг ей навстречу. Только не хотела она пускать в ход свою власть. Не хотела или не верила в ее прочность? Что бы то ни было, Мадина в едином порыве выплеснула из себя признание, которое, она считала, никому никогда не удастся выпытать у нее.

– Я была женой другого.

– Нет! – отрезал он. – Это невозможно!

– Была!

– Напраслину на себя не возводи. Не люб, так и скажи прямо!

Но Мадина видела – он поверил. Может, сейчас осенило его, каким слепцом и глупцом он был в доме Кьясоу – не заметил, что под самим его носом творилось. А ведь и тогда он уже заглядывался на Мадину.

С какой лютой ненавистью она пристально смотрела на его растерянно лицо. Ничего он не понял, ничего до него не дошло. Догадка о Тараше и вовсе ему придти не могла. Он и мысли такой не допускал, верный стремянной! Тогда она все прояснила, с силой выговорив, почти выкрикнув:

– Женой Тараша была! В ту ночь! Перед его гибелью!

– Молчи, – попросил он. – Заклинаю тебя всем для тебя дорогим.

– И я просила тебя помолчать! И я!

Он заставил себя – все-таки доброта его далеко простиралась – слабо усмехнуться, поднять руку, то ли прощаясь, то ли прощая, и, повернувшись, побрел к коню.

Она, не разбирая дороги, разрывая коленями заросли повои и папоротника, пошла прочь.

– И я просила помолчать, – бормотала она. – И я просила…

Мадина опомнилась, оказавшись у ограды соседей. Там в глубине двора стоял отчий дом Сончки. Но подруги дома не застать, теперь в городе протекает ее беззаботная жизнь. Вот кто и красотой и умом и чистотой подошла бы Шартыну. Мадина заспешила к воротам, словно собралась без промедления отдать подруге Шартына, как возвращала забытые у нее вещички. Отдать и сказать: «Мне до него не дотянуться, а тебе он в самый раз!» Но когда Мадина вошла в соседский двор, из амацурты выглянул младший из братьев, она поняла, что именно он ей и нужен!

Еуган отчего-то смутился, видно из-за того, что она застала его на кухне.

– Заскочил вот перекусить, а мать на дальнем огороде с луком возится, не захотел ее отвлекать.

– Женись, будет, кому еду подавать, – сказала Мадина, улыбаясь одними губами.

Странно она ощущала себя: будто, стоя в сторонке, наблюдает за собой же, и каждый промах, некстати сказанное слово приводят в отчаяние, но не в силах ничего изменить.

– Скажи «да» мигом свадьбу сыграем, – улыбнулся Еуган, произнес как бы в шутку, но смотрел с затаенным ожиданием.

– Весной и без свадеб забот полон рот! – произнесла та, за которой Мадина наблюдала с отвращением. – Я весь огород прополола, вот какие мозоли, – она протянула ему обе руки ладонями вверх.

Ни одной девушке в округе не пришло бы в голову говорить о своих мозолях, а уж выставлять их напоказ – последнее дело. Так считала она. Но по-прежнему держала под его взглядом свои ладони. И тут пронзила ее догадка – она хочет, чтобы Еуган взял за руки и притянул к себе, а то и ввел бы в коморку, пристройку к амацурте… И пусть бы он потом смотрел бы на нее свысока, но жалея, как жалеют слабоумных – отстраненно – ласкал бы, пока не насытится. А, насытившись, говорил бы или о том, что на дубах нынче желудей не счесть – откормятся кабаны, или хвастал бы тем, что его бравые братья тычут людей в новую жизнь, как котят в молоко.

– Что с тобой? – встревожился Еуган. – На тебе лица нет!

– Меня сватают, – сообщила Мадина, наконец, опустив руки.

– Против твоей воли? – не сказал, рыкнул он. – Знай, без защиты не останешься. Воля твоя – одно. Воля родителей – другое. Новая власть не допустит. Скажи слово – завтра же увезу из дому.

– Из уважения к новой власти?

– Зачем ты так, Мадина? Все ведь понимаешь. Нехорошо, верно. Соседи мы, как бы одной семьей живем, но кровного родства ведь нет, позора нет…

– А если бы был позор, тогда что?

– В нашей семье, – начал он, – ты знаешь…

– Знаю! – перебила она. – За честь головы сложите, не пожалеете! Ни своих, ни чужих! – Она заторопилась к выходу, на пороге обернулась: – Я иду по своей охоте замуж! Иду!

Мадина отметила со злорадством, что он сник от ее слов. И побежала прочь, не чуя под собою ног.

С того дня до позднего лета Мадина не видела Еугана. Он перестал к ним заходить. Она же и носа не казала из дому. Мать тревожилась – что за беда с дочерью? – донимала вопросами:

– Часто зеваешь? Тянет на зевоту?

– Тянет, – нехотя отзывалась Мадина, она теперь постоянно ощущала себя усталой.

– Сглаз! – уверенно определяла мать и по совету гадалки дула на дочь, обносила вокруг ее головы щепотку соли и бросала в огонь.

Шартын не давал о себе знать. Мадина понимала: не могло быть иначе, надеяться на что-либо другое было бы безумием. Теперь она горько кляла себя, что не хватило ума сказать, не укорачивая меж ними расстояние: «Я пока не собираюсь замуж! Устрой свою судьбу с другой!» Он бы сообразил, что отвергнут, и ушел бы, неся в себе не презренье, не жалость к ней, а раненое самолюбие. А ей-то какое дело до чужого самолюбия? Но Мадина поступила так, как поступила, втайне уповая, очевидно, на его беспредельную доброту. Или что-то третье двигало ею? Она так никогда не сумела разобраться в тогдашнем своем состоянии.

Поздним летом ненадолго приехала Сончка и живо примяла траву, которой, казалось, уже начала зарастать тропа меж дворами соседей.

– Цветешь! Как до сих пор не умыкнули?! – говорила мать Мадины, не без зависти поглядывая на нарядную да веселую дочь соседей.

– Не посмеют! Новая власть за это карает!

– В сердце западешь человеку, не посмотрит на новую власть!

Сончка не смущалась, и было видно: она и с матерью подруги готова говорить, как со сверстницей, о женихах и моло-

дых своих заботах, хотя и видела – мать Мадины не одобряет подобной вольности.

– Без меня ты опять загрустила! – сказала Сончка, ласково поглядывая на Мадину. – Но я здесь и все теперь пойдет по-другому.

– Ты на посулы щедра!

Но самое удивительное – через неделю после приезда подруги все неожиданно переменилось. Шартын заслал сватов. Сончка, само собой, была ни при чем, но в ту пору Мадина любила ее так, как, наверное, никогда раньше, будто та и вправду привезла из Аквы прекрасную эту новость и преподнесла подруге вместе с нитками для вышивания и куском ткани на платье. Впервые Мадина почувствовала себя желанной и красивой – упоительное ощущение. И теперь она уже не считала, что Сончка подшучивает над ней, когда та уверяла, что в свадебном наряде подруга будет так хороша, что небесные светила, опасаясь соперничества с ней, не покажут своего лика, потому жди дождливой погоды.

Ну и до чего привередничала Мадина в тот месяц перед свадьбой! Будто ее подменили. Все было не по ней: и платье шили не то, хотя выкройку Сончка привезла из Аквы, и полотенца в приданое попали не такие, и простыни оторочили пожелтевшими от долгого лежания кружевами. Дошло до того, что отец через Сончку – напрямую о таких вещах меж отцом и дочерью не принято было говорить – передал: коль она передумала и не хочет выходить замуж, пусть откажет жениху. Добрый отец отважно соглашался заполучить вместо зятя врага лишь бы не неволить единственную дочь. Хорошо, что его слова не дошли до ушей жены, а то тысячу раз попрекнула бы тем, что в ее роду умеют держать данное слово, не то, что некоторые.

Ради отца Мадина утихомирилась было, но ненадолго. Однажды она полдня проплакала из-за того, что Сончке надо было возвращаться в Акву, хотя та ей сто раз пообещала, что к свадьбе непременно приедет и будет подружкой невесты.

Обильными слезами по пустякам Мадина как бы заговаривала судьбу, чтобы той не вздумалось отщипнуть кусочек от ее нежданного счастья или разом все порушить. До последнего часа дрожала невеста от страха – что-нибудь да случится и заступит ей дорогу в дом, куда ей путь был бы заказан, не будь Шартын столь великодушен или слаб…

Наконец настал назначенный день, вернее, склон дня, ведь тогда свадьбы играли ночами напролет. И к этому времени все образовалось. Сончка приехала, и дружки были на месте один лучше другого, и оседланные принаряженные кони нетерпеливо перебрали ногами у коновязи, и посланцы жениха не заставили себя ждать.

До дома жениха надо было добираться через три села, и Мадина тревожилась, как она одолеет путь верхом, ведь она не была привычна к седлу, как Сончка. Подруга подбадривала: «Не волнуйся! Если что, посажу тебя на холку своего коня!» Само собой, она шутила, виданное ли дело, чтобы невесту везли на холке коня, точно ребенка! Сончка старалась рассмешить подругу, знала, что невесте полагается покидать отчий дом, заливаясь горючими слезами, потому и смешила вопреки старым обычаям. Обычаи обычаями, но Мадину и впрямь как огнем опалило, когда она перешагнула порог отчего дома, и слезы хлынули по щекам. А ночь была теплой и небо звездным. Мадине, ехавшей под прозрачным черным платком, вдруг подумалось: стоит только сбросить платок и запрокинуть голову, как все звезды, точно перезревшие зернышки граната, посыплются на нее. И она осветит дорогу кортежу, сегодня снаряженному ради молодых. Она вновь подумала о великодушии Шартына, но неожиданно безграничная ее благодарность дала трещину. И Мадина, сама не понимая почему, стала судить о женихе с жалостью, как об увечном. А ведь это он пожалел ее, сам-то в жалости не нуждался. Но засела в ней жалость, перемешанная – хуже не придумаешь! – с презрением. Ничего с этим не могла поделать Мадина и в те двое суток, когда стояла под прозрачным платком, легкая, красивая, в парадной комнате, отведенной

для невесты, и все кто приходил посмотреть на нее, одарить подарками, как водится, возносили молодую до небес. Отчего-то презрение распространялось и на гостей, но их похвалы молодая воспринимала всерьез. Лихие наездники, хвастая своим умением и выучкой коней, въезжали в комнату невесты верхом. Юные девушки, находившиеся здесь же, в награду привязывали к уздечкам расшитые полотенца – дар от невесты – и подносили наездникам чарки с вином – благословить новобрачных. Звучал ачамгур, на котором Мадина так и не научилась пристойно играть.

А снаружи доносились гул голосов, выстрелы, песни и подбадривающие выкрики в адрес танцоров – свадьба гуляла широко. Даже Сончке не было дела до подруги. Она, хоть и была близ Мадины, но слишком занята новыми лицами, весельем, тем, что вокруг нее теснилась молодежь и всем она нравилась.

Наконец схлынул праздник, и наступило тревожное, как перед грозой, затишье. В слабо освещенную керосиновой лампой комнатушку – не в ту, где Мадина двое суток маялась! – а в другую с застеленной кроватью, куда ее провели, вошел Шартын. Он застыл на пороге. К чему-то прислушиваясь, мотнул головой и, прижав палец к губам, глянул на невесту, как бы вовлекая в заговор; плотно затворил за собой дверь, бесшумно – она и позже всегда удивлялась его легкой поступи любой женщине на зависть! – прошел в угол, где стоял узкий шкаф, и мгновение спустя грянул выстрел. Шартын выстрелил, выставив длинный ствол ружья в окно. Тотчас раздались смешки, топот бегущих ног и ответно, уже с расстояния, прогремел выстрел. Должно быть, юнцы обсели снаружи щелястую дощатую стену, пытаясь подсмотреть, подслушать, а больше додумать, как молодые проведут первую брачную ночь.

– Теперь мы одни, – сказал Шартын, подойдя к Мадине, и взял крепкими руками ее за плечи.

– Зачем выстрелил? Мог ненароком угодить в кого-нибудь.

– Патрон был холостой, – утешил он. – Я это предусмотрел и заранее заготовил холостой.

– Заранее многое становится тебе известным…

Мадина залилась жарким румянцем от неуклюжего своего намека. Но в глубине души шевелился страх: вдруг он забыл о давнишнем разговоре у дуба или и вправду решил, что она напраслину на себя возводит, хотя кому бы в голову пришло так себя позорить? Может, он и заслал сватов в расчете, что, если она ему не солгала, тогда и сватам откажет? Она же взяла и согласилась. И что же делать, если он завтра даст знать ее родне: «Забирайте свою покойницу, чужим объедкам не место в моем доме!» Его-то никто не упрекнет. Его-то поймут. Но кто поймет Мадину? «Знала бы свое место, – скажут. – На посмешище бы себя не выставляла!»

Мадина решилась, подняла на Шартына глаза. Ее поразило печальное выражение его лица. Но руки, сжимавшие ее плечи, были тверды, он все крепче и крепче прижимал к себе Мадину.

– Не бойся, – шепнул он. – Пусть в гробу ни чьей слезинки не удостоюсь, если обижу тебя. Хоть когда-нибудь обижу…

На следующий день Сончка изводила расспросами: расскажи да расскажи, как ночь прошла. Не могла, видать, смириться с тем, что подруга изведала ею неизведанное, в чем-то да опередила. Мадина корила подругу из-за беззастенчивых расспросов, уходила от ответов, и старалась скрыть ликование от ощущения одержанной победы. Кружило голову сознание своей власти. Так, должно быть, шалели в давние времена бедняки, нежданно-негаданно наткнувшись на клад. И кто знает: не посмеивались ли они над простодушием тех, кто так плохо припрятал свои сокровища, ведь иначе они не попали бы в чужие руки. А еще говорят: нынче кладов в землю не зарывает. Еще как зарывают!

Чем дольше отмалчивалась Мадина, тем ревнивее поглядывала на нее Сончка. Даже в ее осторожных похвалах Шартыну проскальзывала насмешка: и хорош собой, и умен, и

добр, да вот беда – не делу, как подобает мужчине, предан, а людям. Все ведь знают: он держал стремя Тараша.

– Одной матерью были вскормлены, потому держал! Не касайся того, что не знаешь!

Сончка удивлялась ее горячности. А чего удивляться?! В конце концов, даже самые спокойные реки раз в год выходят из берегов…

– Будь жив Тараш, еще неизвестно, где бы нынче оказался бы мой свежеиспеченный зять! – заводила подругу Сончка. – Но он везунчик! Высокородный молочный братец вовремя схлопотал пулю в лоб, а двоюродные братья Шартына в «Кьяразе» оказались, они его и прикрыли, да верную дорогу указали. Под счастливой звездой народился твой муж, что правда, то правда.

– Он, что, слепой?! В поводырях нуждается?!

– Только не убивай, ради бога, не хотела задеть твоей гордости! – в притворном испуге прикрыла руками голову Сончка и рассмеялась.

«Почему гордости, почему не сердца?» – спросила себя Мадина, а вслух было сказано:

– Что ты знаешь о его братьях – молочных, двоюродных, любых, – чтобы судить о них?

– Прости! – немедленно повинилась Сончка и тут же не удержалась, добавила: – Я и не предполагала, что ты уже успела полюбить мужнину родню до седьмого колена!

Мадина промолчала. Подруга стала ластиться к ней, очевидно, сожалея о сказанном. Внешне они помирились, но в душе Мадина нянчила свою обиду до самого отъезда Сончки и рассталась с ней с меньшей грустью, чем ожидала.

Тихая вдовая мать Шартына радушно приняла невестку, грех было Мадине жаловаться. Родных братьев и сестер у мужа не было, не приходилось себя ломать, приноравливаясь к чужим характерам. Только вот жили в том же селе, к счастью, не по соседству, двоюродные братья Шартына, те самые, с которыми, по словам Сончки, так несказанно ему повезло – собой заслонили, на нужную дорогу вывели. А ведь

свекровь рассказывала, как Шартын ездил в Тифлис, когда братцы его в том городе плотницкому ремеслу обучались, будто поближе никак нельзя было овладеть проклятым тем делом. Выручать их ездил. Что-то у братцев стряслось в том городе, нелады то ли с друзьями, то ли с властями. Мало ли что может осложнить жизнь молодых людей вдали от дома?! Шартын и кинулся на выручку. И выручил! Если и не обошлось без поддержки Тараша, свекровь о том умолчала. И кому с кем повезло еще неизвестно, чтобы там ни говорила быстрая на оценки Сончка. Одно ясно: по разным дорогам ходили братцы Шартына и Тараш. А Шартын хотел привести их к одной, хотя ему удалось бы разве что столкнуть на развилке. Но в ту пору, когда Мадина вошла хозяйкой в дом Шартына, его двоюродные, что ни день появлялись в доме, о молочном же брате мужа лишь свекровь вспоминала и расписывала невестке, каким он был отважным и крепким, а с ней с кормилицей, ласковым и почтительным. Как хотелось оборвать старуху: «Прикуси язык!» – а слушала с непроницаемым лицом. Шартын будто бы навек забыл имя молочного брата. Но частенько казалось Мадине: однажды он скажет: «Я на тебе женился только для того, чтобы ты сердце не держала на Тараша». Знала – дико так думать, а все равно думала.

Двоюродные братья Шартына… И старший, и младший.

Теперь, в глубокой старости. Мадина и не припомнит, кто из них был наречен Эрмахутом, кто – Маджаром. Они в ее памяти так и остались, как Старший и Младший. Худющие, черноглазые, быстрые – казалось, от них искры сыпались, такие они были стремительные в движениях и глотки драть мастера, никому в споре не уступали. Мадина на дух не переносила родичей мужа, но куда денешься – молодая невестка! – привечала, как могла. Они же отваживали Шартына от дома. И, пользуясь его добротой, – и впрямь руками глупца змею ловят! – обстряпывали свои дела. Так считала Мадина. Стоило сойтись братьям, так сразу и начинались разговоры: мол, надо поскорее открыть в селе школу, а за усадьбой Дыр-

мыджа землю расчистить и чай посадить. Железных лемехов для артели добились, пора о хомутах позаботиться и юнцов в самый раз уму-разуму учить. Можно подумать, сами они были ума палата или стариками, кому по возрасту надлежит сыпать советами. Прямо зуд какой-то им покою не давал – все было не по ним и все они брались переиначить. Мадина временами думала, что Сончка была бы подходящей женой кому-то из братьев, неважно кому – Старшему или Младшему. Но Сончку она любила, а родичей мужа – нет, и потому всерьез над этим не думала, хотя до смерти была бы рада, если подруга поселилась бы поблизости.

Двоюродные братья, приходя в дом, приводили с собой табун мужчин. А Мадина накрывай на стол, обноси снедью, вином и не забывай приветливо улыбаться.

Когда в дом заглядывали сыновья Шааба – одного из самых в селе уважаемых стариков – Бадра и Дыгу, братцы Шартына из кожи лезли вон, показывая, какие они сноровистые да удачливые: «Хох! Спалили контору, так мы за три дня председателю Георгу новую возвели, не чета сгоревшей!» Уж очень им хотелось заполучить в друзья Бадру. Дыгу-то им подпевал и с утра до вечера, устали не зная, землю ворочал. Да и как открыли ликбез, парень первым побежал грамоте учиться, будто с плугом и мотыгой по-писаному надо говорить. А Бадра оказался другим… неподатливым. Молча слушал он байки родичей Шартына, но когда братьев совсем уж заносило, лениво ронял:

– Долго в большом городе жили, вот, где собака зарыта. Привыкли к шуму, гаму, гулянкам. Теперь здешнюю тишину хотите перекричать. Заела скука, вот и куражитесь.

– Это нас-то скука заела? – горячились родичи Шартына. – Спозаранок ежедневно сто дел в нас вцепляется! Успевай их только раскидывать!

– Так и раскидывайте. Мало вам?

Они наперебой принимались ему растолковывать, что дело не в них, а в новом времени, которое ставит перед людьми такие задачи, что их можно решить только всем миром.

– Послушаешь вас, так вы мужчины хоть куда! Власть в руках держите, временем управляете. На деле – не с кем ноги в стремя вдеть, до Кубани добраться да отбить пару скакунов от чужих косяков.

– Разбой! – горячился Старший.

Младший, само собой, ему поддакивал. Новая власть разбоя не одобряла, во всяком случае, вот в таком старом раскладе.

– При прежней власти тоже меча в награду не дали бы, коль попадешься, но попадаться-то зачем?

– У твоего отца совета все село спрашивает, а ты говоришь не как сын своего отца, – корил Младший.

– Не каждый сын своего отца достоин – скромничал Бадра, но по нему видно было: цену он себе знает. И другие знали ему цену.

– Сколько в тебе силы, – льстил ему Старший. – Встал бы рядом с нами. Прислонились бы к тебе как к могучему дубу.

– Или бы погоняли как быка! – насмешливо уточнял Бадра. – Да только стоит шее почуять дышло, так и тянет веревки разметать да кого-нибудь забодать!

И впрямь он походил на мощного, одичавшего в лесу быка, способного любое дышло скинуть, любую привязь оборвать… Роста Бадра вымахал немалого, но был ладно сложен. Приятели подшучивали над ним: на твоей широченной груди и дюжине танцоров хватило бы места сплясать!» Он по обыкновению, за словом в карман не лез: «Хороший танцор – он и на ножке перевернутой рюмки спляшет, но вам откуда об этом знать!»

Бадра носил усы и короткую курчавую бороду, меж густой растительностью на лице пламенели, как гранат, крепкие губы. Он отличался опрятностью, умеренностью в еде и питье. Но если при случае и пил много, никогда не терял головы, только взгляд его тяжелел. Тяжелым взглядом он отыскивал Мадину, смотрел на нее, как на диковинную игрушку. И тогда ей казалось: в комнате слишком тесно.

Шартын и за столом в собственном доме сидел, как мало уважаемый гость, неприметно. Если бы горлопаны братья

попеременно не обращались к нему за подтверждением своих слов, будто после кивка Шартына или короткого: «Думаю, дело говорите» их разглагольствование обретало силу, так хозяина и вовсе не было бы слышно. А спозаранку, как бы накануне поздно ни засиделись гости, Шартын был на ногах. И всегда находил, чем заняться в хозяйстве, пока братцы не сманивали со двора. В случае чего, они его вперед выдвигали, а сами за его спиной хоронились. Разве не так случилось, когда столкнулись из-за земли с Дыдыном Рамба? Не братья горлопаны, а молчаливый Шартын взялся растолковать – земля, которую еще прадед Дыдына считал своей, теперь всем принадлежит и именно на ней решено построить школу. В других селах под школу заняты дома князей и азнауров, а здесь придется новую строить.

Говорят, Дыдын пришел в ярость:

– Я, что ли, виноват, если наш князь взорвал свой дом с проклятием покидая село? Почему он свой дом не захотел оставить голодранцам – спросите у него! А своей земли я не уступлю! Я – крестьянин, на меня наступать нельзя!

– В школу и твой сын пойдет, – увещевал Шартын мягко, в отличие от некоторых из присутствовавших, намекавших Дыдыну, что крестьянин крестьянину рознь.

Но кто бы что бы ни говорил – мягко или жестко – Дыдын насмерть стоял на своем. Человек он был горячий. А вдруг он пустил бы в ход кинжал, тогда что? Двоюродные братцы, небось, прикрылись бы тем, что новая власть кровной вражды не признает, и сгинул бы Шартын зазря, неотомщенным. Хорошо, что вовремя появился на спорной земле председатель Георг, который возвращался из уездного центра. Он разрешил дело миром, предложив для постройки школы другое место, правда, не столь просторное и живописное, как то, на что нацелились братья Шартына, но тоже подходящее. Во всяком случае, Младший и Старший со своими подручными чуть ли не на следующий день взялись за постройку школы. Можно подумать, они в своем хозяйстве все дела уже переделали! Ну, добро, у себя переделали, так отчего не наняться

к кому-нибудь строить дом?! Руки-то у них золотые, даром, что головы дурные… Могли и Шартыну, брату своему, которого всюду таскают с собой, как кисет на поясе, предложить: давай, тебе поставим новый дом! Правда, крытый черепицей дом Шартына все еще был хорош – добротный, из каштанового дерева, с широкими окнами, просторным крыльцом, но комнаты были невелики и кое-где, там, где доски были плохо подогнаны или рассохлись, в ненастье задувал ветер. А главный изъян заключался в том, что этот дом знал Тараша. В нем все еще стояла запертой комната, которую двенадцатилетний Тараш заколотил гвоздями. Наверное, уже тогда взгляд его отнимал все силы у других. Однажды в отсутствие свекрови Мадина взяла и, разбив руки в кровь, все-таки вытянула клещами проклятые ржавые гвозди и распахнула дверь. Она остановилась на пороге и у нее закружилась голова. Стояла и не решалась шагнуть в серую от паутины и пыли мертвую комнату. Она обеими руками ухватилась за косяк, настороженная, готовая встретить самую страшную беду, какая случается в сказках, когда работящие, но слишком любопытные молодицы проникают в комнаты, куда им вход был заказан. Она стояла долго, но ничего не произошло. Опомнившись, Мадина сбегала за водой, взяла в руки тряпку. К приходу свекрови она начисто вымыла пол, выскребла, повсюду вытерла пыль. Ветерок через настежь распахнутые окна влетал вовнутрь и уносил с собой нежилой запах.

Свекровь, застав невестку, в этой комнате, вцепилась ногтями в худые щеки, заплакала, сквозь слезы бормоча слова утешения:

– Ты не знала, ты ничего не знала!

– Не знала! – подтвердила Мадина.

Свекровь повернула назад, так и не пройдя дальше порога комнаты Тараша, и заторопилась к амацурте, очевидно, с намерением выплакаться в одиночку. Про невысокую сухонькую эту женщину, которую казалось, ветром несет, когда она семенила по двору, говорили: если случалось умным людям придти к нынче покойному ее мужу, потол-

ковать о том, о сем, она простодушно предлагала: «Коль я вам мешаю, могу и в сарае посидеть». Посмеивались над ней, верно, но признавали ее доброту, терпеливость, уступчивость…

Вот и тогда все обошлось короткими причитаниями и слезами в укромном уголочке, свекровь не поставила в упрек невестке ее своеволия, уступила молодой хозяйке, пусть все переиначит по-своему. Но переиначить не удавалось. Душа Мадины не лежала к этому дому, вот что! Она желала жить в новом, из которого не надо было изгонять чью бы то ни было тень. Возьмись братья строить – денег с Шартына не потребовали бы, а леса вокруг – сколько хочешь – задарма бери, и лесопилка неподалеку имелась. Только Шартыну не до того было. Теперь он, похоже, взялся стремя всего села держать. Не успели его расторопные братцы школу под крышу подвести, как Шартын отправился в уезд хлопотать об учителе. И хлопотал – Мадина в ярость пришла, как узнала, – о горбатом родиче Тараша – Коциа, единственному, оставшемуся жить в селе, потому, верно, что толку от него нигде больше не было. Сами родичи бросили его здесь, как бросает пастух, спускаясь с гор, увечную скотину, правда, бормоча, что оставляет в дар горному божеству. Как только у Шартына повернулся язык говорить доброе о ком-нибудь из родичей Тараша? Другим-то невдомек, но он ведь знает, что связано с Тарашем? Или он из тех людей, кто способен есть мамалыгу пополам с грязью? Мадина ни словом не обмолвилась мужу, что до нее дошли слухи об его хлопотах, но гнев в ней не утихал. Позже выяснилось – ни одну ее он разгневал. Имя Коциа кому-то в уездном центре сильно не пришлось по душе. Шартын же не отступал – он голову готов был сложить там, где и шапки снимать не стоило.

В тот день Шартын вернулся домой раньше обычного. Не заглянув, как делал обычно, в амацурту, он легким шагом поднялся в дом и укрылся в нем. Когда Мадина вошла следом, муж лежал на деревянном топчане, заложив за голову руки, и смотрел в потолок.

– Зачем выламывать дышло, когда просто-напросто быков надо выпрячь? – спросил он, скосив на жену глаза.

«О чем он? Ополоумел, что ли?» – встревожилась Мадина.

Она озадаченно смотрела на него. Он слабо улыбнулся и прикрыл глаза.

– Как себя чувствуешь? – спросил, не открывая глаз. – Тяжести не поднимай и много забот на себя не бери…

Она в ту пору ждала ребенка, и вспомнилось ей, как однажды ночью он, прижавшись лбом к ее плечу, сказал приглушенно: «Не разродишься – пущу себе пулю в лоб!» И то вспомнилось, как подумала: «Бабье в нем сердце, слабое!»

Мадина пожалела его, худого, усталого, лежавшего на жестких досках топчана, подсунув под голову широкие ладони. Тело у него было выносливое, жилистое, и не подумаешь, что есть в нем червоточинка. Она тихо уселась возле мужа. Он высвободил одну руку из-под головы, не открывая глаз, нащупал ее ладонь, и произнес ласково:

– Бедняжка.

Она передернула плечами:

– С чего это бедняжка? Не сирота, не вдова!

Во дворе залилась лаем собака, раздался голос свекрови ее отгонявшей, и тотчас она вежливо приветствовала кого-то, радушно предлагая спешиться. Когда Мадина, опережая рывком поднявшегося со своего ложа Шартына, вышла на крыльцо, то обнаружила посреди двора старшего брата Сончки Маца, одетого в милицейскую форму. Он стоял, держа за уздечку своего коня. Позади Маца двое молодых людей в форменной одежде тоже держали под уздцы верховых лошадей, точно не доверяли хозяйской коновязи.

«Застолье затянется до полуночи!» – досадливо подумала Мадина, но с крыльца сбежала с приветливой улыбкой, и по-родственному поцеловав в плечо Маца, стала расспрашивать о здоровье родни. Брат подруги отвечал односложно, а когда подошел Шартын, сказал грубовато:

– Мадина, у нас дело к хозяину!

Он намекал, что она сейчас делу помеха. Но Мадина предпочла не понять Маца и осталась стоять возле него. Но и он не стал отводить в сторону хозяина дома или понижать голос, прогремел на весь двор:

– Что это значит, Шартын? Никак наводнение тебя подхватило? И куда тебя несет? Из-за горбуна Коциа людей в уезде обижаешь! Глотки им готов рвать! Никак вы школу поставили, чтобы Коциа не умер с голоду?!

– Школу поставили детей учить, – негромко и неторопливо ответил Шартын.

– Так и учите! Кроме Коциа уж их некому учить?

– Коциа самое высокое, какое только есть, образование получил.

– И впрямь: сильнее кошки зверя нет! Привыкли считать, что в их роду все – ума палата, даже горбатые, хромые или шелудивые!

– Дело не в том, какого рода Коциа… – начал было Шартын.

Но Мац живо его перебил:

– Для тебя не в том, для нас в том! Чему Коциа наших детей научит? Что он в нашем деле понимает?

– Детей грамоте надо обучать, счету…Книжки читать, писать.

– А что писать? А что читать? В чью пользу считать? У тебя, Шартын, у самого, скажу тебе, не совсем чистый хвост…

– Ну да, рыльце в пушку, – вдруг басом подтвердил один из молодых людей, пожаловавших с Мацем.

Начальник и тот удивился, через плечо глянул на него недоуменно. Тот, переступив с ноги на ногу, что-то невнятно пробормотал. А Шартын и вовсе вроде не услышал подпевалу, вел свое:

– Я говорил, и буду говорить: лучшего учителя, чем Коциа, нам не найти. Да и живет неподалеку.

– Опять он о нем! – вскричал Мац. – Я с тобой, как с человеком, а ты… К слову, ты в городе на людей набросился. Не думай, что это с рук сойдет! Учреждение есть учреждение!

Шартын усмехнулся:

– Ты, впрямь, как об иконе!

Вот тут-то терпение Маца и лопнуло. Мадина это сразу поняла. Теперь он не хотел ни с чем считаться, с ее присутствием тоже. Обижал его Шартын, обижал, усмешками, никчемным упрямством, в конце концов, неуважением не только как к человеку, но и как к представителю власти. Не гостем сегодня Мац спешился в этом дворе, начальником!

– Раз так, седлай коня, поехали, там разберемся!

А сам насмешливо, может, даже свысока глянул на Шартына: посмотрим, мол, что теперь запоешь.

Но тот немедля вынес седло, в мгновенье ока оседлал коня и первым – Мац наверняка стращал его, не думал никуда везти – вскочил на спину своего гнедого.

Мать Шартына приглушенно вскрикнула, а Мадина – к Мацу:

– Что ты творишь, Мац? Какая пуля мозги тебе вышибла?! Никак я тебе чужая?!

Мац покосился на своих подчиненных и Мадина поняла: ему не по душе, что она о родстве упоминает при чужих. А родства-то и не было! Кровного!

– Уймись, Мадина, – проговорил он негромко, не глядя на нее.

Она вовсе не собиралась последовать его совету, но тут Шартын с непривычной строгостью прикрикнул на жену:

– Иди в дом, женщина!

И откуда у него вдруг властный голос прорезался?

Когда выезжали со двора, Мац, наклоняясь к своим парням, что-то им сказал, и за воротами они так перестроились, что Шартын оказался между ними. Так и двинулись они по вытоптанному скотиной лугу к проселку, где без особой нужды троим всадникам незачем было ехать бок о бок в тесноте. Но, видать, нужда такая появилась. У Маца.

Мать Шартына стояла у деревянных низких ворот, смотрела на неровный луг в коровьих лепешках, обрамленный

с двух сторон чахлыми, объеденными скотиной кустарниками да зарослями ежевики. Дальше за ежевикой поднимались заросшие папоротником холмы, не давая простора взгляду. Но, если смотреть вкось через луг, то видна была часть проселочной дороги, уводившей вдоль холмов через реку и лес к железной дороге. Затем она, все время забирая вправо, выходила на мощеную дорогу к центру уезда. Мать не сводила с проселка глаз, словно рассчитывала, что сын, не проехав и версты, повернет назад, чтобы вознаградить ожидание матери.

– Мне, мне… – бормотала она, щипля себя за сухонькие руки. – Одной мне пошли, Господи, все напасти.

– Идемте в дом, мама, – позвала Мадина, с усилием преодолевая, невесть откуда нахлынувшее отвращение. – Не съедят они его там.

Старуха покорно заковыляла к амацурте, уселась у очага и сидела допоздна, сжимая на коленях худые пальцы, пока возле ворот не послышался топот копыт. Тут старуха выказала редкую прыть. Мадина и подняться не успела, а свекровь уже шагнула за порог и крикнула невестке:

– Огня давай!

Мадина, высоко подняв коптилку, пошла к воротам. За ней неслышно, будто дымкой от огня семенила свекровь.

– Еуган? – удивилась Мадина, узнав спешившегося всадника.

– Сегодня, похоже, вся наша семья решила у вас побывать! – с усмешкой сказал он, входя во двор.

Коня он оставил за воротами.

Мадина не решилась по-родственному, как его старшего брата, поцеловать Еугана.

– Чего же коня не вводишь, не доверяешь нам? – грубовато проговорила она, скрывая свою растерянность.

– Тороплюсь, – мягко пояснил он. – Был здесь неподалеку, сказали мне кое-что, хотел узнать, так ли это?

– Так! – холодно подтвердила Мадина, а свекровь зачастила:

– Дорогой мой, да падут твои горести на мою голову, скажи, есть надежда? Разберутся толком? Шартын зла никому не желает. Спроси любого, тебе скажут.

– Зачем спрашивать? Я знаю, – произнес Еуган все так же мягко. – Разберутся, куда денутся. Завтра, думаю, Шартын будет дома.

Еуган поверх плеча суетившейся возле него старухи глянул на Мадину.

Она все так же высоко вровень с головой держала коптилку. Лицо Еугана оставалось в тени, но Мадина чувствовала его долгий взгляд.

– Не знаю, что на Маца нашло! – виновато заметил он. – Отправлюсь сейчас к нему, обо всем узнаю. Не похоже на него вот так вот рубить с плеча!

Мадина понимала – выгораживает брата. Ведь сама однажды слышала, как Еуган и средний брат выговаривали старшему: «Слишком круто берешь. Не бурелом после себя надо оставлять в лесу, а тропу!» Тогда-то Мадина про себя посмеялась над важным видом, с каким они увещевали старшего. Зря, выходит, посмеялась.

– Не все ли равно кому ребятишкам буквы показывать, да пропади пропадом эта школа, – в досаде сказала она.

– Обойдется, – заверил Еуган. – Разберутся.

С тем он и ускакал. На следующий день к вечеру вернулся Шартын, бодренько заявил:

– Додумались, наконец, какой учитель нужен школе. Правда была на моей стороне.

О том же толковали явившиеся вместе с ним распаренные братцы. Они тоже, оказывается, помчались в уездный город отбивать Шартына. Можно подумать, стал бы их Мац слушать, если бы не Еуган.

Коциа не взяли учителем в школу, как там ни хорохорились Шартын и его безмозглые братцы. Из города прислали учительницу.

Мадина всю жизнь была уверена: это она тогда спасла Шартына. Ради нее постарался Еуган, совершил поступок,

достойный родного брата. Родня Мадины была так признательна ему, что место для обиды на Маца не осталось. Так вышло, будто Еуган спас Шартына из когтей чудища без роду и племени. Строгая мать Мадины теперь благоволила и к Сончке. Узнав, что та собирается поехать к подруге погостить, прислала мужа с наказом, чтобы дочь непременно подарила Сончке золотое колечко на память. Отец, улучив время, когда ни старшей хозяйки, ни зятя не было поблизости, смущаясь, передал Мадине наказ матери, будто речь шла о каком-то постыдном предложении.

Мадину обрадовала весть о скором приезде подруги. Но к радости примешалась и досада. Она со дня на день ждала ребенка, и ей не хотелось, чтобы Сончка увидела ее, располневшую, подурневшую, пребывающую не то чтобы в страхе – она еще не знала родовых мук и всерьез их не боялась – а в каком-то сонном оцепенении. В ту пору, как никогда прежде, сердило ее мельтешение братцев Шартына, выводил из себя тревожный взгляд мужа (хорошо, что у него хватило ума больше не повторять, что покончит собой, если она умрет при родах). Но больше всех раздражал Мадину Бадра. До чего она злилась, когда он входил в дом, головой едва притолоки не касаясь, здоровый, крепкий и как бы сразу оттеснял в сторону других мужчин. Все мешало ей! А вдруг и Сончка – сама Сончка! – станет в тягость?!

Однако подруга в намеченный срок не смогла приехать и появилась тогда, когда первенцу Мадины Хаджарату уже целый месяц исполнился. И семья успела привыкнуть к тому, что смуглый мальчик, причмокивая, покорно лежит в люльке и, если не голоден, молчит, не то, что иные младенцы, которые криком кричат, не разбирая ни дня, ни ночи.

Как Мадина гордилась подругой перед мужем и его родичами, перед соседями. Сзывая в дом сверстниц и сверстников Сончки, она как бы напоказ выставляла и красоту подруги, и ее городские наряды – любуйтесь, где еще такое увидите! В те дни Мадина и вовсе свысока поглядывала на двоюродных братьев Шартына, робевших перед красивой

и уверенной в себе гостьей, хотя и не утративших обычной живости, на Дыгуа, младшего брата Бадры, который мало принимал участия в разговорах, но глаз с Сончки не сводил. Один Бадра не изменял своим обычным повадкам. Похоже, его не только Сончка, но и златовласая дочь Ажвейпшаа – щедрого бога охоты – и та не смогла бы сбить с толку. Еще Шартын распространял свою печаль и внимание на подругу жены не больше, чем на других людей.

Сама Мадина и та слегка, правда, тщательно это скрывая, робела перед подругой, особенно, когда она небрежными шутками вгоняла в краску безответного Дуга или же давала советы родичам Шартына.

– Комсомольские ячейки лучше укреплять молодежью, которая в союзе «Спартак» состояла, – посоветовала как-то Сончка. – Они закалены в борьбе!

Неожиданно для всех Шартын заметил:

– «Спартак» был распущен еще в октябре девятнадцатого года. Бывшие спартаковцы уже и сами, небось, молодых поучают, во всяком случае, те, кому удалось заставить к себе прислушиваться.

Сончка мигом сообразила, что дала маху, вспыхнула и произнесла со смешком:

– Вот уж не думала, что мой зять о «Спартаке» наслышан. Ведь он в ту пору совсем другим людям стремя держал!

– Достойным людям! – сказал на то Бадра веско и так как в тот вечер застолье возглавлял он, грузно поднялся с места со стаканом вина – Я хочу выпить за родство – кровное, молочное – на верности которому стоит род!

Все за столом поддержали тамаду, только Дыгу исподтишка кинул виноватый взгляд на Сончку. «Совсем голову потерял, юнец!» – подумала Мадина о нем без всякого сочувствия, так как сердилась на подругу. Могла бы она удержаться от обращения свысока к человеку, в чьем доме Мадина была хозяйкой.

Но свою обиду она не обнаружила и когда на следующий день осталась наедине с подругой – решила: не к лицу хозяй-

ке пенять гостье из-за неловкого слова да Шартын не нуждался в заступничестве, в его поддержку уже было произнесено – спасибо Бадре! – твердое мужское слово. Они сидели у люльки со спящим Хаджаратом. Мадина перед тем кормила младенца грудью и потому устроилась на высоком стуле впритык к зыбке. А Сончка сидела на низкой скамье, касаясь спиной колен Мадины, сложив на коленях лодочкой ладони, будто собралась нагнуться и зачерпнуть из родника студеную воду, хотя где было взяться роднику посреди дома?

Сончка неожиданно спросила отчего-то дрогнувшим голосом:

– Знаешь, как меня зовут?

Мадина сразу почуяла: неспроста спросила, да и только нашлась, что сказать:

– Если что и знаю твердо, то твое имя.

– Не зна-а-а-ешь… – ласково протянула Сончка. – На самом деле меня зовут Софьей! – Она отодвинулась вместе со скамьей и, повернувшись, села лицом к Мадине. – Нет такого имени – Сончка!

– Как нет?

– Нет и все! От Софьи ласкательное – Сонечка. Со-не-чка! Отец услышал, как племянницу плешивого Шаудада звали Сонечкой, услышал да не дослышал! Показалось: Сончка. Поспешили меня так наречь. Отец гордился, верно, будто скакуна из княжеской конюшни увел!

– Здесь неподалеку Ларба Луман живет. Его дочку тоже кличут Сончкой! – отчего-то насторожившись, возразила Мадина. – По-твоему, Луман тоже перепутал?

– Коль мой отец ослышался, так и Луман мог ослышаться!

– Ну, раз всех путаниками считаешь… – развела руками Мадина и поднялась на ноги. – Ничего не поделаешь.

Подруга не вставая, обхватила колени подруги руками, снизу вверх посмотрела сияющими глазами:

– За того замуж пойду, кто меня Сонечкой станет звать.

– Разве в том дело? Пусть хоть мукомолкой кличет, да сам будет с именем, достойным уважения.

Подруга покраснела, но глаз не опустила.

– Не в том, – согласилась со смешком. – Дело совсем не в другом… Мои с ума сойдут, знаю. Но ты-то от меня не отвернешься, верно?

– Что задумала? – всерьез встревожилась Мадина. – Для братьев ты, как для великих Нартов их единственная сестра Гунда! Больше своей жизни тобой дорожат, тебе обидеть братьев – грех!

– Раз больше жизнью дорожат, так и не отвернутся. А если отвернутся, значит, не больно им дорога!

– Как же его самого зовут, того, кто тебя Сонечкой называет. Как фамилия? Чей сын?

– Вот-вот! Ты еще про его деда спроси! А мне тебе сказать нечего!

«Шартына и в грош не ставит – подумала Мадина – а сама замуж собралась за такого, чье имя стыдится назвать». Невесть откуда взявшееся торжествующее нахлынуло на Мадину. Но длилось оно не дольше мгновения и было тут же вытеснено тревогой из-за подруги, с непривычной растерянностью и болью смотревшей на нее.

– Кто же он, Сончка?

– Не на нашей земле он родился, и не нашей земле рос. И прадедов кости далеко отсюда покоятся.

– За чужака собралась замуж? – у Мадины перехватило дыханье. – Нет Сончка, нет! С ума не сходи! О матери подумай, о братьях!

– В Акве другие порядки! – строптиво сказала Сончка. – Там никто в одночасье не поседеет от такой вести.

– Ты слишком полагаешься на новые порядки! – резко возразила Мадина. – Наступать на близких ни при каком порядке не положено.

– А на себя наступать положено?

– Не о себе, о других подумай!

– Никто из-за этого в кабалу не попадет!

Сончка вскочила и быстрым шагом вышла из комнаты. И потом она решительно пересекала любые попытки Мадины

вернуться к этому разговору. Тогда Мадина решила взяться за дело с другого конца и принялась к месту и не к месту нахваливать Дыгу. Она сама понимала тщетность своих стараний, словно собралась отбить от косяка дикую кобылицу, приманивая миской с кукурузой. Но и сидеть сложа руки не могла.

– Я – птица высокого полета, орлица! – смеялась Сончка. – Вашему парню мою высоту не набрать!

– Такими, как Дыгу, не бросаются! – сердилась Мадина. – И фамилии он хорошей, и статью вышел, и умом не обделен.

– Если уж выбирать из его семьи, так я на старшем братце остановилась бы! – лукаво поглядывая на подругу, сказала Сончка. – Силы в нем – и внутренней и внешней – дюжине мужчин на зависть! Да на что мне его удаль? Мне по душе те, которые не силищей играют, а мозгами ворочают! К тому же Бадра о другой вздыхает.

– О ком это он вздыхает? – невольно раздражаясь, спросила Мадина. – Мы тут живем, и ничего не знаем, ты на две недели приехала и уже обо всем тебе известно!

– Будто бы тебе невдомек! – усмехнулась Мадина. – Я еще на свадьбе приметила. Как вошел Бадра, как увидел тебя, так аж лицом посерел, думала, грохнется сейчас без чувств, провалимся все вниз, настил не выдержит. Тогда, правда, решила: перебрал с выпивкой, потому такой чувствительный. Только он и трезвый, похоже, потерял из-за тебя голову.

– Думай о чем говоришь! Я тебе не девчушка-вертихвостка. Мать! Жена!

– Бадре какое дело? Он своего не упустит!

– Сейчас у тебя одно на уме! – съязвила Мадина. – Вот всякие небылицы и мерещатся!

Сказала так, а у самой дыхание перехватило, с бьющимся сердцем ждала от подруги продолжения, страшилась подтверждений сказанному, и одновременно хотелось, чтобы они прозвучали. Такая вот неразбериха творилась в голове у Мадины. Но на этот раз Сончка повела себя неожиданно уступчиво, пробормотала:

– Верно, болтаю почем зря… – и добавила с присущей ей прямотой. – Это я – в отместку! Зачем в сваху играешь?! Разве ты не понимаешь – будь намеченный тобой жених во сто крат краше, я все равно сказала бы нет.

– Прогадаешь!

– Мы не на торжище!

– Лучше головой в омут?

– Я все решила, Мадина! Бесповоротно!

Через день она уехала. Провожая подругу, Мадина просила не забывать ее, почаще навещать, но ощущение было такое, будто они расстаются надолго, если не навсегда. Она едва удержалась, чтобы с плачем не кинуться на шею Сончке, моля еще много раз подумать, прежде чем совершить задуманный шаг.

С отъездом Сончки в доме приуныли. Свекровь Мадины, не раз с удивлением и осуждением поглядывавшая на подругу невестки, когда та затевала споры с мужчинами, норовя последнее слово оставить за собой, и та вдруг сказала:

– Говорливая больно Сончка. Но без нее света в доме вроде поубавилось.

Мадина удивилась – недалекая свекровь точно выразила то, что она сама чувствовала.

Теперь реже собирались гости в доме. И родичи Шартына не каждый день мозолили глаза, может, щадили молодую хозяйку, крутившуюся по дому, да и ребенок, хоть и не крикун, времени отнимал много. А, может, они, наконец, почуяли неприязнь Мадины. Да и самого хозяина непросто было застать дома – окончательно пристегнули его к себе Старший и Младший. Шартын и десяток слов кряду не мог произнести, не упомянув своих родичей. Даже по ночам, после радости, что дарила мужу Мадина, он говорил не о ней, или на худой конец, о семье, о сыне – опять о братьях, об их делах, заботах. Видно, такой уж он уродился – без вожака и шагу не мог ступить. Непонятно, отчего он и в жены какую-нибудь вдовицу не позвал, к кому в свое время кто-то дорогу проложил. «А чем я лучше вдовицы была?» – подумала однажды Мадина,

лежа без сна рядом с мужем. И в ярости закусила губу. Еще думала она: хорошенькое дело быть женой человека, который каждой дырке затычка!

Вскоре в перелеске за холмом встретился ей Бадра.

– Все знаешь, Мадина! – сказал он. – Чую, знаешь! Не моя вина, если впервые тебя увидел под свадебным платком. Уж такая моя звезда. Увидел – земля ушла из-под ног.

– Смеешься надо мной, – неуверенно запротестовала Мадина, а сама лукаво глянула на него.

Он притянул ее к себе. Мадина близко увидела блеск диковатых глаз и, упершись руками об его могучую грудь, вырвалась – или сам отпустил? – коснулась ладонью его щеки, что должно обозначить пощечину, а потом сраженная собственной храбростью, с возмущенным: «Бесстыжий!» – упала ему на руки. Он, грубо примяв ей плечи, стал целовать в лицо, шею. Жадность, с какой он целовал, отрезвила Мадину. Она оттолкнула его и кинулась бежать.

– Никуда от меня не денешься! – бросил Бадра вслед, как пригрозил.

О случившемся она никому не сказала. Даже Сончке, навестившей ее следующим летом, ни словом не обмолвилась. В тот короткий приезд подруга показалась притихшей, осунувшейся, хотя к ней, похудевшей, городские наряды шли как нельзя лучше. Темные густые волосы, собранные на затылке в сложный узел оттеняли белизну лица, а пухлые губы были по-прежнему свежи. Но нет-нет, да проглядывавшая в ее облике растерянность как бы принижала ее красоту. Мадина диву давалась: что сталось с Сончкой? Догадывалась, конечно, здесь без чужака, о ком говорилось прошлым летом, не обошлось. Неужто ему удалось ее укротить? Еще не жена и уже укротил? Что же будет, когда Сончка выйдет замуж? Ведь за нее и заступиться-то станет некому. «Может, она еще передумает? – с надеждой подумала Мадина. – Может, уже и передумала, да страшится свое слово назад взять и вернуть жениху его подарки, если и у чужаков принято обмениваться подарками при помолвке». Ей очень хотелось,

чтобы Сончка рассказала о том, что происходит у нее с безымянным для подруги чужаком, да не решалась выспрашивать – не трогай лиха, пока тихо.

Через день она отважилась пойти окольными путями – и вновь всплыло имя Дыгуа. Сончка вскинула голову, с прежней дерзостью глянула на подругу, усмехнулась:

– Лучшепризнайся, Бадра тебе уже открылся?!

– Он не посмеет мне худого слова сказать! Сколько хлеба-соли в нашем доме ел!

–Так разве, говорю, худое слово?

– Ничего он не посмеет сказать!

– Надо же и ему не хватает духу, как и мне! А с виду мы такие отважные.

– Не обо мне речь! – строго остановила ее Мадина. – У меня давно все налажено, сворачивать вроде некуда, да и ни к чему!

В это мгновенье она остро позавидовала свободе Сончки.

– Погоди, – посулила подруга. – Наберется Бадра решимости, и я наберусь, увидишь, что будет!

– И смотреть не стану! – как бы в шутливом ужасе замахала на нее руками Мадина, но страх-то был неподдельный, потому торопливо перевела разговор на маленького сына.

Бадра по-прежнему бывал в доме. Когда он приходил, у Мадины все из рук валилось. Если он и не смотрел на нее, все равно чудилось: смотрит. С десяток изъянов она вдруг обнаруживала в себе: то волосы выбились из косы, то передник скособочился, то на рукаве оторвалась пуговица. Еще Мадина сгорала со стыда, если при Бадре сын цеплялся за подол или карабкался на руки. Она тут же отсылала мальчика к бабушке. Свекрови это было только в радость. Она всегда находила время поиграть с внуком в камешки или смастерить из витой бечевки и грецкого ореха «жучка». «Умом они друг от друга недалеко ушли, потому игры и забавляют их на равных» – насмешливо определяла Мадина, наблюдая за свекровью и сыном.

Шартын в последнее время превратился и вовсе в молчуна и уже поздними вечерами не донимал жену разговорами о своих бравых братьях, уразумел, наверное, что жене зряшные разговоры в тягость. Днем же не до разговоров было. Шартын, здесь его не в чем упрекнуть, хозяйства своего не запускал, сколько бы сторонних забот не наваливали на него братцы. И жену он не выгонял, как некоторые мужья, на кукурузное поле. Давай, мол, вместе, дружно – велика, однако, честь! – потолкуем с сорняками. Деревенские молодицы завидовали Мадине: глядите, ни разу в поле спину не гнула, вязанки хворосту из лесу не принесла, за коровами уход и тот на муже лежит, как только со скуки она не помирает.

Шартын и хлев вычищал, и корм в ясли бросал, и коров спозаранок в лес выгонял. За дойной коровой мать ухаживала. Мадина уверяла, что боится круторогих пегих коров в мужнином хозяйстве, мол, диковатая порода, она к таким не привыкла. В селе судачили: ладони Мадины шерстью заросли от безделья. До ушей Шартына, видно, доходили пересуды о жене, но он молчал. В ту пору уже из него каждое слово приходилось вытягивать клещом.

О второй стычке мужа с Мацем Мадина и вовсе от сторонних людей узнала, хотя о том, что дочь вдовы Хабибы вертихвостку Нуцу умыкнули, она прослышала раньше всех. Бадра принес эту новость. Он с хворостиной в руке – искал быков – остановился возле ворот, завидев во дворе свекровь Мадины, а сам рыскал глазами – выглядывал молодую хозяйку. Мадина это еще из окна приметила, могла бы и остаться на месте, но не удержалась, вышла, кликнула завтракать сына, крутившегося по обыкновению возле бабушки. Но тотчас забыла и о мальчике, и о завтраке, ноги сами понесли к воротам. На Мадине было новое, пусть и домашнее, синее платье – пусть полюбуется! – и волосы она заколола иначе, чем обычно, высоко на темени уложила.

Бадра коротко поздоровался с ней и возобновил разговор со старухой, будто и впрямь это его занимало. Если кто и любопытничал, так свекровь.

– Ну как умыкают? Обыкновенно! В бурку завернул – и в горы! – рассказывал Бадра. – Там неподалеку от пещеры родня матери парня живет. Хабиба властям пошла жаловаться, – он усмехнулся – одно слово: женский ум! Как бы молодых в пещеру не загнали. Заблудятся еще!

– Дочь вышла замуж, зачем в контору бежать?! – сказала Мадина, чтобы он, наконец, удосужился на нее посмотреть еще разок.

– Главное, решиться завернуть в бурку, потом сам черт не достанет! – Он лукаво глянул на нее. – Куда председателю Георгу!

Но Бадра, похоже, недооценил Георга. Тот дал знать в центр уезда, милицию вызвал. И вытянул Мац, точно щенка из-под теплого брюха матери, похитителя из дома, в котором с невестой укрылся, даже близость пещеры не помогла. Говорили, согласно новым порядкам, судить парня будут, говорили: сошлют в чужие края, до смерти родной земли и одним глазком не увидит. А Шартын взял да и вмешался. Он в добрых отношениях с родичами парня был, считал себя обязанным им. Мадина так и не узнала – за какую такую услугу?! Может, никакой услуги и не было! Зато дошло до Мадины стороной: Шартын не раз и не два говорил с дочерью Хабибы. О чем говорил неизвестно – кому в голову придет назвать его краснобаем? – но отчего-то проняло Нуцу, и она отправилась с младшим братишкой и Шартыном к начальнику милиции. Она кинулась тому в ноги, освободи, мол, арестанта, муж он мне, по доброй воле за него пошла. Он вроде бы и умыкнул, но для того, чтобы будущая теща не изводила дочь попреками – «не для сына батрака тебя растила».

Мац, говорят, взбеленился:

– Выходит, я за невинным человеком по горам гонялся? Отчего вначале ты одно говорила, теперь другое – поешь? Часом, родня арестанта не пригрозила тебе, мол, не освободишь парня, со свету сживем? Страху нагнали на тебя, верно? Так знай – ты под защитой новой власти.

– По добрей воле я, по уговору…– Нуца заливалась слезами, но держалась сказанного и заботливо указанного начальником пути к отступлению, не замечала, или не хотела замечать. – Пусть гнев Господень обрушится на меня, коли вру!

Нашлись, само собой, добрые люди, шепнули начальнику:

– Может, девушка правду говорит, а может, повторяет слова, вложенные ей в уши Шартыном. Не зря он несколько дней кряду ей голову морочил!

Говорят, Мац окончательно вышел из себя и с бранью набросился на Шартына. Тот поджидал у входа в здание милиции, когда Нуца и ее братишка освободятся. Так вот Мац не поленился спуститься вниз, чтобы вопросить:

– Ты здесь с какого боку припека, Шартын? Отчего тебе неймется? Людям работать мешаешь.

– С боку жениха! Ведь зазря пропадет человек. По душе он девушке. Своей охотой за него пошла.

– Никто ее за язык не тянул, когда она вторила своей матери, мол, умыкнул, оскорбил, запятнал!

Шартын пожал плечами:

– Ясное дело – она при матери не осмелилась говорить другое, хоть другое как раз и было правдой.

– Выходит, ты один ведешь правду под уздцы, как коня? Я, понятное дело, обязан по работе одного наказывать, другого направлять, третьего крепче держать. Но тебя-то кто обязал?

Шартын, по слухам, смолчал, даже не попытался смягчить гнев Маца хотя бы показным сожалением, что взялся не за свое дело.

И Мадина тоже не удержалась, упрекнула:

– Ты все поперек Мацу делаешь, а он мне как брат!

Шартын и на это смолчал. Лег, отвернувшись к стене, остальное она говорила ему в затылок:

– Какое тебе дело до языкатой Хабибы и дурной ее дочери?! Да одеть родичам траур по ней. И на что тебе сдался ду-

рень, польстившийся на нее? Он тебе – кто, брат, сват? Мало ли головорезов ходит по земле. Тебе, что, каждого обелить надо?

– Не головорез он! – возразил Шартын, не оборачиваясь. – Добрый парень. Нуца давно ему свое согласие дала, только материнского гнева боялась. Та гнушалась – княгиня нашлась! – сыном бывшего батрака. Нуца понадеялась угомонится мать, если парень умыкнет, не захочет ославленную дочь назад в дом принимать. Но та в крик – удавлюсь, мол, если дочь не вернут. Потом заставила девушку оговорить жениха. И за все время никто о чемодане не подумал. Нуца с самого рассвета прятала его в папоротниках на склоне Черного холма. Когда ее якобы силой увозили, она чемодан прихватить не забыла.

– Как же теперь она будет жить с человеком, которого в кутузке держали по ее оговору? – со злорадным смешком спросила Мадина.

– Так опомнилась же!

– Взял ты ее за горло, вот она и опомнилась.

– Да она вроде как меж двух жерновов угодила, вот и надумала себя перемолоть из-за матери. Муж простит… он – понятливый, зла на нее держать не станет.

– Ты и кровного врага простил бы! – в сердцах сказала Мадина.

Он рывком повернулся к ней, приподнявшись, твердой рукой взял за плечо, заглянул в глаза.

– Неужто я ошибся, Мадина? Ведь другая ты была. С доброй душой, умной!

– Ошибся, ошибся, – произнесла она, силясь сложить губы в насмешливую улыбку.

– Не нравится мне все это, – грустно произнес Шартын и добавил как бы в утешение – он да чтобы кого-то оставил без надежды?! – Ты себя не знаешь! Попросту даешь необдуманным словам опередить свое сердце.

– Думай так, если тебе так легче. – неуступчиво сказала Мадина, но благодарность к мужу обдало ее теплом.

Она прижалась щекой к плечу Шартына и, когда он обнял ее, заплакала легкими слезами. В ту ночь Мадина радовалась своей красоте и тому, что столь желанна. В ту пору она часто с усмешкой вспоминала, как она в юности мучилась, считая себя дурнушкой.

Как-то Шартын привез из Аквы гостинцы от Сончки, сказал, что встретил ее в одной конторе, куда он зашел по делам школы. Видно, Шартын взялся опекать злополучную школу до конца жизни.

– А ей-то что понадобилось в той конторе?

– Твоя подруга теперь на комсомольской работе!

– Говорила ведь, что выучилась на фельдшерицу! – удивилась Мадина. – Что фельдшерице в комсомоле делать?

– Нашлось, значит, занятие, – отозвался Шартын слегка раздраженно.

И Мадина забеспокоилась: не обидела ли его Сончка небрежным словом, но допытываться не стала.

– Ей не работы надо менять, а замуж выходить! – озабоченно проговорила она. – Хорошо бы за Дыгуа пошла. Верно?

Муж искоса как-то странно глянул на нее, но промолчал.

– Она не обещалась навестить нас?

– Ничего такого не слышал.

Шартын поспешно окликнул сына, вроде бы отдать привезенную из города расписную свистульку, а на самом деле, – это не укрылось от Мадины – чтобы прекратить разговор о Сончке. «Что-то скрывает от меня, но что?» – терялась в догадках Мадина.

То, что он скрывал, спустя несколько дней стало известно всем…

Ранним утром – еще роса не успела обсохнуть, и солнце едва выглянуло из-за гор – приехал Еуган.

Увидев с порога амацурты с каким скорбным лицом он спешился, Мадина ахнула и с прижатыми к щекам ладонями застыла – испугалась, что на отчий дом обрушилась беда и Еуган послан горевестником.

Свекровь былинкой промелькнула мимо и понеслась по двору, едва ногами земли касаясь. Она вышла за ворота, где в тени липы стоял Еуган рядом с Шартыном. Муж Мадины успел помочь гостью спешиться, и теперь держал его коня под уздцы. Солнце косыми лучами пронзившее ветви липы испятнало Еугану лицо, отчего оно выглядело еще горестнее.

Мадина заставила себя перешагнуть порог и направилась к воротам. Муж, от коновязи, где он пристраивал коня Еугана, ободряюще улыбнулся жене. И ее отпустило.Случись что-то непоправимое с родичами, Шартын не позволил бы себе улыбку. Но что же стряслось с Еуганом? Мадине хотелось, чтобы он поскорее выбрался из-под липы, чтобы исчезли пятна на лице, и она прибавила шагу.

– Убила нас Сончка! – выдавил из себя Еуган, когда Мадина вошла в тень липы и поздоровалась.

– Что с ней?! – вскрикнула Мадина, и озноб мурашками пробежался по спине.

– Опозорила всех нас, ни о ком не подумала.

– Жива… – она облегченно перевела дыхание.

И то, что только в голову не придет! Случись такое горе, не брата родного прислали бы вестником, нашелся бы другой гонец – из сторонних.

При облегченном вздохе Мадины Еуган глянул на нее благодарно, но тотчас понурил голову, проговорил глухо:

– Для нас мертва… через всех перешагнула… за ублюдка какого-то пошла… без роду, без племени, чужака из чужаков, точно опороченная, будто достойный на нее не позарился бы.

– Пойдем в дом, – позвала Мадина и первая пошла к дому, а за ней последовали Еуган с Шартыном. У двери мужчины задержались, пропуская друг друга. После вежливых взаимных уступок, первым, как водится, вошел хозяин.

– За Мадиной приехал, – сказал Шартыну Еуган. – Мать голову потеряла, собралась прилюдно сжечь вещи Сончки, отречься. Сладу с ней нет. Отец и тот отступил… Но, может,

она к Мадине прислушается? В нашей семье все любят ее, как родную.

Мадина вспыхнула, когда он так просто изложил Шартыну причину своего приезда, словно и он относился к ней с родственной простотой, как остальные его домочадцы, и никогда не питал других надежд, словно и сейчас не кинулся к ней за утешением, прежде всего ради себя, а не ополоумевшей матери.

Шартын, усадив гостя, устроился поодаль, заговорил сдержанно:

– Не так страшен ливень, как гром гремит. На днях был я в Акве, видел нашего зятя. Достойный, по-моему, человек. С образованием…

– Отчего же ты смолчал? – резко вмешалась Мадина. – Не порадовал меня, что такое счастье нам привалило?

– Достойный – не достойный, все едино, чужак, – пробормотал Еуган.

А сам, небось, был признателен Шартыну за сказанное. Мадина и его не пощадила, обрушилась с упреками:

– Вашей вины тоже хватает! Больно крепко в новое время вцепились. Невиданную неслыханную свободу дали Сончке. Она вам и отплатила. Отблагодарила!

– Коль мы по колено в болоте стоим, при чем новое время? – вырвалось у Еугана.

Мадину и осенило: будь его воля, он завтра же побежал бы мириться с сестрой.

– Собирайся в дорогу, – сказал Шартын жене. – Время не ждет.

– Надо бы поторопиться, – поддакнул Еуган.

– Куда теперь торопиться?! – не могла унять раздражения Мадина. – И что мое слово изменит?

– Было бы неплохо, если бы ты могла со мной поехать, – не глядя на нее растерянно проговорил Еуган.

Видимо, когда он, нахлестывая коня, торопился сюда по бездорожью, и мысли не допускал, что может нарваться на отказ, будто бы так уж необходимо было тащиться

за три села за подругой сестры, которая скажет несколько ободряющих слов матери, лучше других понимавшей какой безвозвратный опрометчивый поступок совершила дочь.

– Поедет, как же! – как о деле решенном сказал Шартын.

Мадина сердито одевалась в дорогу, когда муж вошел в комнату, оставив гостя в одиночестве или при своей матери, что было одно и тоже. Сынок примчался следом. Отец подхватил его на руки. У мальчика задралась короткая рубашка, и отец ткнулся лицом в голенький живот. Хаджарат хихикнул от щекотки.

– Наиграетесь еще! – недовольно кинула Мадина. – Оседлай лучше коня.

– Будешь скучать по маме? – спросил Шартын у сына, пропустив мимо ушей слова жены. – Она ведь уезжает.

– Нануа остается! – напомнил мальчик беспечно.

Он бабушку называл Нануа.

– Раз так, вовсе не вернусь! – как бы в шутку пригрозила Мадина, но до смерти захотелось, чтобы сын с плачем вцепился в подол, – не отпущу!

Но мальчик и не думал плакать, сидел на руках отца и хихикал от удовольствия.

– Да поставь его на пол! Сегодня, что ли, сына увидел!

Шартын, присев на корточки, выпустил из рук Хаджарата и легонько подтолкнул в спину:

– Беги к Нануа!

Когда мальчик вышел, он поднялся на ноги, и сказал:

– Я думал, ты Сончкой дорожишь.

– Выходит, я виновата? Она ни о ком из нас не подумала, а виновата я?

– Но сейчас ей хуже всех.

– Отчего же бесстыжей хуже всех? Она-то получила все, что хотела. Об отце не подумала, о братьях, в грязь их втоптала, мать до безумия довела. Опозорила она их, опозорила, все теперь видят: в грош родню не ставила. Никогда!

– Не кричи! Еуган за стеной – услышит.

– А то он не знает, как с ними поступила ненаглядная сестричка!

– Не руби с плеча, взрослый ведь человек!

И тут она обидела его с намеренной жесткостью:

– Не все взрослые согласны есть мамалыгу пополам с грязью, как ты!

Шартын побледнел, шагнул к ней, показалось: сейчас ударит, и пожелала, чтобы так и случилось. Пусть ударит, впечатает в стену, в ярости кинет в лицо: «Потаскуха! Последняя из последних! Какой ты досталась мне – о том молчу! Так решила сама ткнуть меня лицом в грязь? Нарываешься на другое обращение?»

Но муж только крепче сжал губы и вздернул голову, как конь, которому непомерно укоротили узду. В это мгновенье он разительно напомнил Мадине того Шартына, который стоял в тот страшный день возле одинокого и несломленного Тараша.

Она выбежала из комнаты. Еуган ждал во дворе возле коновязи. Рядом под дамским седлом был привязан гнедой Шартына. Тут же находились свекровь и сын, который хоть и жался к юбке бабушки, но глаз с гостя не сводил, и если тому вздумалось бы взять его на руки и посадить в седло, наверняка, был бы счастлив.

Мадина, резко отстранив шагнувшего на помощь Еугана, сама – откуда только прыть взялась? – взобралась в седло. Свекровь держала наготове старые чулки, чтобы невестка натянула их поверх черных кожаных туфель, – как бы в пути не забрызгать, не оцарапать обувь – но невестка так взглянула на нее, что бедняжка проворно сунула чулки в карман передника. Старуха решила, наверное, что в такой час только человек, лишенный сердца, может позаботиться о таком пустяке, как туфли. В этом доме всегда могли найти причину, чтобы повиниться!

Шартын вышел попрощаться с Еуганом. На жену он не посмотрел.

По проселку ехали молча.

– Не плачь, Мадина. – попросил Еуган погодя. – Не стоит она твоих слез.

Мадина-то надеялась – пылающие щеки мгновенно осушают слезы, стороннему их не разглядеть.

За околицей встретился Бадра. Он ехал на могучем своем вороном, склонив голову на грудь, подремывал. Видно, Бадра провел всю ночь в гульбе, или возвращался издалека, у него в каждом медвежьем углу побратимы были. Мадине он показался сильной ночной птицей, застигнутой рассветом неподалеку от своего гнезда. Стук копыт встречных коней вывел Бадру из дремоты. Он встрепенулся, поднял голову и сразу дремота, точно лед, брошенный в кипяток, истаяла в глазах. Он посмотрел ясным трезвым взглядом.

– Хох! У нас, оказывается, гость!

Несмотря на изрядный вес, Бадра легко спрыгнул с коня – ему не была чужда такого рода обходительность – и приветствовал Еугана.

Пришлось и спутнику Мадины спешиться.

– Невестку нашу увозишь, осиротить нас хочешь? – шутливо сказал ему Бадра.

– Отчий дом тоже не следует забывать, – уныло ответствовал Еуган, в тот час совершенно не расположенный к шуткам.

Бадра что-то заподозрил, внимательно оглядел их обоих.

– Эге! – произнес он как бы раздосадовано. – Подпруги плохо подтянули.

И подошел к всаднице, легонько коснулся края платья, чтобы она отстранила ноги, и подтянул вторую подпругу. Мадина близко от себя увидела густые его волосы слегка влажные, ехал, видно, лесом и со всех ветвей собирал капли непокрытой головой.

Еуган, держа под уздцы своего коня и вороного Бадры, стоял с отсутствующим лицом и сейчас, наверное, не было ему дела ни до кого.

Бадра, подтянув подпругу, – так уж необходимо было ее подтягивать? – на миг прижался лицом к ногам Мадины и шепнул:

– Возвращайся скорее, иначе с ума сойду!

Затем он ровным, спокойным шагом пошел к Еугану. Мадине подумалось даже, что жест и слова ей только примерещились.

Еуган коротко попрощался с Бадрой. Вежливо, но твердо отклонил предложение того проводить их хотя бы до соседнего села. И, похоже, облегченно перевел дыхание, когда Бадра вскочил на своего диковатого вороного, и поехал прочь.

Опять они двигались по дороге в полном молчании. Забота Еугана о Мадине выражалась только в том, что он все время сдерживал неторопливого своего коня, чтобы спутница поспевала за ним. Гнедой Шартына, чувствуя что на этот раз управляют им неумелой рукой, трюхал себе в удовольствие и даже, несмотря на удила, норовил пощипать траву по обочинам дороги. Мадина понимала, что спутник торопится, но ехала расслабленно, оглушенная всем произошедшим за долгое утро.

Еуган, к ее удивлению, прервал молчание, чтобы сказать:

– Шартын – замечательный человек, совестливый и дельный.

– Скажи это Мацу!– насмешливо посоветовала она.

– Мой брат ведь не бог, тоже может ошибиться, идет напролом.

«Можно подумать, ты сам знаешь окольные пути, – отметила про себя Мадина. – Вот и проболтался, что Мац мужа моего и в грош не ставит!»

Но не досаду она почувствовала на этот раз, а самой ей непонятное удовлетворение. Ей вдруг захотелось услышать нечто обидное про Шартына, унижающее его, выставляющее смешным и жалким.

Она чувствовала: сегодня утром что-то произошло между ней и мужем, что-то непоправимое, и искала – быть может, и неосознанно! – опоры в его недругах.

– Вот уж от тебя не ожидала таких слов! – недовольно обронила Мадина.

– Я всегда считал Шартына достойным человеком, не уронившим имени своего отца…

– И дед его, говорят, мог горячим словом воду без огня вскипятить! – насмешливо перебила Мадина.

– В их роду неуважаемых людей не было! – с непроницаемым лицом подтвердил Еуган только что ею придуманное с привкусом сказки...

«Зря я с ним пустилась в путь! – пожалела Мадина. – Дурень безмозглый! Быстро же он, однако, забыл, как подсылал ко мне Сончку о надеждах его поговорить».

– А Бадра этот и впрямь необъезженный жеребец! – произнес Еуган погодя.

И Мадина испуганно покосилась на него: неужели что-то углядел? Но он смотрел прямо перед собой, и на его лице стыло отчуждение.

Отводя от себя подозрения, – на самом же деле еще больше их возбуждая, – Мадина торопливо заговорила о Бадре, согласилась с тем, что он и впрямь броду не знает, что давненько похаживает к одной вдовице, та будто приворожила, но склонить к женитьбе его никакими приворотами не удается.

Мадина старалась рассказывать небрежно, со смешком, но нет-нет да прорывалась в словах горечь, какую она испытала, когда языкатая соседка, охочая до сплетен, поведала, что Бадра приголублен ядреной вдовой Шамаха Шабуа.

Еуган слушал молча. Когда она, наговорившись, замолчала, он слова не произнес. Она толком и не поняла, слушал он ее или нет. Только в сумерках, когд они въезжали в свое село, измученные, – ведь целый день провели в седлах, если не считать часовой передышки в полдень – Еуган вдруг глухо сказал:

– Остерегись, Мадина, не в ту сторону смотришь!

– О чем это он? – деланно удивилась Мадина, невесть к кому обращаясь.

Но Еуган промолчал, не счел нужным вдаваться в разъяснения. Хорошо, что совместный путь уже завершался, невмоготу стало ехать с ним бок о бок.

Добравшись, наконец, до желанных ворот, они увидели, что во дворе полным-полно народу. Перед домом пылал костер и мать Сончки с яростным горбоносым лицом, с взлохмаченными седыми волосами швыряла в огонь вещи дочери и причитала во весь голос.

– Опоздали, – горестно выдохнул Еуган.

Мадина, спешившись – на этот раз пришлось принять помощь спутника, – заковыляла к костру на затекших ногах. Она со страхом вглядывалась на освещенное изменчивым светом пламени иступленное лицо женщины, перед которой сызмала робела.

– Оплакать приехала? – не то прорыдала, не то прокричала мать Сончки, завидев Мадину. – Нет у меня больше дочери!

Она с остервенением кинула в огонь какую-то тряпицу и подняла с земли зеленое в белых цветочках маркизетовое платье, в котором Сончка была подружкой невесты.

Мадина, сама не понимая, что с ней сталось, кинулась к старухе и, перехватив ее руку с платьем, закричала, обращаясь не столько к ней, сколько к безмолвно наблюдавшим людям:

– Так уж и остановить некому? Некому сказать, что небо не обрушилось на землю? – и, задыхаясь, укорила мать подруги. – Себя на посмешище выставляете. Кому на радость?

– Пусти! – дернула руку старуха. – Ничего из ее вещей, даже нитки, даже нитки…

Она осеклась. Мадина крепко обняла ее. Старуху било крупной дрожью.

– Идемте в дом, – тихо попросила Мадина.

– Я сама дойду.

Мадина опустила руки. Старуха, ни на кого не глядя, побрела к дому, прижимая к себе платье дочери.

Тут же с советами появилась мать Мадины:

– Пойди к ней. До тебя и близко к себе не подпускала.

И было видно, как она гордится своей дочерью, будто та утихомирила не жалкую старуху, чей гнев шел на убыль, а разъяренную медведицу.

Мадина почувствовала слабость в ногах, ее замутило, едва отошла от света костра и добралась до молоденькой яблони неподалеку от дома. Она обхватила искривленный ствол руками, и ее стошнило.

– Что такое? Что с ней? – сквозь дурноту донеслись до нее вроде бы встревоженные голоса, а на самом деле, любопытствующие.

Мать оказалась рядом с кружкой воды, заставила выпить, положила на лоб прохладную ладонь.

– Что же в дорогу отправилась, раз в положении? – упрекнула вполголоса.

– Я… я ничего такого… не была уверена и сейчас не уверена, – пробормотала Мадина и с ужасом выпрямилась: – Неужели понесла?

– А пугаться чего? – усмешливо спросила мать. – Первенцу твоему братик или сестричка кстати будут.

Она подтолкнула дочь навстречу односельчанкам, подошедшим поздороваться. Пока Мадина обнималась с ними, мать сокрушалась, но не без примеси торжества:

– Как только ее отпустили! Не удержали видать! Они ведь с бедняжкой Сончкой как родные сестры… Полегчало? – обратилась она к дочери и не дожидаясь ответа, добавила: – Тогда иди в дом, к горемычной…

Мадина подчинилась, побрела к дому медленно, будто увязая в патоке слов, щедро отпускаемых соседками: «В какую красавицу выровнялась Мадина!» «Да и в дом вошла себе под стать. Потому и расцвела, что птице не дают над ней пролететь» «Не опозорила нас, чистой отчий дом покинула, в добрую семью вошла… а так чем лучше других? – скромничала мать. Но выходило по-другому, выходило даже так, будто Мадина не чета Сончке, не сумевшей себе дорогу найти. А ведь родители Мадины не мудрили над дочкой, как соседи. Перемудрили, получается, соседи со своей ненаглядной младшенькой.

Мать Сончки сидела в углу на жестком стуле с высокой спинкой, по-прежнему прижимая к себе платье дочери,

но с таким каменным лицом, что именно в это мгновение по-настоящему испугалась за участь подруги Мадина, подумалось: теперь Сончка и на коленях не вымолит прощения.

Внезапной пронизывающей жалостью и старухе, и к Сончке сжалось сердце. Мадина быстрым шагом пересекла комнату, опустилась на колени возле неподвижной фигуры и прижалась щекой к ее боку. Мать Сончки пропахла дымом. «Точно вышла из пожарища, – мелькнуло в голове. – А дочку не вынесла». И впервые за целый день отступили собственные неурядицы и Мадина, припав к старухиной жилистой, тоже пропахшей дымом руке, заплакала навзрыд, не о себе, о Сончке.

Целую неделю Мадина ежедневно посещала старушку, безмолвно просиживала у очага, в котором едва тлели угольки, впрочем, и в них надобности не было, разве что еду на огне сготовить, а так лето стояло на дворе. Но о погоде снаружи Мадина забывала и знобко ежилась, глядя на холодное неприступное лицо матери подруги. Та вроде даже кичилась своей неприступностью и если изредка открывала рот, так только затем, чтобы предать проклятию имя дочери или обрушить свой гнев на голову мужа и Еугана. Старшие сыновья работали в уездном городе. Им было, где укрыться от материнского гнева.

– Видишь ту веревку, – обращалась она к Еугану, указывая на толстый моток веревки в углу. – Считай, свил из нее мне петлю, коль глянешь хоть раз в сторону проклятой.

Мать не доверяла и не без основания твердости младшего сына.

Мадина сидела, вобрав голову в плечи, сжавшись в комок, и временами принималась беззвучно плакать, сама до конца не осознавая о ком и о чем этот плач.

Старуха негнущейся твердой ладонью поглаживала ее по спине, говорила:

– Не плачь, пусть моя дочь заберет все твои беды и сгинет вместе с ними.

Однажды вернувшись домой от соседей, и застав отца одного, Мадина неожиданно выпалила:

– Я хочу здесь остаться! – и добавила дрогнувшим голосом: – Только без сына не проживу!

Сказала она так, и в сознании определилось то, чем все эти дни, сидя возле старухи и слушая ее проклятия, мучилась: мать должна быть рядом со своим ребенком и в горчайшей беде и в позоре. Другим его казнить, а матери охранять или казниться вместе с ним, но никогда не врозь.

– Это твой дом, кто же у тебя его оспорит? – ласково проговорил отец

И в это мгновение порог переступила мать.

– О чем вы толкуете? – насторожилась она, попеременно вглядываясь в потерянные лица дочери и мужа.

– Ни о чем таком, что сами не могли бы разрешить! – дерзко ответила Мадина.

Отец по обыкновению промолчал.

Мать почуяла неладное, и потом как бы в шутку, но каждый день заводила разговор об оставленном Мадиной доме.

– Похоже, они в заботах молодой хозяйки не больно нуждаются. Если зять тяжел на подъем, так отчего мой внук его не поторопит? Слыханное ли дело – по матери не тосковать!

А то и принималась за наставления:

– Мадина, свекровь тебя жалеет, не хочет от родительского дома отрывать, так и ты о ней позаботься, легко ли за домом присматривать и внука нянчить?

Отец однажды не выдержал, оборвал ее:

– Мадина не у чужих из милости живет, а в родном доме, оставь, не трогай…

– Ее место в доме мужа! – возразила мать. – Сама еще глупая, не понимает, так ты бы растолковал! Силком никто ее не выдавал замуж. Других силком выдают и то мирятся.

Через несколько дней мать с обычной своей решительностью приготовила гостинцев, поднялась чуть свет, оседлала, призвав на помощь Еугана, коней мужа и зятя, для себя же одолжила на два дня верховую лошадь у соседей. Они всегда

держали смиренную лошадку про запас, не то, что у других, где годами в одиночестве скучает в конюшне какая-нибудь доходяга. Покончив со сборами, мать подняла мужа и дочь с постели и сообщила, что она соскучилась по внуку да и Мадине давно пора возвращаться в свой дом. И потому сейчас все втроем отправятся в путь.

– Мой зять уступил тебе своего коня, заставила его спешиться, время ему гнедого возвратить.

– У него есть еще другая лошадь для езды, только более норовистая… – пробормотала Мадина, как будто последний довод матери имел хоть какое-то значение.

– Давайте, садитесь за стол, поешьте, и – в путь, дорога не близкая…

Мадина взглянула на отца, он смолчал, понурив голову.

– Ну что ж, – сказала она матери, выглянув во двор, где наготове были к коновязи привязаны лошади – раз ты так постаралась, нам труда не составит вдеть ноги в стремя.

– Подпруги надо подтянуть, – спокойно заметила мать, будто и не поняла тайного смысла слов дочери.

Отец покорно отправился подтягивать подпруги.

Добрались они до места поздним вечером. Хаджарат уже спал, Шартына не было дома, а свекровь засуетилась, готовя угощение. Она приветливо поглядывала на всех, но на расспросы сватьи о внуке отвечала почему-то уклончиво, а когда та спросила напрямую, не заболел ли часом мальчик, истосковавшись по матери, и вовсе смешалась.

– Скучал, скучал, как же, – сказала она.

«Вовсе не скучал» – определила для себя Мадина. Однако мать не унималась:

– А заболеть, не заболел?

– Нет, он здоров… – не стала лукавить свекровь.

Мадина исподтишка обдала мать яростным взглядом, вышла из амацурта и поднялась в дом на сваях, зашла к сыну. Он спал, разметавшись на кровати, крепкий смуглый мальчик, длинноногий и длиннорукий, как отец, но с материнскими яркими губами и серыми, точно воробьиные крылья,

глазами в опушке длинных ресниц. И уши материнские – маленькие, прижатые к голове, а мочки остренькие.

Она в тот вечер больше не вышла из комнаты, хотя свекровь приходила звать ужинать, и мать заглянула, чтобы упрекнуть – нечего, мол, рассиживаться, сложив руки на коленях. Не вчера тебя из заморских стран в этот дом ввели.

Мадина молча снесла гнев матери и осталась возле сына. Она знала, мать, вернувшись на кухню, примется длинно и путано рассказывать хозяйке, как утомилась дочка в пути, сколько раз ее мутило, какая слабость одолела.

Свекровь Мадины была простодушной женщиной, зачем, казалось бы, с ней хитрить? Но мать не посчитается с нравом сватьи, если бы и хотела посчитаться – не сможет. Привычка. Кошку гоняться за мышкой не отучишь…

Шартын пришел домой, когда все уже улеглись спать, тихо вошел в комнату, с порога понял – жена не спит, но преувеличенно осторожно ходил по комнате, бесшумно разделся и улегся на топчане в противоположном углу.

Она шепотом позвала его.

– Спи, – буднично проговорил он. – Время позднее.

На следующий день Шартын держался так, словно жена никуда не отлучалась. С тещей и тестем по обыкновению был почтителен. Но в его вежливости сквозил холодок. Почуяв это, тесть заторопился домой, да и жена возражать не стала, видела: дело может обернуться и похуже, по всему видно, что черная кошка пробежала меж дочерью и зятем. Лучше вовремя уехать, пока нарыв не вскрылся.

Родители отправились в путь. Шартын без всякого объяснения ушел из дому. А Мадина целый день провела с Хаджаратом, исподволь приглядываясь к нему. Ей казалось: расстались они с сыном давно, и он без нее успел обрести десяток новых привычек. Сын, довольный вниманием, возбужденно носился вокруг матери, но стоило Мадине затеять новую забаву или полузабытую сказку припомнить, как сын стремглав мчался в амацурту, к ба-

бушке, чтобы там, путаясь в словах, захлебываясь от восторга – ему ведь едва четыре года сровнялось, – рассказать бабушке об услышанном и узнанном. Каждый раз, когда он выбегал из комнаты, от досады сжималось сердце Мадины. С матерью-то своими новостями он нечасто делился.

Мадина надеялась, что Шартын придет пораньше. Но опять он вернулся поздно и опять, не затеплив огонь в керосиновой лампе, прошел в темноте к деревянному топчану.

Мадина рывком села на постели.

– Мог бы и приехать за мной, – сказала она обиженно. – Ведь я по твоему настоянию поехала, не по своей воле.

– Приехала – не гоню. Сам я за тобой не приехал бы.

Ее напугал холодный голос мужа. Она не видела его лица, и он ее не видел. Мадина подумала, что и ночь против нее.

– Не нужна тебе, так прямо и сказал бы, – произнесла Мадина и замолчала выжидающе.

Но он не отозвался. И тогда она поступила так, как никогда раньше не поступала, раньше и помыслить не могла, что способна выпрашивать чью-то бы то ни было ласку… Помыслить не могла, а соскочила с постели, перебежала комнату, кинулась на колени перед топчаном, прижалась щекой к поросшей курчавыми волосами жесткой груди мужа, смачивая ее обильными слезами.

– Твое дитя под сердцем ношу, а ты… ты...

– Дитя? – Она услышала, как гулко забилось его сердце, он несколько раз сглотнула слюну, прежде чем произнес: – Ложись рядом, застудишься, – и отодвинулся к стене, высвобождая место.

Она, всхлипывая, легла, прижалась к нему всем телом, зажмурилась, вдыхая дух поля, солнца, травы, впитавшиеся ему в кожу, будто он был частью самой земли.

– Траву косил сегодня? – спросила шепотом, не открывая глаз, со сладостным ощущением наступившего благополучия. – Или на лугу отдыхал? С кем же это ты мял траву? – попыталась неловко пошутить.

Он ничего не ответил, только вздохнул. Потом говорили о будущем ребенке, и Шартын сказал, что хотел бы еще сына, кто в свое время подставит плечо Хаджарату.

Они помирились. Но с того времени замечала Мадина, что-то изменилось в Шартыне. Не строже он стал с ней, нет. Усталость в нем проглядывала, ранняя усталость. И когда спозаранок он уходил из дому, Мадина, если, конечно, была уже на ногах, с крыльца глядела ему вслед, наблюдала за тем, как он открывал калитку и шел наискосок через луг к проселку. В ранний час на пустом лугу, где не только других людей, но и живности не было, человек, шедший легкой – такого земле в радость носить! – поступью, казался таким одиноким, более одинокого сроду не доводилось ей видеть. И тогда Мадина мимолетно радовалась тому, что есть у Шартына братцы, к которым он расположен всей душой, благодаря им, его одиночество никогда не станет полным. Но тут же опомнившись, Мадина корила себя, что пусть и мимолетно, но связала свои надежды со Старшим и Младшим. Это Шартын им спины прикрывает, сам крикнет о помощи – никто не прибежит.

Теперь Мадина частенько встречала Бадру то у соседей, то на мельнице, то где-нибудь на лесной тропе.

– Больно ты красивая, – говорил Бадра. – Так бы и умыкнул. Ни на что не посмотрел бы…

Однажды, когда он вновь обнял ее и поцеловал, она не вырвалась, только заплакала. Он сам отпустил ее, удивленный и раздосадованный.

– Ну уж нет! Никто по такому случаю у меня слез не лил…

И усмехнулся добродушно. Она видела, как высоко он ценит себя. Вот и решил, видать, от щедрот своих одарить и ее радостью, не весь пыл, получается, растрачивал на вдову Шамаха Шабуа, хотя вдовица и расцвела, будто даже зимой над ней весеннее солнце сияло.

– Совести у тебя нет! – в сердцах сказала Мадина. – Ни крупицы!

– Сам не знаю, чем берешь, – все так же добродушно усмехаясь, но не скрывая озадаченности произнес Бадра, – взяла за сердце и не отпускаешь.

– И слушать тебя не буду!

А сама глаз с него не сводила и хотела, чтобы он продолжал вслух удивляться: и как же ей удалось его приворожить! Стояла бы и ловила каждое слово, час бы стояла, два… Всю жизнь!

Но вдруг неожиданно грубо Бадра сказал:

– Давно столковался бы с тобой. Но есть человек, через которого не могу перешагнуть. Видно, немного разума во мне еще осталось.

– Я тебе не вдова Шамаха! Столкуешься, как же! – пришла в ярость Мадина. – Дай тебе волю, так ничью честь не пощадишь. Но кто тебе даст волю?! Кто?

Но когда он вновь сгреб ее в объятия, она затихла и голова пошла кругом. Однако, видно, только у нее одной, Бадра опустил руки, повернулся и, не прощаясь, пошел быстрым шагом по тропе вглубь леса.

– Скоро подурнею! Ты и глянуть на меня не захочешь! – кинула ему вслед Мадина, борясь со слезами. – И тогда я избавлюсь от тебя, бесстыжего, избавлюсь!

Но когда беременность стала заметна, она старалась поменьше выходить из дому, чтобы ненароком не попасться на глаза Бадре.

Свекровь же принимала ее нежелание выходить из дому за блажь беременной женщины и во всем ей потакала, простодушно утешая:

– Освободишься скоро от ноши, ни одного дня не заставлю с младенцем дома сидеть, сама вынянчу. И гостевать будешь ездить к родичам, и на свадьбы ходить…

А Мадине нужно было одно: обрести прежний тонкий стан, прежнее проворство и чтобы где-то в уединенном месте встретить Бадра. И будь что будет!

В ту пору Шартын особенно сблизился – хотя уж куда ближе? – со своими братьями горлопанами. Благо тогда еще

ни Старший, ни Младший не были женаты, некому было сердиться, что далеко за полночь засиживаются они за пустыми разговорами, попросту керосин в лампах переводят да дрова в камине жгут, а с утра пораньше, урвав часок-другой для сна, выходят на работу.

Шартын и вовсе, наверное, отбился бы от дома, если бы не Хаджарат. Отец и сын тянулись друг к другу, хотя на людях Шартын не позволял себе миндальничать с ребенком – не пристало отцу чувства свои напоказ выставлять. Хаджарат был привязан не только к отцу, но и к двоюродным своим дядьям. Мадина полагала, что так происходит по наущению бабушки. Ясное дело, она внуку дорогу к материнской родне не укажет, все в сторону отца и его родичей поворачивает. Но и братцы мужа – им-то не требовалось скрывать свою привязанность – баловали племянника почем зря. Мальчику еще и трех лет не сровнялось, когда Старший купил ладную кобылку и заявил, что первого жеребенка он подарит Хаджарату, к тому же обязался выхаживать, пока мальчик не подрастет и не станет сам смотреть за своим конем. Еще тешили дядья Хаджарата обещаниями – к десяти годам мы тебе подарим полное снаряжение для твоего коня, у самого лучшего мастера закажем, седло на седло не будет похоже, и сбруя на сбрую. Все невиданной красы будет и прочности. Хаджарат тем и бредил, что не мешало ему радоваться и частым обычным гостинцам от родичей.

Тот день выпал на редкость знойным. Или так показалось Мадине? Она уже была на сносях, отяжелела, едва передвигалась по дому, маялась своим положением, с нетерпением ждала наступления срока.

Свекровь разложила костер в тени за домом и варила на зиму алычовую подливу – асыцбал. Мадина с утра подсобляла ей, но к полудню почувствовала такую дурноту, что боялась близ огня стоять, как бы в него не свалиться. Свекровь, заметив ее состояние, отослала отдыхать. В прохладной комнате Мадине полегчало, попыталась уснуть, но сон не шел. Она жалела о том, что сын остался во дворе с бабушкой.

Лучше бы он устроился возле матери поиграть, да задавал бы свои детские вопросы, что-то вроде того, «почему звезд днем не видно. Она бы ответила: «Потому что солнце их затмевает!» А он еще о чем-нибудь полюбопытствовал бы. И состоялся бы разговор. А то не с кем словом перемолвиться. Шартын четвертый день, как отсутствовал. Примчался Младший и попросил его подняться вместе с ним в горы, размолвка вышла, сказал, у наших пастухов со сванами – пастбища не поделили.

– Со сванами ты один и умеешь ладить. – польстил Младший. – Уж и не знаю, чем ты их приворожил.

Странное дело, но Шартын заколебался, то ли приустал всюду на подхвате быть, то ли не хотел жену оставлять на сносях. Он мельком глянул на нее, но она успела ощутить его тревогу. Так Шартын смотрел на жену, когда она носила первенца, и он до смерти боялся, что она не разродится. С тех пор многое переменилось, но кое-что, оказывается, оставалось от прежних времен…

Братец тоже, видно, сообразил: стыдно тащить в горы человека, когда жена в таком положении, ее ведь тоже не собаки пригнали в дом, не мешало бы и о ней позаботиться. Вот он и зачастил, обращаясь к Мадине:

– За неделю обернемся. Поладим со сванами и – назад. Ни одного дня даром не станем терять. И Бадра в горах, охотится на косуль. Найдем его, так тоже возьмем в посредники… договоримся мы о пастбищах, вот увидишь!

Последние слова он произнес как бы ей в утешение, будто Мадину занимало – договорятся – не договорятся! Вслух же было сказано:

– Раз без тебя пропадут, чего раздумывать?

Шартын внимательно посмотрел на нее, почуял: без сердце она это сказала, с подковыркой, вскинулся:

– Я и не раздумываю!

Мадина собрала мужа в дорогу. Когда с порога, прощаясь, он обернулся к ней неподдельная тревога отразилась на его лице и она не нашла ничего лучшего, чем упрекнуть:

– Тебе лишь бы из дома уходить, неважно куда и зачем!

А ведь сама вся потянулась к нему. И то, что он, как прежде затревожился о ней, теплом и надеждой согрело сердце.

– Скоро вернусь, – пообещал Шартын ласково, как прежде, как давным-давно…

И вернулся… гораздо раньше, чем обещал. На бурке, привязанной к двум наскоро срезанным самшитовым палкам, снесли его вниз, тяжело раненого, потерявшего много крови, со странной тягой к шуткам, кривившим уголки его бледных губ.

Он попросил, чтобы его уложили на кровать матери. И в первое мгновение – ох и безмозглая же она была! – это больно кольнуло Мадину.

Мать с криком припала к сыну. А Мадина, как вошла следом за носилками с мужем, так и осталась стоять у стены возле двери.

Один из братьев – Старший! – поскакал в уездный центр со словами, что без доктора не вернется.

Младший, сманивший Шартына в горы, а сам проворонивший стычку брата со злоумышленниками, теперь ни на шаг не отходил от постели. Но теперь-то в этом немного было толку. Из его сбивчивых слов узнала Мадина, что какие-то головорезы – псы шелудивые! – попытались угнать жалкое стадо колхозных коров. И кому только понадобились два десятка этих коровенок? Или они успели в горах жир нагулять?

Младший стал на колени перед кроватью, на которой лежал раненый.

– Заклинаю тебя памятью об отце, скажи, с кем столкнулся? Со сванами ведь мы поладили. Я же у них на пастбище был в тот час. Все на глазах были. Если бы и не все, они своему слову не изменили бы! Не сваны ведь?

– Не убивайся ты, – произнес Шартын. – Не все ли равно? Если бы и сваны, у них что? Свинец на свинец не похож? Или ножи деревянные?

– Как это «все равно»? – схватился за голову Младший. – Сколько прошу тебя, успокой мою душу, расскажи хоть, как напавшие выглядели. Разыщем, обещаю, из-под земли достанем!

– Новая власть кровников не признает… – со слабой усмешкой напомнил Шартын. – Или забыл?

– Разбоя тоже! Только бы знать, как они выглядели.

– Не разглядел… Они ведь не в гости приходили.

– Лица башлыками замотали?

– Может, замотали, может, лиц и не было вовсе…

Шартын прикрыл глаза.

– Бредит, – с отчаянием определил Младший.

Мадину подмывало подойти к нему, коленопреклоненному, взять за шиворот, точно нашкодившего щенка, и вышвырнуть вон. Но с места сдвинуться ей не удавалось, она как бы прилипла к стене, к которой прижималась, старясь преодолеть дурноту, мутной волной то и дело накатывавшую на нее. Между приступами дурноты все, что она видела вокруг, обретало резкие очертания и врезалось в память навсегда, как раз и навсегда река прокладывает главное русло. Она видела тщедушную свекровь, сидевшую возле сына, поглаживая свернутую у ее ног бурку, на которой доставили раненого в дом. До самого Шартына дотронуться мать, похоже, не смела, будто прикосновение ее сухонькой невесомой руки могло причинить ему лишнюю боль. Маленький Хаджарат находился тут же, таращился на всех продолговатыми серыми глазами, оживление – он любил, когда все дома, – освещало его лицо. Отец подолгу задерживал на нем свой взгляд.

Между тем двор заполняли соседи, односельчане, прослышавшие о беде, но пока никто не решался войти в дом. Они обступили пастуха, снесшего вместе с Младшим Шартына с гор. В окно было видно, как он со скорбным лицом им что-то рассказывал. «Пастух – чужой человек, не родич, чего возле пастуха толпиться?» – тупо подумала Мадина. Надо бы кому-то из хозяев выйти к людям, пришедшим с

ними разделить тревогу, туманом павшую на этот двор. Но кому?

– Мама, – подал голос Шартын. – Во дворе, кажется, соседи наши. Выйди к ним. Нехорошо, все сидим дома. Скажи им – пустяки, царапину получил мой сын, даже песнь ранения петь стыдится.

– Почему не мне досталась та царапина?! – пробормотала мать, но покорно поднялась с места. – Пойду, передам твои слова…

– И Хаджарата забери, – попросил Шартын и твердо, как бы внушая ей, добавил: – Ему без тебя не обойтись.

Мать взяла за руку мальчика и засеменила к двери на нетвердых ногах. Шартын, вывернув шею, смотрел вслед.

Возле Мадины свекровь на миг задержала шаг и посмотрела на нее с такой надеждой, будто жизнь сына зависела от невестки.

– И ты иди, – погодя велел Шартын Младшему. – Хочу вздремнуть, хотя какое время валяться мужчине в постели?

Младший, не прекословя, вышел.

– Мадина, – позвал Шартын.

Она заставила себя оторваться от опоры, спину засаднило, будто она и в самом деле кожей вросла в стену, и моля Бога, чтобы он дал ей силы дойти до мужа, пошла на зов. Мерещилось: пол под ногами горбатится волной, и бледное лицо Шартына то всплывает, то скрывается за высокими валами. Наконец добрела-доплыла, села подле мужа и даже накрыла ладонью его руку.

– Не обижал я тебя, Мадина, – проговорил он, едва шевеля губами, – но…

– Нет, нет, – перебила она, наперед зная, что он скажет. – Люб ты мне, всегда был люб, с того самого часа, как на просеке тебя увидела.

И тут открылось ей: так оно и есть! Так оно всегда и было, только она о том не ведала. Только и знала, что к себе прислушиваться, а самого главного не услышала. Яростью к

своей слепоте наполнилось сердце. Она возненавидела себя, будто ее слепота стало причиной случившегося.

– Ногтя твоего не стою! – прошептала Мадина. – Только молю тебя – не оставляй. Все будет иначе – не оставляй. – Она прижалась щекой к его руке. – Пожалей – не оставляй!

Она взывала к доброте мужа, будто он сказал ей, что бросает ее ради другой несравненной женщины. Мадина, не помня себя, топча свою гордость, молила не бросать ее, жалкую, недостойную, но без него себя не мыслящую.

Он вполголоса запел песнь ранения. Мадина поняла, что невмоготу стало терпеть боль, но при ней Шартын не застонал бы. Но если бы у нее и хватило отваги оставить его одного, муж не дал бы себе волю. К себе Шартын был слишком строг, доброту на себя не тратил, берег для других.

– Расскажи мне, как это случилось? – попросила она.

Ей надо было знать, ей-то новое время – не указ, и неотомщенным он не останется. Она даже не станет дожидаться, когда он поправится, сама найдет управу на обидчиков.

Шартын смолк, раздвинул губы в насильственной улыбке:

– Сторонние это дела. А ты не охоча до чужих тайн.

Не успела она возразить ему, когда тяжело скрипнули половицы, и в комнату не вошел – ввалился Бадра. Мадина испуганно встрепенулась. В его появлении почудилось ей что-то страшное, позорное для себя. Она, собрав силы, взглянула на него. Но он смотрел на раненого. Шартын, показалось Мадине, обрадовался его приходу, облизнул пересохшие губы и слегка пошевелил пальцами, как бы прося отстраниться жену, однако она не сдвинулась с места.

– Выйди, – прошептал Шартын. – У Бадры ко мне тайный разговор.

– Не надо, – возразил тот. – Не тайна это. Твоей доброты не стою. Убей меня или расскажи братьям. Все скажи.

– Что сказать? – вырвалось у Мадины.

Бадра вроде ее не слышал, может, и не видел, стоял, понурив голову.

– Я навел на стадо голодранцев. Не подвернись ты, все обошлось бы. С пастухами уговор был. Тебя в горах не ждали.

Он качнулся на ногах, словно подрубленное дерево, которое вот-вот рухнет наземь, круша молодую поросль.

– Как же ты, Бадра? Даже зверь близ своей норы не гадит.

– Я мертвее всякого мертвеца, знаю!

– Твой отец не только вашему роду, всему селу голова, не дам тебе запятнать его честь, – сказал Шартын. – Все останется между нами.

– Шартын! – взмолился Бадра. – Скажи… братьям. Или я сам скажу.

– Молчи! Нет другого выхода! И ты, – Шартын скосил глаза на жену, – молчи! На то моя воля! Правда, и голодранцы знают обо всем! Ты ведь, Бадра, кинул им свою честь на забаву, как шапку в толпу… – раненый тяжело перевел дыхание. – Только они сдаваться не придут и на тебя не укажут, не сейчас, ни потом.

– Убил ты меня, Шартын. И поделом. Туда мне дорога.

– Мне больше нечего добавить, иди, Бадра, и рот за замке держи.

– Век проживу – вины перед тобой не искуплю! – сказал Бадра и вышел.

Мадина сползла на пол, упала на колени, прижалась щекой к руке Шартына и услышала, как пульсирует кровь в запястье мужа и вся, напрягшись, слушала это живое биенье, цеплялась за него, как цепляется за спущенную веревку угодивший в провал человек.

– Бадра знал – я только догадываюсь, наверняка ничего не известно, – прошептал Шартын – Знал: ни слова не скажу, а пришел. Хорошо, что пришел. Мадина, заклинаю тебя, никому ни звука об услышанном! Дойдет до Маца – быть беде. Возьмут под стражу – пропадет Бадра, а так… помяни мое слово, Мадина, он… еще узнаете его, опорой может стать. И такой опорой, не сломить, увидишь…

– Вместе увидим…

Шартын тяжело вздохнул – она видела, как ему не хватает воздуха – и прерывисто запел – застонал – песнь ранения.

Худо обстояло дело, хуже не придумаешь. Все равно горела в Мадине надежда. Как ярко горела! Несмотря на заострившийся нос Шартына, несмотря на его бледность, на то, что с каждым разом он с большим трудом поднимал веки, и речь его стала невнятной, она все равно надеялась. В глубине сознания билась сумасшедшая мысль – не может он не внять ее мольбе. Всегда несказанно был добр к ней, не изменит он своей доброте и сейчас!

Ближе к полуночи прискакал Старший с доктором, соскочил с взмыленного коня, взбежал на крыльцо, выдохнул:

– Успел!

Уж больно он верил в могущество очкастого человека, которого привез. Может, рассчитывал – один его взгляд и тот целебен? Стоявшие во дворе тоже приободрились. Да только срок тому оживлению был отпущен краткий. На рассвете Шартына не стало.

Мадина кинулась в комнату, где спал сын, чтобы горестные вопли, сотрясавшие дом, мальчика не испугали, а больше для того, чтобы прижать Хаджарата к себе, найти в нем поддержку. На пороге Мадина споткнулась. Возле мальчика сидела свекровь, забрав в ладони его руки, и неотрывно смотрела на него, спящего. Мадина прикрыла за собой дверь и вернулась назад. Встала у изножья кровати, на которой лежал Шартын. И сутки непоколебимо простояла среди криков и причитаний родичей, среди разговоров, советов, среди искреннего сочувствия и жадного интереса к чужой беде. Через день не выдержала, попросила:

– Дайте знать Сончке.

Поздним вечером – какая гроза бушевала в тот вечер, словно вознамерилась всю землю очистить, да куда ей! – добралась до Мадины Сончка, прижалась мокрой щекой к ее щеке, припала к ледяным рукам. Мадина поверх склоненной головы подруги, глядя на белобрысого мужчину,

приехавшего с ней – муж ее был, кто же еще? – попросила:

– Проведите человека в соседнюю комнату, дайте ему обсохнуть.

Несколько человек кинулось исполнять ее просьбу. Как сердила Мадину нарочитая поспешность, с какой исполнялось любое ее пожелание, будто этому не был срок отмерен – день похорон Шартына. Он и мертвый ограждал ее от неуважения, от небрежности посторонних…

Следующим утром Сончка с мужем собрались в обратный путь.

– Зачем? – поразилась Мадина. – Неужто оставляешь меня одну?

– Сегодня родичи мои прибудут, – замявшись, сказала Сончка и опустила глаза.

Тут вспомнила Мадина, как о чем-то пустяковом: родители подруги прокляли дочь, и теперь ей, виноватой, не подобает мозолить им глаза.

– Я бы перетерпела, – тихо сказала Сончка. – И он бы вынес. Не в нас дело. Их щажу. Потом приеду. Через неделю. Клянусь тебе.

Она сдержала слово, приехала, когда все кончилось. Мать Мадины на первых порах осталась с дочерью, и сидя возле разложенных вещей зятя, часами причитала, восхваляла покойного, упрекала за преждевременный уход, оплакивала сиротскую долю внука. Мадина не решалась попросить ее помолчать. Рядом была еще и свекровь, но слабый ее разум был сметен непосильным для нее горем, как жалкая запруда стремительным паводком. Теперь она со странной улыбкой ходила по двору всегдашним легким шагом, точно подхваченная ветром, и каждого, кто входил в ворота, спрашивала, не видели ли ее сына, он отлучился ненадолго, обещался быть к вечеру. Она ни на шаг не отпускала от себя внука и по-прежнему затевала с ним игры.

Свекровь нуждалась в помощи, сын нуждался в помощи…

Мадине надо было свыкнуться с этой мыслью, но все еще хотела и себе утешения, вроде не понимала нянчиться с ней теперь некому.

С приездом Сончки Мадина доверила ей себя. Подруга и роды приняла. Они, как ни странно, прошли легко. Может, так показалось, оттого, что родовые муки не шли ни в какое сравнение с болью, что все эти дни раздирала Мадину? Родилась девочка, а хотелось еще сына и непременно схожего лицом с Шартыном.

Мадина уединялась с безумной свекровью и, уже не стесняясь, говорила ей, точно подруге:

– Девочка похожа на отца, верно?

– Вылитая ты. И губы, и глаза – все твое! – уверяла свекровь, а потом с изменившимся лицом озабоченно спрашивала: – Нет весточки от Шартына? Обещался к вечеру быть.

– Присмотрись к внучке! – не отставала Мадина. – На сына твоего похожа!

– Говорю же – одно лицо с тобой!

Видно, в закоулках памяти свекрови сохранилось, как упрямо Мадина отыскивала сходство меж первенцем и собой, как обижалась, если другие не находили его. Но то было прежде.

Мать Мадины была раздосадована приездом Сончки и не слишком скрывала свое недовольство, бурчала, правда, пока за спиной гостьи:

– В отчий дом не смеет носу казать, бесстыжая, так к тебе прибилась, будто этот дом для ославленных.

– Ради меня приехала Сончка, одолжение мне сделала, – пыталась донести до матери Мадина.

Но та только губы кривила:

– А какой тебе толк от нее? Одни хлопоты.

В ту пору и открылось Мадине: мать никогда не любила Сончку, может, в душе и завидовала ее несомненной красоте, опасалась, что перебежит дорогу скромнице подруге. Теперь-то все определилось, каждой выпала своя стезя. Но мать все не могла угомониться, по старой памяти, наверное.

А то, что она вслух говорила, будто не может простить соседской девушке, что замуж вышла, как в болото прыгнула, родню в горе ввергла, в позор, то все было пустое. Теперь Мадина это видела ясно, и старалась побольше внимания уделять подруге, особенно при матери. Как-то за какой-то понадобившейся мелочью, она зашла в комнату, где мать качала люльку с новорожденной. Родительница посмотрела на нее трезвыми сухими глазами и слегка охрипшим голосом – ведь часами причитала о покойном зяте – проговорила доверительно, но не без торжества:

– Видишь, как все обернулось. Заупрямься ты тогда, столковавшись с полоумным отцом, и останься дома, хороша была бы сейчас! Теперь что? Вдова честь по чести.

У Мадины перехватило дыханье.

– О чем ты?

– Сама знаешь о чем! – спокойно и твердо сказала мать.

– Не было этого никогда! Не было! В этом доме я знала только счастье!

Она выскочила за дверь, забыв, за чем заходила, и вся в слезах кинулась к амацурте, где хозяйничала Сончка. Та молча обняла ее.

Целых две недели новорожденная жила без имени и как-то утром Мадина стала называть ее Сончкой. Подруга от радости захлопала в ладоши, закружилась по комнате и будто сбросила с себя десяток лет и превратилась в прежнюю проказливую девочку, которая только и знала, что вовлекать Мадину во всякие дерзкие затеи. Накружившись, Сончка деловито – уж такая она была, ей все требовалось переиначить! – сказала, что уж новорожденную они назовут правильно. Полное имя ей имя будет – Софья, а сокращенное – Сонечка, обязательно с «е» посередке. Вдруг оказалось, что Мадине как раз несподручно называть Сонечкой дочку, чужое имя получается. Выручил Хаджарат, вдруг затвердивший: Сона да Сона. Откуда он это взял, никто не знал. Но на том и остановились. Ласкательное домашнее будет Сона, а запишут Софьей.

Ох и разъярилась же мать, узнав, что Мадина, ни с кем не посоветовавшись, назвала маленькую именем ославленной подруги. Она в свои упреки вплела, как цветы в траурный венок, и имена Старшего да Младшего.

– Со мной не посчиталась – стерплю, куда денусь? Я – мать. Но родня с отцовской стороны не станет молча твои выходки сносить. Имя их брата носишь, а в грош не ставишь! Скажу тебе, люди куда лучше, чем ты, и те прислушиваются к советам твоих деверей!

Мадина выслушала, не переча, но новорожденная так и осталась Софьей. Мать через день собралась и уехала, холодно простившись с Мадиной, зато много слез пролив в объятиях безумной сватьи и тысячу раз поцеловав внука и столько же раз назвав его сиротинкой. Если она и догадывалась, что Мадине больно слышать, когда ее сына называют сиротой, она с этим не посчиталась.

Пришло время и Сончке уезжать. Она, живя здесь, грустила вместе с Мадиной, вместе ходили на могилу Шартына, вместе плакали. Но радость, которая в ней жила, нет-нет, да и проглядывала во взгляде, повадках. Может, так только казалось Мадине оттого, что она знала: подругу в Акве ждут. И как только она вернется, к человеку, заменившему ей все и всех, наверное, хватит и одного его взгляда, чтобы стряхнуть с молодой жены печаль, осевшую на нее, как пыль, в доме подруги, отголоске прежней жизни. Именно из-за этого предположения Мадина не стала удерживать Сончку, когда та заикнулась об отъезде, хотя на языке вертелось: «Прошу тебя, убей на меня еще неделю».

Потом началась другая жизнь, в которой Мадине предстояло выдюжить, не посрамив имени Шартына. Он внезапным своим уходом как бы на землю ее опустил, приковал к будничным своим заботам. Подумав так, Мадина жестко усмехнулась… Выходит, прежде она высоко летала и куда же возносилась, чураясь мужниных дел? Мечтала поскорее освободиться от дитяти, которого под сердцем носила, чего ради? Чтобы пройтись по проселку со вздернутым подбо-

родком и кося глазом: а нет ли поблизости бешеного быка Бадры, который по достоинству оценить ее стройный стан и гордую поступь? Гордую? Как бы не так! Не жаворонком в небе должна была чувствовать себя Мадина, когда лежа рядом с мужем, делившемся рассказом о долгом прожитом и ушедшем навеки дне, вспоминала человека, который любую песню хоть жаворонка хоть соловушки мог походя оборвать, человека, сгинувшего так, что и могилы не осталось, человека, мимоходом втолкнувшего ее в темень своего отчаяния… А тот, кто из темени вывел, не мимоходом нет, а сердцем своим движимый, что он у Мадины заслужил? «Где голова моя была?» – забывшись, корила себя вслух Мадина. Бедная свекровь тотчас ласково отзывалась: «Что-нибудь потеряла?»

– Потеряла, потеряла и уже не отыщу! – в сердцах отвечала она.

Раздражалась Мадина на себя, но свекровь потерянно смолкала. Она теперь была пуглива, точно сирота, живущая из милости у дальних родичей.

Братцы Шартына вздумали было все хозяйственные заботы в доме покойного на себя взвалить. Но Мадина яростно тому воспротивилась, мол, сама не калека, справлюсь как-нибудь. Только переупрямить Старшего и Младшего не так то было просто и чисто мужские работы – вспахать поле, засеять, дрова на зиму заготовить, о корме для скотины позаботиться – отвоевали себе. И если уж какая-нибудь живность со двора Мадины, будь это даже паршивый козленок, пропадала, братья Шартына не успокаивались, пока обрыскав все овраги, буераки да ближние и дальние леса, не отыскивали пропажу. Позже, когда они женились, бурчали жены: «За своей скотиной и за ворота выйти недосуг, а у скотины Мадины рожки никак из чистого золота?» Но и сначала, как и позже, родичи Шартына смерть как хотели, чтобы Мадина кликнула их на помощь или намеком дала понять: нуждается в них. Но в ту пору по-прежнему не лежала душа Мадины к родичам мужа. А к Младшему теперь и особый счет был: не позови он тогда Шартына в горы… Не могла

она простить братьям и того, что они все такие же хваткие, стремительные, точно время не трогало их, потери не стреножили. На все хватало Старшего и Младшего, но Мадина не хотела, чтобы и на ее дом их хватало.

Как-то пришел председатель Георг. Мадина заподозрила: не родичи ли подослали? Он предложил помощь – денежную ссуду. Мадина холодно отказалась, – не дожила до того, чтобы побираться! – но в разговоре обронила, что взяла бы шелковичных червей, вдруг толк будет, и изрядно обрадовала председателя. Выхаживать шелковичных червей отказывались все, кто мог, и это было вполне понятно. Шелковичные черви – редкие привереды. И шума они не выносят, и коль в доме пыльно не станут вить кокон. А прожорливые – ужас один! В поисках шелковицы Хаджарат с семи лет лазил с маленьким топориком по всем окрестностям. Срезав ветки, он волок их на себе, и, когда входил во двор, из-под ветвей лишь босые ноги виднелись. У Мадины горло перехватывало от этой картины, но ей и в голову не приходило отказываться от помощи сына. Шелковичные коконы выходили на редкость крупные. И на всех собраниях, по слухам, – сама она туда не ходила – председатель Георг нахваливал вдову Шартына. И Мадина была довольна, что добрым словом упоминают имя Шартына и это связано с ней.

Соседки же судачили: «Выходит, надо было человеку умереть, чтобы мы его жену оценили по достоинству. Ей, оказываться, сноровки не занимать!» Женщины не удерживались, чтобы не съязвить: «Да и коровы, видать, подобрели. Раньше Мадина шарахалась от них, мол, поднимут на рога, дикая порода. Теперь одна с ними управляется и ничего – не забодали!»

Мадина научилась низать табак. Привычные к вышиванию руки выручали, первой в селе оказалась низальщицей. Но как мутило ее от отвращения каждый раз, когда брала в руки липкие табачные листья. Однако виду не показывала, сочувствия не ждала, да и от кого спрашивается? К вечеру Мадина так уставала, что детьми заняться ни сил, ни вре-

мени не было. Так что они дни напролет проводили с полоумной бабкой, хорошо, что та не разучилась готовить и ребятишки хоть сыты были. Но и ближе к зиме, когда работы становилось меньше, Мадина пощады себе не давала, будто решила себя проверить на излом. Вдруг она вспомнила, как в девичестве обшивала дома всех, да и соседкам, даже мерки не снимая, а только на глазок определяя, шила платья и они были довольны, только Сончка не давалась, она готовую одежду покупала в Акве. Мадина подумала и взялась обшивать – задарма! – чуть ли не полсела. Первое платье она сшила – все ведь себя ломала! – вдове Шамаха Шабуа той самой, о которой говорили: к ней Бадра похаживал, и вдова была к нему более чем добра. Полтора дня ухлопала Мадина на это платье, причем полдня заказчица сидела возле нее, вздыхая, как больная корова, и непомерно ее раздражая. «Напрасно время у тебя краду. Зачем мне, горемычной, новое платье? Донашивала бы уже старые…» – вдова вплетала в свои вздохи и словесные жалобы. Но, примеряя платье, подолгу смотрелась в зеркало и большие темные глаза на тоскливом лице оживлялись.

Мадина с замершим сердцем наблюдала за ней, оттого что казалось: вдова Шамаха Шабуа вот-вот заговорит о Бадре, должна же она знать о нем больше, чем другие. Но та молчала о нем, уехавшем в город сразу после похорон Шартына.

Оценив мастерство Мадины, платье и на самом деле сидело на ней неплохо, вдова медленно отошла от зеркала, сняла обнову, пробормотала без всякой связи:

– Уж такая наша доля вдовья…

Мадина с горечью примерила это слово.

Бадра вернулся в село два с половиной года спустя. Те, кто его видел, говорили: переменился, притих. Зубоскалы острили: «Его, видать по всему, в городе под ярмом укротили!»

Мадина думала: намекни она тогда примчавшемуся в село Мацу на Бадру, сейчас он пахал бы совсем на других

землях и уж там-то его укротили бы почище, чем сам себя укротил, вбили бы в мерзлую землю. А уж как допытывался Мац, как взял всех в оборот, будто его и впрямь заботила гибель Шартына! Просто взяв след, он не мог остановиться и чуял же он что-то, догадывался: разгадка рядом. Рядом – не рядом, а дознаться, кто убийца Шартына ему не удалось. Между тем в руках Мадины был человек, кто мог указать на тех, кто ранил Шартына. Уж Мац заставил бы его разговориться, или же не дожидаясь этого, Бадра взял бы на себя всю вину. Только смолчала Мадина. Долгими ночами мучилась: почему? Не могла нарушить последней воли Шартына? Или тому другая причина? Себе в угоду смолчала? Не делала она с тех пор ничего себе в угоду, видит бог! С тех пор – да, а тогда? Шартын не изменил своей безграничной доброте и на смертном одре. Но ведь Мадина не была столь добра, как муж, и не всегда так беспрекословно следовала его просьбам и советам.

Услышав о возвращении Бадры, Мадина почувствовала, как земля ушла из-под ног, едва не свалилась в пламя очага, когда Старший вскользь сообщил эту новость, он-то ни сном, ни духом не ведал, какую бурю поднял в сердце невестки. Бадра на удивление всем сразу же впрягся в работу. В городе он научился кузнечному ремеслу и теперь дневал и ночевал в кузнице. Сельчане не давали ему скучать – ведь кузница почти четыре года стояла закрытой. С того самого дня как прежний кузнец Леон чем-то не угодил властям и, по словам Маца, пошел пешком прямиком в Сибирь. За четыре года работы накопилось – не продохнуть. Вот и несли Бадре старые лемехи, мотыги, топоры, ножи, чтобы он их обновил по мере возможности. И коней пригоняли подковы менять. А ребятня и вовсе роилась постоянно возле кузницы. И то понятно: кроме Бадры некому было им потакать, у родителей иных забот хватало. Бадра, бывало, просверлит ребятишкам кругляшку и готово колесико к тачке или крохотные ножи смастерит – стругать палочки и они на седьмом небе от счастья. Стоило Хаджарата выпустить за порог и он – туда же,

к кузнице. Правда, случалось это нечасто – сын был прочно впряжен в хозяйственные заботы, как-никак единственный мужчина в доме.

Теперь Бадру в селе хвалили, мол, остепенился он, и сила его недюжинная пригодилась, всем на пользу пошла. Не только силой брал Бадра, но и смекалкой. Такие затейливые надочажные цепи выковывал, такие котелки пастухам в горы мог смастерить в тысячу раз лучше покупных, а уж ножи его славились на весь уезд. Только вот не торопился он жениться, хотя у многих девушек и их родни был на примете. Еще бы! Человек хорошего роду, из крепкого дома и сам не промах да и возраст подходящий, в самый раз решиться огласить свой двор «Радедой» – свадебной песней. Иначе ведь и опоздать можно, юность-то уже за плечами. Но Бадра не внимал ни намекам друзей, ни мудрым советам стариков, хотя монахом не жил, по слухам наведывался кое к кому в город, возможно, по старой памяти, да и вдову Шамаха Шабуа не лишал своего внимания.

Дом Мадины Бадра обходил десятой дорогой, но однажды…

Случилось это через некоторое время после его возвращения. Мадина шла домой через лес. Она побаивалась ходить лесом, но в тот день так уморилась на табачной плантации, что решила сократить себе путь. Она уже подходила к изгороди кукурузного поля, за которым виднелся ее дом, как вдруг остановилась и испуганно отпрянула назад.

Под ольхой возле самой изгороди спиной к ней стоял мужчина, прислоняясь к тонкому стволу. Он, очевидно, смотрел на ее дом, на двор, больше смотреть было не на что. И это был Бадра. Мадина, пятясь, добралась до старого дуба, росшего на обочине узкой тропы, и спряталась за ним, села на выступающий корень и сама скрючившись, как корень, попыталась унять заколотившееся сердце. Сидела она там до тех пор – аж ноги затекли! – пока не услышала, как Бадра идет по тропе, тяжело ступая. Он миновал дуб, и не догадал-

ся за него заглянуть. Кто бы на его месте догадался бы? Да никто! И все же…

Мадина, не разбирая дороги, кинулась домой, прибежала, запыхавшись. Хорошо, что свекрови достаточно было сказать, что по дороге напугала какая-то бродячая собака. Если вдуматься, где в селе взяться бродячей собаке? Но мать Шартына поверила и порадовалась, что невестка спаслась без ущерба для себя: а что, если пес бешеным оказался бы да и покусал? С утра пораньше Мадине понадобилось обойти изгородь вокруг кукурузного поля, – вдруг прохудилась? Тогда спасу не будет от поросят и другой мелкой живности – погубят посевы. Но обойти изгородь и миновать ольху невозможно. Мадина остановилась под ней, отметила, что трава здесь изрядно вытоптана, и с радостно екнувшим сердцем проворно двинулась вдоль изгороди.

В конце лета совсем ненадолго, всего на два дня, приехала Сончка. Она с годами все краше становилась. И руки у нее были ухоженные, и лицом по-прежнему бела, а, может, еще белее стала – хоронилась от солнца, под зонтиком ходила. Густые волосы подруга теперь укладывала валиками, отчего, казалось, стала выше ростом, и выглядела она вполне счастливой.

– Хорошо живешь! – одобрила Сончка.

– Какое там, – отмахнулась Мадина, но не удержалась, добавила, не без гордости: – Только и милостыни ни у кого не прошу! Сама везу воз!

– Одна бы не справилась! – уверенно сказала Сончка. – Тебе все помогают и председатель Георг, и актив села!

– Откуда тебе в Акве знать, кто помогает, а кто мешает?! – рассердилась Мадина. – Посмотри на мои руки и поймешь, почему не пропала!

Она сунула под нос подруги свои ладони с потрескавшимися подушечками пальцев, с мозолями.

Сончка взяла ее руки в свои и, смутив подругу до слез, поцеловала их попеременно, но, тем не менее, от своего не отступила.

– Тебя не в чем упрекнуть, но в иное время сама бы не выдюжила.

– Аа, вот ты о чем! Все с новым временем носишься?! Только новое время за меня табак не нанижет, чай не соберет, шелковичных червей не уговорит кокон вить. Если кто мне помогает, так родня Шартына. Они и сто лет назад без помощи дом покойного брата не оставили бы, к тому же, когда его мать жива, и дети подрастают! Иначе как они в глаза людям смотрели бы?!

– Спасибо, что упомянула добрым словом братьев Шартына, пусть и для того, чтобы меня осадить, но упомянула! – с примиряющей улыбкой проговорила Сончка.

Хорошо, что Хаджарат забежал в комнату, где они сидели, и разговор перешел на него. Мадина остыла, успела даже пожалеть о своей горячности.

Тем сентябрем сын должен был идти в первый класс. Собственно говоря, Сончка вроде и приехала-то, что бы проводить мальчика в школу, но на первое сентября остаться не могла.

– Первое сентября у меня самая горячая пора в Акве, занята по горло, – сказала она.

Хотя что там могут быть за дела при таком ухоженном виде? Так или иначе, к началу учебного года Сончке надлежало быть в Акве, да и до того вырваться с работы было не так-то просто, но вырвалась вот и не с пустыми руками. Подруга привезла сыну Мадины черные тупоносые ботинки на резиновой подошве и маленький портфель с тремя крохотными ключиками, висевшими на ручке на длинном витом шнурке. У Хаджарата при виде портфеля дух захватило, у него так счастливо заблестели глаза, что матери показалось, что сейчас он перешагнет через свою застенчивость и кинется на шею к Сончке с радостным визгом. Только он остался стоять возле бабушки и даже теснее прижался к ее боку. Мадина рассердилась на сына. А свекровь со слабой улыбкой потянулась к портфелю и детское нетерпение – дайте скорее! – отразилось на ее лице. Ей больше всего понравился блестя-

щий никелированный замочек на портфеле и ключики. «Как сорока, мимо блестящего спокойно пройти не может!» – насмешливо определила Мадина про себя, но вдруг жалостью к старухе наполнилось сердце и она, сев рядом со свекровью, открыла портфель и показала ей его нутро, а уж старушка не преминула проворно запустить внутрь руку. Она вытащила узкий деревянный ящичек с выдвижной крышкой и, повертев в руках, протянула внуку – «глянь, какой гладкий и внутри у него что-то перекатывается», – потом достала деревянную линейку, тетради.

Мадина отпустила легкий подзатыльник сыну:

– Ослик ты, ослик, спасибо сказать и то не догадаешься.

Он опустил голову, неловко держа обеими руками ящичек.

– Открой пенал! – посоветовала Сончка

Но он не шелохнулся, покраснел густо и было похоже, что сейчас заплачет. Вновь пришла на помощь бабушка, взяла из рук внука пенал и легко выдвинула крышку. В ящичке лежали не очиненные карандаши, ручки, перья, ластик.

– Я собиралась ему холщовую сумку сшить для тетрадок и книжек, – сказала Мадина. – Матери его сверстников уже сшили даже у кого отцы есть, а у меня вот руки не доходили.

– Теперь он при новехоньком портфельчике и не надо нам никакой холщовой сумки, правда, Хаджарат? – бодро проговорила Сончка. – Смотри, учись хорошо. Школу твой отец и дядья построили. Если бы не Шартын, кто знает, школы и до сих пор не было бы в вашем селе.

Не столько слова – ведь ничего дурного в них не было! – а сколько уверенность подруги в том, что она знает как заговорить с мальчиком о погибшем отце, задело Мадину и она, не удержавшись, сказала:

– Разве школу и без отца Шартына не построили бы, раз новое время велело?

Сончка вздохнула:

– Я только хотела сказать, что Шартын понимал, как необходимо выучить детей, где бы они не жили, осознал требования нового времени.

– Неужто он в чем-то стоящем разбирался?

– Разбирался, разбирался, но мы с тобой кое-что проглядели, да, Мадина?

От разговора остался холодок. Мадина чувствовала, что подруге неловко с ней, да и сама она не испытывала обычной теплоты – держись-не держись за прошлое, а дороги их, видно, расходились. Но когда они пришли к зданию конторы и увидели арбы, груженные табаком, – на одну из них обещал посадить Сончку председатель Георг – сердце ее дрогнуло. Она в мельчайших подробностях припомнила, как Сончка выезжала с отчего двора на ладной каурой лошадке, а братья – все трое! – гарцевали около нее, гордясь и сестрой, и своей молодцеватостью.

– Разве тебе место на арбе? – глухо проговорила Мадина. – Тебе бы коня, ты с самым норовистым сладила бы! И как же без провожатых?

– На арбе я только до мощеной дороги, дальше на попутной машине доберусь, а что касается провожатых, так я сама могу дорогу другим указать. – Она засмеялась и, по-своему поняв выражение погрустневшего лица подруги, пообещала: – Скоро опять приеду.

– Будь хозяин в доме, он бы тебя проводил… а так отпускаю тебя одну… – виновато пробормотала Мадина.

– Нашла о чем печалиться! Мне не впервой шерстить села и с проверкой наведываться туда, куда и ослицы не ходят рожать, и, заметь, родные, как ты, души меня там не привечают. Правда, на слова восхваления они не скупятся, но я предпочитаю твои бурчания.

Сончка со смешком обняла ее за плечи. Мадина не нашлась, что сказать и обрадовалась, завидев направлявшегося к ним председателя Георга – очевидно, пришло время прощаться.

Проводив подругу, Мадина почувствовала себя кругом виноватой перед ней. Может, от той не укрылось, как досадовала Мадина, что Хаджарат слушал россказни Сончки, разинув рот. Так он никогда не слушал собственную мать, да

и что особенного она ему могла рассказать? А Сончка увлекала его вычитанными из книжек историями. И правильно делала, хотела мальчику привить охоту к чтению, и чтобы он играючи одолел в школе грамоту! А Мадина вместе благодарности обиду на подругу затаила. «Что я за человек, ну что за человек, все делаю невпопад!» – казнилась она, бредя по проселку, и неожиданно для себя свернула к школе, куда она собиралась на следующий день отвести сына. Ей вспомнилась стычка Маца и Шартына из-за Коциа, которого покойный муж непременно хотел видеть учителем сельских ребятишек, а Мац углядел в этом преступление. Не будь Еугана, история добром не закончилась бы. Но он помчался выручать Шартына, ради нее помчался. А теперь Еуган не ездил к Мадине. Опять видно берег ее честь, как бы пересуды не пошли, если он зачастит в дом, где нет хозяина. Как известно, даже петух и тот топорщит крылья при виде вдовы, рассчитывая на легкую добычу. Но изредка Еуган мог бы приезжать…

Мадина открыла боковую калитку и вошла во двор школы – просторный, есть где ребятишкам порезвиться. Здание школы на крепких сваях все равно казалось легкой постройкой. Оттого, наверное, что стены были добела выскоблены, а длинное крыльцо – в узорчатых балясинах, и наличники на окнах резные. Мадину удивила затейливость узоров, точно они вырезались не топором по доскам, а ножичком по холстине.

Двери школы стояли настежь распахнутыми. Мадина осторожно, словно опасалась, что строение взлетит, как сказочная птица, приближалась, любуясь работой родичей мужа. «Да зарыться им в землю, какие умельцы! – думала она. – Дом словно нарисованный стоит!»

Она неторопливо поднялась на крыльцо и тут в нос ей ударил такой густой запах свежести, летнего разнотравья и цветов, что она опешила и даже подумала не мерещится ли, но в открытые двери увидела, что учительский стол завален ветками туи, цветами. Мадина перешагнула порог и обнару-

жила, что возле стола трудятся двое. Учительница, высокая плотная женщина с толстой косой, закрученной вокруг головы, плела нарядные «косы» из веток туи и цветов, а горбун подбирал ей букетики.

– Это вдова Шартына! – сообщил он быстро, как успокоил.

Та приветливо поздоровалась с Мадиной и шутливо сказала, указывая на заваленный цветами и ветвями стол:

– Вот готовимся принять твоего сына. Цветочными гирляндами завесим крыльцо, празднично получится.

– Сын Шартына уже школьного возраста?! – удивился горбун

Кто знает, когда для него время остановилось.

– Да, идет в первый класс, – сказала учительница.

Мадина поспешно поддакнула, мол, именно в первый класс, хотя надобности в этом не было. Просто она не знала, как себя держать. И все из-за горбуна. Это был Коциа, родич Тараша. Тот самый Коциа, ради которого Шартын копья ломал, в учителя определить хотел. Устроился родич Тараша иначе – женился на учительнице. Свадьбы, правда, не было. Уцелевшая родня Коции, говорят, на дыбы встала. И мысли не допускала о том, чтобы породниться с дочерью бывшего лавочника с городской окраины, к тому же и живущей в чужом селе на квартире, как солдат на постое. Ох, и спесивые же люди! Посмотрели бы сначала на своего жениха, на горбуна, на калеку. Кто на него позарился бы?! Лично Мадине и вовсе удивительно, что статная учительница, крупная, румяная, как говорится, кровь с молоком, и вдруг пошла замуж за Коциа. Он жил в ту пору в доме своего молочного брата – странная привязанность в их роду к молочным братьям – неприметно этак жил. А попробовал бы приметно жить или вернуться в Аква, где отчий его дом был превращен в учреждение для новой власти, неизвестно, как бы все это ему аукнулось. Поначалу, говорят, учительница к нему бегала со школьными своими заботами, совета спрашивала. Может, он и впрямь был учен всяким книжным премудростям, как утверждал Шартын. Но кто же замуж за ученость выходит?

А учительница вышла. И по слухам, жили они душа в душу. Коциа помогал жене учить ребятишек, хотя в учителях не числился.

– Шла мимо и вот… – Мадина не решалась ни подойти к столу с предложением помощи, ни уйти.

– Хорошо сделала, что заглянула к нам, – приветливо сказала учительница. – Надо же знать, где и с кем полдня будет проводить твой сын.

– Он здесь только хорошему научится, – быстро сказала Мадина, которая изо всех сил старалась быть обходительной.

А в голове вертелось: «Если из-за этого калеки родня так билось, какой ураган поднялся бы, заикнись Тараш о женитьбе на мне».

– Учительница каждый год встречает выдумкой, вот в этом решила все вокруг украсит цветами, – сказал горбун. – По-моему, придут дети, и это будет лучшим украшением.

Он, очевидно, из уважения к Мадине не назвал жену по имени, а так его ученость, думается, допускала несоблюдение обычая. Женившись на неровне, он куда больше законов нарушил, так зачем держаться за пустяки?!

– Счастливого вам дня!

Мадина попрощалась и проворно, чтобы не задерживать вышедших ее проводить ученого горбуна и его старательную жену, сбежала с крыльца и быстро пошла по чисто подметенному двору – неужто учительница прошлась с метлой? Или кто-то из живущих по соседству женщин подсобил ей, особенно из тех, чьих детей не первый год учила она грамоте, счету и даже пению и рисованию.

На следующий день спозаранок в дом заявились Старший и Младший. Они смотрели, как аккуратно во все новое одевает сына Мадина – а портфель во всей красе стоял на краешке стола – и говорили о том, что Хаджарат наверняка обгонит всех в учебе, иначе и не может быть, ведь другого такого смышленого парня еще поискать! Но когда Мадина усадила сына завтракать – у того от волнения кусок в гор-

ло не лез – дядья собрались уходить. И тогда с деланной небрежностью – Господи, и сколько еще себя укрощать?! – проговорила Мадина:

– Если кому-нибудь из вас по пути, проводите мальчика в школу.

Братья переглянулись. Старший не решился и такой пустяк принять в дар, сказал Младшему:

– Проводи! Меня на Ореховой Поляне люди ждут, для дома фельдшера место будем присматривать.

Лучше бы он пошел с Хаджаратом, если уж из двух зол выбирать меньшее, не он ведь сманил тогда Шартына в горы, но Мадина уже не могла взять своих слов обратно.

– Подожду на лугу, пусть спокойно доедает свою мамалыгу, время терпит, – сказал Младший, благодарно взглянув на Мадину.

Братья ушли. И на том спасибо, догадались хоть не мозолить глаза.

Хаджарат томился за столом, не ел. Напротив сидела бабушка и говорила, что сама побежала бы в школу, да не берут. Маленькая Сона путалась под ногами, просилась на руки, и терпение Мадины было на исходе.

– Ладно, не хочешь есть, так и не рассиживайся за столом!

Не успела она договорить, как мальчик уже стоял у порога, вцепившись всей правой пятерней в ручку портфеля.

– Погоди, я провожу!

Мадина пошла с сыном к воротам, буднично его наставляя:

– Смотри, не измарай одежду, береги портфель.

Сын послушно кивал и все ускорял шаги. На луг она выпустила мальчика одного. Сама осталась стоять внутри ограды, опершись руками о верхнюю планку невысоких ворот. В конце луга поближе к проселку виднелась тощая фигура Младшего. Он смотрел на Хаджарата, и Мадина смотрела на сына. Их взгляды сходились с двух сторон на худеньком мальчике, оставлявшем на росной траве четкие

следы. Пройдя немного, сын оглянулся на мать и нерешительно махнул ей рукой. Похоже, он не прочь был повернуть назад, все его нетерпение куда-то подевалось. И матери он показался таким беспомощным, таким беззащитным, а учительница припомнилась такой горластой, большой… Вдруг она линейкой станет бить ребятишек по рукам, если они выйдут из-под повиновения? И кто ее остановит? Не Мадина же. «Может, горбун того не допустит. Он помнит о Шартыне и раз он такой ученый, как уверял покойный муж, то не позволит плохо обходиться с учениками. Мадина слышала от Сончки, что учителей в городе могут наказать даже за грубое слово, сказанное детям, а уж руку на ребенка поднять и вовсе – ни в какие ворота.

Сын оглянулся еще раз.

– Эге-гей, парень, не робей! – разнесся над лугом голос Младшего. – Ступай тверже!

Нашелся тоже советчик! Но Хаджарат, как ни странно, приободрился – или хотел угодить дяде? – ускорил шаги.

Мадина все стояла у ворот, хотя сын со своим проводником уже скрылись с глаз, но на лугу все еще были видны следы, оставленные новыми ботинками мальчика. Потом приковыляла Сона, задергала за подол маму – как всегда, просилась на руки. На этот раз она своего добилась. Мадина, подняв ее, тяжеленькую, понесла к амацурте. А там за столом по-прежнему сидела свекровь, смотрела на скамью, на которой сидел внук, и плакала, сморщив и без того сморщенное лицо. Слезы капали на стол, на сухонькие руки.

– О чем ты? – дрогнувшим голосом спросила Мадина, хотя мало ли что придет в голову безумной.

Она спустила с рук недовольно захныкавшую дочь и обняла старуху за плечи, сказала:

– Увидишь, он ко всему легко приноровится, он – смышленый, в отца.

– Шартын он из одной души состоит, широкой, – подхватила старуха, путая прошлое и настоящее, и доверчиво прижалась к невестке.

– Будет, будет, утрем слезы, испечем чурек с сыром, – ласково посулила Мадина.

Утешала свекровь как малого ребенка, отвлекала пустяками. Знала: сейчас старуха успокоится, почувствует ее защиту и успокоится. Для свекрови Мадина была чем-то вроде крепости, что не рухнет, не сдастся. «Какая завидная участь у не сдавшихся крепостей» – вдруг подумала Мадина.

Хаджарат легко обвыкся в школе. Дядья прямо как в воду глядели, он и вправду оказался на редкость смышленым, все на лету хватал. Старший и Младший расхваливали мальчика всем и каждому, заодно хвалили и учительницу – и образованная, и обращаться с детьми умеет, и добрая. А то, что она к горбуну бегала, вынуждая жениться, о том, само собой, никто не вспоминал.

Следующим летом перед самыми каникулами Старший привел во двор гнедого, давно предназначенного Хаджарту, вот, мол, держал у себя, выхаживал, к седлу приручал, ожидая, когда ты подрастешь, а коль ты в учении теперь первый человек, так и за своим конем сможешь присмотреть.

– Коня в денник поставили, так позаботиться надо о седле и кинжале для молодца! – пошутила Мадина.

– Это – моя забота! – сказал серьезно Младший. – Новехонькое седло, стоящую сбрую и камчу он получит, когда ему десять лет исполнится. А пока пусть в старом седле учится ездить.

Хаджарат был на седьмом небе от счастья. Добро, смирный был конек. А то ни раз и не два сбросил бы мальчонку, который ему покою не давал. Гнедой вольно пасся только тогда, когда мальчик был в школе или ломал голову над домашним заданием. А так, дай ему волю, он и за ветками шелковицы для вскармливания шелковичных червей отправлялся бы только верхом. Зато поискать заплутавшую в лесу коровенку или телку он соглашался только верхом. «У тебя же не куница, а конь, по деревьям лазить не умеет» – посмеевалась Мадина, на что сын спокойно указывал: «Коровы тоже по деревьям лазит не умеют». «Но и они находят

тропку в лесу, и вы найдете!» – поддерживали племянника дядья, если им случалось быть поблизости. Зато и ухаживал Хаджарат за конем, как взрослый. Мадине ни разу не пришлось взять в руки скребницу и вычистить коня, со всем справлялся сын. Не забывал мальчик и на водопой коня свести, а как только выпадала свободная минута, он – скок на спину четвероногого сокровища и гнал его на дальние луга на выпас. И даже в темноте возвращаться не боялся. Похоже, Хаджарат ничего не боялся, если находился на спине своего гнедого. Только одного он не выносил: когда, оказавшись на выпасе, гнедой примыкал к косяку, тревожился, что жеребец – вожак косяка – покалечит. Хаджарат дал своему гнедому многообещающую кличку – Апшатлаку, что означало Ураган. Но, по правде говоря, гнедой особой прыти не выказывал, да и никто бы не стал дарить мальчику норовистого и слишком быстроногого коня. Всему своему время. Но для Хаджарата Апшатлаку был скакуном из скакунов. Мальчик мечтал, что в десять лет, ну, может, в двенадцать, если посчитают, что десятилетних рановато брать в расчет в столь завидном деле, примет участие в скачках во время весеннего праздника. Он даже попросил мать загодя сшить ему красную сатиновую рубаху, в которую обычно наряжаются подростки наездники, и оставить немного ткани, чтобы можно было еще и голову кумачом обвязать. Мадина обещала сшить рубаху за полдня, но ближе к тому времени, когда она понадобится, иначе вырастет сын из нее, руки из рукавов будут торчать, край рубашки вылезет из штанов…не станет же он позорить своим неопрятным видом красавца гнедого. Хаджарат подумал и согласился подождать, и рассказал матери, как к скачкам он принарядит коня – в гриву вплетет красные ленты, хвост заплетет и коротко подвяжет…

Но до скачек дело не дошло. Однажды ранней весной – грязь еще на проселках лежала вязкая, цепкая – к воротам подскакал незнакомый человек, соскочил с коня, зычно крикнул:

– Хозяин!

Мадина подошла к воротам и незнакомец, глядя на нее ошалелыми глазами, сбивчиво, не столько попросил, сколько потребовал, указывая на гнедого, как назло пасшегося перед домом:

– На сутки прошу! Коня! Человеку худо! Везу доктора! – он шумно перевел дух. – А с его коня подкова спала, захромал конь, у кузнеца оставили. Ждать некогда, да и скажу, положа руку на сердце, не поднимется тот конь по нашим кручам. Выучка не та. Казенный конь, неухоженный. Кто не верит, к кузнице может подойти и посмотреть. Проселочная лошадка, кляча, на нее последнего дармоеда посадить и то стыдно. А доктор вон – незнакомец кивнул в сторону дороги, – стоит, ждет. Золотой человек, знает цену просьбе, сразу откликнулся.

Незнакомец похоже решил заговорить Мадину до смерти. Она слушала с непроницаемым неуступчивым лицом. Но это почему-то не останавливало его, только к торопливым словам он добавил, наконец-то вспомнив о вежливости:

– Я – сын Самаха Мрамба. Дырмыджем кличут.

Мадина и на это не откликнулась, тем более ни о каком Самахе Мрамба, равно как и об его сыне, сроду не слышала. Может, за пределами глухомани, где окопалась семейка, и никто другой о них ничего не слышал. Надо же было именно у этих ворот ему спешиться. Мадина заметила на лугу Старшего, и перевела на него взгляд. Тот шел со стороны холмов. Говорливый Дырмыдж проследил за ее взглядом.

– Хозяин? – спросил он с прояснившимся лицом.

Ясное дело, такие вопросы надо решать с хозяином. Он нетерпеливо вскинул голову, точно подгоняя взглядом Старшего и явно досадуя, что слишком много времени потерял на Мадину. Но дождаться, пока подойдет хозяин, он был не в состоянии и снова обрушился на Мадину со своей просьбой.

– Только на сутки прошу коня, послезавтра пригоню.

– Если не сорвется с кручи! – холодно заметила она.

– Сорвется, так ведь и доктору несдобровать! – воскликнул сын Самаха Мрамба с ужасом, то ли искренним,

то ли поддельным. – Нет! Я за уздцы его коня держать буду, сам пешком пойду, поведу коня, время поджимает, да только…

Тут подошел Старший, поздоровался, и не успел незваный гость затопить его потоком слов, как Мадина, наконец, сочла нужным ответить на вопрос, заданный ей мешок слов тому назад:

– Я в этом доме хозяйка. Вдовий дом!

– Кох! – вскричал сын Самаха Мрамба и гулко ударил кулаком по своей груди. – Хай! Пропади я пропадом. Этому дому помощь нужна, а я помощи прошу.

– Уздечка висит на кухне за дверью, – сказала Мадина Старшему и пояснила: – Гнедого просит одолжить, доктора повезти к больному.

Тут и проситель немедленно врезался в разговор, горячо объясняя, что речь идет о жизни и смерти, иначе не стал бы он доходить до такой крайности, чтобы просить коня, и время, время… утекает оно…

Старший управился быстро – взнуздал коня и вывел просителю, ни словом, ни жестом, не дав понять Мадине, что он недоволен, не спросив: «А что скажет Хаджарат?»

Заполучив коня, сын Самаха Мрамба заторопился к своему доктору, а они остались вдвоем.

– Куда это годится, – пробормотал Старший

Мадина вся сжалась – понимала: поделом она сейчас получит, и все-таки не была готова принять упреки Старшего, хотя уже сама корила себя: как можно было отдать, точно стакан воды, коня сына?

– Не дело за тридевятью земель отыскивать доктора – продолжил Старший. – И отчего-то с виноватой улыбкой глянул на Мадину. – У нас хоть фельдшер есть.

– Поставили бы они своему фельдшеру такой дом, как вы, и он от них никуда не делся бы.

– Как знать, может, в их глухомань и каменным дворцом никого не заманишь… Лишь бы вовремя он поспел бы со своим доктором. Вовремя не поспеешь, какой толк?

Старший помрачнел, вспомнил, наверное, что однажды он слишком поздно привез доктора, не успел… а, может, успеть было и вовсе невозможно. Но теперь об этом не узнать…

– Никогда не слышала ни о каком Самахе Мрамба! Может, дармоед какой…

– Я его знаю, уважаемый человек из доброго рода, – заверил Старший.

Мадина догадалась: Старший попросту подбадривает ее, будто она заслужила ободрения. На самом деле, он знает о Самахе Мрамба не больше, чем она.

Оставшись одна, кляла себя Мадина: «Убить меня мало! Пристрелить как бешеную собаку!» Лишить ребенка главной его радости ради спасения неведомого страждущего! Так мог поступить только Шартын. Его великодушие не различало дальних и ближних. Но она другая, ей не по размеру доспехи Шартына. Чуяло сердце – пожертвовала она гнедым, пожертвовала… Так оно и случилось. Нет, сын Самаха Мрамба не оказался бесчестным. Не через сутки, но через неделю, и не на гнедой, а на вороной лошадке, тем не менее приехал. И как только спешился во дворе, Мадина мигом отправила сына позвать Старшего и Младшего принять гостя. Нужды в их присутствии не было, просто она хотела отвлечь мальчика, пусть попозже узнает, что долгая неделя его ожидания ничем не закончилась. Лицо гостя сияло оживлением, и он ничем не напоминал потного нетерпеливо-возбужденного человека с загнанными глазами, неделю назад подскакавшего к воротам и требовательно, точно должники его жили за этой оградой окликнувшего хозяина. Было очевидно, что беда миновала его, но Мадина вежливости ради спросила:

– Как больной?

– В самый раз подоспели! Доктор до сих пор гостит у нас. Но больной… Какой там больной. Месяц-другой и туров на плечах будет в дом приносить.

Он широко раздвинув руки, какой величины туров тот будет приносить домой и лицо его расплылось в самодовольной улыбке, будто и он сам сейчас стоял посреди амацурты

богатырь-богатырем с туром на плече. Не меняя радостного выражения лица, он сообщил о том, что гнедой в трех шагах от дома сломал ногу, и его пришлось пристрелить.

– Живем-то мы где, медведь меня задери! – сообщил он радостно. – Еще два шага – и в скалу упрешься носом! На круче такой живем! Вороного вот вам привел вместо вашей лошадки. Он, как барс, разве что на дерево не лазит, а так любую кручу одолеет, ни разу с шага не сбившись.

Он с таким ожиданием глянул на Мадину, будто не сомневался – она кинется его благодарить за столь выгодный обмен.

– Спустились бы пониже! – в сердцах сказала она. – Не птицы в скалах гнездиться!

– Зато воздух целебный! – живо возразил гость

Опьяненный своей удачей, он походил на стрелка, сбившего главную мишень, и принимающего как мелкую оплошность промахи по менее значительным целям.

– Кем тебе доводится больной, к кому доктора доставил? – вырвалось у Мадины, пытавшейся понять истоки его ликования.

– Брат! – он помедлил и чистосердечно – в чем-чем, а в прямодушии ему нельзя было отказать! – признался: – Не по крови. По сердцу. Росли вместе. Юнцами у русских служили, в армии. Пуля в нем сидела. Вражья. Зашевелилась она нынче. Думали: час его последний пришел. А доктор справился с бедой, похоронил он ту проклятую пулю. И нам жизнь вернул… Башковитый оказался человек, медведь его задери!

Он широко улыбнулся и вновь с ожиданием – как такую радость можно не разделить?! – глянул на Мадину.

– Мальчика жалко, – сказала она, платя за чистосердечие той же монетой. – Коня ему дядя подарил. Я даже не спросив его… – она беспомощно развела руками.

– Утешится! – уверенно сказал гость. – У детей это быстро. Я привел ему стоящего коня, он и утешится.

Но Хаджарат не утешился. Вернувшись, он узнал, какая участь постигла гнедого. Он выскочил за дверь, не дослушав похвал, расточаемых и гостем и родичами вороному, кото-

рого дядья-то – это яснее ясного! – только мельком видели у коновязи.

Мадина нашла сына в сарае. Он плакал, уткнувшись лицом в бабушкины колени. Вместе с ним легкими слезами плакала и бабушка. Сона, стоя поодаль, сосала палец и глазела на них.

– Откуси его совсем!

Мадина дернула дочку за руку. Сын, заслышав голос матери, вскочил на ноги, обернулся к ней с распухшим от слез яростным лицом.

– Ни одного дня! Ни одного часа! – выкрикнул он.

– Ни одного часа! – бездумно повторила бабушка, сморщив лицо.

– Проклятого коня на нашем дворе! – сын сорвал голос и засипел: – Не потерплю.

Он так и сказал: «Не потерплю!» Тощий мальчишка, стригунок. И ушел в дальний угол сарая, отвернулся ото всех.

Мадина смотрела на стриженый затылок сына, на худые лопатки, резко обозначившиеся под выцветшей фланелькой и, хорохорясь, произнесла:

– Уж потерпишь. Куда денешься?!

Она вернулась в дом. А Старший и Младший – они ведь тоже поочередно наведывались в сарай – так дело повернули, что воспротивиться требованию сына Мадине не удалось. Родичи мужа на этот раз изменили своей прямоте и вместо страданий Хаджарата по гнедому, до ушей гостя дошло совсем иное, мол, мальчик, хоть и мал годами, но сердце у него понятливое, и не может он спешить человека, столь верного дружбе и долгу. Раз малец и тот догадался уважить достойного человека, так неужто взрослые ударят в грязь лицом и позволят сыну Самаха Мрамба пешком вернуться домой, таща на плече седло?!

– Ваших высоких слов не стою, – бормотал сын Самаха Мрамба, от смущения растерявший все свое красноречие.

Старший и Младший твердо держались сказанного и настояли на своем. Надо отдать должное гостю, собравшись с

духом, он предложил за гнедого расплатиться деньгами, хотя жертва для него, видно, была велика. В его карманах, похоже, было больше дырок, чем денег. Старший и Младший и это предложение, само собой, не приняли. Сын Самаха Мрамба вернулся к своим кручам на вороном, как и спустился. И больше никогда не спешивался во дворе Мадины, чему она была только рада. Но однажды в полдень другой всадник, легко открыв ворота, въехал во двор и спрыгнул с коня возле коновязи. Это был Еуган.

– Был по делам в вашем селе. Мать твоя просила заодно узнать, все ли вы здоровы.

– Иначе проехал бы мимо нас?! – воскликнула Мадина с упреком.

Он с признательностью посмотрел на нее:

– Нет, не проехал бы…

Пока она хлопотала в амацурте, готовя угощение, Еуган сидел на крыльце с детьми и свекровью Мадины. Он так почтительно слушал старушку, словно не замечал слабости ее разума, и каждый раз, когда та, обеспокоенная одной ей ведомой заботой, прервав разговор, легким шагом спускалась с крыльца, он вставал, выказывая ей уважение, и поднимался навстречу, когда она вскоре возвращалась. Как ни странно, старуха понимала оказываемое ей уважение и, как положено, говорила:

– Не вставай, да взять мне на себя твои горести, не утруждайся.

– Какие труды, мне в радость было бы услужить вам, – тоже, как положено, отвечал Еуган.

Но когда она, очередной раз вернувшись на крыльцо спросила: «Шартына не встречал? Он в отлучке, к вечеру обещался быть», он смешался и не сразу нашелся, что ответить.

– Не-е-т, – протянул он погодя виновато, – я лесом ехал, никого не встретил.

И поймал благодарный взгляд Хаджарата, молчаливо сидевшего поодаль от него – как-никак молодой хозяин, не мог же он оставить гостя без внимания, пусть и бессловесного.

Мадина собрала на стол. Кроме обычных слов благодарности и извинений за доставленные хлопоты за столом ничего не было сказано. Но Мадина знала – сегодня она услышит другие слова, ей только предназначенные, непременно услышит. Как только она увидела идущего по ее двору Еугана, так и поняла неспроста он приехал. Как долго он не навещал Мадину, все собирался с силами и собрался видать. Сердце у нее забилось радостно, молодо.

Старуха с детьми после обеда вышли из гостевой комнаты, где Мадина накрывала на стол. Еуган тоже поднялся на ноги, но не последовал за ними наружу, а, прямо глядя на Мадину ясными глазами, сказал то, ради чего и приехал:

– Прости, если раню неосторожным словом, но давно понял – не хочу никого, кроме тебя, назвать женой. Отцом твоим детям буду.

Мадина встрепенулась. Дождалась! Она – вдова с двумя детьми на шее! – от него, молодого, видного, свободного!

Но не дольше мгновенья длилось ее торжество, затем стыдом опалило: гордыни ради – все еще желанна! – позволила она Еугану произнести эти слова.

– Всегда что-то стоит между нами, Еуган! – вырвалось у нее.

Он по-своему истолковал ее слова.

– Боишься, что родичи мои воспротивятся?

– Неужто и через них перешагнешь? – поразилась Мадина, и рассердилась на себя: опять тщеславие взяло вверх.

– Ты же знаешь… я – давно…еще до твоего замужества… мое сердце всегда с тобой.

– Ведь и Сончка за своим сердцем пошла, а вы?

На этот раз жестокость ее была намеренной. Он не стал оправдываться, хотя мог бы. До нее доходили слухи, что Еуган многажды пытался примирить родителей с сестрой, но мать была непреклонна и старшие братья отказывались пойти против ее воли.

– Сестра – моя неутихающая боль, – сказал он доверчиво, как самому близкому человеку.

– Не сердись на меня, Еуган! – взмолилась Мадина. – Прости меня, безмозглую. Был бы у меня кровный брат, не дорожила бы им больше, чем тобой. Я хочу, чтобы ты это знал. Что касается всего остального, прошу больше к сказанному не возвращайся.

– Хоть открой, Мадина, что помехой?

«Люб другой» – едва не выпалила она, будто было у нее право любить того, другого, и будто была надежда, что еще счастье постучится в ее дверь хоть раз. Да и нынче оно заблудилось…

– Не обижайся на меня, если можешь. Ты мне как брат…

– Для меня и то награда, – через силу улыбнулся он.

Она кликнула детей:

– Хаджарат, Сона, где вы? Бабушку позовите, гость наш уходит.

Месяца через три Еуган женился. Мадина ездила на свадьбу. Белолицая юная невеста всем пришлась по душе. Женщины перешептывались, сравнивали молодую с женами старших братьев Еугана, и все сходились на том, что она и статью и лицом опережает их, да и выросла в уважаемой доброй семье. Еще женщины судачили, мол, одна Сончка могла бы соперничать красотой с невестой, но ее-то на свадьбу не позвали, как слезно не молил Еуган мать смягчиться и пригласить на свадьбу зятя вместе с Сончкой. Но закостеневшая в своем упрямстве старуха твердила: «И в мой смертный час не дайте перешагнуть порог ославленного ею дома». Имени же дочери она по-прежнему не произносила.

Со свадьбы Мадина возвращалась с такой щемящей жалостью к себе, что впору было завыть. Все равно она знала – не вправе была ответить иначе Еугану. Слишком он был хорош для другого ответа. Взвали он на себя заботы Мадины, ей легче стало бы, что и говорить… Дом свой укрепила бы! Только не заслужил такой участи Еуган – быть всего лишь подпоркой ее дому.

В былые времена, возможно, Мадина и решила бы иначе, но то в былые времена… В юности кажется, все для нас: и

люди, и земля, и небо. Даже летящее время не пугает, думаем: можно его остановить. Но потом, верно, наступает черед раствориться во времени, жить для земли, для людей.

Мадине вот выпало крепить вдовий дом… Куда денешься?

Дочке Соне минуло пять лет, когда умерла свекровь Мадины, тихо отошла во сне. И когда невестка утром заглянула в комнату, она лежала маленькая, сморщенная, точно осенний листок. Как убивался по ней Хаджарат! По отцу он слез не проливал, мал был еще, чтобы в полной мере осознать утрату, а уход бабушки, в которой и так жизнь теплилась неверной свечечкой на ветру, он воспринял, как страшный удар. Мадина даже испугалась, как бы с ним чего худого не стряслось. Она стала стелить себе постель в комнате сына, и на первых порах он так чурался матери, будто она крала у умершей бабушки привязанность внука, будто для себя старалась. Но перетерпела Мадина его внутреннее сопротивление, ни разу не упрекнув ни в чем ни словом, ни жестом, зато часто упоминая о том, как ей не достает доброго присутствия в доме свекрови. Месяца через два сын переменился, стал ближе к матери, податливее. Тут взбунтовалась дочь, требуя, чтобы Мадина брала ее к себе в постель. Так втроем они и ночевали в одной маленькой комнате. Остальные комнаты, лишенные теплого человеческого присутствия, за ночь как бы затягивались паутиной запустения. Каждое утро Мадина старательно проветривала их и даже в главной комнате, прибранной, пустующей в ожидании внезапных почтенных гостей, – разрешала играть детям, лишь бы дом ожил от детских голосов топота их ног. Впрочем, чаще всего куролесила там одна Сона. У Хаджарата были уже свои недетские заботы. В школе его хвалили по-прежнему. Он был жаден до учебы и мог допоздна сидеть над какой-то не дававшейся задачей. Мадина ничем не могла ему помочь, но лечь спать, пока сын мучится над задачником, она отчего-то не решалась. Так и сидела, клюя носом, на кровати в ногах дочери, даже во сне обиженно посапывавшей. Она дулась, если мать не ложилась

вместе с ней. Мадину подмывало попросить сына: «Давай, в постель! Утро вечера мудренее, надумаешь что-нибудь на свежую голову!» Но молчала, опасаясь, что сын догадается, до чего ей хочется спать. Хаджарат и без слов понимал, верно, состояние матери, потому торопливо что-то подсчитывал, если не получалось с досады тянул перепачканными в чернилах пальцами себя за нос. Сколько раз ругала его Мадина: «Не трогай нос, вытянешь, как индюшачий хоботок. Он и без того у тебя не маленький!» – а ничего поделать не могла, чуть что не так, он сразу за нос хватался. Но если уж задача выходила, Хаджарат оборачивал к матери яркогубое лицо, сероглазое – точь-в-точь как у нее! – и шепотом, щадя сон сестры, сообщал: «Покончил! Голову свернул! Под камень загнал!»

– Удачи тебе во всем! – облегченно переводила дыхание Мадина и как только доносила голову до подушки, проваливалась в глубокий сон.

На заре она опять вскакивала на ноги, натягивала на исхудавшее тело темное платье, ополаскивала лицо родниковой водой, расчесывала, не глядя в зеркало, по-прежнему густые волосы, закручивала на затылке, закрепляла роговыми шпильками и сразу хваталась за какую-нибудь неотложную работу. А к тому времени, когда солнце выползало из-за холмов и освещало ольху у плетня, она уже спешила на чайную или табачную плантацию. И так изо дня в день…

Родичи Шартына, и Старший, и Младший, женились, обзавелись детьми, новыми заботами. С женами братцев не слишком сошлась Мадина. Белоручками они ей показались, да и ума кот наплакал, что, впрочем, им совершенно не мешало выглядеть откровенно счастливыми и жалеть Мадину за ее раннюю вдовью долю.

Все шло своим чередом… И однажды, когда понадобилось направить косу, Мадина не поручила это Хаджарату, а сама отнесла в кузницу.

Бадра встретил ее на пороге, будто здесь ее дожидался. Она поразилась тому, что он ничуть не изменился, разве что

налился еще большей силой, словно силищу ту он с утра до вечера не изгонял из себя, обрушивая на наковальню тяжеленный молот.

– Косу, – выдавила из себя Мадина и крепче сжала рукоять косы.

– Поставь у двери, заточу, пришлю вечером с кем-нибудь, – пробормотал Бадра и, повернувшись, прошел в глубь кузницы.

– Я могу подождать… пока наточишь, – сказала Мадина.

Он промолчал, свесив голову, стоял спиной к ней. И, глядя на него с порога, она поняла – это с первого взгляда могло показаться, будто он не изменился, будто это прежний Бадра, никогда не знавший броду и никогда не опускавший головы. Но он и такой был хорош! Он всякий был хорош!

Всю дорогу назад Мадина выбивалась из сил, принуждая себя идти ровным шагом – хотелось со всех ног кинуться домой, спрятаться за рассохшимися стенами, заткнуть уши, зажмуриться – ничего не видеть, не слышать, все забыть.

Войдя во двор, она направилась к дочери, которая играла под ореховым деревом в куклы – наряжала в цветные лоскутки флакончики из-под духов Сончки. Мадина опустилась перед ней на корточки, заглянула в серые – что за напасть этот серый цвет! – глаза и неожиданно для себя сказала:

– Тебя твой отец никогда не видел! А ты вон какая уже большая!

– Я его тоже никогда не видела! – безразлично сказала девочка, крутя в руке флакончик в красной тряпице.

– Я знаю! – Мадина поднялась и, тяжело ступая, пошла к амацурте.

«Девочку-то зачем надо было смущать, напоминать об отце? – подавленно подумала она – Заносит меня все время, куда-то заносит».

С того дня Мадина так крепко запирала входные двери, точно опасалась взломщиков, но ни разу не осмелилась разобраться: запирается она от кого-то или себя запирает.

Она с Хаджаратом даже завела речь, что не худо бы завести собаку. Сын, само собой, обрадовался, он всякую живность любил и сразу же вызвался переговорить с пастухами. У тех водились собаки, которые нравились Мадине. Сыну Шартына пообещали щенка из первого же помета, и мальчик был необычайно горд, что уважили его – в просьбе не отказали, хотя пастухи вовсе не раздавали налево и направо своих породистых красивых собак. Мадина не стала объяснять сыну, что за уступчивостью пастухов стоит тень Шартына. Мужчина растет, пусть считает, что и сам уже что-то значит на этой земле.

Как-то осенним поздним вечером – обещанный щенок еще не родился – тихонько постучали в запертые входные двери, так тихонько, что одна Мадина и услышала. Теперь она почему-то спала вполглаза. Натянув платье, Мадина босиком – пол сразу до дрожи нахолодил ступни – кинулась к двери и шепотом, словно ожидая условленного знака от сообщника, спросила:

– Кто там?

– Мадина, – услышала она тихий оклик.

Голос был женский. Тогда Мадина стремительно выдергивая щеколды, кляня запоры, принялась расправляться с дверьми, и через миг с шумом распахнула их и у порога обнаружила Сончку. Она держала на руках ребенка, который спал, прижимаясь к ее плечу кудрявой светлой головой, а возле ног стояли два больших чемодана.

– Рассчитывали засветло добраться, да машина в пути сломалась, чинили до сумерек.

– Кто тебя привез? Мой зять?

Так впервые за долгие годы назвала Мадина мужа Сончки и вгляделась в темноту – где он там прячется?

– Дай-ка войти, – мягко попросила Сончка.

Мадина поспешно посторонилась, пропуская подругу. И, схватившись за тяжелые чемоданы, вволокла их внутрь, но притворить двери не решилась и вновь спросила:

– Где же зять?

– Закрывай, закрывай, – сказала Сончка, – не выстуживай дом. Нет там никого больше. Кто меня привез, тот уже уехал. А твой зять нынче далеко, в Москве, собирается еще дальше, к холодному морю, Балтийскому, слышала о таком?

Мадина, как прежде, как в далекие времена, вдруг вспыхнув, отозвалась:

– У меня тоже уши воском не залиты – кое-что и до меня доходит.

– Куда мне мальчика уложить? – спросила Сончка, усмехнувшись.

Мадину досада взяла – надо же, стоят в выстуженной комнате при свете одной коптилки, а она занята пустыми разговорами; кинулась зажигать керосиновые лампы, стелить постель, радуясь тому, что постельное белье хоть и не блещет новизной, зато чистое, тщательно выглаженное. Постелив, метнулась к камину – разжигать огонь. Она ломала кукурузные кочерыжки на растопку, удивляясь тому, что они, будто живые, выпрыгивают из рук – едва с ними совладала. Наконец Мадина разожгла огонь. Между тем Сончка осторожно, стараясь не разбудить, раздела мальчика, уложила в постель, подоткнула со всех сторон одеяло и подсев к огню, засмотрелась на робкое пламя, пробующее на вкус ольховое полено. По всему видать, подруга была чем-то сильно расстроена, но старалась держать себя в руках, и на лице сохраняла невозмутимое выражение, отчего оно казалось вовсе не строгим и отстраненным, а скорбным и беззащитным.

– Хорошо, что додумалась мальчика привезти, а то почти уже жених, я же до сих пор его не видела, – сказала Мадина

– Зато теперь наглядишься досыта!

Сончка с тех пор, как стала матерью, только раз и всего на два денечка приезжала к Мадине, а мальчик оставался в Акве с отцом и нянькой. Тогда Мадине показалось: материнство не оставило на подруге своего отпечатка, та оставалась прежней – неунывающей, безоглядной, чем-то необъяснимым походившей на юношу-смельчака, который сначала шагнет, а потом посмотрит, куда ногу поставил.

– Русское имя у твоего удальца?– Мадина все пыталась завязать разговор, пробиться через окаменелость подруги.

– Янис – не русское, латышское имя, – все так же не отрывая глаз от огня, все еще не заполыхавшего в полную силу, разъяснила Сончка.

– Я и говорю, не наше…

Позже она так и не смогла это жестковатое, на ее слух, имя мальчика, заменить более ласковым, домашним. Он так и остался Янисом. И в ласке, и в гневе. Так и носил, точно выходной костюмчик в будни, необычное – может, оно было необычным только для Мадины? – редкое свое имя: Янис!

– Красивый мальчик, – заметила погодя Мадина.

– На отца похож, – бесцветным голосом сказала, как справку дала, Сончка.

Мальчика Мадина толком не разглядела, заметила только что он белобрысый, а светлые волосы ей сроду не нравились, тем не менее, повторила:

– Красивый! На редкость!

Другая на месте Сончки сказала бы, как и подобает матери – не уподобляться же вороне, которая вороненка притащила как только орел, царь птиц, велел показать ему самого красивого в лесу птенца – «по доброте своей хвалишь, а то ребенок как ребенок». Но подруга только кивнула, соглашаясь, оглянулась на кровать, где мирно спал ребенок, и, лицом уткнувшись в спинку стула, заплакала.

Мадина ахнула:

– Куда на этот раз нас пронзило? Видать, не обносят нас бедой, щедро отпускают!

– Одной тебе доверяю, – выдохнула Сончка, спустя время. – Никому на свете, кроме тебя! Сына доверяю… Мне уехать надо.

– Что надумала? – Мадину ноги не держали, и она без сил опустилась на низкую скамью у камина.

– Я еще успею… – Сончка прямо глянула на подругу отчаявшимися глазами. – В Москве он еще, там догоню. Я при-

гожусь ему. Нельзя сейчас врозь. Он на тяжкую работу едет. На свою землю.

– Столько лет обходился без своей земли. Чего теперь вдруг приспичило?

– Не обходился он, Мадина, еще в девятнадцатом году Советскую власть на своей земле устанавливал. Видишь, раньше чем у нас, она там установилась.

– Ого, на скачках, выходит, их конь обошел нашего! – съязвила Мадина.

– Не надо, – взмолилась Сончка. – погоди, послушай… Потом у них все порушилось. Он был вынужден бежать. С двадцать шестого там установилась власть, которая еще хуже, чем была до Советской…Он здесь все время тосковал. Теперь ему необходимо ехать домой, пока не под своим именем, зато домой. И я могла бы поехать с ним, но осталась… из-за Яниса. Долго объяснять, Мадина, просто поверь, мне надо ехать, мне надо быть с ним! И я успею! Он еще в Москве!

– Слышала уже! – перебила Мадина. – Ему еще и Москвы мало, еще дальше собрался. Но ты-то? Хочешь, чтобы даже твои кости родная земля потеряла? На чужбине сгинуть хочешь? Он о своей земле печется, а ты о своей почему не подумала? Или у тебя нет своей? Или ты отреклась и от себя ради того, белобрысого? Себя не пощадила – дело твое, но за сына не решай! Твоя забота: его растить! В дела мужчин не вмешивайся!

– Да давно я вмешалась в их дела, не время меня остерегать, – устало сказала Сончка. – Помнишь, Мадина, в детстве мы заслушивались преданиями о тех женщинах, которые, переодевшись в мужскую одежду, сражались рядом с мужчинами? Они землю свою оберегали, защищали, мстили за павших мужей, за братьев! Мы имена их запоминали…

– Что тут скажешь, раз и сейчас у тебя детский ум! – покачала головой Мадина. – Мало ли что в песнях поют, да в сказках говорят?

– Пусть так! Но лучшей помощницы, чем я, он не найдет. Ты не думай. Я не хвастаю!

– Да чем тут хвастать? – искренне удивилась Мадина.

Сончка поднялась со стула, прошлась по комнате.

– Нельзя мне туда с Янисом ехать. На чужую землю!

– Хороша отчая земля, что сыну мачеха, – опять не удержалась, съязвила Мадина.

– Братьев не кликну, – как бы не слыша подругу, вела свое Сончка. – Может, и помогли бы, но не кликну. Сама знаешь, как я их любила.

– Они тебя тоже! – вспыхнула Мадина.

– Хвастали: новую власть на своих плечах принесли. Но, похоже, не выросли еще из мальчишеских домотканых штанов, в которых ездили с отцом на побережье табаком торговать.

– Не пристало тебе так о братьях говорить! – отрезала Мадина. – Добрая слава о них идет.

Между тем о старшем брате Сончки Маце говорили всякое – подозрителен, жесток, скор на расправу, Бога над собой не признает. О среднем братье судачили, что он молчаливо держит стремя старшего. И у него защиты искать – зряшное дело. Если кто-то и мог урезонить Маца, выцарапать из его цепких рук жертву, так Еуган. Но он жил особняком в отчем доме, в лесу, не каждый о нем знал, да и каждому он не мог помочь. Сейчас Мадине было горько думать, что и до Сончки доходили недобрые слухи о Маце.

Подруга остановилась возле кровати, где спал сын, и загляделась на него. И такая жалость взяла Мадину и к себе, и к подруге, смотревшей на сына с такой мукой, будто кто-то силком отрывал его от нее, что горло перехватило. Она зажала рот ладонью, чтобы не закричать, не заплакать в голос, проклиная и свою вдовью долю, и странную судьбу своей подруги. Погодя она совладала с собой и мягко сказала:

– Ложись. Намаялась, верно, за день.

Сончка принялась послушно раздеваться. Она скинула на спинку кровати длинный светлый жакет с подложенными плечами, стянула через голову крепдешиновую кофточку, расстегнув сбоку, переступила через темную юбку,

потом, будто опомнившись, сбросила маленькие закрытые туфли с ног. Оставшись в белом шелковом белье, таком же белом, как ее ладное тело, и тонких чулках, она с ногами залезла на кровать, распустила волосы, заплела в косу, сняла чулки и, осторожно отодвинув мальчика, боком легла возле него, прижалась лицом к кудрявой макушке и затихла.

Мадина еще подбросила поленьев в огонь и неподвижно просидела у камина до тех пор, пока с кровати не донеслось ровное дыхание подруги. Потом она тихонько пробралась к выходу и занесла еще в дом поленьев – если огонь не поддерживать до утра, то комната быстро выстудится. А сын Сончки, наверное, приучен спать в тепле. К чему он еще приучен, кто скажет? «Что она со мной делает, что с собой, с сыном, в конце концов!» – в отчаяние подумала Мадина. До утра она не сомкнула глаз, хотя и рассчитывала, что жар от огня ее разморит и, хотя бы сидя, но вздремнет. Только знобящая тревога, захватившая ее целиком, гнала от нее сон, как ветер облака. А утром Мадина вошла в комнату, где были ее дети, и села на кровать к сыну. Они уже проснулись, но дочь, обидевшись, что мама предпочла кровать брата, с головой укрылась одеялом и засопела.

– Коль она такая глупая, не бери ее под защиту, пусть ее обижают все, кому не лень, – сказала Мадина, подмигнув сыну.

– Я сама бедовая! – возмущенно сообщила из-под одеяла Сона.

Сын прыснул, Мадина покачала головой:

– Как ты думаешь, Хаджарат, в кого она у нас такая колючая?

– В тебя! В кого еще?! – не задержалась с ответом дочка, хотя ее как раз-то никто и не спрашивал.

Но Мадина не стала пререкаться с дочерью, а сказала буднично:

– Поднимайтесь, у нас гости.

– Кто? – оживился сын.

Он любил гостей. Совсем как Шартын. Дочка высунулась из-под одеяла, точно мышонок из норы, спросила с надеждой:

– Курочку зарежешь?

– Может, крылышко достанется тебе. Сончка приехала. С сыном. Мальчик пока у нас поживет. Маленький еще. Будет с кем тебе играть.

– Тебе и без того забот хватает с ней, – по-взрослому озабоченно сказал сын, указывая подбородком на сестру. – Куда еще ребенка на зиму глядя?

Мадина усмехнулась:

– Скотину лучше не покупать на зиму глядя. А человек он всегда кстати. – Она поднялась – Хватит вам разлеживаться, утро на дворе.

Мадина прошла в комнату, где спала Сончка с сыном и обнаружила, что и мальчик и Сончка уже проснулись, перебрались ближе к огню – хорошо, что ему не дали затухнуть ночью – и там одеваются.

– Смотри, это – моя сестрица! – сказала сыну Сончка, когда вошла Мадина.

Как-то заискивающе она сказала, только было непонятно: перед кем заискивает – перед сыном или подругой?

Мальчик обернул к вошедшей свежее лобастое лицо, голубоглазое, и по-русски сказал чисто, он выговаривал все звуки:

– С добрым утром, няня!

– Добро пожаловать, мой герой из героев! – по-абхазски ответила ему Мадина. – Твоя мать уверяет, что я тебе тетя, не няня. А твоя мама всегда говорит правду.

– Всегда, – согласился мальчик.

Слава богу, он все понял и ответил на абхазском. У Мадины отлегло от сердца. Что она стала бы делать, если ко всем напастям обнаружилось бы: мальчик – ни гу-гу на единственном языке, на котором она могла выразить и свои утешения, и свои наставления?

Сончка шепнула подруге, что ей пора уезжать, за ней к сельской конторе пришлют машину – может, уже прислали! – и надо Яниса увести куда-нибудь, чтобы он не вцепился в мамин подол.

– Погоди, позавтракаем!

– Не могу, кусок в горло не лезет, да и время не терпит.

– Раз так, уехала бы, пока ребенок спал!

– Но я хотела ему еще разок доброго утра пожелать! – жалобно проговорила Сончка.

Но подругу она не смягчила. «Она хотела!– сердито подумала Мадина. – А там хоть трава не расти!»

Мальчик выскочил на крыльцо. И обе женщины последовали за ним, как привязанные. Янис с любопытством озирался, с крыльца спустился осторожненько, каждую ступеньку сначала пробовал носком ботинка, точно котенок лапой воду, зато по двору побежал вскачь. Двор-то был просторный, что ему, наверное, пришлось по душе. Мальчик дружелюбно оглядел спустившихся во двор заспанных Хаджарата и Сону и даже помахал им рукой, то ли прощаясь, то ли приглашая к игре, и оглянулся на мать.

– Может, останешься? – не желая расставаться с тающей надеждой, спросила Мадина. – Обойдутся там без тебя как-нибудь.

– Янис к нянькам привык, десять нянек у него было, – вместо ответа сказала Сончка и подозвала сына: – Хочешь в лес пойти? Он здесь волшебный. Вот тетя поведет.

– А говорящих медведей встретим?

– Не знаю насчет медведей, зато зайчиков – обязательно! Возьми за руку тетю и иди!

Сончка коротко прижала к себе сына и отпустила. Мальчик охотно – или покорно? – вложил свою ладошку в шершавую руку Мадины.

Она повела его к кукурузному полю – так быстрее можно было добраться в лес, а пойдешь через ворота, по лугу, да ненароком оглянешься и обнаружишь Сончку, спешащую к проселочной дороге. И кое-кто, наверняка, с ревом кинется за ней.

Глазастый белокожий мальчик был такой ухоженный, что рядом с ним дети Мадины с обветренными лицами, потрескавшимися руками, в перешитых из старых вещей одежонках выглядели замарашками.

Они шли по кукурузному полю, с которого давно был убран урожай, только обглоданные скотиной стебли торчали там и сям. И Мадина частила:

– Видишь, перелаз через изгородь? Перелезем и прямиком в лес попадем.

– Там Заяц Говорящий, мама сказала! – мальчик запрокинул к ней голову.

– Под ноги смотри, спотыкнешься! – сказала Мадина, пряча от него глаза. – Упадешь!

Хотя упасть она ему не дала бы, твердо держала за руку.

– Найдем зайца! И…и… белку! Говорящую!

– Всех найдем, всех поймаем, в гости пригласим!

Мальчик в пушистой шапочке, теплой фуфайке, в штанишках, застегивавшихся под коленками на пуговичках, в тугих плотных, то ли высоких носках, то ли чулочках, в ботиночках с замысловатыми застежками казался Мадине не меньшей диковинкой, чем говорящий зайчик из сказки, которого он непременно надеялся встретить в лесу, потому что так мама сказала. Когда дошли до перелаза, Мадина подняла мальчика под мышки и с возгласом: «Оп-п-а-а!» поставила его по другую сторону. Янису это понравилось – может, щекотно стало? – и он засмеялся.

– Мы смеемся, – крикнула в сторону дома Мадина.

Никто не отозвался.

Мадина водила мальчика по лесу. Он широко открытыми глазами смотрел вокруг, радостно бросался к кустам, заслышав какой-нибудь шорох. Боялся, наверное, упустить встречи с обещанным зайчиком. Потом непременно хотел залезть в ручеек – Мадина насилу отговорила. Но и когда миновало время, отведенное Сончке на сборы и уход, мальчика не удавалось заманить домой, в лесу-то куда интереснее ему было. А между тем дела тянули назад. И собственные дети, не кормленные, ждали ее возвращения, если Хаджарат что-нибудь не придумал с едой – его поджаренный на огне сыр с кусками подогретой мамалыги Сончке даже больше нравились, чем предлагаемое Мадиной по утрам кислое молоко и

горячий чурек. Но самого Хаджарата – единственного маминого помощника – надо бы побаловать чем-то вкусным, хотя бы его любимыми варениками с сыром, а вместо этого она взяла лишнюю обузу на себя и сыну слова поперек не дала сказать, сама все решила…

Когда вернулись, наконец-то, во двор, Янис вырвал руку из ладони Мадины, взбежал по лестнице без прежней опаски – или нетерпение гнало его вперед, не до осторожности? – и принялся бегать по комнатам, хлопая дверьми, – искал мать. Не догадывался, бедняжка, проворонил он ее. Не один он проворонил…

– Я его отвлеку! – пообещал Мадине сын и стал звать мальчика во двор, давай, мол, в мяч поиграем.

Но мальчик не откликнулся. Тогда Хаджарат пошел в дом к нему, и Мадина поднялась следом. Сона сидела на кровати, на которой накануне спал Янис с матерью, и бурчала:

– Мне так хлопнуть дверью нельзя. Даже в резиновых колошах сюда в комнату нельзя, а на его башмаках, вон, сколько глины налипло.

Янис очередной раз притопал в комнату и отчего-то заглянул под кровать и никого и ничего не обнаружив там, он подбежал к Мадине, сидевшей у камина, устало уронив на колени руки:

– Няня…

– Я не няня, тетя.

Мадина притянула мальчика к себе, и он не вырвался. Тогда она под насупленным взглядом дочери посадила его на колени и, прижавшись лицом к его мягким, кудрявым волосам, стала тихонько покачивать, точно убаюкивая.

– Я – твоя тетя, мамина сестра.

– У тебя сестры нет, – подала голос дочь. – Ты – одна у бабушки и дедушки!

– Не понимает она ничего, – торопливо сказала Мадина, крепче прижимая к себе мальчика, как будто четырехлетний ребенок мог разобраться, о чем перепалка. И что ему было за

дело до той перепалки? Тем не менее, Мадина твердила как заклинание: «Я – тетя твоя!»

Янис пригрелся на коленях, затих. Мадина так, может, и целый день просидела бы с ним, но хозяйственные заботы стояли и ждали ее вмешательства. Пришлось спустить мальчика с колен, усадить на низкую скамью. Он подпер маленькими кулачками щеки. Просто сердце разрывалось, на него глядя. Мадина про себя и воздала честь по чести Сончке: «Да настигнет тебя тоска твоего ребенка, да не знать тебе доброго пути!»

Мадина метнулась в хлев со скотиной управиться и без того застоялась. Оттуда в амацурту, где закипал котел с мамалыгой и бегом – в дом на сваях, где в комнате как бы присмотром Соны – а какой с нее толк? – сидел Янис. Хаджарат же по обыкновению помогал матери. Хорошо, что день был воскресный, и мальчику не надо было бежать в школу, без него она и вовсе с ног свалилась бы. Время от времени Мадина отправляла в дом сына, чтобы глянул, чем заняты дети. Проще было бы Яниса спустить в амацурту, где она готовила еду. Но там – земляной пол, холодом тянет, к тому же открытый очаг, огонь не отгорожен как в камине чугунной заставкой, можно угодить в него с любой стороны. А за один день ребенка ко всему не приучишь, и за неделю не приучишь, и за месяц…

Мадина из амацурты, где они обычно ели, понесла еду в дом на сваях, будто угощение для почетных гостей. Хаджарат и Сона обрадовались, словно мамалыга, сыр и кислое молоко стали вкуснее оттого, что поставили их на круглый стол, накрытый белой – по краям мережка – скатертью. Они сразу же бросились к столу, заняли, как им казалось, наиболее почетные места. А Янис все так же вяло сидел у огня, даже не оглянулся на стол. Мадина взяла его на руки. Мальчик привалился к ней. Есть он не захотел. Мадина уговаривала его и так и сяк, но он только упрямо сжимал губы. Тут отличился Хаджарат. Наскоро разделавшись со своим сыром и мамалыгой, он принялся забавлять мальчика. И чего

он только не вытворял! Мадина и не подозревала, что сын такой выдумщик. Он так забавно кричал петушком, и повизгивал как щенок, только пробующий голос, уморительно дрожал руками-лапками, просясь к теплу. Даже Сона, забыв о своих обидах, включилась в игру и давай взлохмачивать волосы и блеять ягненком. Янис, хоть слегка, но оживился, только рот по-прежнему держал на замке и отворачивался, как только приближалась рука Мадины с заготовленным кусочком сыра и мамалыгой. Но когда Хаджарат стал выплясывать вокруг мальчика, держа свою шапчонку в зубах, мальчик развеселился.

– Цирк! Клоун! – радостно определил он, тыча в Хаджарата пальчиком.

– Съешь кусочек, козленочком стану! – посулил тот.

Мальчик и открыл рот. Так под пляску сына и всякие его выдумки, удалось ребенка покормить. В тот раз удалось, но намаялась же Мадина с едой для Яниса. Он напрочь отказывался от мамалыги и сыра, даже от копченого мяса – нечастого лакомства в доме – и то нос воротил.

Вечер не обошелся без слез. Дочкиных. Мадина не решилась Яниса одного уложить спать и легла вместе с ним, отправив в другую комнату дочь под присмотр Хаджарата.

Сона ушла с ревом, и как не кричала ей Мадина: «Ссу. Тише, я тебе задам!» – никак не утихомиривалась.

Глотая слезы, Мадина слушала, как Хаджарат за стеной урезонивает сестру, а та заливается пуще прежнего.

Янис долго вертелся в постели, устраиваясь поудобнее. Мадина, затаив дыхание, лежала рядом. Она-то понимала то, что мальчик по своему малолетству еще не осознавал: вертись-не вертись, отсутствие матери, точно льдинками, выстлало постель, где уж удобствам взяться?! Намаявшись, ребенок затих, как уснул, так всем тельцем прижался к ней. Мадина лежала без сна и жалела дочь, уснувшую зареванной. Наверное, одеяло сползло с нее, да и застиранная бязевая рубашка разве обогреет, особенно на рассвете, когда дом выстудится?

Всего два дня минуло – впрямь у худой вести длинные ноги! – и к Мадине пожаловали родители, пренебрегли затоптанными осенними дорогами, на слякоть не посмотрели. Подол темного платья матери был забрызган грязью, не лучше выглядели и узкие сапоги отца, а бока потных коней – не слишком, верно, щадили их в пути – серели от комьев грязи.

Мадина с сыном занялись лошадьми. Пока она вычищала конюшню, бросала в ясли корм, Хаджарат водил коней под уздцы по двору, давая им медленно остыть. Затем они расседлали коней, насухо вытерли им спины, поставили в стойла. Теперь ничего не оставалось как пойти в дом. Мадина еще нашла себе занятие – долго мыла в амацурте руки, Хаджарат – он непременно хотел дождаться, когда она освободится, – поправлял дрова в очаге, которые и так пылали под котлом с разваривавшейся кукурузной крупой для мамалыги.

– Идем! – наконец сказала она сыну, и они вдвоем поднялись в дом на сваях.

Мадина втолкнула в комнату сына и сама вошла как бы под его прикрытием.

Сидевший у камина отец Мадины, протягивая к огню руки, озябшие, наверное, в пути, оглянулся на скрип двери и сказал внуку, хотя ласкового взгляда хватило и на долю дочери:

– Как ты вытянулся, парень! Скоро головой притолоки касаться будешь!

А бабушка даже не повернула к ним головы, она качала на коленях внучку. И та торжествующе поглядывала на Яниса, сидевшего у огня на своей любимой низкой скамеечке, подперев кулачками щеки. Хаджарат оглянулся на мать, и что-то поняв по ее взгляду, подошел к Янису и стал за его спиной и даже взъерошил мальчику волосы – так он обычно выражал свою приязнь к нему.

– Устали, наверное, и голодные, скоро ужин будет готов, – буднично проговорила Мадина, но никто ей не ответил, тем не менее, она не собиралась играть в молчанку: – Отчего вы так гнали коней, случилось что?

– Будто ты не знаешь, случилось – не случилось! – не выдержала мать, язык за зубами держать она никогда не умела. – Или этого цыпленка тебе лиса у порога оставила?!

Она яростно кивнула в сторону Яниса. А Сона заинтересовалась:

– Встречаются такие лисицы, да? В дом цыплят приносят? Я думала, они только из курятника кур в лес тащат.

– В сумасшедший дом и сумасшедшие лисицы наведываются! – ответила ей бабушка, и ошпарила яростным взглядом дочь.

Пока Мадина собиралась с мыслями, чтобы достойно ответить матери, дверь отворилась и в комнату вошли Старший и Младший, с ними был и Дуг.

– Уех, у нас – гости! – деланно удивился Старший и сам, устыдившись неловкого своего притворства, оглянулся за поддержкой на Младшего – наверное, они и притворяться не умели порознь. Младший, само собой, кинулся на выручку:

– Гости дорогие, почаще хотелось бы видеть их в этом доме.

С какой радостью Хаджарат побежал в соседнюю комнату и вынес стулья для дядей и их спутника! Будь Хаджарат свободен от недетских забот, гнувших ему спину, так хвостом ходил бы за родичами отца. Каждому их приходу радовался так, словно солнце заглянуло в ненастный день. После того как все поздоровались и, выказывая уважение друг другу, по старшинству уселись у очага, мать Мадины стала расспрашивать Старшего и Младшего об их здоровье, о семье, о детях и все с такой сердечностью, будто ради этого она и преодолела в слякотный день дальнюю дорогу. Те, смущенные, потоком благожелательных вопросов, отвечали вежливо, мол, Благодарение богу, ничего дурного не происходит ни в их семьях, ни в селе, только вот погода не радует, так ведь зима на носу.

Наконец мать Мадины замолчала, а отец откашлялся, видно, собираясь заговорить о чем-то более важном, чем по-

года на дворе. Старший кивком подозвал Хаджарата и что-то шепнул ему.

Хаджарат поманил к себе Яниса:

– Пойдем в амацурту. Я там тебе колодец поставлю из кочерыжек. Кукурузных.

Мальчик послушно встал и пошел к Хаджарату, выпятив вперед живот, сомкнув за спиной руки. Мадину досада взяла: больно непохоже на ее собственных детей и их деревенских сверстников вышагивал он сейчас. Да и одежда – синие суконные штанишки и синяя блуза с таким воротом, как у тех, кто служит в армии на пароходах – непривычна была для глаза. Но что поделаешь, если в оставленных Сончкой двух больших чемоданах, где лежала одежда даже на вырост, невозможно было найти хоть одну рубашонку, хоть одни штанишки, напоминающие те, что носили дети Мадины. Сейчас ей казалось, что даже одежка Яниса против него, увеличивает его беззащитность.

Хаджарат позвал и сестру:

– Иди с нами, Сона!

Но она разнежилась на коленях у бабушки и притворилась, что не слышит. Не маленькая ведь уже, осенью в школу пойдет, а протирала колени старушки. Мадина шагнула к дочери, схватила за руку и рывком сдернула с бабушкиных колен.

– Еще руку оторви! – нахмурившись, прикрикнула на нее мать.

Сона побрела к двери с громкими всхлипами, вслед ей ворковала бабушка:

– Не плачь, бедняжка моя, утри слезы, сиротиночка…

За детьми закрылась дверь, Мадина прошлась к камину и стала возле него, скрестив на груди руки. Ей показалось, что с уходом детей в комнате стало пусто и холодно, оттого, наверное, ее зазнобило, несмотря на близость огня. Отец вновь откашлялся и вновь ничего не сказал, хотя его испепеляла яростным взглядом жена, подвигая на твердое, – булатным мечом не рассечь! – мужское слово. Но он молчал, Старший

и Младший тоже голоса не подавали. Тогда бодренько заговорил Дыгу, о недавно прошедших скачках, о том, что зима обещает быть суровой и придется заготовить больше дров и корма для скотины. Его слушали с деланным вниманием, как председателя на колхозном собраний. Он-то чего пришел? – удивилась про себя Мадина, но сообразила что к чему: ему не терпелось взглянуть на сына Сончки, хотелось, наверное, определить, на кого мальчик похож, – на мать, на отца? Какая уж теперь разница? Разве что душу растравит… но почему-то в таких случаях редко кому приходит в голову себя поберечь.

Мать Мадины недолго слушала вялые россказни Дыгу, поняла, кроме нее здесь взяться за дело некому, и заговорила без обиняков:

– Ты разум потеряла Мадина! Сончка сама свою участь определила!

– Не о ней сейчас речь! – сказала Мадина.

– Ясно не о ней, о тебе! Бесстыжая Сончка знала, что в доме хозяина нет, здраво рассудить некому, и сбросила на тебя своего выродка! – Она с яростью глянула на мужа. – Ты, что, онемел?

– Родня Сончки сотню таких парней поднимут и не надорвутся, – пробормотал тот, не глядя на дочь.

– Дома удержу не знал, а теперь на безумную дочь прикрикнуть не можешь? – возмутилась жена

Мадина не сомневалась, отец и дома отмалчивался до последнего.

– Родня Сончки не только ее ублюдка не возьмет, но и саму, умри она завтра, не оплачет. – сказала веско мать. – А ты кто такая?

– Она мне доверила ребенка.

– Где бы еще такую пустоголовую нашла бы? Потому и доверила, что других дурех не нашлось! Пусть нас побоку, но ты не посчиталась и с родичами горемычного моего зятя! До их дома рукой подать, позови – сразу прибегут, спроси – добрый совет дадут. А ты им слова не сказала. Обидела!

Полвека живу в доме твоего отца, ни разу так его родню не обижала!

– Не в нас дело, – попытался урезонить старушку Старший. – Мы не в обиде.

– Вы по своей доброте прощаете! Но моя безмозглая должна хоть сейчас понять свой промах, хоть сейчас повиниться перед вами! Скажи ей – да упадут твои горести на мою голову! – ублюдку Сончки в доме твоего брата делать нечего!

Старший замялся, нерешительно глянул на брата. И куда в тот вечер подевалась вся горячность братьев? Никак выдохлась, как вино, которое забыли закупорить? Такими неуверенными в себе Мадина еще не видела их. Наконец Младший высказал то, что от него ожидали:

– Тебе и так несладко приходится, Мадина. Двух детей одна тянешь, сейчас вот и третий прибавился, непосильная это ноша для вдовьих плеч…мы…

Тут Мадина перебила его, кинула, как раскаленные угольья, в лицо:

– Ты бы уж помолчал! О моем вдовстве!

Младший осекся, угольками вроде поперхнулся. К щекам сквозь смуглую кожу прихлынул такой жаркий румянец, что у Мадины дрогнуло сердце. Старший, как бы ненароком сжал локоть брата.

– Я за ребенка стою, – сказала Мадина, прямо глядя в повлажневшие страдающие глаза Младшего. – Как могу, так и стою. Нет сейчас у него иной заступницы…

Она сейчас хотела только одного, чтобы Младший ее понял, хотела так, как ни разу не желала быть понятой родней мужа. Лучше бы невысказанная за долгие годы обида – не позови Младший Шартына в горы, ничего бы не случилось – по-прежнему оставалась бы с ней. К обиде Мадина притерпелась, а проявленная нынче жестокость оказалась чрезмерной…

– Мы посильно всегда поможем, – выдавил из себя Младший.

Отступал? Прощал? Или давал понять, что слова невестки дошли до его сердца?

Мать Мадины бросила на него сердитый взгляд. Уж она-то причислила его к отступникам.

Сомнений не оставалось, родители, прежде чем спешиться во дворе дома дочери, заглянули к родичам покойного зятя, кликнули на помощь. А помощи не вышло. Только мать Мадины не намерена была сдаваться, вот она и накинулась на мужа:

– Скажи своей дочери, о дурости ее скажи! О глупости! Всю правду скажи! Ты не поучишь – кто ее еще поучит?!

– Хватит разоряться, женщина! – глухо сказал отец и уставился на огонь, точно у него набираясь силы.

– Мне пора, – вдруг поднялся с места Дыгу.

То ли он решил: постороннему здесь делать нечего, будто это не было очевидно с самого начала, то ли решил дать передышку Мадине. Его уход хоть ненадолго, но должен был прервать разговор. Все дружно поднялись на ноги, его провожая, а Мадина, как хозяйка, вышла следом за ним на крыльцо.

На крыльце Дыгу задержался. Мадина молча стояла рядом, подставив лицо осеннему студеному ветерку.

– Пока ты есть, с домом Шартына ничего не случится, – неожиданно сказал Дыгу. – Как крепость будет стоять.

– У него сын растет, – мягко напомнила она. – Даст бог – выстоит.

– Если каждого, кто споткнется, убивать… – без всякого перехода сказал Дыгу.

– Не споткнулась она, другая дорога выпала.

– Дороги бывают разные, – согласился он, – не в том дело. Ты по совести поступаешь, оступившегося нетрудно свалить.

– Хозяин дома всегда уважал Сончку. И она его уважала!

Ей хотелось думать, что все было именно так.

– Наверное, – покладисто проговорил Дыгу. – Где нам все уразуметь на глухой нашей стороне.

Дыгу спустился с крыльца, но прежде чем уйти, он обернулся к Мадине. Она почувствовала, как из темноты он пристально вглядывается в нее.

– Никто еще не знает, а тебе скажу… быть скоро свадьбе в нашем доме.

«Бадра женится, старший братец! – пронеслось в голове, и она ухватилась за планку крыльца – нашел, когда сказать!»

– Хорошее дело – свадьба… – Голос ее, как лопнувший на морозе стакан, стылыми осколками посыпался в темноту.

– Далеко отсюда невесту приметил, аж в Батуме. Турчанка она. Ну вся семья говорит по-абхазски, как мы с тобой. Фамилия только турецкая.

– Главное – человек, а не фамилия, – приличествующие случаю слова сами собой всплыли в мозгу, как снулая рыба.

– Нашлись люди, кто и за нами не боятся невесть куда ехать, – произнес он уклончиво.

– Коль на роду написано, так и дальняя дорога короткой покажется.

– Бедный мой конь, – сказал Дыгу, – спину протрет, к новым родичам таская. Или придется морем к ним добираться…

– Дыгу! – вскричала Мадина и не сбежала – слетела – с лестницы, схватила его за руки. – Выходит, ты женишься?

Он смущенно кивнул

– Пока это тайна…

– Обрадовал ты меня, Дыгу! Давно пора! Что за дом, где нет молодой, где детского голоса не слышно?

Он удивленно смотрел на нее:

– Мне показалось поначалу – не одобряешь. Мол, турчанка то да се… но у них в семье все по-абхазски говорят, да и живут по нашим обычаям.

– Ну и славно! Я уверена – невеста твоя придется ко двору в отчем доме! Ты бы на плохую не польстился бы. Ты – умный, видный, тебе на плохую польстится грех…

Мадина все говорила, остановиться не могла, на миг даже забыла о тех, кто в комнате дожидался. Хорошо, что Дыгу не

забыл, пожелал ей мужества и ушел. Поднялась она в дом с ощущением счастливо избегнутой беды и с порога удивленно глянула на постное лицо матери. Мадина медленно пересекла комнату, неторопливо подбросила полено в огонь, и без того ярко полыхавший, и выпрямилась с таким видом, словно власть не только над теплом этого камина, но и над всем в мире доверена ей…

В дверях появился Хаджарат и сообщил, что мамалыгу уже пора снимать с огня.

Родичи Шартына не уважить гостей и не остаться не могли, как и возобновлять разговор о том, что пригнало родителей в дом дочери. За едой говорилось о сторонних вещах. После ужина Мадина укладывала Яниса спать. Старший и Младший простились и отправились к себе, мать непременно решила улечься с внучкой – убаюкать сиротинушку. Отец же долго сидел у камина, и все тянул к огню руки, и когда дочь, переделав все дела, подошла и уселась рядом с ним, он провел горячей ладонью по ее лбу и тихо сказал:

– Одарив тобой, Бог дал мне незаслуженное счастье!

Она прислонилась к его плечу и заплакала легкими слезами, как, случалось, плакать подростком из-за пустячных обид.

Только к весне Янис освоился в доме, привязался к Мадине, к Хаджарату. Больше всего он любил вскарабкаться на колени к новой тете и тихонько сидеть, прижавшись щекой к ее груди.

Сона ревновала – ее-то на колени не берут! – смотрела бука букой, норовила обидеть мальчика, отпихнуть его за столом локтем, отпустить подзатыльника. Сколько Соне доставалось и от матери, и от брата, но только они отвернутся, так она какую-то каверзу ребенку подстроит. Ел же Янис из рук плохо. Особенно поначалу. Видно, был приучен к разносолам. От мамалыги отворачивался, фасолевую похлебку попробовал – заверещал с высунутым языком, обжегся, уж больно она острая. Стоило приготовить вареники с сыром, Сона и Хаджарат от радости в пляс пускались, а Янис только

морщился – не нравились ему вареники. Спасибо, что печеная тыква пришлась ему по душе, еще хурму полюбил, да не отказывался от вареного яйца и свежего сыра. Но где же столько яиц и сыра взять, чтобы насытить мальчика? Своим детям Мадина в тарелку с мамалыгой лишь один кусок сыра втыкала. А Янис на мамалыгу и смотреть не хотел.

Как-то повезло – подвернулись макароны, Мадина отварила их в молоке, Янису понравилось. А потом уже была забота – доставать макароны, которых в сельпо завозили редко. Случалось, полсела обегала Мадина, выпрашивая эти самые макароны. Для своих детей никого никогда ни о чем не просила, а для Яниса и на это пошла, не постеснялась.

От Сончки редко приходили весточки. Раз в полгода кто-то от ее имени присылал посылки с едой и одежонками для Яниса. Были в посылках гостинцы и для Соны, и для Хаджарата, и даже для Мадины, так однажды ей досталось темное маркизетовое платье в мелкий желтый цветочек, в другой раз кожаные туфли на низком каблуке. Но все это было нечаянной радостью в основном для детворы и в ежедневных заботах Мадины о том, как прокормить и обиходить детей не могло стать серьезным подспорьем.

Поначалу надеялась Мадина, что со временем родня Сончки даст о себе знать, захотят увидеть ребенка, а как увидят, какой он славный, так они и оттают. Но никто из них не приезжал. Может, они и сами опасались, что, увидев родную кровинку, не выдержат, потянутся к нему. А им, видно, позарез нужно было сохранить ледяными свои сердца.

Но однажды у ворот появился Еуган, пешком пришел, ведя на веревке пегую корову. Мадина давненько не виделась с ним. Он осунулся, поредели волосы, из-за залысин лицо казалось более удлиненным, что, впрочем, шло ему, как и давняя по-мальчишески застенчивая улыбка, которой он наградил Мадину, когда она подошла. Но больше ничего мальчишеского в нем не оставалось – жилистый,

сдержанный, надежный – совсем как объезженный конь, который своему всаднику не изменит, но потерян навсегда вкус к вольнице лугов и скачкам за первенство на просторном поле.

– Корову в нашем селе купил? – спросила Мадина.

– Нет, продать хочу, – сказал Еуган.

Он ввел корову во двор и привязал конец веревки к верхней планке ворот.

– Добрая скотина, – похвалила она. – И сколько ты за нее просишь?

– Немало. Отдаю за мамалыгу с сыром и жареную курочку. Главное, чтобы все это сготовила ты…

Она промолчала. Что уж тут говорить, когда и так все понятно? Мадина ввела гостя в дом, усадила, сама села напротив, сложив на коленях руки. Еуган молчал, видно, и у него с языка не шли слова. Тогда она, преодолевая себя, стала расспрашивать о том, как поживает его семья, дети. Он отвечал коротко, беспокойство его росло. В это время в комнату вбежал Янис и мигом вскарабкался на колени к Мадине. Еуган вскочил на ноги, да так и остался стоять.

– Садись, Еуган, всего лишь ребенок вошел, к чему вставать? – мягко заметила Мадина, а потом обратилась к Янису: – Видишь, гость тебе почет оказал, как взрослому, так и ответь ему: «Садитесь, прошу вас, не утруждайтесь!»

Но Янис только теснее прижался к ней и исподлобья застенчиво глянул на незнакомца, все еще оторопело топтавшегося возле своего стула.

– Как тебя зовут? – глухо спросил Еуган у мальчика.

Тот, хоть и бойкий вроде был, на этот раз промолчал, ему вроде передалось смущение гостя.

– Янисом его кличут! – за мальчика ответила Мадина

Ее распирала гордость, что мальчик ластится к ней при Еугане, пусть все видят, Янис относится к ней, как к матери. Одновременно она опасалась, что Еуган подумает, будто она похваляется своей добротой, отзывчивостью, в укор родне подруги похваляется. Еуган меньше всех заслуживал укора,

возможно, меньше даже самой Сончки. Или все дело было в том, что для Мадины, как ни крути, Еуган занимал особое место?!

Она спустила мальчика на пол:

– Иди к Соне, поиграйте.

Мальчик посмотрел на нее изумленно – виданное дело, чтобы она сидела праздно, а он не на коленях у нее?

– Сейчас и я пройду в амацурту, – заверила Мадина.

И только после этого мальчик с легкой душой выбежал из комнаты. Еуган так и не сел, пока в комнате находился племянник, словно дал обет не садиться при нем или опасался разгневать мальчика, как гневались в былые времена князья, если при них осмеливался сесть человек «куцего», то бишь, захудалого роду. Лица на нем не было.

– На Сончку не похож – наконец выдавил он из себя.

– Не похож, – согласилась Мадина, – Но это ее сын! – она поднялась на ноги. – Я покупаю твою корову! Пойду варить мамалыгу и про курочку не забуду.

– Погоди, Мадина! – он сделал к ней шаг. – Я… я бы хоть сейчас забрал бы племянника, но мать… она сильно хворает, жизнь на ниточке держится… о том и слышать не хочет! Да и моя хозяйка взяла сторону свекрови.

– Выгодную для себя сторону! – не удержалась, съязвила Сончка. – Да если бы и мать твоя, и расчудесная ее невестка вместе с твоими братьями и не менее ценными их женами пали бы передо мной на колени, я бы никому не позволила коснуться руки Яниса, не то, чтобы отдать!

Мадина вздернула подбородок, гордая сказанным, своей решительностью, непреклонностью.

А он посмотрел на нее со всегдашней своей приязнью, посмотрел мудро и печально, как человек, неуязвимый для опрометчивых слов и укоров и коротко сказал:

– Мне – пора.

– Передумал корову продавать?

– Отдам в долг!

– Не люблю делать долгов.

Она взяла его за руку и твердо сказала, что не отпустит без обеда, иначе он как пришел со своей пегой скотиной, так с ней и уйдет, тем более, дойная корова у них самих есть, только вот Янис не большой охотник до молока. Конечно, она настояла на своем. И пока Мадина готовила обед дети крутились возле гостя и, кажется, Еуган словом-другим перемолвился с племянником. Потом он собрался уходить, ему надо было идти к конторе, возле которой обещался дождаться водитель грузовика из родного села, обещавший довезти до дома.

Мадина вместе с дочерью и Янисом провожала Еугана до ворот. Прежде чем попрощаться, он подозвал к себе племянника, осторожно взъерошил ему волосы, сказал с неловким смешком:

– Молодец какой растет! Парень хоть куда!

– Парень хоть куда – Хаджарат! Он – в школе! – сообщил Янис, глядя на Еугана снизу вверх честными чистыми глазами.

– Ты не хуже! – твердо сказал Еуган. – Ты такой же стоящий парень!

Сона фыркнула. Янис недоверчиво посмотрел на Еугана, не смеется ли над ним чужой дядя, а потом глянул на Мадину с ожиданием: уж она-то не обманет.

– Он знает толк в стоящих парнях! – подтвердила Мадина.

Еуган ушел, унося благодарный взгляд Яниса. И Мадина не сожалела о награде, доставшейся ему. Один Еуган из всей неведомой мальчику родни и заслужил такую награду. Хорошо, что дядя, переборов неловкость, сумел похвалить мальчика, а потом достало ума не усмехнуться, когда Янис с непоколебимой убежденностью назвал имя стоящего парня.

Хаджарат… Янис не просто любил его, для мальчика он был чем-то вроде высокой горы, недосягаемой. Невиданной удачей было уже то, что можно стоять у подножья горы, укрываться в ее тени, защищаться от палящего солнца или от обжигающих дразнилок. Хаджарат и вправду не давал

мальчика в обиду деревенским мальцам, которые не будь старшего защитника так и задразнили бы не похожего ни в чем на них Яниса, как только он пошел в школу. Но за спиной белобрысого мальца стоял Хаджарат, верховодивший одноклассниками, хотя драчуном он не был, правда, при случае тумака своему обидчику не спустил бы. И Соне доставалось от брата, если она затевала споры с Янисом – теперь она норовила присвоить себе тетрадки и ручки, что присылали те, кому поручила Сончка, или ее муж, а то и вдвоем заботиться о сыне. Как будто заботу о сыне можно перепоручить кому-то! Хаджарат строго следил за тем, чтобы Сона не обирала Яниса, но если ему самому перепадало от школы за отличную учебу какие-то подарки вроде ручек, тетрадей или альбомов для рисования, он поровну делил награду меж младшими. И надо же такому случиться, что именно Хаджарат нанес Янису жгучую обиду, из тех, наверное, что и с годами не тускнеют, во всяком случае, будь на месте мальчика Мадина, она бы этого никогда не забыла! Сейчас, если поразмыслить, грех слишком строго осуждать и Хаджарата. Тоже ведь мальчишка был, едва семнадцать лет минуло, еще в школе доучивался, правда, последний год. Другое дело, что Мадина к тому времени привыкла рассчитывать на него, как на взрослого мужчину. Но если за неимением быка, запрягаешь петуха, еще не значит, что петух бычьей силой налился. Сорвался сын, ребячье в нем проглянуло. Все произошло из-за часов. В то время во всей деревне не только ручных часов, настенных и то было негусто. Дядья взяли и в складчину купили племяннику наручные часы, большие такие, круглые, как жернова, тикали на всю комнату. Сыновья Старшего и Младшего – мальцы – прибегали поглазеть на часы, будто тикалки не были купленные их собственными отцами, а упали с неба в руки Хаджарату оттого, что он умнее, сильнее, лучше всех своих сверстников в округе, возможно, и за его пределами. Они не просто часами любовались. Они гордились Хаджаратом, носившем заслуженное отличие, точно шашку, пожалованную за отвагу.

Только, видно, не дано было дарам дядей задерживаться у племянника, такая напасть. Всего два месяца спустя Янис добрался до сокровища Хаджарата. Хотя чего там было добираться? Вся окрестная детвора знала, если часы не на руке героя, так хранятся в деревянной коробке, которая стоит на дряхлом, изъеденном жучками комоде в комнате, где теперь один, как и полагается взрослому парню, спал Хаджарат. Пробрался Янис в его комнату, достал из коробки часы, нацепил на свое худенькое запястье, и так вышло, что когда пришло время отправляться в школу – он тогда во второй класс ходил – часы как бы приросли к руке, не было сил их снять. Вот Янис с ними и отправился в школу. По дороге нагнали двое мальчишек постарше, которые мигом разглядели на его руке часы. Да и как было не разглядеть, если мальчик их все время другой рукой поддерживал, дырочек на ремешке оказалось недостаточно, чтобы затянуть на детском запястье. Озорники давай тянуть Яниса к реке, мол, проверим по твоим тикалкам, как скоро туда можно добраться, потом это нам очень даже пригодится, если, скажем, между занятиями выпадет свободный урок. Тут еще другие сорванцы набежали. Им тоже позарез понадобилось узнать как много времени уйдет на дорогу к реке и обратно, вот Янис и дал себя уговорить. Мадина считала, что его не уговорили, а заставили, ведь он раньше никогда не пропускал уроки. Так или иначе, вся ватага очутилась на берегу реки, а там каждый из ребят захотел примерить часы. Нашелся среди них и такой стервец, года на четыре старше Яниса, который, держа на вытянутой руке часы, предлагал мальчику подпрыгнуть и схватить их зубами, как ученая собачка из цирка. Янис, говорят, кинулся в драку, а ведь сроду не дрался. Сколько неожиданного Мадина обнаружила в нем в те дни! Маленький, маленький, но как удивил! Похоже, даже едва пробившаяся жизнь обзаводится бездонными глубинами, заглянешь – голова закружится. Как бы там ни было, сгубили мальчишки часы. Они передрались, кто за Яниса, кто – против… кто-то часы выронил, другой на них наступил нечаянно да раскро-

шил, третий, заметая следы, зашвырнул их в реку. Дурень, он дурень, может, часы еще можно было починить!

Всю дорогу домой Янис бежал. Дружки – за ним. Он вбежал во двор в изорванной рубахе, в царапинах и синяках, в вымазанных грязью штанах и с таким отчаянием на лице, что Мадина ахнула, испугалась – не случилось ли что с Соной, она еще из школы не возвращалась.

Хаджарат был дома, – он учился во вторую смену – а пока, вернувшись с чайной плантации, куда помчался спозаранок, убирал в хлеву. Услышав вскрик матери и ребячий гомон, Хаджарат поспешил выйти.

Дружки толпились возле Яниса, тоже в царапинах и грязи, взъерошенные, но не с отчаянными, а возбужденными лицами: им-то не нужно было держать ответ. Вся тяжесть ложилась на Яниса и потому, хоть и стоял он среди них, оказался сам по себе. Такой маленький, и сам по себе.

К тому моменту, когда подошел сын, Мадина уже знала о происшествий. Но она замешкалась, не удержала Хаджарата, попросту не могла предположить, что он такое выкинет. Она только сочувственно взглянула на него. Он же, улыбаясь во весь рот, произнес, глядя на разгоряченные лица ребятишек:

– Недруги, верно, получили свое, а, храбрецы? Нам, старикам, за вами жить как за каменной стеной!

Но как мгновенно слетело с него шутливое настроение, когда один из мальчишек выпалил, что сталось с часами, как закричал он срывающимся голосом, двинувшись к Янису, который как бы прирос к месту:

– Ублюдок! Приживала! Дармоед! Голову сверну!

Мадина подхватив с земли кем-то здесь оброненный прутик, кинулась меж Янисом и сыном и что есть мочи хлестнула Хаджарата по ногам:

– Как посмел! Ты… ты… – Мадина от ярости заикалась, но рука оказалась проворнее языка, еще разок так прошлась по ногам сына, что прутик сломался. – Ни стыда у тебя, ни совести! Посмей еще слова ребенку сказать! Только посмей!

Не хозяин ты в этом доме, нет! Хозяин не тот, кто ишачит, а кто честь дома бережет. А ты… а ты…

Хаджарат шагнул в сторону и, не оглядываясь ни на кого, пошел со двора. Дружки Яниса тоже потянулись за ним. И остались во дворе они одни: вросший в землю Янис без кровинки на лице и пылающая гневом Мадина.

– Пойдем, я тебе макароны сварю, – сказала Мадина, едва шевеля губами, и двинулась к амацурте.

Мальчик послушно тронулся за ней, и пока она варила макароны, щедро сдобряя их сахаром и молоком, как он любил, Янис разложил на круглом маленьком столе листок бумаги и пытался на нем углем что-то нарисовать, но вроде ничего не выходило, зря только измазался. Но Мадина слова не сказала, только перед едой, молча сливая ему теплую воду из кувшина, мыльце дала, чтобы он тщательно помыл руки.

– Давай и лицо ополоснем, – предложила Мадина.

Но он так сжался, точно в ожидании оплеухи, что она настаивать не стала, решила: отойдет к вечеру, так и умоемся, и грязные штаны на чистые сменим.

Зная, как он любит слушать сказки, Мадина хлопоча по хозяйству, принялась ему рассказывать об одном из подвигов Нарта Сасрыквы, но даже спиной чувствовала: не слушает он. А дела тянули наружу. Мадина дождалась возвращения Соны из школы и посулила добрую трепку, если хоть словом упомянет о треклятых часах при Янисе или еще каким-либо другим грубым словом его заденет. Позже Мадина жалела о том, что припугнула дочку. Может, Сона своими колкостями и вывела бы из оцепенения Яниса, а то и довела бы до слез. Выплакал бы он свои обиды – детское сердце отходчивое – и не случилось того, что произошло. А Мадина, оградив его от всех, получается, оставила его одного наедине с большим горем. Он и не совладал с ним. На рассвете Янис исчез. Ночью он спал в своей кровати – или притворялся, что спит? – Мадина вставала, чтобы поправить на нем сползшее одеяло и вроде бы он ровно дышал. Потом и ее саму сморил крепкий сон, утром же обнаружилось – мальчика в постели нет. Ма-

дина кинулась на поиски, к амацурте сбежала, в сарай заглянула, в хлев, на чердак полезла, хоть мальчик туда никогда не забирался – боялся ос, там у них гнезда были; скатилась с чердака и давай метаться по двору. Во все укромные уголочки заглянула. Все надеялась – углядит то ли в кукурузном поле, то ли меж персиковыми деревьями за домом кудлатую светловолосую головку. Не углядела. Тогда она выбежала за ворота и наискосок по лугу помчалась к проселку. Она, точно булавка – ткань, пронзила полсела и остановилась, задыхаясь, у ворот, за которыми жил Бадра. Дома Старшего и Младшего виднелись неподалеку. Они теснились в одном дворе, лепились друг к другу, как и братья. Но Мадина и сейчас отчетливо, будто это случилось вчера, помнила, что именно завидев дом Бадры, она как бы споткнулась и ноги отказались нести ее дальше. Она застыла, хватая губами воздух. Собаки с лаем кинулись к ней, прыгали со двора на забор, разевая горячие даже на вид пасти, и она никак не могла взять в толк, какую же угрозу представляет, что они так разъярились? Или они разошлись оттого, что почувствовали беспредельный страх, которым она была объята? Собаки на то и собаки, чтобы показать свою силу тому, кто боится. Начни боятся, так каждый тебя облает… Но тут на крыльцо выскочил сонный Дыгу, не Бадра, накричал на собак, отгоняя их, и заспешил к воротам.

– Мадина? – удивился он. – Случилось что? На тебе лица нет! – он широко распахнул калитку возле ворот. – Входи!

– Я к родне шла, – выдавила из себя Мадина. – А собаки ваши напали ни с того ни с сего…

– Мы тоже не чужие, если помощь какая-то нужна, – поторопился Дыгу со своей участливостью.

Может, она и сказала бы: «нужна помощь, как никогда раньше, беда у меня». Но с крыльца донесся голос Бадры: «Что такое, Дыгу?!», и она, быстро заверив, что просто торопится к родне, заспешила в сторону дома Старшего и Младшего. Хотя удержать случившееся в кругу родни не удалось. Старший сразу сказал: «В сельсовет надо дать знать, комиссару!»

Мадине в голову пришла шальная мысль: «Надумав жениться, он тоже, наверное, бегал в контору советоваться». На миг улыбка – Боже, откуда она в час беспредельной тревоги взялась? – раздвинула ее губы, и жена Старшего тревожно глянула на нее, может, решила – Мадина тронулась в уме?

– Соседей тоже надо оповестить, – добавил Младший. – Мальчик не иголка в стоге сена, разыщем. Где-то в лесу, наверное, обиду свою переживает. Всех на ноги поднимем и разыщем! Только времени терять нельзя!

– Хаджарат что говорит? – спросил сын Старшего, который особенно гордился и часами, и братцем.

– Ничего не говорит! – бросила Мадина. – Свое он уже сказал!

А саму обдало жаром: она же не предупредила сына. Каково же ему будет, когда обнаружит пропажу Яниса? Уже не слушая советов, утешений – жены родичей едва поспевали за ней, сыпали посулами «найдем мальца, приведем» –кинулась к себе домой и опять все бегом да бегом. Крепкое в ту пору у нее было сердце, молодое, хотя порой она и считала, что свое уже отжила. Все ее мысли теперь были обращены к Хаджарату. «Наверное, еще спит, – уговаривала она себя. – Ему и невдомек, что Янис сбежал!» Как от чумы из дома Мадины сбежал! Но кто такой был Хаджарат, чтобы разлеживаться в постели до позднего утра?! Он на заре поднимался вместе с матерью: и со скотиной управляться помогал, и воды натаскать из колодца. А уж дрова рубить или сушняк из лесу принести – на нем одном и лежало. И в школе учился всем на зависть, куда лучше тех, у которых одна забота – над тетрадками корпеть. Мадина же его хворостиной по ногам. Как неслуха какого-то! Как зазнайку, который себя пупом земли считает! И какие резкие слова она ему кинула в лицо! Камню скажи и тот, не выдержав, треснет. Мало того, что Хаджарат часов своих лишился, так она обиду его своими словами удесятерила, и за весь вечер, пока на цыпочках вокруг Яниса ходила, слова примиряющего сыну не сказала. Какой куцей оказалась ее доброта, точно одеяло,

которым она в холод пыталась укрыть двоих, а не хватило ни на одного!

Мадина влетела во двор, распаренная, с полураспустившейся косой, с мокрым от росы подолом, исхлестанными колючками ногами, и позвала охрипшим голосом:

– Хаджарат!

А сама сжала обветренные щеки шершавыми ладонями.

Сын – спасибо ему, родному, спасибо здоровому, целехонькому! – тотчас выбежал на зов и, перепрыгнув через крыльцо, не сворачивать же к лестнице, тратя на нее время, подбежал к матери. Она схватила его за руки, заглянула в глаза, почувствовала: вот-вот расплачется, как будто сейчас только этого сыну не хватало, и превозмогая себя, не давая слезам пролиться, проговорила:

– Негодный мальчишка, что с нами вытворяет! Запропастился куда-то с утра пораньше! Заявится – уши надеру. Никогда пальцем не трогала, а сейчас – надеру!

– Не заявится, – Хаджарат виновато опустил глаза. – Деньги взял из чемодана. Те, что на крышу собирали.

– Деньги взял… додумался…

Новость ошеломила.

– Зачем ты меня вчера совсем не прибила?!

– Сгоряча ты сказал, не со зла. А он, неблагодарный, уже не чует, где родня, где чужие… Найдем, никуда не денется.

Но тревога не убывала, наоборот, она все больше захватывала Мадину. Как набухает река в весенний паводок, так полнилась тревогой она, вот-вот плачем криком выйдет из берегов. Больше всего пугало, что ребенок взял деньги. Доберется он с ними до железной дороги – беды не миновать. Мадина не того боялась, что он сумеет самостоятельно купить билет и уехать в неизвестном направлений. Она опасалась другого: как бы беспризорники, ошивающиеся на станции, не приметили мальчика, увидят, что он с деньгами, могут не просто отнять деньги, но и прибить его, беззащитного.

– Дядя! – с надеждой сказал сын, глянув поверх ее плеча.

Мадина обернулась. По лугу, свернув с проселка, торопились к ним люди и, опережая всех, конечно, шли Старший и Младший.

– Скольких людей он отрывает от работы! Как же после этого не надрать ему уши?!

Три дня искали Яниса. И в милицию в районный центр дали знать. Но Мац не приехал, своих парней прислал и только. А ведь сам приезжал выслеживать каких-нибудь бросовых людей, не гнушавшихся красть мелкую живность. Когда же невинная душа пропадала, он не сподобился приехать. «Ему наган сердце заменяет!» – сказала на то Мадина, но и сама оказалась не лучше, чем он – доверия Сончки не оправдала, за мальчиком не уследила. Три весенних дня искали Яниса… Много лет потом Мадина в весеннюю пору не могла унять безотчетной тревоги. Одно хорошо, дни стояли солнечные, в лесу все цвело, распускалось, а ночи были ясные, звездные и луна светила полная. Мадина надеялась, что если мальчик скрывается в лесу, в лунную ночь ему не будет так страшно, как случись грозе. Да и не озябнет ребенок, не промокнет. Три дня и три ночи Мадина была на ногах, от пищи отказывалась, только жадно пила родниковую воду, и вместе с Соной прочесывала окрестные леса, окликая Яниса, хотя понимала, здесь до нее уже десятки человек прошли в поисках пропавшего. Но мальчик от чужих мог спрятаться, а ей навстречу выбежать, как выбегал, когда она приходила с работы?

Мадина как могла громче – аж птички вспархивали с ветвей! – выкрикивала имя Яниса, осыпала ласковыми словами, уверяла, что никто на него не сердится и что она готова выполнить любое его желание, пусть только он покажется! Сона, устав, тянула домой, напоминала, что пора доить коров, варить мамалыгу и что она проголодалась, что ноги промочила, когда ручеек переходили. Мадина не смела на дочь прикрикнуть из-за ее нытья, – а что, если и она надумает сбежать? – обещала: «сейчас, сейчас повернем домой, только дойдем до того холма и повернем».

И на железнодорожной станции следы Яниса не отыскались. Беспризорники, из тех, кого удалось перехватить – они появлялись на станции во время прибытия нечастых поездов – в один голос утверждали, что никого похожего на разыскиваемого пацана не встречали. Им, конечно, не особо приходилось доверять. Хаджарат попытался вызвать босоту на откровенность, ну не перочинный ножик, ни кисет с табаком не помогли. То есть босяки взяли и то, и другое, тем не менее, стояли на своем, что никого похожего на Яниса они не видели. Один из беспризорников вдруг заинтересовался:

– А кто он тебе, зачем его ищешь?

– Он – мой брат!

Беспризорники переглянулись и тот, который говорил с Хаджаратом, расхохотался:

– Ври, но не завирайся! – сказал он не совсем понятно для Хаджарата, повернулся и пошел прочь.

– Я найду его! – клялся матери Хаджарат.

– Он найдет его! – говорила дочери Мадина.

Она и верила тому, что говорила, будто сын, разрушив неосторожным словом хрупкое благополучие их семьи, сам обязательно и восстановит разрушенное…

Но привел в дом Яниса не Хаджарат. Бадра. Поздним вечером. Сона уже спала. Сына не было дома, он заночевал у дядей, чтобы спозаранок отправиться вместе со Старшим в районный центр – просить еще подмоги у Маца.

Во дворе залаяла собака и Мадина вылетела на крыльцо все с той же надеждой, с какой все эти дни выбегала на малейший шум, – увидеть Яниса. И увидела. Но не поверила своим глазам, подумала – мерещится. И Бадра за спиной мальчика мерещится. Мадина застыла на крыльце, боялась дух перевести, боялась подать голос, будто разбив тишину своим вскриком она потеряла бы, как в расколотом зеркале, отражение Бадры и Яниса.

– На ольхе сидел! – сообщил Бадра и подтолкнул мальчика к крыльцу. – Как одичавший котенок!

Тогда и Мадина отважилась заговорить:

– Голодный?

– Кислого молока хочу, – сказал Янис и заплакал.

Она плохо помнила, как сбежала вниз, подхватила на руки мальчика и, качаясь под его тяжестью, внесла в дом, кинулась мать ему лицо, руки. Только, когда уже вытирала мальчика жестким вафельным полотенцем, осознала, что воду из кувшинчика сливал ей Бадра и на широкой его ладони лежал кусок земляничного мыла из посылки от Сончки.

– Спасибо, побеспокоила тебя! – опомнясь, поблагодарила она Бадру и тут же попросила: – Побудь с ним.

А сама бегом в амацурту – наполнила глубокую тарелку густым кислым молоком, нарезала крупными ломтями холодную мамалыгу, сыр – и назад в дом. Она усадила за стол Яниса, поставила перед ним еду и отвернулась, чтобы не видеть, с какой жадностью он набросился на пищу. Бадра уселся поодаль от него и спустя время буднично заговорил о том, что по пути домой, заглянет к Старшему и Младшему, скажет, что спозаранок им никуда не надо ехать, и никому никуда не надо.

– Хаджарат сегодня у них ночует! – отчего-то понизив голос, как великую тайну, сообщила ему Мадина.

Он кивнул – принял к сведению.

– Теперь не грех и поспать, – сказала Мадина буднично, когда мальчик поел, но как только он вылез из-за стола, вновь подхватила его на руки, как грудного, и понесла в соседнюю комнату, задыхаясь то ли под его тяжестью, то ли от подступивших слез. Но она не заплакала, уложила мальчика в постель, подоткнула со всех сторон одеяло. Янис повернулся лицом к стене и приглушенно сообщил:

– Я сам домой вернулся. На железной дороге был и вернулся. Сам.

– Хорошо сделал.

– Поезд длинный… Они грязные и большие. Не такие большие, как Хаджарат, но большие. Оборванные…

– Кто они?

– Чужие!

– Как их зовут?

– Чужие!

– А-а, ну да.

– Это мой дом?

– Твой! Ты же знаешь!

– Они сказали: нет у тебя дома, ничего нет, ты – босяк! Милиция поймает – в детдом отдаст. Я от милиции прятался.

Мадина прилегла рядом с мальчиком, прижалась к его спине, зашептала на ухо:

– Что было, то прошло, забудь. Пусть матери наденут траур по твоим обидчикам. Ты о них не думай! Нам и дела нет до жуликов!

– Они деньги взяли. Наши. Из чемодана.

– Из чемодана?

– Из чемодана – я, – признался Янис и тихонько всхлипнул: – Они потом отобрали. Наши деньги.

– Жулики есть жулики! Что с них возьмешь? Слава богу, тебя не тронули, не обидели.

– Меня обидели!

– Хуже могли обидеть!

– Хуже не могли! – по-взрослому убежденно возразил Янис.

Мадина теснее прижала его к себе и мысленно пала перед Богом ниц, моля, чтобы хватило мальчику доброты простить и Хаджарата, и ее, и далекую свою мать, не сумевшую обойтись без белобрысого его отца, а без него самого обходившуюся.

– Они сказали: у тебя дома нет! Я сказал: есть!

– Правду им сказал, спи.

– Они сказали: врешь!

– Жулики разве знают, где правда? Спи…

– Это мой дом?

– Зачем опять спрашиваешь? Разве сам не знаешь? Ты уже не маленький, должен знать! Твой, чей еще?

– Мой… – примерился Янис и замолчал.

Мадина неподвижно лежала рядом с ним, пока он не заснул, а потом на цыпочках вышла из комнаты. Бадра сидел на прежнем месте, разглядывая свои ладони, как диковинку.

– Дурачок добрался до железной дороги, там голытьба у него деньги отняла и еще припугнула, чтобы на глаза милиции не попадался, мол, прямиком в детдом сдадут. Вот он и прятался.

– Не так хорошо он, наверное, прятался, как плохо смотрела милиция, – буркнул Бадра и поднялся на ноги, собрался уходить.

– Из-за нас ночь ломаешь – заговорила Мадина торопливо, подходя ближе. – А ведь завтра спозаранок на работу.

– Ничего! Я до сна не охоч.

Мадина подошла еще ближе, и он растерянно глянул на нее. Она подумала, что Бадра за последнее время сдал, кожа на лице огрубела и, как трещины, на изжаждавшейся по влаге земле, пролегли по всему лицу морщины, густые волосы и борода сединой помечены, как гребни волн перед бурей. Но по-прежнему широк разворот плеч и крупные руки, должно быть, не утеряли былой силы. Мадина уткнулась ему в грудь лицом, и горячие частые слезы покатились по щекам. Бадра стоял неподвижно. Мадина слышала только, как гулко билось его сердце. От одежы немного пахло табаком, но даже табачный дух не перебивал свежего запаха белья и рубахи, высушенных на весеннем ветру, тщательно отглаженных. Она подумала, что сама могла бы стирать ему, сама гладить рубахи.

– Почему не женишься, Бадра? – вырвалось у нее.

Она хотела услышать: «Из-за тебя не женюсь!» Сама наталкивала на откровенность, унижая себя, топча память о муже. Но он молчал, как молчит высохшее дерево, когда молодая поросль шелестит листьями на ветру. Тогда она шепнула ему:

– Останься.

Мадина хотела той ночью испытать всю полноту счастья, что бы ни было потом. Но он осторожно отстранился и пошел к дверям. На пороге обернулся, чтобы сказать:

– Лучше тебя, Мадина, никого в жизни не встречал.

Сказал и ушел.

Мадина пошла в комнату к Янису, села возле него, провела по волосам мальчика рукой, ужаснулась до чего они грязные, спутанные, осыпала себя проклятиями, что не выкупала ребенка прежде, чем уложить спать. Ошалела от радости и не знала, что делать или торопилась поскорее управиться с мальчиком, освобождая время для человека, приведшего беглеца? Рвалась остаться с ним наедине? И что же? Поделом она получила! А то, что Бадра с порога счел нужным сгладить добрыми словами свой уход, – это ему надо ставить в заслугу, а не на себя примерять, как нарядное платье. Видно за эти дни она совсем разум потеряла.

Мадина сжала щеки руками и заплакала. Вбежавший в комнату Хаджарат застрял у двери.

– Заболел, да? – спросил он, прерывисто переводя дыханье.

Наверное, всю дорогу бежал, как только узнал, что Янис нашелся.

– Спит без задних ног. Это я так, от усталости.

– Иди, ложись, я посторожу.

– Незачем! Никуда он не денется! От своего дома никто еще никуда не девался! Так что давай спать! – Она поднялась. – Завтра получит он у меня. Надеру уши. Сегодня-то пожалела.

Уснула Мадина мгновенно, хотя на это и не рассчитывала, уснула, как ушла от погони. И множество забот, и стыд за слова, не сказанные… нет, брошенные под ноги Бадре, да только он не удосужился нагнуться за ними, остались далеко-далеко позади.

Но сразу – или показалась сразу? – кто-то затеребил за плечо.

– Вставай! Пора на работу. Миха стучит по своему лемеху! – пробился сквозь сон голос дочери.

«Миха? Бригадир, что ли?» – лениво подумала Мадина. И не столько услышала, сколько вспомнила, как он нещадно

лупит отрезком арматуры по старому лемеху, сзывая людей на работу.

– Оставь меня, – пробормотала она. – Не трогай…

И следом также сквозь сон услышала голос сына, звавшего сестру:

– Иди сюда, тебе говорят! Оглохла?!

– А на работу кто пойдет? – упрямилась дочь. – Миха на нее наорет, не на меня.

– Иди сюда, пока я за тобой не пришел!

– Корову надо подоить, молока ребенку дать, – не открывая глаз, сказала Мадина.

– Спи, спи, справимся, – шепотом успокоил Хаджарат и увел сестру из комнаты.

«Янис еще наверняка спит, – подумала Мадина. – Отсыпается». И ощутила такой покой, что за столько лет вдруг поверила: обойдутся разок и без нее, дала себе волю – погрузилась в сон. Проснулась Мадина чуть ли не в полдень с непривычным ощущением полноты жизни – все у нее есть, а чего не хватает, то непременно приплывет к ее берегам, стоит только подождать. В ноздри ударил запах свежеиспеченной пшеничной лепешки. Такие лепешки Мадина обычно выпекала, раскатав тонким слоем, и бросив на раскаленную чугунную сковороду без ручки, которую затем стоймя ставила перед жаром открытого очага. Янис любил такую выпечку. И накануне она выскребла остатки пшеничной муки и замесила тесто в надежде, что оно пригодится. И точно! Пригодилось! Только кто же выпек лепешки?

Мадина приподнялась на локте и увидела дочь. Та с ломтем лепешки стояла у окна и глядела наружу и лениво отщипывала от ломтя по кусочку и отправляла в рот. Видно, она по привычке потребовала себе самый большой кус и уже насытилась.

– Сона!

Девочка медленно повернула к ней аккуратную головку на длинной как стебель подснежника шее и посмотрела на нее. Кусочек лепешки, только что брошенный в рот, оттопы-

ривал щеку. И все равно она была ладная, красивая и так ей шла, перекинутая через плечо коса с вплетенной в нее крепдешиновой пестрой лентой, – обрезок от отреза, из которого Мадина сшила платье жене бухгалтера.

– Проснулась, наконец?

– Как видишь! А кто лепешки испек? Ты?

– Я бы испекла, да разве Хаджарат даст? Не понять мужчина или женщина, на кухне толчется!

– Поделись кусочком!

Мадина почувствовала такой волчий голод, что сама этому подвились, будто начисто забыла, сколько дней маковой росинки во рту не было.

– Возьми все, я уже наелась.

Дочь подошла к кровати и протянула Мадине общипанный со всех сторон ломоть с черными подпалинами – зазевался, наверное, Хаджарат, не поворачивал во время сковородку – зато теплый, душистый.

– Янис еще спит?

– Давно встал. Хаджарат ему первому испек лепешку, дал с молоком. А грозились: уши надерем!

– Он и без того страху натерпелся! – нахмурилась Мадина. – Тебе мало?

Дочь пожала плечами и отошла от кровати с недовольным видом.

– Я собралась тебе платье сшить, – сказала Мадина. – Синее в белых цветочках. Сатиновое. Вечерком раскрою.

Дочь просияла, но смолчала, не подошла к матери, не приласкалась. Но Мадине хватило и просиявшего ее лица. Она спустила ноги на пол, поднялась с ощущением легкости, точно кости у нее вдруг стали полыми, как у птиц – не будь рядом дочери, может, и закружилась бы по комнате, как любила кружиться в общем их детстве непоседливая Сончка. Сдерживая движения, Мадина неспешно оделась, попутно расспрашивая дочь, как они управились с утренними работами, хотя и не сомневалась – со всем управились лучшим образом. Такой уж день наступил – день удач.

– Хаджарат куда подевался? – спросила Мадина, выйдя на крыльцо и увидев Яниса, забавлявшегося во дворе с собакой. – Нынче ведь воскресенье в школу не надо, да и в школу ему во вторую смену.

– Сама говоришь: чайная плантация выходных не знает! – насмешливо напомнила дочь.

– И то правда! – миролюбиво приняла Мадина насмешку Соны и засмотрелась на Яниса.

Его смущал ее взгляд, но он храбро возился с собакой, притворяясь, что не замечает, как Мадина с него глаз не сводит.

– Купать тебя будем! – буднично сообщила она мальчику. – Воду в большом котле нагреем. Иначе тебя не отмоешь.

Янис потребовал, как раньше:

– Только без мыла!

– Скажи спасибо, что у нас есть мыло, да не простое – земляничное, а не отнекивайся – ответила Мадина.

Тоже, как раньше, как всегда!

И дочь себе не изменила:

– Не пойду за водой!

– Я схожу, – легко согласилась Мадина, – попозже только. – Она уселась на верхнюю ступеньку лестницы и попросила дочь: – Принеси мне гребешок.

Она долго расчесывала волосы, перекидывая их то в одну, то в другую сторону, дивясь, что до сих пор в темном их течении не мелькнет серебристой рыбкой седой волосок. Потом Мадина отложила в сторону гребень, но заплетать косу не стала, сидела, подставив распущенные волосы солнечным лучам, ощущая, как в их прохладу проникает тепло. Мадина всей кожей вбирала в себя солнце, весну, сидела, будто прячась за густым пологом, и слушала дыханье дочери, устроившейся на крыльце за спиной, видела сквозь упавшие на лицо пряди обросший затылок Яниса и плечи, обтянутые линялой курточкой. Мальчик, как только Мадина села расчесывать волосы, прибежал к лестнице и занял нижнюю ступеньку вместе с собакой, привалившейся боком к его но-

гам. Все трое молчали, только собака громким зеваньем нарушала тишину.

Так в безделий и покое застал их Хаджарат, вернувшись с плантации.

Мадина устыдилась своей праздности, неприбранности, принялась поспешно заплетать косу. Но Хаджарат – каким он чутким рос на диво! – не взялся, как обычно за работу, молча упрекая других в праздности, а и сам уселся на свободную ступеньку между матерью и Янисом, как бы заполнил брешь.

– Через месяц закончу школу, поеду в Акву, в пединститут, – вдруг сказал Хаджарат. – Надо ведь до ума доводить желторотых.

Он протянул руку и легонько взъерошил волосы Янису.

Мадина не удивилась, он несколько раз уже намекал ей о своей мечте и о том, что непременно хочет стать учителем истории, хотя именно тот человек, который учил его этой премудрости в школе, меньше всех ему нравился.

– Получится ли?

– Я тоже опасаюсь, не справитесь без меня, – полуобернувшись к матери, озабоченно сказал Хаджарат.

– Не о нас речь, поладишь ли с ребятишками?

– Не будут же они каждый день топить часы! – вскричал Хаджарат.

Мадине показалось: Янис вобрал голову в плечи. И она незаметно толкнула ногой в спину сына.

– Если и будут, столкуемся, – сын правильно расценил ее толчок. – Сгоряча мало ли что скажешь!

– Сгоряча можно много глупостей наделать! – согласилась Мадина и спросила у младших: – Ну что, отпустим его учиться?

– Учителей заставляют по имени отчеству называть, как чужаков! – сообщила Сона. – Я его ни за что так не назову.

– Не бойся! Пока я выучусь, ты сто раз замуж выскочишь! – засмеялся Хаджарат. – А вот Яниса, наверное, успею поучить, согласен, парень?

– Согласен, – Янис обернулся и глянул на Хаджарата с прежней преданностью.

У Мадины аж перехватило дыхание – какое у мальчика отходчивое сердце, прощающее! И легко ли с этим жить? И легко ли принимающим прощение? Вслух же она только сказала:

– Лучшего ученика, чем Янис, тебе и желать не придется.

– Я и не желаю! – сказал сын.

– Ты еще выучись на учителя! – фыркнула Сона.

Недоверчиво этак фыркнула и насмешливо. Позже, вспоминая то счастливое воскресенье, она сердилась на дочь так, словно Сона своей недоверчивостью и вечной насмешливостью порушила все планы Хаджарата. Хотя не в ней было дело, а в беде, которая обрушилась на всех месяца через два и тоже в воскресенье…

Уже сумерки хозяйничали, когда к воротом на вороном коне подъехал Младший. Спешившись, он накинул поводья на кол возле ворот и медленно побрел к дому. Мадина – она загоняла теленка в хлев – отбросив в сторону прутик, которым подбадривала непослушную скотинку, пошла ему навстречу. Ей не понравилось, как он шел, понурив голову, поняла сразу – что-то стряслось. Но так как все дети были дома, она не сильно-то встревожилась. Хаджарат, хоть и немного простуженный, но веселый пек на вертеле молочную кукурузу, самую-самую раннюю, а Сона и Янис крутились возле него в ожидании своей доли. Каждой весной Мадина раньше всех засевала кукурузой узкую делянку в огороде, угождая Янису и Сончке, до смерти любивших печеную молочную кукурузу.

– Что-то у тебя болит, вижу, – сказала она после того, как поздоровались друг с другом.

– Болит, – признался Младший и посмотрел на нее усталыми глазами.

Раньше Мадина и мысли не допускала, что кто-нибудь из братьев может смотреть вот так вот тоскливо и растерянно. Неужели наконец-то дошло и до них, неуемных, что наскоком ничего вокруг не изменишь, и не улучшишь?

– Какое горе нынче выпало нам? – спросила Мадина, без страха ожидая ответа.

– Война, вот что, – сказал Младший.

– Поначалу она не осознала в полной мере страшной сути новости, да и вовсе ее не осознала.

– Какая еще война?

– Немцы пошли… Германия.

– На всех, что ли?

– Само собой, не на каждого по отдельности, – терпеливо разъяснил родич. – Хотя можно и сказать на каждого по отдельности. Как хочешь, называй, но война есть война.

В это время в проеме двери амацурты показался Хаджарат, перекатывая на ладони только что снятый с вертела горячий початок кукурузы, и обрадовался, завидев дядю:

– Добро пожаловать!

– И тебе добра видать! – отозвался Младший.

– Хаджарат? – У Мадины враз пересохли губы, она вцепилась в локоть родича. – Хаджарат?

– Он, как все, – горестно сказал Младший и вновь произнес страшное – теперь-то она это ощутила до внутренней дрожи. – Война!

– Нет! Ни на шаг от себя не отпущу! – властно сказала Мадина.

– Почему вы в дом не заходите? – удивился Хаджарат и направился к ним.

– Не отпущу! – повторила Мадина. – Ни на шаг.

Но отпустила. Куда бы делась? Вырастила мужчину, так к подолу не пристегнешь! Но не сумела Мадина напутствовать сына так, как должно было. Пренебрегла своей обязанностью напомнить ему о чести и от своего имени, и от имени отца, не сказала: «Встречай грудью пулю! Издревле на твоей земле не оплакивают мужчин, показавших врагу спину!» И самое простое: «Доверят тебе чью-то жизнь, береги пуще своей», – и то не выговорилось. Она взмолилась лишь об одном: «Вернись живым. Пожалей мою вдовью долю! Вернись!»

Мадина не поехала на станцию, где ждал военный эшелон. Дочку отпустила с дядьями и Янису позволила проводить Хаджарата, а сама осталась дома.

Сына только до ворот довела. За ворота не вышла. Остановилась перед ними, глянула на Хаджарата сухими глазами – время облегчающих душу слез миновало! – и сказала:

– Здесь буду ждать!

Она схватилась обеими руками за верхнюю планку деревянных ворот, посмотрела на выжженный солнцем луг, начинавшийся за воротами.

– Вернусь! С победой! – сказал сын.

Тут, как она думала позже, помиловал бог, не вскричала во всеуслышание: «С победой, не с победой, со славой, без славы, главное – вернись! В дом свой вернись! Ничего другого мне не надо!»

Мадина стояла у ворот, всем телом навалившись на них, ноги не держали ее, и смотрела вслед сыну, уходящему по лугу в окружении любящих его людей, и с каждым его шагом убывал ясный день.

Хаджарат время от времени оборачивался и неуверенно махал матери рукой, будто стыдился своей слабости. А чего было стыдиться?! Не на скачки в соседний район направлялся!

Оставшись одна, Мадина трижды обошла вокруг того места, где, прощаясь с ней, стоял сын, предлагая ненасытной сырой земле взамен его жизни свою.

Хаджарат ушел на войну одним из первых. По собственной воле ушел, не дожидаясь, пока на помощь позовут. В нем кровь Шартына текла, что с этим станешь делать? Тот тоже не сидел бы, сложа руки, дожидаясь, когда понадобится. «Ушел добровольцем!» – сообщила о брате Сона некоторое время спустя и, похоже, она пребывала в нерешительности, не знала то ли гордиться братом, то ли сердиться, что он поторопился оставить родных без своей поддержки, что очень скоро сказалось на сестре. Часть его работы по хозяйству ей пришлось взять на себя. Да, Хаджарат ушел одним из первых,

но чуть позже едва ли не каждую неделю провожали на войну и совсем молодых, как сын Мадины, и крепких мужчин, уже успевших обзавестись семьей, детьми. Потом проводы кончились, будто прокатился по селу поток и иссяк. Настало другое время. Время ожидания и работы, начинавшейся на заре, а конца ей и не было видно, как и ожиданию.

Мадина, вдовствуя смолоду, считала, что вдовья доля давно ее свела накоротке с любой работой и любая работа ей теперь по плечу. Да только обнаружилось: присутствие в селе стольких сильных мужчин, оказывается, ограждало от множества забот. Правда, Старшего и Младшего не забрали в армию, по возрасту не подошли, к тому же у Младшего еще какую-то болячку в желудке обнаружили, что-то вроде язвы. Но братья, хоть и старались, как прежде, поспевать повсюду, будто часть своей силы отдали ушедшим на войну. Не выходило у них, как прежде. Слишком много брешей образовалось в селе, все собой не закроешь. Старший и Младший первыми предложили тогда в председатели Бадру. Он и встал во главе. Прикрытием? Латкой в незримой и хрупкой ограде, предназначенной защитить село от бед, стучавших в ворота?

Мадина старалась не отставать от молодых, полных сил девушек, выходивших спозаранок на работу, не отставать от них, не обремененных ни годами, ни детьми, не снедающей изнутри тревогой. И это у нее, наверное, получалось, раз стахановкой прослыла. А ведь уже за сорок лет перешагнула, пятый десяток разменяла, подумать только! Выглядела она не то что молодой, куда там… но не погрузнела с годами, шаг по-прежнему был легок и пышные волосы все еще – это в сорок-то лет с хвостиком! – без седины. Кожа на лице, само собой, потускнела, огрубела, сравнялась в цвете с глазами, преувеличивая, с усмешкой отмечала она… Тем не менее, не давала она работе и годам взять над собой верх. Куда труднее было сладить с постоянной тревогой, неизлечимым недугом засевшей в ней, с мыслями о Хаджарате, с сознанием, что каждую минуту он рискует жизнью. И узнав, что кто-то в селе получил похоронку, она хваталась за сердце: «Сегодня

промахнулись по Хаджарату, а завтра?» И входя во двор людей, оплакивавших сына, чье тело покоилось неведомо где, а дух его витал над родимым домом, смешивая свои слезы со слезами несчастных матерей, она чувствовала себя без вины виноватой, будто кто-то принял пулю, предназначенную ее сыну. Мадина теперь страшилась засыпать, все опасалась как бы ржавые гвозди не приснились. К горю ей снились ржавые гвозди, к большой непоправимой беде… Но сны, к счастью, не снились. Полумертвая от усталости, за полночь она добиралась до постели и засыпала, как только доносила голову до подушки. Еще она боялась возвращаться домой после долгого дня работы. Случалось это обычно в сумерках. А вдруг по двору кинется ей навстречу дочь вся в слезах и скажет, что в ее отсутствие пришла недобрая весть о Хаджарате, или что-то стряслось с Янисом. Она не любила оставлять его наедине с дочерью, хотя Сона теперь и мамалыгу могла сварить, и молодого сыра наготовить, да спечь лепешки из пшеничной муки, лишь бы мука была. И стирала дочь не хуже взрослой. Так что мальчик был и сыт, и в чистой одежке ходил, да только разве этого достаточно для ребенка, тем более такого особенного, как Янис?

Как-то Мадину до полусмерти напугала Фатима, жена Дыгу, вбежав в амацурту с заплаканным лицом, бледная, дрожащая. Мадина так и села. «Сейчас скажет: пришла весть о Хаджарате, недобрая весть». В глазах зарябило, еще минуту и она упала бы без памяти, но тут через внезапный шум в ушах до нее донеслись возвращавшие ее к жизни слова Фатимы:

– Помоги, на тебя вся надежда!

Она и ожила – принося матери страшную весть о сыне, помощи у нее просить не станут. Мадина засуетилась вокруг гостьи:

– Присядь, Фатима, отдышись. Что стряслось? Кто-то из детей занемог?

– Нет, нет… – Фатима замотала головой, – дети здоровы и об отце их нет дурной вести…

Дыгу воевал. Возраст у него тоже далеко не юношеский, но в армию его мобилизовали. Только теперь понимала Мадина, что когда она хозяйкой вошла в дом Шартына, Дыгу был и вовсе сосунком. Но старшие смотрели на него, как на равного, оттого, что он рано впрягся в работу, рано стал хозяином своего слова. Мадина же как изъян принимала его юношескую застенчивость, его ребячью преданность Сончке… Теперь на фронте Дыгу среди сверстников сына Мадины считался, наверное, пожившим человеком, старым воином…

– Так о чем твои горести, Фатима?

– Сейчас скажу, все узнаешь как есть…

Но слезы душили ее, не давали связно говорить. Так или иначе, выяснила Мадина: начальник милиции района Мац крепко не доверяет Фатиме, и все оттого, что она – турчанка и ее родня живет в Батуме близ границы с Турцией, а родичи матери Фатимы – пусть и дальние! – но – страшно сказать! – обосновались в самой Турции. Еще Мацу кажется подозрительным, что в военное время Фатима дважды уже ездила к родне в Батум. Зачем, спрашивается, она пустилась в такой дальний путь, когда люди без особой нужды и в соседние села не заглядывают?

– Затем что моя мать при смерти! И у нее нет другой дочки, чью руку она хотела бы держать в такой тяжкий час. По-хорошему, мне бы и не отходить от ее постели и шагу, но и здесь дом на мне стоит! – захлебываясь слезами, объясняла как могла Фатима.

– Я знаю о болезни твоей матери, Фатима, все вокруг знают…

Еще жена Дыгу сказала, что будто бы Мац намеревается в ближайшее время взять ее под стражу, так сообщил ей верный человек.

– Ты одна можешь спасти меня, Мадина. – взмолилась она – В том доме тебя любят, племянника их растишь, тебе они поверят…

– Пугают тебя досужими разговорами. Не видать ясного утра тому, кто на тебя страхи нагоняет!

– Не о себе думаю, о детях… И не за себя боюсь! Я знаю – моей вины нет, ни в чем! Да кто станет разбираться?

– Не верь сплетникам, пусть язва разъесть им языки! Мац умный, зазря не обидит…

– Не обидит, говоришь? Сплетничают, говоришь? Ну, ну! Столько лет я в этом селе прожила, да, видно, своей не стала. Очаг в доме мужа разжигала, детей народила, пот на землю вашу пролила, но получается, не только доверия начальства из района, но и твоего не заслужила!

– Не тебе, сплетникам не верю.

– Тот, кто меня предупредил, головой рисковал, не до праздных ему разговоров! – резко возразила Фатима, поднялась на ноги и шагнула к выходу.

Мадина никогда не видела ее такой. В селе о ней говорили, как о тихой, покладистой, славили ее красоту, хотя и красота ее была неброской, под стать нраву, – глаза не слепила. Но сейчас ее ярость была стремительной, как зигзаг молнии по небу.

– Постой, Фатима… если ты и впрямь думаешь, что я могу помочь… и есть нужда в помощи… то я поеду… не к Мацу, нет, к Еугану.

– О том я и хотела просить… – благодарно обернулась Фатима. – По слухам, Еуган самый душевный у них в роду…

– Среди них бездушных нет!

– Кто знает… – Фатима замялась. – В любом случае медлить нельзя.

– Прямо сейчас, на ночь глядя, оседлаю коня! – пошутила Мадина.

Но ее слова вовсе не сочли шуткой, гостья сказала, что оседланный конь уже привязан возле ворот. Вот когда всерьез испугалась Мадина:

– Неужто и впрямь беда вот-вот навалится на нас?

– Иначе не стала бы тебя тревожить. – Губы Фатимы задрожали. – Я заночую у тебя, пригляжу за детьми.

– Как же твои?

– Одну ночь перебьются.

– Сона уже большая, справится сама, и ужин сготовит, и на завтрак что-нибудь на стол поставит.

Мадина отправила Фатиму домой, а сама, наспех собравшись, отправилась в путь на крепеньком с белой отметиной на лбу и белым же «носочком» на правой задней ноге гнедом Дыгу, которого перед самой войной он выменял на двух бычков двухлеток, уже приученных ходить под ярмом. Фатима берегла гнедого пуще глаза – он должен был дождаться хозяина, который так и не наездился на нем от души. Но сегодня она оседлала его, чтобы снарядить вдову Шартына ради своего спасения. Или ради сохранения дома Дыгу, его детей, продолжения рода? Ломать над этим голову не стоило, любая из этих причин была достаточной, чтобы пуститься в путь. По дороге Мадина вдруг решила, что зря она долгие годы считала Маца среди братьев главным, как подобает старшему. И что в «Кьяразе», о котором так много слышала Мадина от Сончки в ту пору, а потом уже и ото всех вокруг, он вовсе не верховодил. И позже при новой власти не он вел братьев, нет! Хотелось бы думать, что главным, на самом деле, был Еуган и что именно он тихо-мирно прокладывал дорогу, по которому всем удобно идти. И никого в сторону не надо отгонять палкой – нам с тобой не по пути! Надо, чтобы именно такие, как Еуган, прокладывали новые дороги. А что касается Маца… Беда в том, заключила Мадина, что он слишком долго вместе с отцом сбывал туркам табак, слишком долго был озабочен только одним: как бы хитрые да ловкие турки не облапошили, не провели бы, как последнего простака, как деревенщину, не посмеялись бы в спину…

Мадина хлестала коня, понукая его. Теперь ей казалось – каждый час на счету, укорачивала путь, сворачивая с проселков к лесным тропам. Она теперь не страшилась лесом ехать, уже давно доверяла ему, не то что в юности… Только вот усталость начала одолевать, все мерещилось, что уже добралась до места, уже Еуган спешит навстречу, берет одной рукой коня под уздцы, а другую протягивает к ней, помогая спешиться, и она в расчете на могучую поддержку легонько

спрыгивает со спины коня и летит к земле… летит, летит и никак не долетит.

Мадина встряхивала головой, отгоняя сон, и с досадой обнаруживала что конь топчется на месте и приловчившись, пощипывает травку. Она резко покрикивала на него и плетку в ход пускала, гнедой убыстрял шаги, но через некоторое время дремота опять наваливалась на всадницу. Так с горем пополам Мадина одолела путь, передвигаясь то лесными тропами, то проселками и ранним утром добралась до подворья Еугана. Открыла боковую калитку, въехала во двор и уже спешилась, когда из амацурты вышел хозяин и заспешил к ней.

– Вас недолго врасплох захватить, – сказала, улыбаясь, Мадина. – Спите крепко.

– Я вовсе и не ложился. Недавно в дом зашел. Кукурузу в район отправлял.

– Вот в гости к вам собралась.

– Что может быть лучше!

Его радость от встречи была неподдельной, но смотрел он с тревожным ожиданием. Не первый день Еуган знает Мадину, чтобы не сообразить не просто желание повидаться пригнало ее в такую рань. Но вопросами донимать не стал, пригласил в дом на сваях, как гостью, но она замахала руками: «Ты что, Еуган, уже за чужую принимаешь?» – и пошла к амацурте, над которой вился дымок. Только на пороге – а где же до того была? – встретила Мадину жена Еугана, все такая же красивая, несколько раздобревшая, медлительная. Крутившиеся за ее спиной сорванцы-погодки – живые, беззастенчивые – вовсе не походили на мать. Младший даже чем-то напомнил Мадине Сончку, может, тем, что в больших, как у Сончки, глазах горел жадный интерес ко всему. И если бы он не опасался трепки от родителей, расспросил бы Мадину много о чем, начиная с того, как кличут гнедого, на котором она прибыла, и, кончая тем, не попадались ли ей в пути глупые великаны да хитрые человечки.

Сели у очага, на надочажной цепи с детства Мадине памятной висел котел с крупой для приготовления мамалыги. Хозяйка прошла в угол к шкафчику с едой, к посуде, стала собирать на стол, а Еуган насадил на вертел куски копченого мяса и устроился возле огня поджаривать. Поначалу говорили о том о сем, словно мостки меж собой перекидывали, мостки, снесенные временем. Мадина не решалась перейти к делу, пригнавшему ее сюда, мешало присутствие жены Еугана, мешали ее медлительность и даже приветливая, как бы, улыбка. Так до завтрака речь не заходила дольше разговоров о войне, об общей страде, да рассказов со скрытой гордостью о Хаджарате, который часто писал письма домой и ни на что не жаловался, хотя вести с фронта были вовсе неутешительными.

Наконец сели позавтракать, Мадина неожиданно для себя обнаружила, что проголодалась и поела охотно, но торопливо. После завтрака она попросила угостить и гнедого. Вместе с Еуганом, который нес в руке миску с кукурузным зерном, она вышло наружу, но здесь ей не повезло, шустрые сыновья Еугана подвели коня прямо к амацурте, высвободили частично его от узды, и он принялся хрумкать зернами. Нужда идти к коновязи само собой отпала и пришлось Мадине вместе с Еуганом остаться у входа в амацурту. Хозяйка вышла следом и остановилась поодаль. Теперь поговорить наедине с Еуганом не представилось никакой возможности, ничего не оставалось, как выложить при его жене то, что пригнало Мадину сюда. Хозяйка не преминула тут же вмешаться:

– Его старший брат, – она кивнула на мужа, будто Мадине то было невдомек, – всему району голова. За советом люди к нему ездят. Нам у него надо совета спрашивать, а не указывать, как ему браться за то или иное дело…

– Невестки в Маце души не чают! – с улыбкой проговорил Еуган, но так свирепо глянул на жену, что та мгновенно умолкла. – Сколько лет Мац на той работе, словно купил как шапку какую… дышать без нее не может. Не для него то место, а он…

– Ты еще его начальству о том скажи! – эта женщина, очевидно, была не из тех, кому одним взглядом можно надолго заткнуть рот. – Хорош будешь! Чужие ценят – родной брат против голос поднимает.

– В том-то и дело, что родной, – пробормотал Еуган и посулил Мадине, подняв на нее печальные глаза. – Сегодня же поеду к нему. Как можно плохо о жене Дыгу думать, да ее доброта за версту видна…

– Кому видна, а кому и не очень… – сказала сурово Мадина.

– Всегда он так… с налету, – попытался найти оправдание брату Еуган. – Силы в нем много, голову положит за дело, и не пожалеет.

«И головы других попутно прихватит», – сердито подумала Мадина, но смолчала.

И без того совестно было, что переложила свою ношу на плечи Еугана. Теперь это дело ему расхлебывать. Из-за чего такая досада взяла его жену, что она даже выплыла из своей медлительности, как глубинная рыба почуявшая, что над водоемом проносится смерч.

– Дай бог всякому такого родича, как мой деверь… В тени его славы сотни человек укрыться могут! – с нажимом сказала она, не слишком ласково поглядывая на гостью.

– Не все любят в тени отсыревать! – не удержалась Мадина, хотя в доме, куда заявилась просительницей, совсем уж не годилось в перепалку вступать. С кем бы то ни было! – Мне пора…

Еуган принялся горячо уговаривать остаться еще немного, отдохнуть, и жена подпела ему – гляди, мол, в одну дуду дудим:

– Такое студеное утро, погрейся хоть немножко у огня.

Но Мадина объяснила заботливой хозяйке, что детей одних оставила дома, и бригадира лично не предупредила, что денек не выйдет на работу, положилась на обещание Фатимы договориться с ним.

– Если что ее деверь председатель тебя в обиду не даст! – сказал Еуган.

И что-то затаенное – то ли досада, то ли и вовсе серьезная обида – проскользнуло в его голосе. Или почудилось? «Показалось, решила Мадина, из-за недосыпа померещилось». Но отчего-то почувствовала себя виноватой и тихо сказала:

– Один бог ведает, какая для меня радость бывать в твоем доме, Еуган, но я себе не хозяйка. Я еще и к родителям не заглядывала, могу ли уехать, не повидав их? Глядишь, опять буду плутать по ночным тропам.

– Давай хоть провожу к родителям…

– Ты же к Мацу собрался ехать…

– И ему надо поспать часок-другой, – напомнила откуда-то сбоку жена Еугана и Мадина удивленно обернулась к ней, будто начисто забыла о ее существований.

– К подолу твоего платья репейник прицепился, – безмятежно сообщила та, взглядом, указывая, куда именно он прицепился.

Мадина кивнула, вижу, мол, но отчего-то не стала отцеплять при ней цепкий плод сорняка и направилась к воротам, решительно забрав из рук Еугана поводья коня:

– Тебе и впрямь не мешает отдохнуть, а до отчего дома я сама дойду! – и добавила с вымученной улыбкой: – Если и усну на ходу, ноги донесут!

Сыновья Еугана с гиканьем помчались короткой дорогой через перелаз сообщить радостную весть родителям Мадины о том, что она вот-вот пожалует в гости.

– Сегодня непременно увижусь с Мацем! – у ворот пообещал Еуган вместо прощальных слов.

Она и не сомневалась, что так и будет.

– Вечно досаждаю тебе своими заботами! – повинилась Мадина, выйдя за ворота, и быстро пошла по проселку, ведя коня на поводу. Ей очень хотелось оглянуться. Но знала, что во дворе стоит дебелая, видная издалека, как маяк на море, жена Еугана и смотрит ей вслед, потому и не обернулась…

С Фатимой все обошлось. Мадина даже стала думать, что все страхи жены Дыгу были досужим вымыслом. Но однажды, встретив Маца на похоронах бывшего председателя колхоза старика Георга, услышала:

– В вашем доме какая-то зараза завелась, перекидывается и на тех, кто не вырос в нем, а живет долго, как ты, Мадина.

Сказал это Мац, будто невзначай, но смотрел на нее так, как не смотрел никогда раньше – тяжело, испытующе. В нем теперь не было и тени прежнего добродушия, с которым он, случалось, подтрунивал – не верилось, что такое было! – над неразлучными Сончкой и Мадиной – смотрите, скоро срастетесь головами, если не перестанете постоянно шушукаться друг с другом.

– Боишься заразиться, потому, потому теперь не заглядываешь к нам?

– Похоже, ты идешь по борозде, что хозяин дома проложил! – сказал он с усмешкой. – Вот бы не подумал!

– Бесчестья этот дом никогда не знал!

– Верно, – согласился он. – Но и счастья тоже.

Что он понимал в счастье, несчастный человек? Но ее такая обида взяла, что и словом не передать. И знала ведь чем отплатить, как побольнее ранить, если бы только выговорились: «Может, ты и прав, но кровь свою и плоть к чужим порогам не приносим, сами растим!» Но промолчала. И вовсе не из-за боязни быть слишком жестокой с Мацем! Не могла она произнести вслух, что ее дом Янису – чужой порог. В итоге она только жалко огрызнулась:

– Хватит и того, что ты о нашем счастье печешься!

– Пекусь, Мадина, пекусь! – мягко проговорил Мац и доверительно продолжил: – Зачем наслала на меня Еугана из-за своей турчанки? Сама бы приехала бы да слово замолвила, мол, ручаюсь за нее головой, и того достаточно было бы…

Мадина покраснела и что-то пробормотала невнятное, но с благодарностью. Стыдись этого теперь – не стыдись, но она рухнула в первую же его ловушку из якобы сердечных слов. А Мац – ох и хитер он был! – все так же заботливо сказал:

– Только головой ручаться не только за жену односельчанина, но и за близкого родича – опасная затея. Правда, за родича голову сложишь, так хоть понимаешь – своего прикрыл. За чужака заступишься, но он того не стоил…

– Если стоил?! – не выдержала, перебила Мадина.

– Стоил, так на здоровье. Если – нет?!

– Каждый может промахнуться!

– Бывает, раз промахнешься – живым не уйдешь. Не лучше тщательно прицелиться?

– Лучше сердце иметь, – сказала Мадина. – Дорого это может и обходится, но лучше иметь.

Она пошла прочь от него, слезы – она и забыла, когда последний раз плакала – покатились по щекам. Так, рыдая, Мадина подошла к гробу Георга. Рослая племянница покойного обняла ее за плечи, запричитала красивым высоким голосом, что сегодня прощаются с тем, кто был первым на селе, о том, кто верной дружбой отвечал мужу Мадины и теперь в лучшем мире встретятся Георг с Шартыном и скажет ему Георг – дом твой стоит прочно, будь спокоен… Так причитала племянница покойного, роняя слезы на плечо Мадине, вместе с ней плакала и Мадина. Но слезы не приносили облегчения…

В ту пору радость заглядывала в дом только с весточкой от Хаджарата. Но вести от него стали задерживаться. Однажды почти два месяца не было ни одного письма от сына. Мадина чуть с ума не сошла. Потом Сона примчалась из школы с мятым бумажным треугольником в руке, вопя на весь двор.

– Вышел! Вышел! Из окружения! Не ранен, здоров!

– Окру-же-ние? Это что еще за напасть? – удивилась Мадина.

Хаджарат по-русски написал слово «окружение» Он, что, решил, что в его отсутствие здесь все заделались знатоками русского языка, или не мог подобрать этому неизвестному чудовищу название на родном?

– Чему тебя в школе учат? – накинулась на дочь Мадина и выхватив из ее руки письмо помчалась к Старшему и Младшему.

– Я знаю, я знаю – бежала за ней Сона. – Окружение – это вроде загона из врагов, вместо забора – враги…

Ну а в доме родичей Шартына Сона вслух снова прочитала письмо, потом братья его перечитали и передали старшему сыну Младшего, который души в Хаджарате не чаял, впрочем, как и остальные дети в доме. А Мадина наконец узнала откуда вышел Хаджарат и раненого друга вынес. Последнее было понятнее понятного, чтобы сын Шартына да не нашел бы кому подержать стремя и вызволить из беды, такого и быть не может! О себе не думает, так хоть о матери подумал бы! Он не подумал, да Господь сберег, пожалел ее, Мадину!

Потом пошли косяком письма от Хаджарата, что ни неделя, так письмо. Мадина уже стеснялась о них говорить на плантации – другие матери так часто вестей не получали, некоторым уже и ждать было нечего. Она молчала, но, видно, по лицу все было видно, потому и спрашивали: «Что на этот раз написал Хаджарат?»

– Написал, как всегда, «мы победим!» – отвечала Мадина и смущенно добавляла: – Что он может, юнец? Его умения только на охоту за шакалами хватало. Но он пишет: рядом с ним львы настоящие воюют.

– Что же они тогда пятятся и пятятся? – неосторожно выпалила Фатима и густо покраснев, испуганно огляделась по сторонам, как бы кто не подумал, будто она сомневается в доблести Советской армии, и быстро добавила: – Отец моих детей пишет, что часами сидит в укрытии и высматривает врага и тут главное, кто первым высмотрит. А так, вы знаете, он в глаз кунице попадал, не промахнется!

Мадина вспомнила, как Шартын говорил, что Дыгу не только меткий стрелок, но и очень настойчивый охотник – часами может идти по следу, но хватит ли у него терпения подстерегать противника? А вдруг он однажды выдаст себя?

Мадина мотнула головой, отгоняя от себя тревожные мысли…есть предел допустимому даже в мыслях.

Между тем наступило лето сорок второго года, и война придвинулась совсем вплотную.

– На той стороне – немец! – говорили удивленно и недоверчиво, поглядывая на близкие горы. Когда грохот сражения стал будить людей по ночам, пришлось признать – немец стоит за горами, как грабитель, дожидающийся темноты, чтобы скатиться с вершин прямо к облюбованным подворьям.

Теперь Старший и Младший только и знали, что подниматься в горы, поднимались и тотчас, не вдохнув полной грудью целительного горного воздуха – хотя в ту пору, продымленный, пронизанный запахами гибели и страданий, разве походил он на горный? – пускались в обратный путь. Они были проводниками, вели людей с провизией, оружием по кратчайшим дорогам, даже не дорогам – охотничьим тропам. Вели к бойцам, сражавшимся у перевала, из последних сил отражая натиск врага.

Мадина теперь редко видела родичей мужа, отощавших, как и лошади, которых с тяжелой поклажей вели в горы. Но если выпадала хоть какая-то возможность, они заглядывали к Мадине в дом, ободряли: «Выстоим, Мадина, выстоим! Врагу спину не покажем!» Про Хаджарата не спрашивали, знали, что опять нет от него писем, но она и без слов чувствовала, как они тревожатся о нем. Странно, но именно в ту пору, когда казалось: в сердце ничего не вмещается кроме огромного страха за детей – малых и больших – она полюбила родичей покойного мужа.

Тревога о Хаджарате изводила Мадину хуже всякой черной работы. Где он сейчас? Знает ли он, какая беда, точно лавина, нависла над его селом? А если знает, может ли кинуться на помощь? Мог бы – давно был бы здесь. Но, видно, он там нужнее! Она старалась о своих страхах не говорить вслух, не утяжелять своими жалобами и без того тяжкую ношу других. В одном только себе не могла отказать: Янису

надо было всегда находиться на глазах, точно подорожнику, приложенному к ране. Скрепя сердце, она отпускала его только в школу, но сразу после занятий он прибегал к ней. Если Мадина собирала чай, мальчик сидел у начала ряда, за которым она трудилась, и, выложив книжки и тетрадки на старый от Хаджарата доставшийся портфель, готовил уроки. Когда она низала табак в сарае, Янис пристраивался у ее ног на низкой скамеечке, и низал табак, причем довольно умело, – проворные, как у матери пальцы выручали. А устав он брался за уголек и разрисовывал стены сарая. Низальщицы только ахали, глядя на его рисунки, и хвалили от души. Мадину распирало от гордости, но она с притворной строгостью останавливала мальчика: «будет тебе мараться углем!» Но в таких случаях покладистость Яниса куда-то испарялась и он, пока света хватало в сарае, не отходил от стен. А уж как он просился на мельницу и радовался, когда кончалась кукурузная мука! И все потому, что мельница была обшита гладко оструганными досками. Мельник привечал Яниса, разрешал пачкать стены, что казалось удивительным, ведь он любил похвастать, что на постройку мельницы пошел отборный лес, не то, что в других селах, где воздвигают у воды вокруг жерновов уродливые постройки, сложенные из бросовых кривых бревнышек. Да и сваи под этими бревнышками хлипкие, если случится половодье, тут же их и снесет! Местная мельница и вправду была добротной. Речка, на которой она стояла, быстротечной. Жернова отменными. Но мельник был стар, глуховат, и Мадина боялась Яниса одного отпускать на мельницу – а вдруг свалится в реку, а вдруг палец меж жерновами попадет, и мало ли что еще? Мельник все жалел ее, говорил: «Зачем ноги била? С таким маленьким мешочком зерна и мальчика могла бы прислать, он бы справился». Но как, не обижая, открыть старику свои опасения, которые и заставляли, как он говорил, «бить ноги»? Однажды мельник принес Янису огрызок толстого красного карандаша и стены мельницы запестрели красным солнцем красными птицами, деревьями, косулями. Войну Янис не

рисовал. Мадина почувствовала большое облегчение, когда все стены мельницы покрылись рисунками Яниса. Правда, за это время мальчик успел привыкнуть к мельнику, подружиться с ним, но когда не осталось места для рисования, он уже не так часто рвался навестить старика.

К тому времени, когда стало очевидным, что горы выстояли, не пропустили врагов, родичи Шартына совершенно выбились из сил, а уж так исхудали, что только приходилось диву даваться, в чем только душа держится. Понятное дело, не только им одним досталось… «на сухой ветке стоим – обломится под нами – не обломится, бог весть!» – думала Мадина, но с тех пор как ночи стали тихими, и стало очевидным, что врагу оказались не по зубам горы, решительность в ней все крепла. И однажды она выразилась в том, что она отправилась в контору к Бадре. Мадине нужна была правда, какой бы она не оказалась. Она принарядилась. Для храбрости. Обулась в стоптанные, но кожаные туфли, надела маркизетовое синее платье в белый горошек, косу свернула на затылке кольцом и спозаранок, оставляя следы на росистом лугу, отправилась в путь.

Час был ранний, но Бадра сидел за столом. Он, завидев ее, стремительно, несмотря на возраст и грузность, вскочил на ноги, но не двинулся навстречу, остался на месте, опираясь широченными ладонями о тонконогий стол.

– Что с Хаджаратом? – напрямик спросила она. – Знаешь, верно, но скрываешь!

Ей было известно, почтальон не разносит похоронок – мальчишка ведь, подросток, еще в школу ходит, разве он может такую тяжесть поднять? Похоронки почтальон отдавал председателю. А Бадра мог и скрыть, чтобы не губить в ней надежду. Не может он не знать: надеждой живет человек. Сколько может. Но она больше не могла оставаться в неведении.

– Если утаиваю от тебя правду, пусть разразит меня гром! Ничего не знаю о Хаджарате.

– Это к добру или к худу?

– Худой вести нет, и сейчас для нас ничего лучшего не может быть.

– А худой вести и вправду нет?

– Клянусь тебе, нет!

– Нет?

– Я же говорю…

Она поверила ему, с первого раза поверила. Но хотела еще и еще раз услышать: нет худой вести! Нет и нет!

Бадра смотрела на нее по-доброму, больше, чем по-доброму, словом, хорошо смотрел, и она не хотела, чтобы он опускал глаза, продолжал бы смотреть, как смотрел сейчас, будто она была прежней, молодой, себе цену знающей. Только себе и знающей и то тогда, когда Шартын открыл ей глаза на саму себя.

– Ты все лучше становишься, Мадина! – произнес вдруг Бадра. – Из года в год. Все лучше.

Она не нашлась, что ответить, только поправила поясок на платье. И зря. Огрубевшие пальцы в трещинах и порезах зацепились за тонкую ткань и вытянули нитку. Она только покачала головой, разглядывая раскрытую ладонь с ниткой-паутинкой, застрявшей в трещинке на большом пальце.

– Время мое прошло, Бадра.

– Для меня всегда твое время!

Он вышел из-за стола и двинулся к ней. Она почувствовала себя молодой, нуждающейся в опоре, прикрытии, защите…

Но вдруг что-то изменилось в лице Бадры, усталом, с набрякшими веками. Она мгновенно почувствовала это. Точно тень упала на его и без того серое, утомленное лицо.

Бадра не остановился возле Мадины. Он прошел мимо, толкнув дверь, вышел наружу. Мадина слышала, как скрипели ступеньки расшатанной лестницы под его тяжелой поступью.

Выждав время, она вышла следом, и, не оглядываясь, пошла со двора.

«Дурь какая-то! – с досадой подумала она. – Что за недомолвки между стариком и старухой?»

Только грешила Мадина против совести, называя Бадру стариком. Он не был тогда стариком. Он им так и не стал. Когда пришел последний час Бадры, он был изъят из мира таким же крепким и выносливым, каким его знали все вокруг с тех пор, как он вышел из поры юношества и возмужал. Вынес же он на своих плечах в войну горести всего села, да еще четыре года после того тянул тот совсем нелегкий воз.

Возвращаясь из конторы, Мадина встретила на проселке Яниса и дочку, они шли в школу.

– Я думала, ты на кукурузе, – удивилась дочь и с укором сообщила: – Корову подоила.

Будто, если мать не гнет спину на поле, так уж большой грех ей подсобить. Янис же молчал, но радостно смотрел на Мадину синими в пол-лица глазами, а крупные яркие как у матери губы он насмешливо скривил, осуждая бурчание Соны. Свою же порцию замечаний от нее он уже получил, проглотил вместе с завтраком. Именно Соне приходилось ежеутренне расталкивать мальчика, кормить завтраком, при этом она все время подгоняла: «Не зевай, и без тебя мне забот хватает». Янис не любил начало осени из-за того, что в эту пору дела все еще гнали Мадину из дому на рассвете, и как только в школе начиналась учеба, каждое утро он оказывался под приглядом Соны. Правда, приготовить его любимые вареники или макароны Мадина успевала и оставляла еду на кухне под миской, закутав в полотенца, чтобы не остыли. Соне оставалось только по тарелкам разложить.

– Молоко закипятила? – спросила Мадина у дочери.

– Когда бы успела? Или в школу мне уже незачем ходить?

Сона властным кивком позвала за собой Яниса и пошла нарочито торопливым шагом, показывая, что всякая задержка грозит непременным опозданием на занятия.

– Я сегодня – дома. К вашему приходу испеку чурек, пшеничный! – посулила Янису Мадина и поделилась новостью: – Теперь уж точно знаю – нет дурных вестей про Хаджарата.

– Лучше бы письмо прислал, – простодушно сказал Янис и покраснел, уразумев свою оплошность.

Мадина порадовалась, что он такой чуткий.

– Лучше-то оно лучше, но по нынешним временам нет дурных вестей – уже праздник! – она потрепала его по светлым волосам. – Беги, догоняй Сону, а то и вправду опоздаете.

– Последний урок – физкультура, я не останусь! – сказал он, прежде чем побежал догонять Сону.

Обрадовался до смерти, что Мадина будет дома. Ну и горькая же пора стояла на дворе, если дети вдоволь на своих матерей наглядеться не могли. Одно слово: война…

Правда, случилось так, что Янис заполучил мать – гляди хоть с утра до ночи! – за месяц до конца войны. В апреле это произошло. Стоял чудесный весенний день – теплый, даже теплее, чем ему полагалось. Утром, когда Мадина шла на плантацию, она задержала шаг на лугу – росистый он весь был заткан цветочками на тоненьких стебельках. Их называют «абаииа», и за неделю до Пасхи собирают, рассыпают вокруг очага, а потом по ним катят яйцо, чтобы оно оказалось самым крепким среди крашенок. С какой радостью, с каким азартом в детстве их выискивала Мадина наперегонки с Сончкой. А теперь вот кругом одни «абаииа», но ни Сончки, ни детства, ни радости… и все-таки… Она наклонилась и сорвала один из росных цветочков, и он сразу поник в ее руке то ли под тяжестью росы, то ли из-за того, что его оторвали от луга, где так свежо пахло молодой порослью. Мадина с неожиданно выступившими на глазах слезами – она их приписала ветерку с гор! – вдруг подумала: «Случится что-то на днях. Что-то хорошее. Непременно хорошее… Весточка от Хаджарата. – пронзила ее догадка. – От Хаджарата письмо придет, непременно!»

На чайной плантации, низко склоняясь над кустами, она ловила себя на том, что вся обращена вслух. Она не чувствовала даже обычной боли в пояснице. Тогда ведь чай был молодой, кусты низкие, приходилось в три погибели сгибаться, понятно, что ныла поясница. Нынешние сборщицы тоже считают, что перетруждаются, собирая чай с достающих до пояса кустов. Нынешним и в этом повезло. Дай бог, чтобы и

во всем им везло. Ведь среди нынешних и внучка Мадины и внучки Старшего и Младшего. Так вот, Мадина все была обращена вслух, все ждала, будто кто-то и вправду видевший письмо от Хаджарата, успел ее уведомить. Когда – наконец-то! – в полдень появилась на плантации Сона и еще издали замахала матери рукой, Мадина не удивилась, разогнула спину, смахнула пот со лба и почувствовала, как легко дышится. «Сейчас, – подумала она. – Сейчас надо всей плантацией разнесется: Мадине радость привалила! Письмо от сына!»

Дочь пробиралась к ней медленно, оберегая платье от колючек. Нашла время заботиться о платье! Что за сердце у девочки!

– Как дела, Сона? – окликали сборщицы. – Редко что-то нас навещаешь, уже соскучились! Почаще прибегала бы на помощь матери!

– Голова пухнет, уроки учу! – звонко отвечала дочь, все так же медленно – или это так казалось? – продвигаясь меж рядами. – Это похуже чем листочки с кустов срывать.

– Так и дала бы головке отдохнуть! – не отставали от нее.

– Скоро лето, тогда и передохну!

Наконец дочь добралась до Мадины и остановилась перед ней, оживленно блестя глазами, но руки ее были пусты, наверняка засунула письмо за ворот школьного платья, чтобы по-ребячьи подразнить мать: «Спляшешь – награжу!»

– Похоже, корова твоя телку принесла, так сияешь! – сказала Мадина, и сама радостно улыбаясь.

– Телка – не телка, а кое-что!

– Давай, читай скорее вслух, или дай мне! – Мадина протянула к ней руку

– Что «дай»? – попятилась дочь под напором матери, удивленно ее разглядывая. – Она – дома!

– Дома?

– Ну да, дома, гостья дожидается… – дочка вконец растерялась. – А ты что подумала?

– Ничего, ничего не подумала, Сона, ничего, – упавшим голосом пробормотала Мадина.

Дочка не была виновата в том, что она себе напридумала. Никто не был виноват, кроме нее самой. Сколько раз зарекалась: не верь, пока в руки не возьмешь, пока не убедишься: вот она радость, крепко держу, не упущу. И опять вот обманулась!

– Отгадай, что за гостья! – дочь пыталась вернуть хоть часть своего оживления.

– Сама скажи!

– Я только подскажу – ты очень обрадуешься, узнав, кто у нас дома.

– Обрадуюсь? – удивилась Мадина.

– Еще как! – дочь купалась в своей тайне, как в знойный день в горной речушке.

И то понятно: в кое веки произошло что-то неожиданное, во всяком случае, по ее разумению, как с этим не носиться, как обесценить новость, сразу ею поделившись?!

– У нас в доме важная гостья, а ты, бросив ее одну, кинулась ко мне, – пустилась на хитрость Мадина. – К лицу ли молодой хозяйке такой поступок?

– Она не одна! – сразу отринула от себя замечание Сона. – С Янисом! Она сразу, как приехала, так и зашла в школу. Переполоху наделала – ужас один. Ее приняли за проверяющую из Аквы. В районе, мол, оплошали, не успели о проверке предупредить. И надо же, Косоглазая сегодня на уроки не пришла – огород тохает, а те, кому она физику в головы вдалбливает, в кузнице учились ножи точить. А Рапа, чернуха наша, на оплакивание в Бабры отправилась, и мы вместе математики сочинение писали, два урока подряд. И вот проверка из Аквы на голову упала! Зато, когда узнали, что она никакая не проверяющая, а – мать Яниса, завуч наша на радостях и меня отпустила домой, не только Яниса.

– Сончка?! Сончка приехала?

– Догадалась, наконец!

Мадина опустилась меж рядами на сырую землю и, облизнув пересохшие губы, велела дочери:

– Иди домой, а я взвешу чай, сдам, предупрежу бригадира и приду.

Ей нестерпимо захотелось остаться одной. Она торопливо развязала мешок, привязанный к боку, «сейчас подложу его под голову, полежу немножко, с силами соберусь, непременно соберусь» – думала она. Но дочь и не думала уходить, тянула к ней испачканную чернилами руку:

– Вставай, застудишься, земля сырая! – говорила она озабоченно, по-взрослому и, глупая, еще и себя укорила: – Не думала, что радость тоже может с ног сшибить.

Радость? Какая такая еще радость? Но вслух Мадина только повторила:

– Иди домой…

– Вместе пойдем! – заупрямилась дочь.

Сил на перепалку с ней не нашлось, Мадина с трудом поднялась с земли и волоча за собой мешок с чаем пошла вдоль ряда ничего не видя перед собой.

Одна из сборщиц, когда она проходила мимо, окликнула:

– Мадина, ничего дурного не случилось?

– Нет, только хорошее! – вместо матери ответила Сона. – Мама Яниса приехала!

Ее возбужденно радостный голосок заставил Мадину поморщиться, хотя разве была ее вина в том, что она не понимала происходящего? Кто на ее месте да в ее возрасте понял бы? Вот дочка и тараторила всю дорогу и все про Сончку:

– Одета – с ума сойти! Костюм – бостоновый, синий. Юбка прямая, пиджак вроде как мужской, плечи подложены, талия узкая. Кофта батистовая, круглый маленький воротничок, крохотные пуговицы, желтоватые, блестящие. Туфли черные, с пряжками…

– Да замолчи ты, наконец! – прикрикнула на нее Мадина. – Какое мне дело до бостонов-мостонов, туфель-муфель? И тебе какое дело? Лучше бы об уроках думала!

– Что об уроках думать? – пожала плечами Сона. – Думай – не думай, а высиживать на них надо!

Но дальше они шли молча. У ворот Сона пропустила мать вперед, а потом старательно задвинула щеколду, чтобы теленок, который пасся во дворе, не удрал. Мадина сама наказывала детям, чтобы не оставляли ворота открытыми, но сейчас она поежилась, будто дочь отрезала ей дорогу к отступлению.

Сончка сидела в комнате Яниса и смотрела на него, а он пристроился за столом, за которым делал уроки, и смущенно крутил головой. Янис при виде Мадины вскочил на ноги и щеки его зарумянились, будто она застала его за непозволительным занятием.

– Благодарение богу, ты перешагнула наш порог!

Мадина выдавила из себя привычные, стертые слова, сказала, как отделалась. Все остальное в ней было немо, все, что касалось Сончки.

Подруга поднялась с места и знакомым Мадине жестом – неожиданно больно кольнул он в сердце! – провела рукой по совершенно седым, коротко стриженым волосам. На шее Сончки повыше наглухо застегнутой блузки виднелся красноватый грубый рубец, уходящий вниз. Что же дочь, пока считала пуговицы на блузке, шрам пропустила? Мадина, как вошла, так и застряла у двери! Сончка сама подошла к ней, сама обняла, поцеловала и сказала, как печать поставила:

– Ты не меняешься, Мадина!

– Будто бы… – пробормотала Мадина.

Ей показалось – у страха глаза велики! – что Сончка смотрит строго, неуступчиво и что бы она ни говорила – пощады от нее не жди.

– Чего же мы стоим? – сказала Мадина, обращаясь к дочери. – Гостья в доме, а мы стоим, кто же на стол соберет.

Это были привычные слова, будничные. Но успокоения они не принесли.

– Не беспокойся, ничего не надо, я – не гостья, – отозвалась Сончка.

Странно, что она до сих пор помнила положенные ответы, четкие, как таблица умножения, которая отчего-то тяжело давалась Янису.

Родного языка не забыла и на том спасибо! – сказала подруге Мадина и сбежала в амацурту готовить угощение, заодно и укрыться ото всех. Но и здесь не оставили ее в покое. Все трое – дочь, Сончка, Янис – заявились следом. Подруга даже предложила помощь с готовкой еды, но, не дожидаясь положенных слов: «не стану тебя утруждать, сама справлюсь», уселась у очага, подперла щеку рукой, уставилась на сына – вся помощь. Зато Сона птицей летала по амацурте. Сноровку свою показывала, одобрения, небось, дожидалась, от гостьи. Откуда ей было знать, что той нет никакого дела до хозяйских навыков деревенской девочки. И никогда не было, включая и ту пору, когда и сама была деревенской девочкой не старше Соны. Мадина мало обращалась за помощью к дочери, которая старательно вымешивала тесто для пирога с сыром, зато замучила Яниса поручениями, то вынеси перья от ощипанной курицы, то вертел принеси, то еще другое… Гоняла мальчика почем зря, пока они не сели за стол, а тут уже незачем было к нему обращаться, ничего не поделаешь… За столом болтала только дочь, не сводя восторженных глаз с Сончки, стрекотала почище швейной машинки, и чепуху же она молола – о редких шалостях Яниса, о треклятых утопленных часах, упоминать о которых Мадина запретила в свое время… Нет, чтобы рассказать как мальчик на Новый год в школе стихи читал лучше всех. И по-русски спел длинную хорошую песню. «Катюша» называется – слушал по радио и выучил. Вот такая у малого память! Ну а когда комиссия приехала из Аквы проверить школу, кого она выделила? Яниса! Домой даже приходили посмотреть, как он коровник разрисовал, качали головами, хвалили. Мадина на радостях индюшку зарезала, стол накрыла, умную комиссию приветила, как смогла. Потом Янису из Аквы плотной белой бумаги прислали и коробку с цветными карандашами, целых двенадцать карандашей в коробке лежало… А когда

Янис прошлой зимой провалился в речку и застудился, горел, как в огне, Мадина даже на рога корове веревку накинула, собралась вести на продажу, чтобы купить редкое снадобье. Его название на бумажке было написано рукой дочери, а Мадина запомнила на всю жизнь – сульфидин! Только доктор из Аквы сказал, что не надо никакого сульфидина, надо обтирать козьим жиром, и давать мед с молоком, еще питья горячего побольше.

– Простуда, пройдет, – сказал он. – Легкие чистые.

Мадина едва ему в ноги не упала от благодарности, не знала, куда посадить, как приветить. Он все равно смотрел сердито на нее и на приведшего его Младшего. Позже узнала Мадина, что доктор в районный городок приехал по своим делом, а Младший чуть ли не силком доставил сюда. Можно сказать, умыкнул, как юную невесту, или унес как приз со скачек.

Когда Янис стал выздоравливать, Мадина рассказывала ему, как Младший украл врача, и смешила мальчика, показывая, как упирался доктор, как уговаривал Младший, а, не уговорив, завернул в бурку, перекинул через седло и дал шенкелей коню. Не совсем так, само собой, обстояло дело, и мальчик это понимал, но, слушая Мадину, заливался смехом, и вместе с его смехом жизнь возвращалась в дом.

– Где ты была тогда, Сончка? – вырвалось у Мадины.

Дочка, тоже ведь Сончка, хотя ее никто никогда так не называл, кинулась исправлять оплошность матери:

– Я внизу стояла, возле школы, с подругами, на большой перемене. Софья Михайловна в шаге от меня прошла, но меня не узнала. Я, правда, тоже ее не узнала…

– А как ты могла узнать? – накинулась на нее Мадина. – Когда ты ее видела? Когда еще кукурузными кочерыжками играла?

– Кукурузными кочерыжками Янис играл, а я – нет!

– И что еще за Софья Михайловна?

– Она сама себя так назвала, и завуч – тоже!

– Сончка, ты уже запамятовала имя своего отца Мехала? – сердито обернулась к подруге Мадина. – Что еще запамятовала?

– На русский лад из Мехала получился Михаил, – миролюбиво пояснила Сончка. – А по-абхазски и вовсе никто по отчеству не станет обращаться.

– Это раньше не обращались! Теперь сами не знаем, на каком мы свете!

– На каком бы свете не были, не стоит из-за пустяков вспыхивать как спичка. Вижу, нервы у тебя стали никуда!

– Хаджарат давно не пишет! – вдруг сообщил матери Янис.

Янис был моложе Соны на три года. «А мудрее на целых тридцать!» – с гордостью подумала Мадина и стало нестерпимо стыдно перед мальчиком. Сколько же раз было говорено ему: «Приедет мать и все пойдет по-другому, каждый день будем, как праздник, встречать». И вот она здесь, а праздник где?

– Говоришь, Хаджарат давно не пишет… – посмотрела на сына Сончка. – Так, может, письма не доходят… Война ведь…

В голосе ее большого участия Мадина не почувствовала, хотя могла бы подруга расщедриться на сочувствие. Как-никак о первенце Мадины шла речь, о сыне, кто унаследует фамилию отца, о молодом хозяине. В конце концов, о мальчике, которого Сончка якобы полюбила с того мгновения, как впервые увидела его в люльке.

– Пересяду-ка к огню, – сказала подруга, когда они покончили с едой, и устроилась на скамье у очага, хотя теплынь стояла на дворе и огонь разжигали только для того, чтобы сготовить еду.

– Я уберу со стола! – подхватилась с места Сона. – Вам, наверное, хочется поговорить, давно ведь не виделись.

Сончка молча смотрела на догорающий валежник. Исхудалое лицо, седые волосы, косо срезавшие лоб и закрывавшие уши, шрам на шее – все в ней было чужое. Странное

дело, но чужой облик, приобретенный где-то на стороне, – какой ценой, какими потерями?! – вселял в Мадину некую надежду, что если твердо стоять на своем, подруга сдастся, отступит, чего от прежней Сончки не приходилось ожидать. Но надежда была зыбкой. Кто бы на месте Сончки отступил? И все-таки, все-таки… хотя бы на время… хотя бы не сейчас…

Мадина устроилась по другую сторону очага и слова не сказала, когда Сона вместе с Янисом внесли еще немного хворосту и бросили в огонь, хотя никакой надобности в том не было, зря сушняк переводили.

Так и сидели они напротив друг друга, каждая в своей крепости, время от времени припадая к бойницам, выискивая слабину противника.

– Сколько я смертей видела, страшно сказать, – проговорила после долгого молчания Сончка и с закипевшими на глазах слезами, как бы ища защиты, взглянула на Мадину.

Ища защиты или сдаваясь?

– Война ведь… – Мадина вернула подруге ее же слова и, отведя взгляд, стала смотреть на разгорающийся хворост.

Чудовищная мысль – «зачем ты выжила?» – ознобом содрогнул ее плечи и она поспешно протянула руки к огню, будто это могло помочь.

Помог Янис, сказав:

– Сегодня нашему классу велели после уроков идти в бригаду Хапаша пни корчевать.

– Раз велели, почему дома сидишь? – вскинула голову Мадина, будто у мальчика так уж и не было причины сидеть дома.

Он смущенно посмотрел на нее – крепкий ладный подросток с кудрявыми светлыми волосами. Сверстники Яниса ходили чуть ли не наголо остриженными, только чубчики торчали надо лбом, точно у козликов. Сколько раз учителя говорили Мадине, надо бы мальчика покороче стричь, да она пропускала мимо ушей – нечего всех стричь под одну гребенку! В любом смысле.

– Яниса завуч отпустила! – сообщила Сона. – Сказала: «Раз такая радость, мама приехала, свободен от уроков». Софья Михайловна сама слышала.

– То от уроков, а здесь помощь нужна. Может, ты и вправду пойдешь, сын? – подала голос и Сончка.

Он кивнул, но не уходил, ждал, что скажет Мадина. И она мучить его не стала – знала, очутившись за дверью, Янис почувствует облегчение, пусть временное, но облегчение.

– Иди! Только в колошах. Болото там близко. Земля сырая.

– Мы управимся скоро!

И он с готовностью выскочил за дверь.

– И ты иди! – велела Мадина дочери.

– Мне куда идти? Тоже пни корчевать?

– Проветри гостевую комнату, постель на солнце вынеси.

Дочь пожала плечами, какое время выносить на солнце постель, когда уже давно за полдень, но вышла. Они остались наедине.

– Отца Яниса убили, – сказала Сончка. – Его больше нет. Убили.

«Само собой, убили! – с яростью подумала Мадина. – Иначе разве вспомнила бы о сыне?» Вслух же было сказано:

– Лучше бы я умерла раньше такой вести.

– Не знать мне твоей головной боли, не только смерти…

Нужный ответ тотчас отыскался у Сончки. Странно, что за столько времени приличествующие случаю слова не затерялись в закоулках ее памяти…

– В Латвии убили. На родине.

«Мне что за дело?» – вскричала Мадина. Про себя.

– На картофельном поле. Прямо на поле. Картофель цвел. Отец Яниса стоял один. Их было много. С автоматами. Он – один. Без ничего. Я неподалеку пряталась. Все видела.

– Ты видела?

– Видела… Я бы рядом встала. Не испугалась бы. Нет! Не встала. Отомстить за него надо было. Потому и не встала. Он мог подумать – испугалась я. Его одного бросила. Днем

и ночью из головы не идет – мог подумать: испугалась, отступила.

– Пожалей нас бог! – выдохнула с трудом Мадина.

Она крепко обхватила руками плечи, прислушиваясь к боли, изнутри разрушавшей крепость, в которой она спасалась. Но Мадина во что бы то ни стало хотела, чтобы крепость выстояла, и попыталась справиться с разрушительной силой: «Ушедшего не вернешь. Обо мне кто позаботится? Кроме меня – кто?»

– Он отомщен, – сказала Сончка. – Вот-вот войне конец, он отомщен!

«Можно подумать, наступление мира его воскресит», – было ей молчаливым ответом.

– Я из госпиталя… после ранения… отпуск получила… Орденами награждена, медалями…

Вдруг крохотный свет надежды не больше пламени тоненькой свечи затеплился в душе Мадины и она, подавшись к Сончке, мягко, как прежде, как давным-давно, проговорила:

– Оставайся здесь. Мой дом – он и твой…

Сончка покачала головой, сказала, как задула пламя свечи:

– Не могу я остаться! Мне за дело его надо постоять. Я клятву дала – вернуться на его землю. Он без нее жить не хотел!

– А ты, выходит, бездомная? У тебя своей земли нет?!

– Его сын вырастет на отцовской земле!

– Сын уже вырос! Не младенец! Он и сам может разобраться, где его земля, а где – чужая!

– Ему будет двенадцать. Четырнадцатого июля.

– Смотри ты, помнишь еще!

– Жестокость тебе не к лицу, Мадина.

И тут Мадину взорвало, хотя понимала: слова ничего не изменят, ничем не помогут, и если кого-то и ослабят, так ее саму.

– Это я – жестокая? Отмести, как сор под ногами, трех братьев, души в тебе не чаявших. Это как называется? Мать до безумия довести! Этому какое дашь название? Землю свою

и ту кинуть, как дырявый платок! С каким сердцем это надо сделать? С сыном, как кукушка с кукушонком поступить!

– Остановись, Мадина! Сына я не в чужое гнездо подбросила. Я всегда знала – на тебя можно положиться!

– А я могла на тебя положиться?

– Пожалей меня, несправедлива ты…

– Меня кто пожалеет?

С пылающим лицом Мадина вышла вон. Сказала: «не справедлива». Она еще справедливости захотела… слишком много захотела. Куда же мне податься? И тут она обнаружила, что солнце вот-вот закатится. Самое время подоить корову.

Да только дочь уже шла от коровника с полным подойником. Опередила! В другое время не допросишься, а сейчас разбежалась!

Мадина скорым шагом пошла ей навстречу.

– Дай сюда! – сердито потянула к себе подойник.

Дочь с готовностью уступила, с непривычной робостью заметив:

– Так ведь уже подоила…

– Домой иди! – буркнула Мадина и с полным подойником зашагала к коровнику.

Корова шарахнулась в полутьме, взмыкнула, загораживая собой теленка, но признав хозяйку, успокоилась, отошла в дальний угол.

Мадина уселась на низкую скамью у выхода, поставила подойник с вспененным молоком возле ног и сжала голову руками. Сидела она там долго, пока за ней не явился Янис, успел, видать, вернуться.

– Корову пора выгонять, – сказал Янис, смущенно заглядывая в дверь.

– И меня тоже!

Мадина вышла наружу. Янис подхватил подойник, мягко, точно щадя скотину, стал погонять корову: «яй, яй».

Мадина смотрела, как мальчик, выгнав скотину, аккуратно задвинула щеколду, чтобы следом и теленок не выскочил.

Тут прибежала дочь – сколько прыти она в тот день обнаружила! – и предложила Янису:

– Давай, корову я впущу в загон, ты иди к матери. Одна-одинешенька сидит возле очага.

Янис скосил на Мадину глаза.

– Иди, – сказала Мадина, пересиливая себя. – Подвесь подойник повыше, как бы кошка не забралась. Сумеешь подвесить повыше?

Он кивнул, но не сдвинулся с места.

– Иди, – резче, точно рывком отрывая присохший бинт от раны, повторила она. – Не стой истуканом!

Она двинулась к воротам. Зачем – и сама не знала. Но, видно, чутье подсказало верное направление – не успела дойти до ворот, как заметила в сгущающихся сумерках, что со стороны холмов к ней спешат Старший и Младший. Впрочем, оба они теперь казались такими усохшими стариками, что никому бы в голову не пришло различать их по возрасту.

– Входите, – пригласила, когда родичи подошли.

– Погоди, постоим здесь! – сказал Старший.

Тогда она сама вышла к ним за ворота, не хотела, чтобы какая бы то ни была преграда их разделяла.

– Ребенка, выходит, приехала забрать? – напрямик спросил Младший.

– Выходит…

– Чем помочь? – спросил Старший.

Мадина видела: насколько им стало бы легче, если бы она сказала надо сделать то-то и то-то. Но сказать было нечего.

– Закон на ее стороне, – признал Младший. – Мы справлялись.

Похоже, они даром время не теряли.

– Причем здесь закон? – возмутилась она. – Мальчик на глазах всей деревни рос. Все вы его растили. Без вас я бы не справилась!

– Не в том дело, – отмахнулись они от ее признательности, хотя признательностью Мадина не часто баловала родичей мужа.

– Только и силком увезти мальчика не дадим! – сказал Младший – Янис скажет «нет», так она и уедет ни с чем!

– Да? Уедет? – Мадина поближе придвинулась к братьям, будто укрытия искала от ненастья.

– Закон законом. Но против воли мальчика никто его отсюда не увезет! – горячо подтвердил Младший.

А Старший только покачал головой и с сочувствием посмотрел на Мадину, словно Янис уже кинулся на шею матери с криком: «увези меня да поскорее!»

Некоторое время они молчали. Сгущавшиеся сумерки мешали Мадине разглядеть выражение лиц родичей мужа, но она и с закрытыми глазами знала, – они поддержат ее в любом случае. Но выбор – за ней.

– Мальчик еще мал, – сказала она наконец. – Нельзя, чтобы он решал… Надорвется.

– В том-то и беда! – вздохнул Старший и погодя добавил: – Ничего другого от тебя и не ожидал услышать, Мадина.

Потому как он это сказал, она догадалась, что родич прекрасно понимает: как нелегко даются подобные решения.

– А ты что ожидал услышать? – она коснулась плеча Младшего с надеждой: вдруг он найдет другой выход, пусть и не такой правильный, но чтобы мальчик остался дома.

До чего хотелось найти выход, ну лазейку какую-нибудь…

Но родичи Шартына не были приучены искать лазейки. Может, поэтому их на многое хватало. До сих пор.

– Ты знаешь, и мы знаем: мальчик поступит так, как ты велишь! – сказал Младший. – Сейчас ближе тебя у него никого нет. Но ведь ты не сделаешь его заложником сегодняшнего дня?!

– Не сделаю! – подтвердила она, собравшись с силами. – Завтра они уедут. Спозаранок.

Мадина уже знала, что скажет мальчику.

«Мать за тобой приехала. – скажет она. – Сколько мы ее ждали, наконец, благодарение богу, приехала и не заблудилась, нашла дорогу к нашему дому. Поезжай на землю отца.

Каждый должен расти на отчей земле. Но и этот дом – он тоже твой. Так уж тебе выпало, иметь два дома в разных краях. Я думаю, тебя хватит на два дома».

Так или почти так – от волнения половина заготовленных слов вылетела из головы – она сказала Янису за ужином. При всех.

Утром следующего дня Мадина уже стояла у ворот, опершись локтями на верхнюю планку, и смотрела на Сончку и Яниса, уже отдаленных от нее оградой, уже стоявших на лугу.

– Поторопитесь! – сказала Мадина. – Опоздаете еще.

А куда они могли опоздать? В ту пору рейсовые автобусы, как произошло много позже, не приезжали в село по несколько раз в день. Но никто ее словам не удивился. Сончка с послушной торопливостью положила свою руку на плечо сына и повела его по лугу, притиснув его к себе, будто он сам не мог идти, будто нуждался в опоре. Может, и нуждался, но, положив руку на плечо, сразу опорой не станешь! Мадина знала, что сейчас Янис изо всех сил сдерживает слезы, как знала и то, что с момента приезда матери он разрывался между жаждой новой, еще неведомой, потому особенно заманчивой жизни и любовью к ней, Мадине. К дому этому, ко двору, ко всему, к чему привык, как к своей школьной форме, которую еще в прошлом году прислали ему из Аквы, как лучшему ученику, а он носил так аккуратно, что и по сей день она выглядела новенькой.

Еще Мадина знала: как бы то ни было, сейчас ожидание счастливых перемен сильнее, чем любовь к тому, что он оставлял. Ведь он еще не ведал тоски по дому. Но она настигнет его. Этот дом, двор и луг вошли в его плоть и кровь. Потому Мадина не теряла его, нет. А вот Сончку… У той не было вины перед ней, или она была не так уж велика. Мадина даже подумала: в самый раз ей самой виноватиться, раз не смогла она принять в сердце новую Сончку –перестрадавшую, постаревшую, нуждающуюся в поддержке, как никогда раньше. «Наверное, не только век человеку отмерен,

– подумала Мадина. – Все смертно. И раз отворачиваешься от человека с тем, чтобы никогда больше не посмотреть на него прежними глазами, все, что в тебе было предназначено для него, погибает. И остаешься ты пустым, как дуплистое дерево, в котором птицы не свили гнезда».

Она все стояла и смотрела уходящим вослед. Янис вышагивал деревянно, пропадая, видно, от смущения и жалости к оставляемому. Но он ни разу не обернулся. И Сончка не обернулась. И руку с плеча сына не сняла, но шла, прямо держа спину, подтянутая, седоголовая… чужая.

У Мадины перехватило горло, она задыхалась на весеннем легком ветру и сердце, птицей ищущей выхода, часто билось. В тот миг она желала только одного: чтобы дыханье пресеклось, чтобы замертво упасть на землю. И пришел бы к ней покой… Хорошо, что она, несмотря на протесты, отослала дочь с утра в школу, посулив, что с Сончкой и Янисом еще увидится, когда те зайдут в дирекцию забрать документы мальчика. Сейчас присутствие дочери, радовавшейся, наверное, что одной обузой в доме стало меньше, только усугубило бы боль.

– Добрую хозяйку сразу видать! – услышала она. – Спозаранку на ногах!

Перед ней стоял Бадра.

– Князей давненько упразднили, но княжеские замашки еще, похоже, в чести, – произнесла она, кривя губы в насильственной усмешке. – В крестьянские дома еще, как видишь, отдают детей на воспитание. Но ближе к двенадцати годам… – голос ее дрогнул, и она замолчала.

Он тоже молчал, не досаждал пустословием, но Мадина чувствовала, что он разделяет ее боль и, наверное, как никто другой понимает: каково это отказаться от самого дорогого, ради чего бы то ни было…

– В этом доме всегда растили детей для чужих, – справившись с собой, проговорила она не столько для Бадры, сколько для себя, объединила две боли, две потери, – издавна…

– Нет, не для чужих, – не согласился он, – для всех! Достойных людей!

– Лучше бы счастливых!

Мадина прямо посмотрела на Бадру. Он отвел глаза, пробормотав, что ему пора, он двинулся в сторону проселка. Она не смотрела ему вслед, хватит с нее, напровожалась сегодня, так и сил не хватит добрести до амацурты убрать со стола остатки завтрака после Сончки и Яниса. А ведь ее еще ждала работа до сумерек.

Она, как в полусне, прожила почти месяц и за это время перемолвилась с дочерью, наверное, несколькими десятками слов. Дочка приутихла, но старательнее обычного помогала по хозяйству, а на выходной просилась с ночевкой к родичам Шартына. Она бы, наверное, и в будни у них оставалась бы, но до школы добираться оттуда было дальше. А Сона рано вставать не любила. Даже весть о конце войны в полной мере не дошла до сердца Мадины. Умом поняла – свершилось долгожданное, подумала: привалит радость тем, к кому вернутся сыновья, мужья… А ей на что рассчитывать? С того страшного, как Мадина теперь считала, весеннего дня, когда она на лугу не с того ни с сего позволила надежде окрылить себя и поверить, что получит весточку от Хаджарата, а все обернулось так, что она и Яниса потеряла, не смела она строить планы. Хотя и ужасную мысль – «если Хаджарат мог бы он дал бы о себе знать!» – старалась близко к себе не подпускать. Потом стали мужчины возвращаться с войны. Одним из первых вернулся Дыгу, с наградами и целехонький, выходит, он ни разу не подставил себя мишенью врагам, а их самих сбивал, как птицу влет, как бы они ни прятались!

– И Хаджарат вернется! – заявила дочь, придя из школы, куда директор немедленно, оказывается, пригласил Дыгу, чтобы тот рассказал, как сшибал вражеских снайперов.

– Когда? Когда он вернется? Дыгу что-то сказал? – Мадина с надеждой посмотрела на Сону, будто ее слова что-то значили на самом деле, будто она ведала чем-то тайным.

– Дыгу снайпером был и совсем на другом фронте. А Хаджарат у нас царица полей!

– Что, что?

– В пехоте он служит, в пехоте!

– Все уже отслужили…

– Не все! А Хаджарат вернется! Обязательно! И скоро! Можно я сегодня заночую у…

– Можно, – перебила Мадина. – Иди…

Оставшись одна, она села на скамью у потухшего очага, и сжала голову руками. «Уймись! – сказала себе. – Не сердись на бедную девочку! Она ведь тоже скучает по Хаджарату. Вдруг ей сон какой-то приснился? Вещий! Я же и не спросила о том, безмозглая!» Но на следующий день, когда дочь вернулась от родичей, Мадина не осмелилась спросить у нее ни о каких сновидениях.

Однажды в ворота вошел высокий однорукий солдат, легко утихомирил кинувшуюся на него с лаем собаку, а Сона, хворостиной гонявшая по двору теленка, который норовил проскочить мимо входа в хлев, с разбегу налетела на него и отступила, прерывисто дыша.

– Сестричка Хаджарата? – спросил солдат с улыбкой.

Говорил он по-абхазски. Она глядела на него во все глаза, но отчего-то слова не шли с языка. И пока она боролась с неожиданной немотой, из амацурты вышла Мадина со Старшим. Он как раз собрался идти домой, она же его провожала, как положено. Мадина до последнего часа будет помнить, что она как только заприметила гостя, так сразу и почувствовала: солдат не воды попить завернул к их дому, ни дороги спросить. Он был вестником. Это было написано на его лице! Загорелом! Молодом! Красивом! И главное – он улыбался! Как и подобает вестнику радости!

– Это же дом Хаджарата? Я ведь не ошибся?

Сона торопливо кивнула, не сводя глаз с солдата. Да и Мадина застыла возле Старшего, боясь расплескать внезапно заполнившую ее надежду. Как всегда на выручку пришел Старший:

– Не ошибся, дад! – сказал он и двинулся гостю навстречу. – Здесь он живет.

– Хаджарат скоро приедет, – сказал тот, как только они сошлись посреди двора.

– Да умереть мне вместо тебя, парень! – отчего-то почти шепотом проговорил Старший и, откашлявшись, добавил: – Служили вместе?

– В партизанах были! – улыбнулся тот. – В белорусских лесах я вдруг земляка встречаю! Цирк да и только!

– Смешнее не придумаешь! – согласился хрипло – он никак не мог избавиться от внезапного комка в горле – Старший и протянул гостю руку для приветствия.

Солдат смутился, сообразив, что упоминание о цирке здесь оказалось не уместным, как заплата на судьбе. Просто присказка у него такая была, она и слетела с губ, но другие ведь о том не знали. Однако парень по этому поводу не пустился в длинные разъяснения, что Старшему, как он потом уверял, понравилось.

Мадина, наконец, выйдя из оцепенения, кинулась к солдату, припала к его плечу как к самому дорогому, самому родному. Какой он высокий был, она едва до его плеча доставала, какой ладный! И какой болью в сердце отдалось, что руки нет. Даже в лесу жестоко делать зарубку на стройном дереве.

– Отчего же Хаджарат не писал? – спросила Сона, к которой вернулся дар речи, и она торопилась наверстать упущенное. – Мы с ума сходили! Все глаза проглядели, дожидаясь почтальона!

– Не мог, дело военное, – будто даже виноватясь, произнес вестник.

Он потом только и знал, что взглядывать на Сону с виноватой улыбкой. А чего ему было виниться перед девчонкой? Ему, осчастлививщему этот дом своим приходом?

– Другие тоже военные! Но письма присылали!

– Он знал, что раньше письма я до вас доберусь, вот и мне поручил передать весточку.

– А сам когда приедет?

– Скоро!

Старший недолго держал себя в руках, его прорвало, он метался по двору, восклицая: «Берданку бы в руки! Пальнуть бы в небо!» Начисто забыл про охотничье ружье Шартына, которое висело за шкафом в одной из комнат дома на сваях. Да и Мадина, потеряв голову, топталась рядом с вестником, будто не понимала надо парня пригласить в дом. Одна Сона донимала солдата вопросами, он отвечал четко, как командиру, и держался прямо. Потом все более или менее опомнились, повели солдата в дом. Сона со всех ног помчалась оповещать соседей, родичей. Прежде, чем убежать, она отчего-то сказала солдату: «Быстро обернусь!», будто его это должно было заботить – быстро – не быстро. Вестник радости, наоборот, кажется, в ее отсутствии почувствовал себя более свободно и уже на расспросы Старшего отвечал довольно пространно.

Всю ночь провели за накрытым столом. Во главе стола, само собой, сидел вестник радости, а по бокам – родичи Шартына, члены его семьи, можно сказать, хотя рядом с почетным гостем надлежало сидеть кому-то из уважаемых приглашенных, хотя бы тому же Бадре. Но Старший и Младший не могли отказать себе в удовольствии быть поближе к тому, который не один день провел бок о бок с Хаджаратом, деля с ним лишения и опасности, что щедро рассыпает на каждом шагу война. Мадина прощала им от души это маленькое нарушение правил застолья. Да она не только такую малость, любое прегрешение простила бы не только им, всему миру. Все простила бы, кроме убийства. Гость поначалу смущался, но потом разошелся и вместе с юнцами вроде сыновей Старшего и Младшего пускался в пляс, неизменно приглашая Сону. В ту ночь он вроде забыл о своем увечье, смотрелся орлом, а под конец застолья стал туманно намекать, что не удивится, если день приезда Хаджарата станет днем его свадьбы. На следующее утро он уехал, вернее, ушел вместе с Бадра к конторе. Председатель обещал посадить его

в кабину грузовика, на котором должны были перевезти чай в райцентр.

Он уехал, а оставшиеся перебирали все сказанное гостем о своем друге, о том, что командиры не могли нахвалиться Хаджаратом, уважали, ему поручались самые опасные задания, знали – он справится. «Раз справится, так непременно в пекло надо совать?» – кричала про себя Мадина, слушая. Хотя надо бы было просто гордиться сыном, ведь сколько там его не испытывали командиры, бог помиловал! Помиловал! Только к вечеру Мадина вспомнила о намеках гостя, будто бы Хаджарат, только переступив порог, отчего дома, тут же женится. «Неужели Хаджарат сказал другу, что его ждет невеста?» – терялась в догадках Мадина. Выходит, кто-то был на примете у сына? Но когда он успел приметить невесту, если жизнь оглядеться ему не дала, сразу после школы ушел на войну? И как проглядела Мадины, что сын обзавелся милой? Положим, Мадина проглядеть могла, но не глазастая же Сона?!

Два дня спустя Мадина стала выспрашивать дочь, что же имел в виду гость, намекая на скорую женитьбу Хаджарата.

– Откуда мне знать? – пожимала плечами дочь.

Но при этом она хитро блестели глазами, и лукавая улыбка не сходила с губ. Дочь выглядела такой радостной, так необычно оживленной, очевидно, в предвкушении приезда брата, что у Мадины не хватило духу принуждать Сону к откровенности. Пусть понянчится со своей тайной, Мадина подождет. Не могла она подождать с другим, потому и поделилась с дочерью:

– Приедет Хаджарат, про Яниса спросит, что мы ему ответим?

Впервые со дня отъезда мальчика она сумела произнести его имя вслух.

– Что тут говорить? – усмехнулась беспечно Сона. – Приехала мать и забрала его. Делов-то! Умер он, что ли?

– Типун тебе на язык! – рассердилась Мадина, но желание говорить о Янисе и сыне было так велико, что затем мирно

продолжила: – Хаджарат ведь и думать не думает, что Янис не встретит его у ворот.

– Захочет, поедет навестить Софью Михайловну – она ведь в гости звала, всех нас! Ну и Яниса увидит! Только вряд ли Хаджарат сразу так и пустится в путь. Не до того ему будет!

– Четыре года не был дома, какие еще поездки бог весть куда! – согласилась Мадина. – Но Сончка могла бы догадаться прислать мальчика повидаться с Хаджаратом!

– Догадаться она догадается, да сама говоришь – путь неблизкий! – заступилась дочь за Сончку, будто та нуждалась в заступничестве.

– Когда понадобилось, она мигом преодолела неблизкий путь! – буркнула Мадина и прекратила разговор.

Все равно ведь ничего никому не растолкуешь. А уж навьючивать на дочь-школьницу неподъемные разговоры и вовсе ни к чему.

Всего пять дней спустя в воскресный день подскакали к воротом всадники, радостно гикая, горяча коней, и среди подъехавших Мадина еще с порога амацурты узнала недавнего вестника радости. Теперь он был одет в белую чесучовую рубашку и в брюки галифе, вправленные в узкие кожаные сапоги.

– Уарлам приехал! С друзьями! – крикнула Мадина в сторону дома на сваях, где находилась дочка, и заспешила к воротам. Сона догнала ее у коновязи, где гости спешились и шепнула: «Только не вздумай кричать! Не выставляй нас на посмешище!» «О чем это она?» – удивилась про себя Мадина. Ее удивление еще больше возросло, когда она увидела, что дочь успела переодеться в нарядное серое платьице в белых разводах с широкой юбкой и перетянутое на талии ремешком – Сончка подарила в последний свой приезд. Дочь за все это время ни разу не осмелилась надеть его. Мадина усмехнулась простодушию дочери, – неужто мать будет разбираться с ней при гостях из-за платья, кто бы его не подарил, тем более кричать?

– Дорогу вестникам радости!

С этими словами Уарлам, оставив коня, у коновязи подошел к Мадине. Он широко улыбался, но Мадина отметила, что парень смотрит с опаской, словно не уверен в том, как она примет весть, с которой явился на этот раз.

– Добро пожаловать, Уарлам, да взять мне на себя твою головную боль! Рада, что ты с друзьями решил сегодня спешиться в нашем дворе!

– Мы всего лишь вестники! – он перевел свой горячий взгляд на Сону. – Главные люди едут следом!

– Главные?

– Сын ваш едет. Со свитой! – Уарлам махнул в сторону луга рукой.

Но по лугу пока что торопились Старший и Младший, за которыми едва поспевали их жены, дети.

– Не князь, какая свита… – сдержанно произнесла Мадина, старясь взять себя в руки, чтобы радость не сшибла с ног, как ураган.

Дочка побежала к воротам, чтобы поделиться новостью с дядями, хотя, видать, кто-то о том уже позаботился, иначе отчего бы они всей семьей спешили бы сюда? Тем не менее, Мадина была благодарна дочери. Не хотела она ни одной секундой раньше Старшего и Младшего чувствовать себя безмерно счастливой…

– Даже сам князь Чачба в былые времена – в свои времена! – не смог бы сравняться сегодня с Хаджаратом, – шутливо сказал Уарлам, но смотрел на Мадину неуверенно. – Он возвращается домой с победой. И со своим счастьем. С невестой.

Она поняла – это была та самая новость, которой он опасался затенить ее радость.

– Чья дочь так скоро оценила героя? Не умыкнул ли он ее часом?

– Не-е-т… – Уарлам замялся, а друзья, с которыми он спешился, молча стояли по бокам, предоставляя ему самому выпутываться, так стоило ли ему с ними вдевать ногу в

стремя? – Она ему жизнь спасла… Тогда… До того, как он попал в партизаны… прятала у себя, рискуя жизнью, и своей, и своих родичей.

– Как? – опешила Мадина.

Тут опять подскочила Сона со своими советами:

– Не кричи только! Не смеши людей!

Яйцо курицу учит. Бестолочь!

– Не путайся под ногами! – отстранила она дочь.

Все смотрели на Мадину, все ждали ее решения. Может, кто-то из недоброжелателей и хотел, чтобы она перечеркнула свою радость нежеланным – этого-то не скроешь! – довеском: скоропалительным выбором сына. Она взглядом отыскала Старшего и Младшего. Между ними стоял Дыгу. Все трое выглядели смущенными. Родичи Шаратына не торопились высказаться. Сама же отучила давать советы. Теперь они ждали, что она скажет, если даже сами не сомневались – главное, не в том с кем вернулся Хаджарат, а в том, что вернулся! Живой! Целый.

Уарлам, будто рассказывая подвернувшемуся под руку парню, нахваливал родню невесты, не просто родню, а всех мужчин с ее стороны, мол, храбрецы из храбрецов. Когда немец верх взял над их землей и то не покорились, потому и верх оказался временным.

Старался Уарлам, еще как старался. Знал, чем умаслить слушающих, уважение к чужой стороне пробудить. Не близкий дому был человек, не родич, а не стоял в сторонке, дожидаясь, чем дело обернется. У Мадины нашлось бы что сказать. «С чужачкой в дом не пущу! – сказала бы она – Пусть идет куда хочет. Другие на войне грудью пули встречали! А он в бабьей юбке запутался! Воин! Четыре года – пусть мать побоку! – но и родная сторона не видала его. Он же поначалу не домой поспешил – юбка чужачки притянула!» Сказала бы она так, все бы ее поняли. Уж во всяком случае, такие, как вдова Сааба Мрамба – и какой черт ее принес? – за спиной сыпавшая советами: «Перетерпи, Мадина, что поделаешь, главное – живой пришел! Если какая девка за ним и уцепи-

лась – не беда! Сегодня она здесь, а завтра восвояси отправится».

– Что ж! – Мадина подняла глаза на Уарлама и он замолчал на полуслове. – Твой друг мальчиком ушел со двора. Но, видно, быстро поспел, сам себе голова, в материнском совете не нуждается. А коль не нуждается, пусть на себя и пеняет, если что не так. Дверь же отчего дома перед ним никто не захлопнет.

Уарлам понял, что Хаджарат, прощен и крикнул во весь голос:

– Песню, песню, давайте, свадебную!

И первым ее затянул, а зеленая молодежь, не приученная петь – подрастала в невеселое время! – вразнобой поддержала его. Те, кто находились во дворе, потянулись к воротам, а со стороны проселка на луг вступила группа людей. И только сейчас дошло до Мадины: пока Уарлам прокладывал Хаджарату дорогу в отчий дом, сын был рядом, стоял на проселке, дожидаясь, когда его позовут. Мадину обожгла эта мысль. Сын длил разлуку. Мало ему было четырех лет? Она кинулась к воротам и люди расступились, давая дорогу, только Старший и Младший пошли по бокам, но чуть отставая, будто защищая ее со спины. Вступившие на луг с той стороны тоже остановились, скучились, и только один человек, словно ручеек, вытекший из озерца, отделился от них и пошел навстречу Мадине. Хаджарат! Но прежде, чем Мадина приникла к возвращающему ей жизнь ручейку, Сона, обогнав мать, повисла на шее брата, смеясь и плача. А потом – легкая, как бабочка, ее и носило как бабочку, до чего преображает радость! – помчалась к тем, кого брат оставил за спиной. Дерзкий ее голос разнесся над лугом:

– А где же наша невеста? Покажите! Невестиного платка ни на ком не вижу, мне самой не разобраться!

– Хаджарат, – тихо-тихо, будто опасаясь спугнуть, окликнула Мадина сына и неожиданно для себя пожаловалась: – Мальчика мать увезла, приехала и увезла!

Сын, статный, в грубой военной одежде – мужчина, не мальчик, – обнял ее крепко, и заплакал – поступил так, как в детстве редко позволял себе поступать.

Сама Мадина не плакала, только твердила, как заклинание:

– Умру, так и оплакивать меня не надо! Дождалась! Счастливая умру!

Но чуяла: смерти теперь с ней не совладать. Мадина ощущала, как наливается силой, исходившей от сына. Она заставила себя оторваться от него и подтолкнула к дядьям. Истончившаяся жизнь Старшего и Младшего нуждалась в не меньшей поддержке. Мадина смотрела, как сын одновременно обнял родичей. Так бы стояла и глядела бы на них – на два старых дерева и молодую поросль меж ними. Но Мадина не забывала о той, которая замерев – замерев ли? – ждала своего часа на лугу. Она направилась к невесте, которая стояла, с двух сторон зажатая родней мужа. А со своей земли неужто никого она не могла взять в провожатые? И даже прозрачного платка, положенного невесте, на ее долю не досталось? Как же так? Невысокая невзрачная невеста стояла, потупив долу очи – здесь очевидно, не обошлось без подсказки Соны, находившейся по правую руку от нее. Светлые, почти такие же, как у Яниса, волосы невесты были разделены на прямой пробор и заплетены в две короткие жидкие косички, концы которых закручивались, как щенячие хвосты. В лице – ни кровинки, а брови, точно желтоватые рыльца молочной кукурузы едва заметны.

«Не может быть… – думала Мадина, медленным шагом приближаясь к девушке. – Невозможно… Разве эта могла спасти? Укрыть? Разве отважилась бы? Неправду сказал Уарлам, как пить дать… Но чем же Хаджарата она за душу взяла? Да так взяла, что ни с кем из родни своей он не подумал посоветоваться. Как только смог, так прямиком к ней отправился. Не учел того, что на родной стороне каждый день ожидания его в год превращается. А ведь душевности ему не занимать! И раз сын решил так, как решил, значит, что-то под этим кроется, чего сразу и не разглядишь…»

Мадина остановилась перед невестой сына. Та по-прежнему стояла, потупившись, будто потупишь взгляд – и разом станешь своей. Она засмотрелась на ровнехонький пробор в волосах девушки на узенькую межу, беззащитно подставленную взгляду, и вдруг с невесть откуда нахлынувшей жалостью прижалась губами к началу той межи, прижалась, как заслонила.

Незнакомые руки робко обняли ее, и девушка – откуда ей было знать, что не полагается невестке прямо с пылу с жару заговаривать со свекровью! – зашептала что-то на чужом языке, щекоча дыханьем шею Мадины…

Так вошла в дом Олеся – жена Хаджарата. Правда, Олесей ее никто не называл, не привилось. Ласа да Ласа. Она и на Ласу откликалась, не чинилась, а со временем к новому имени даже больше привыкла.

Долго еще Мадина внезапно пробуждалась по ночам, рывком садилась на постели, бормотала: «Дождусь ли весточки?» Тут радостной волной накатывало на нее: какая еще весть? Сам Хаджарат за стеной спит, стоит позвать погромче, он тотчас отзовется:

– Что? Не захворала?

«Хворь ожидания в один день не проходит!» – мысленно отвечала она на незаданный вопрос, вновь укладывалась спать, тревожа нахлынувшее на нее счастливо-покойное состояние упреком в адрес Сончки: «Хотя бы ради Хаджарата привезла бы мальчика. Сколько времени он Яниса не видел!»

В ночных бдениях, особенно поначалу, Мадина начисто забывала о существовании невестки, и поутру, когда в амацурту входила заспанная Ласа, бледная, с прочно устоявшейся печалью в глазах, она ловила себя на удивленно-досадливой мысли: «А эта откуда взялась?»

Невестка только при виде Хаджарата оживлялась, более или менее. Она все льнула к мужу, при Мадине льнула, словно не свекровь была перед ней, а сопливая соседская девчушка, которую еще рано брать в расчет, повисая на шее

нареченного. Если она сама не понимала, что не следует при всех липнуть к мужу, как репейник, так Хаджарат мог бы вразумить! Но сын молчал, сгорал со стыда, когда при матери жена обнимала его, но разнять ее руки – Боже упаси! Можно подумать, он опасался: отстранит жену, так она сразу упадет замертво.

Сын молчал, и Мадина держала свои мысли при себе, но только не Сона. Уж сколько раз она втолковывала Ласе, что нельзя при свекрови лизаться с мужем – неуважение это – но советы ее уходили как вода в песок. И если и вправду невестка отличалась таким бесстрашием, что укрыла у себя раненого война, рискуя не только своей, но и жизнью старых родителей, – так куда же теперь вся ее отвага подевалась? Отчего же нынче она ходит по дому мужа, как по страшному полю, о котором невестка Соне упоминала, где не так ступишь – сразу взрыв? Это враги минами начинили землю Ласы. Мадина с ужасом подумала, что сталось бы с ней самой, если бы хоть раз увидела, как луг перед домом взорвался бы, сея вокруг смерть! Но – благодарение Господу! – пощадил Он, отвел подобную беду! Ласа знает: не распоясывался здесь враг, через перевал не прошел! Так почему она с такой тревогой цепляется за Хаджарата, не как женщина, потерявшая голову от счастья, а как ребенок, боящийся отстать в пути и потеряться? Или сердце она надорвала на той войне и под конец страх вцепилась в нее крепче, чем она сама в мужа? Урезонивая насмешливую и языкатую дочь, Мадина указывала ей на то, во что и сама не слишком верила, – разве под силу подобное пугливой невестке? – «Не забывай, Ласа спасла твоего брата от неминуемой гибели!» В ответ слышала: «Если и спасла, так для себя. Кто бы еще на такую дурнушку польстился бы!»

Ласа то и дело попадала впросак с делами по хозяйству. Сварить без комков мамалыгу – самое простое дело! – и то не удавалось. Сона отказывалась есть кукурузную кашу, сваренную невесткой, так Мадина обязала дочку самой замешивать мамалыгу для всех. Ведь Сона с детства приуче-

на готовить над открытом огнем, а на той стороне, откуда Ласа, у всех – печи, так рассказывал Хаджарат. «Ты и разжечь огонь в печи не сумела бы!» – говорила дочери Мадина. А та: «Я бы мигом научилась! Печь топить – не пули отливать! Да и с пулями разобралась бы!» Глядя на дочь с возвращением брата неожиданно расцветшую, будто теперь она не опасалась показать миру свою юную красу, вздумает, кто обидит, брат заступится, Мадина начинала верить что и вправду Сона смогла бы себя поставить на какой угодной стороне. Она доучивалась последний год в школе и плакалась, что месяц-другой и придется ей свою красоту обугливать на чайных плантациях. Пока же Сона подбивала невестку на несуразные поступки. Так Ласа была еще совсем молодой невесткой, когда вредная девчонка уговорила ее наесться зеленого винограда, ведь и виноград не рос на стороне Ласы, так у бедной невестки жар поднялся. Если бы меж свекровью и невесткой нерушимой преградой не стояло бы незнание языка, не пришлось бы Мадине обращаться за помощью к дочери, чтобы помочь жене Хаджарата освоиться. Уж как хотелось отучить Ласу скрываться в своей комнате, как только посторонние люди оказывались у ворот, ничего не выходило. «И куда бежит, точно дрозд, вспугнутый коршуном?» – недоумевала Мадина. «Какой там дрозд, мышью в щель забилась!» – говорила на то дочь. «Так ты же ей растолкуй: гостей встречать надо, привечать, а не прятаться от них! Этот дом всегда считался хлебосольным! И таким останется! Позора на него навлекать не станем!» А уж что из сказанного и как своенравная дочь передавала Ласе на своем корявом русском языке – бог весть!

Однажды в отсутствие Соны, когда Мадина и Ласа одни оставались в амацурте, и она пыталась, ясно, больше жестами растолковать невестке как варится фасолевая похлебка, никем не замеченный – и собака на него не залаяла! – порог переступил Бадра, лишив Ласу возможности укрыться в своей комнате. Мадина только взглянула на него, так и по-

няла: он пришел по делу, которое в его глазах, судя по всему, не могло подождать.

– Мы можем послать Хаджарата в Акву на учебу. Вернется домой учителем! – сообщил Бадра, сразу как только уселся на предложенный стул.

Мадина, жестами и взглядом старавшаяся втолковать невестке, что надо на стол собрать, ошарашено уставилась на него:

– Какое время Хаджарату учиться? У него – семья! И он единственный мужчина в доме.

А сама мгновенно вспомнила как в памятный день – незабываемый день возвращения Яниса – праздно сидя на лестничной ступеньке впервые услышала от сына, что он после школы непременно хочет выучиться на учителя.

– Так ведь Хаджарату тоже не сорок лет, двадцать два года и тех неполных! – напомнил Бадра

Ей было приятно услышать, что он так точно помнит возраст Хаджарата, потому и прогнала прочь трезвую мыслишку, что Бадра перед тем, как идти к ним, мог и освежить свою память, спросив хотя бы у председателя сельсовета.

– Вон Махаз просился в город. Говорят, ты даже в дверь не дал ему выйти, заставил со страху в окно выпрыгнуть!

– Он же не учиться собрался, а кастрюли клепать, будто есть кому его здесь в кузнице заменить. Я по кузнечному ремеслу его натаскивал вовсе не для того, чтобы он в городе по набережной слонялся.

– Ты сам, когда захотел, тоже по набережной слонялся и тогдашний председатель препятствия тебе не чинил.

– Мудрый был потому и не чинил, – произнес он, отводя глаза.

Вспомнил, наверное, одновременно с ней, что его тогда погнало в город.

– Тебе, что, сердца не хватило, или мудрости дать Махазу нужную бумагу? От колхоза освобождающую?

Как ей хотелось во всем ему перечить, с какой молодой бестолковостью держалась она – взрослая женщина, да что

там взрослая – пожилая! И как ей нравилось, что ее нападки разбиваются о его терпеливость, а может, уверенность в себе? Он мог убедить ее в чем угодно, это как пить дать!

– Но я же сказал…

В это время Ласа, встревожено наблюдавшая за пылающим лицом свекрови, поспешно пригласила за стол, сказав по-русски:

– Прошу вас, отведайте, что бог послал!

– Спасибо! – ответил он также по-русски.

И чиниться не стал, сразу принял приглашение к столу. Ел вот только мало и все поглядывал на Мадину виновато, будто в чем-то и вправду провинился. А ведь он лучшего хотел для ее сына. Тем не менее, когда с едой было покончено и он, щедро похвалив невестку Мадины за вкусное угощение, будто та не собрала на стол уже приготовленное, а попотчевала какой-либо едой, собственноручно сготовленной, встал из-за стола и пересел на скамью у очага, не столько попросил, сколько потребовал:

– Отпусти Хаджарата учиться, Мадина! Он того заслуживает!

– К моему подолу парень не привязан! Да вот стреножить себя он позаботился.

И она указала глазами на Ласу.

– Ох, лукавишь, Мадина! Или и впрямь думаешь, что эта девочка заступит своему мужу дорогу к стоящему делу?

– Это ты считаешь его таковым! – оставила за собой последнее слово Мадина.

Бадра же заговорил с Ласой по-русски да так бойко, Мадина даже позавидовала, он не нуждался, как она, в толмаче. Правда, невестка поначалу напряженно морщила лоб, будто с трудом понимала, о чем ей толкуют. Но это только поначалу, наверное, оттого, что растерялась, затем лоб ее разгладился и радостное выражение – столь редкое! – озарило ее лицо.

Она закивала и ответно что-то взволнованно залопотала.

– Не так быстро! – попросил Бадра.

Ласа с готовностью кивнув, заговорила внятно и медленно. Бадра слушал ее сосредоточенно.

– Умная голова! – похвалил он Ласу, обернувшись к Мадине. – И до чего складно говорит по-русски.

И тут же рассмеялся над собой – на каком же еще языке Ласе говорить складно? Вышло это у него от души, так он смеялся когда-то давным-давно, подначивая горячих родичей Шартына, глядя на всех дерзкими глазами. У Мадины аж сердце захолонуло. А невестка, хотя последние слова Бадра произнес по-абхазски, отчего-то поняла, что он посмеялся над своей оплошностью, а вовсе не над ней, и когда он собрался домой, провожала его до ворот.

На вернувшуюся в амацурту невестку Мадина взглянула неприязненно и отвернулась, решив, что не зря невестка выказала не свойственную ей обходительность, просто обрадовалась предложению Бадры, рассчитывает, верно, вслед за мужем перебраться в город. Наверное, об одном только и мечтает, как уйти из дома, в котором муж вырос.

Невестка подошла сзади и положила ладонь на плечо Мадине и когда та удивленно обернулась, заговорила, коверкая русские слова, предполагая, наверное, что так свекровь быстрее ее поймет:

– Хаджарат…

Сколько раз ей говорила Сона: «Нельзя мужа по имени называть при посторонних, тем более, при его матери, не принято», а толку-то?

– Нового о нем ты мне ничего не скажешь! – ответила ей по-абхазски Мадина, но Ласа то ли не поняла, то ли думала иначе, и храбро пыталась выговориться, не сводя со свекрови глаз, блеклых, как небо поздней осени.

– Он думал, думал… – невестка приложила маленькие с короткими пальцами почти детские ладони к вискам, показывая, какая крепкая дума засела в голове сына Мадины – Школа! Это хорошо! Он думал: учитель – это очень хорошо! Учитель истории! Совсем хорошо! О вашей истории о на-

шей – она ткнула пальцем себе в грудь – о других. Хаджарат это любит. Очень любит!

– Я мед люблю… фасоль не люблю… кто скажет: кушай мед, фасоль не кушай? – на ломаном русском полюбопытствовала Мадина.

Невестка, кажется, ее поняла, но вряд ли с ней согласилась. Или признала: не все, что хочется, дается в руки? Даже маленькая толика не дается!

Под вечер Хаджарат вошел в ворота. Мадина еще с порога амацурты заметила: ноги под ним сами пляшут и, как говорится, птица счастья трепыхается под шапкой. Ясное дело, Бадра успел с ним переговорить. Сыновняя радость таким теплом окатила Мадину, что она от Хаджарата глаз не могла оторвать – согревалась… В это мгновенье исхудалый, загорелый Хаджарат с обретенной за четыре года грубой морщинкой на переносице – да что там морщинка, когда тело в шрамах – показался ей таким юным, словно никогда и не покидал надолго отчего порога.

– Опять за парту садишься, мальчик? – спросила Мадина, когда сын подошел.

Он кивнул и смутился, будто и впрямь еще не вырос из мальчишеских штанов, но сказанное им прозвучало по-мужски:

– Как же вы без меня здесь будьте управляться?

– Управимся! – заверила Мадина вопреки себе.

– На все выходные приезжать буду! – посулил сын.

И слово свое сдержал. Ласа не перебралась за Хаджаратом в город. Напрасно грешила на нее Мадина. Даже разговора о том не завела. Более того, будто прочнее привязывая себя к селу, пошла Ласа на работу в колхозную контору – счетоводом. Опять, ясное дело, Бадра руку приложил, а потом все нахваливал, мол, жена Хаджарата смышленая, старательная и когда приезжают из районного центра или из Аквы на проверку всегда остаются довольными ее работой. Но Мадина в это мало верила – куда Ласе, слабосильной неумехе, удивлять людей хорошей работой! Бадра по доброте своей нахва-

ливает. Для Мадины главным было другое: то, что Ласа не запросилась с мужем в город, не захотела стать ему помехой, добровольно лишила себя подпорки. В то время она, наконец, поверила, что Ласа могла вынести и, наверняка, вынесла с поля боя Хаджарата и это вовсе не байки, выдуманные для Мадины, как оправдание скоропалительной женитьбы сына. Ласа улыбкой встречала мужа, никогда не остававшегося на выходные в городе, – приезжал каждую субботу, а в воскресенье вечером отправлялся обратно, – и пока он был дома, жена не докучала жалобами. Если начистоту, причин для жалоб невестка нашла бы куда больше, чем в ее возрасте находила Мадина, придиравшаяся к Шартыну даже за то, что он по ее мнению растрачивал себя понапрасну на кого попало да еще вместо «спасибо» нарекания получал. А в доброте свекрови, во всем ей уступавшей, Мадина видела одну лишь недалекость. Каждое воскресенье Ласа отправлялась провожать мужа, в сумерках возвращалась с расстроенным лицом и закрывалась у себя в комнате – дурную эту привычку она так и не извела – выходила часа через два с покрасневшими глазами. Сона и та, глядя на нее, притихала. А Мадина доставала припасенные для невестки сливки и ставила на стол. Ласа очень любила сливки и говорила, что на той земле, где она выросла, у коров более жирное молоко и сливок получается больше. Понятное дело, на родной стороне и крапива жжется меньше. По субботам Мадина старалась так подгадать, чтобы к приезду сына на часок-другой уйти из дома, пусть молодые без помех вдоволь наговорятся, наглядятся друг на друга. Сона тотчас разгадала ее уловку и по обыкновению подняла ее на смех, правда, и не без скрытых обид: «Стоит в нашем доме завестись кому-то белобрысому, как ты и себя и других забываешь! И думать перестаешь! И видеть! Иначе знала бы – невестка твоя и в грош тебя не ставит. А что значит стесняться матери мужа и вовсе не знает. Или бедолагу Хаджарата жаль? Ведь сгорает со стыда человек, когда жена прилипает к нему при всех. А рот на замке держит! Боится, наверное, герой, белобрысой своей!»

Сона на насмешки была щедра. Но однажды Мадина застала ее в тот момент, когда та из окна своей комнаты наблюдала за братом и его женой. Был ранний час, такой ранний, что Мадина только поднялась. Она неслышно подошла к дочери, у которой в глазах стояли слезы. Молодые обнимались перед амацуртой и надеялись, наверное, что в такую рань никто их не видит. Ласа закинула руки за шею мужа и снизу вверх – она вон насколько была ниже ростом – смотрела на него, а он, сцепив руки за ее спиной, не столько обнимал сколько воздвиг ограду, за которой жена могла чувствовать себя в безопасности. Глядя на своего сына, прочно стоявшего на родной земле, Мадина вновь усомнилась, что Ласа спасла его, возвратила отчему дому. По справедливости он, Хаджарат, должен был защищать ее, спасать от любых напастей… Еще подумала тогда Мадина: этих двоих невозможно разъять, как невозможно разъять побеги из одного корневища. А выросли-то на разных почвах…

– Какое счастье ей привалило! – прошептала дочь, обратив к матери растроганное лицо и не удержалась, добавила: – Другим такого счастья не видать, хоть тресни они от старания!

Тут вспомнилось, как однажды Ласа со вздохом заметила:

– Красивая Сона и сноровистая. А женихов нет, поубивали их на войне.

Толком не поняв невестки, Мадина принялась разъяснять что да как. Теперь она отважно бросалась в течение чужого языка, хватаясь, как за коряги, за знакомые слова. Мадина старалась растолковать невестке, что перед войной Сона еще была мала, как говорится, толком нос вытирать не умела, кто бы на нее всерьез посмотрел, кому бы пришло в голову невестой назвать?! Не была Сона ни за кого не просватана, не могли ее жениха убить на войне.

– Да я так, вообще… – сказала невестка.

Она тоже старалась не меньше Мадины быть понятой и часто, смеша Сону до слез, выпевала совсем не приспосо-

бленные к такому нежному обращению абхазские обиходные слова. Но в тот раз затеянный разговор оказался не под силу обеим. Так и не поняли друг друга. Мадина потом терялась в догадках, откуда невестка взяла, что золовка ее была просватана. Может, Сона провела ее, выдумав себе жениха? Но об этом она не решилась расспрашивать дочь, как бы та не сочла, что невестка сплетничает о ней за спиной. И без того дочь и невестка были не в ладах. И хотя Мадина видела, что чаще всего именно Сона задевает своими колкими шуточками Ласу, вопреки справедливости, она думала: «Одна-единственная сестра у Хаджарата, могла бы его жена помягче обходиться с золовкой, если не из-за любви к ней, так хотя бы из уважения ко мне!» Одну же ссору между дочерью и невесткой она даже запомнила в подробностях. Случилось это в начале недели. В ту пору Хаджарат еще учился на учителя, и по понедельникам Ласа грустила больше обычного. К тому же она ждала ребенка, по пустякам в слезы ударялась. Мадина под вечер возвращалась с чайной плантации, мечтая о том, что дочь успела подоить корову и сварить мамалыгу, а Ласа, придя с работы, уже собрала на стол. Если все так сложится, удастся после ужина сразу лечь отдохнуть – уж больно в тот день ломило спину то ли к перемене погоды, то ли возраст давал о себе знать. Но в дверях амацурты Мадина столкнулась с невесткой и глядя на ее раскрасневшееся лицо, на злые слезы, поняла надежды на тихий вечер не сбудутся.

– Скажите дуре вашей, скажите! Пусть поживет под немцем! Пусть жениха себе добудет! А я погляжу на ее радости! – закричала Ласа высоким рвущим душу голосом, будто свекровь не стояла лицом к лицу с ней, а находилась за тридевятью земель.

Ласа взмахнула руками, как поскользнулась, и неуклюже – тяжела ведь уже была – потрусила к дому на сваях – торопилась запереться в своей комнате.

Она уже была на крыльце, когда Мадина запоздало кинула ей вслед:

– По совести надо говорить, вот что!

Невестка, не оглядываясь, скрылась в доме и так хлопнула дверью, что показалось Мадине: старый дом покачнулся!

– Свали его совсем, не стесняйся! – крикнула она в гневе и перешагнула через порог амацурты.

Дочь, подбоченясь, стояла возле очага и немедленно обрушила на голову матери свою обиду:

– Слышала? Сколько волка не корми, все в лес смотрит! Твоя невестка, знаешь, из-за чего с ума сходит? Сказала: «жаль, что у вас немцев не было, а то, говорит, знали бы что почем!» Зачем нам знать, а? Ей покоя не дает, что дома наши на месте стоят, и сады не вырублены. Сама лопает наши груши, наши персики, лопает, лопает… и жалеет, что они не изведены под корень!

– Не ори, соседи сбегутся, – устало сказала Мадина и обессилено опустилась на скамью. – И чего вам неймется?

– Неймется! – передразнила дочь. – Позора нам желают! Гибели от вражеской руки и нам же неймется! Слышали такое?

– Оттого, что в моем доме завелись две крапивы, враг сюда не придет.

Мадина постаралась насмешкой утихомирить дочь, но у нее самой горло перехватило от обиды. Как у Ласы повернулся язык сказать такое? За какие такие грехи она пожелала земле мужа худшую из бед? Значит, для нее она чужбина? А кем для него была земля Ласы, в которую вжимался, орошая своим потом и кровью? И вдыхая, как он думал, в последний раз ее теплый дух, разве он в тот миг считал ее чужой? Разве не общая беда заставила сына распластаться на неведомой для Мадины земле Ласы, как бы собой прикрывая до последнего дыхания? Разве не таким его в первый раз увидела Ласа? И не сроднись он с той землей, разве взял бы он ее росток – Ласу – в жены, в матери своим будущим детям? Неужто необдуманная болтовня Соны важнее сделанного Хаджаратом?

– Ты ей: «Сливки кушай. Хо-ро-шо! Красивый будешь!» – передразнила мать Сона. – Она же спит и видит, как враг

по головам нашим ходит. И вообще с тех пор, как эта… немочь… в доме, никому, кроме нее сливки не достаются.

Мелочность упрека помогла Мадине придти в себя.

– Подумай, – сказала она. – Подумай, безголовая, о чем ты говоришь. Кому ты сливки жалеешь, подумай… Пораскинь мозгами! Сгоряча она что-то сказала…

– Сгоряча ей можно и головешкой нам в лицо ткнуть?

– С беременной женщиной споришь… стыдись!

Мадина поднялась и, волоча отяжелевшие ноги, побрела к выходу. Что бы она ни говорила дочери, обида на невестку льдинкой кололо сердце. Мадина поднялась в дом, толкнула дверь в комнату невестки. Само собой, она была заперта. До Ласы только входную дверь запирали на ночь, да и то, если Хаджарата не было дома. А невестка среди белого дня запрется и сидит там одна-одинешенька, затаившись. И что она там делает? О чем она думает? Поди, разберись…

Мадина постояла у запертой двери, покачала головой и повернула назад. В это мгновение дверь распахнулась, невестка обняла Мадину сзади тонкими горячими руками, задышала в затылок и быстрые слезы закапали на шею свекрови. Мадина осторожно разняла руки Ласы. Обернулась к ней – хотела в лицо посмотреть. Но невестка уронила ей голову на плечо, пряча лицо, только заплакала горше, да покрепче обняла свекровь.

– Я не хотела, – сквозь рыдания проговорила она. – Я совсем не то хотела сказать, честное слово!

Мадина постаралась ей поверить – само собой, не хотела. Разве изведавший горькую беду пожелает того же испытания другому? Не чужому, нет, родному? Но были ли они – Мадина, Сона да и все живущие вокруг – своими, родными для Ласы? И была ли сама Ласа родной?

– Зачем Соня меня донимает? Зачем она счастью моему завидует?

– Не завидует! Не может! – твердо сказала Мадина, но в глубине души она опасалась, что невестка права.

– Еще как может! Но она одна не по моей вине! Она еще молодая. Еще встретит своего суженого. Несмотря ни на что! Вот увидите. Пусть только потерпит! Пусть меня не изводит!

Мадина подумала, что другая невестка не стала бы свекрови жаловаться на золовку, понимая, что той не с руки дочку поддержать, если даже та права во всем. Так уж повелось, кто ближе, кто роднее, на кого больше прав, на того и больше упреков сыплется.

– Глупая она, все хи-хи да ха-ха, – мягко проговорила Мадина и погладила невестку по спине. – Накажем, голову снимем.

Ласа еще горше заплакала. Мадина долго утешала ее, грозилась заставить Сону взяться за ум. А у самой сердце болело о дочери, оставленной без утешения.

Та размолвка затянулась, и Мадина, как ни билась, не могла заставить дочку извиниться перед невесткой. Что касается Ласы, она больше в перепалки не вступала, просто молча сторонилась золовки, хотя она не была злопамятной и обычно на Сону долго не дулась. Но на этот раз, похоже, ее проняло. И только накануне того дня, когда Ласа занемогла, удалось невестку и дочку кое-как примирить и – Слава богу. Утром рано у Ласы начались схватки, хотя время рожать вроде бы не подоспело. И Сона суетилась возле нее то ли с показной, то ли с искренней тревогой. Мадина отправила дочь за Любицей. Та всегда принимала младенцев, пока не вошло в привычку всем рожать в больнице. Ласу ведь тоже собирались через неделю везти в районный родильный дом, да вот не успели. Дочь не только за Любицей слетала, но фельдшера Камуга позвала, попутно и родичей известила. Жены Старшего и Младшего пришли тотчас, но какой от них толк? А мужья, как и старшие сыновья, оказалось, щепят дранку в предгорье. Прибежавшая следом за родичами Фатима сообщила, что и Дыгу нет дома – поехал в город за гвоздями. О Бадре Мадина не заикнулась, но тоже, наверняка, не сидел дома. Разве время такое было, что мужчинам среди белого

дня прохлаждаться дома? После войны, как и в войну, забот хватало. Тем не менее, Мадина рассердилась:

– Уж такая моя звезда! Как в человеке у меня нужда, так его днем с огнем не сыщешь. Кто за гвоздями в город подался, кто по полену лупит у гор, кто над учебниками слепнет, кто с дьяволом толкует, кто – с лешим!

Она понимала, что несправедлива, но сетованиями тревогу глушила, обидами на невинных беду от невестки отводила. Она металась по дому и все прислушивалась, что делается в комнате Ласы. Возле роженицы хлопотали Любица и фельдшер Камуг. Сона была там же. Мадина с радостью прогнала бы дочь и заняла бы ее место, но опасалась стеснить невестку. При свекрови не больно разойдешься, поголосить не решишься. Правда, и без того роженицы не было слышно. Из комнаты доносились лишь приглушенные голоса Любицы и Камуга. Потом Сона выбежала с разрумянившимся лицом и сообщила:

– Говорят, узкая она слишком! Вот здесь!

Дочь без стеснения приложила руки к своим крутым бедрам.

– Отчего ее совсем не слышно? – спросила Мадина. – Ослабла?

– Губы искусала, но молчит!

– Зачем молчит? Пусть покричит. Ты скажи ей – пусть кричит. Стыдного в этом нет.

– Не закричит! – уверенно и даже с некоторой долей восхищения сказала Сона. – Такая порода.

– А что Любица говорит? – справилась Фатима.

Она повитухе доверяла. Та принимала ее детей.

– Так я же сказала: узкая она слишком. Любица то же самое говорит. Туго придется. Плохо, не успели в роддом повезти.

Оставив всех в смятении, возбужденно блестя глазами, Сона вновь скрылась в комнате роженицы.

– Доктора надо. – определила жена Старшего. – Как пить дать, надо.

Мадина с яростью покосилась на нее. Можно подумать, другие не догадываются, что надо. Да только где доктора возьмешь? Тут Фатима взглядом поманила за собой Мадину и вышла из комнаты. На крыльце она, застенчиво опустив долу глаза, сообщила, что сейчас у Расидац, вдовы Рушни Бобуа, гостит человек из районного центра, самый настоящий доктор. Он недавно прислан в городок из Аквы.

– Заприметил он вдову Рушни… Как не заприметишь, такая красавица!

Под многословием Фатима старалась скрыть, до чего ей неловко говорить об этом. Сколько лет она живет в селе, а сплетен от нее никто не слышал. И сейчас наверняка смолчала бы, если позарез не понадобился бы доктор и не окажись им человек, влезший в еще не остывшую постель Рушни Бобуа.

– Он вроде посвататься к ней собрался, – неловко соврала Фатима

– Пойду к Расидац! – решилась Мадина. – Не спустит же она на меня собак.

По дороге Мадина, глуша в себе тревогу о невестке, старалась думать о постороннем, о человеке, к чьему дому она направлялась. Замечательным парнем был Рушни Бобуа. Это вам всякий скажет! А как плясал! Его перед самой войной в Аква забрали, чтобы всем показывал свое умение ястребом влетать в круг танцующих. Кто знает, сколько девушек тайком всплакнуло, когда он, обманув их робкие надежды, женился на Расидац. Говорят, Рушни в три дня сладил с ней дело, не устояла девушка перед его статью и обходительностью. Да и родичи невесты – отец и четыре спесивых братца – на диво сердечно приняли зятя, умел он растопить любое черствое сердце, пока не поймал грудью вражескую пулю. Надо сказать, жена оказалась ему под стать: красивая, работящая, всегда в добром расположении духа. Она, как певчая птица, утро начинала с песни. Да недолго пела Расидац, война началась. Рушни ушел в первые же месяцы вслед за Хаджаратом, хотя по слухам, бумага на него была, что бронью

называется. Правда, Мадина не слишком верила, что бумагу, дающую разрешение не воевать, ему дали из-за того, что он умел хорошо плясать. Какое время плясать, когда враг у ворот? Рушни тоже, наверное, так подумал и ушел на фронт. Он погиб в начале сорок четвертого. И братья жены – все до одного! – не вернулись с войны. Теперь Расидац одна жила в доме мужа, но, похоже, плохо уживалась с одиночеством. Мадина, растеряла всю решительность, добравшись до деревянных ворот, за которыми в глубине двора стоял небольшой дом на сваях. Он был нарядный, – резной карниз, наличники на окнах, просторное в затейливых балясинах крыльцо, широкие ступени, обрамленные перилами, которых подпирали деревянные фигурки. Сразу видно – Старший и Младший руку приложили. Насколько стало бы легче Мадине, если они сейчас оказались рядом, уж они-то что-нибудь придумали, а не сидели бы, сложа руки, как щедрые на советы их жены. Мадина топталась перед воротами в надежде, что хозяйка сама ее заметит и выйдет встречать. Хотя бы собака залаяла, что ли, привлекала бы внимание Расидац. Но все было тихо. Никакого движения не угадывалось и среди белого дня входные двери в дом были прикрыты. Не к месту вспомнилось: «Закрылись его двери» – так скорбно говорили о старом отце Рушни, когда похоронка на сына пришла. Так оно и есть. Отец умер, а жена его переехала жить к сыну от первого брака. И то понятно, ведь Рушни не был ей своим, хотя и поднимала его с двухлетнего возраста. Родная мать Рушни, молодая красивая, намного моложе мужа, умерла при родах. При родах! Ласа…

– Расидац! – истошно закричала Мадина. – Где ты, Расидац?!

Ответа не последовало, если не считать ленивого лая пегой собачки, которая вышла из-за амацурты с левой стороны от дома и потрусила к воротам.

– Выйди, Расидац! – надрывалась Мадина.

Понимала: лучше всего повернуть назад, но заставить себя так поступить не могла. Срывающимся голосом она

вновь и вновь окликала хозяйку и наконец-то добилась своего. Неожиданно двери дома широко распахнулись, на крыльцо выскочила Расидац в темном платье с закатанными выше локтей рукавами, с расстегнутым воротом и быстро сбежала с лестницы. На дворе стояла ранняя весна и молодая вдова слегка ежилась от студеного ветерка, а белые, еще не успевшие загореть руки, покрылись пупырышками.

– В саду была, выгоняла чужих поросят, пробрались через худую изгородь, – посчитала нужным пояснить Расидац. – А потом в дом поднялась по тыльной лестнице… Наверное, давно зовешь меня…

– Главное, дозвалась…

– Случилось что? – спросила та, и ее глаза цвета только что вылущенного каштана засветились искренним участием, приободрив Мадину.

– Ласа… рожает… Рассчитывали в город повезти – не успели. Одни женщины вокруг нее толчемся, но какой прок от нас? Камуг, верно, пришел, но фельдшер – не доктор! – Мадина с мольбой глянула на Расидац. – Любица сказала: без доктора не обойтись!

– Не обойтись! – эхом повторила за ней Расидац и застыла лицом, мигом все смекнув.

Она замялась, теплое свечение глаз разом погасло. Мадина стояла перед ней, не дыша, молясь про себя, чтобы отзывчивость Расидац, всегдашняя готовность придти на помощь, взяли верх над ее вполне понятным желанием скрыть от чужих глаз своего знакомца.

– Друг старшего брата заехал как раз… проведать… – сказала Расидац, густо покраснев. – Он врач.

– Счастье, выходит, на нашей стороне. Доктора бог послал, да умереть мне вместо тебя, Расидац!

Хозяйка повела ее к дому, и она изо всех сил старалась не бежать впереди Расидац. Ведь время на месте не стояло и сейчас для Ласы, наверное, каждая минута часу равнялась. Но приходилось считаться с тем, что она и без того своим появлением слишком досадила вдове горемычного Рушни.

Та нашла в себе силы подняться над своей досадой, в помощи не отказала, могла ведь смолчать, Мадина в ее дом врываться не стала бы. Так хотелось сказать что-то ласковое, благодарное Расидац, но ничего подходящего не находилось, только бормотала, стараясь дать понять: верит всему услышанному, задних мыслей не допускает: «Хорошо, что воины навещают родичей павших друзей, а как же иначе?»

Доктор, полнощекий, усатый, сидел за столом в гостевой комнате. Мадина тотчас узнала его. Именно этого доктора доставил в дом Младший, когда Янис, застудившись, горел как в огне. Он без тени смущения, хотя и не без досады, глянув на вошедшую Мадину, приподнялся, приветствуя, но как только она попросила его не утруждаться, тут же рухнул на свой стул. Излишней вежливостью он не отличался.

Мадина засуетилась, чувствуя себя кругом виноватой. Позже она не могла простить себе своей приниженности перед боровом, которого за стол посадили, а он и копыта на стол положил. Она и в самые тяжкие годы поклоны ни перед кем не била, но тут страх за Ласу, видно, лишил ее рассудка.

– Девочка мучится… – глядя на него молящее, проговорила Мадина жалким голосом. – Мучится, страх один.

Расидац вторила за ней, мешая русские, абхазские, грузинские слова, словно он одновременно говорил на всех наречиях.

– На что жалуется? – спросил он скучным голосом.

– Невестка моя, сына жена, рожает, девочка…

– Какая же девочка, раз рожать собралась? – усмехнулся он.

– Она как прутик, худенькая, слабенькая…

– Они близко здесь живут… – старалась и Расидац.

Хотя какое там близко, версты три, не меньше, отмахала Мадина.

– Я здесь, между прочим, не на работе, – сказал он по-русски и выразительно глянул на хозяйку.

– Мы все чуть что бежим к Мадине за помощью, за советом…

Когда это она прибегала? Но, видно, борова своего пыталась расшевелить, мол, я у Мадины в долгу. Будто ее долги он обязался отдавать. Как бы не так!

– Мучится Ласа, мучится бедная… – Мадина все не теряла надежды.

И Расидац тоже:

– Нужен врач! – напрямую сказала она гостью, не сводя с него посторожевших глаз. – А возле нее – только фельдшер!

– Почему говоришь – «только фельдшер»? – деланно удивился тот. – И фельдшера за глаза хватит! Раньше вон одной повитухой обходились, а каких детей рожали. Богатырей! Разленились нынче женщины…

– Но ни раньше, ни сейчас, если конь пал, осла не седлают! – вырвалось у Мадины. – Лучше уж пешком ходить.

И она пошла вон из комнаты, старясь унять ярость, следом за ней выбежала Расидац и ухватила ее за рукав:

– Мадина, ради бога, Мадина!

– Его могло и не быть здесь, могло… – бормотала та – так чего и рассчитывать на его помощь… он здесь случайно оказался…

– Случайно! – повторила за ней Расидац, которая, не выпуская рукава Мадины, шла как пришитая. – Он сейчас уедет и больше здесь, думаю, не покажется…

У ворот Мадина осторожно высвободила свой рукав и стала прощаться.

– Я пойду с тобой, может, чем пособлю?

Мадина видела: Расидац едва сдерживает слезы.

– Не надо. У тебя – гость, плох или хорош, но друг погибшего брата…нельзя пренебречь гостеприимством… только не приведи Господь такого видеть хозяином своего дома!

– Не приведи Господь! – повторила Расидац.

С тем Мадина и ушла и по дороге стала корить себя, что ворвалась в чужой дом и разрушила хрупкие надежды хозяйки. Ведь та их строила, на многое закрывая глаза. Расидац счастья мало было отмерено, но ума ей не надо было занимать. И все же, вопреки очевидному, она слишком много

надежд на усатого возлагала. У кого хватило бы духу ее осудить?!

Мадина шла быстрым шагом, разбрызгивая старыми колошами грязь во все стороны и призывая проклятия на голову человека, который не удосужился оторвать задницу от стула, чтобы спасти Ласу. Будь здесь Старший или Младший, кто-нибудь из них, так они при надобности и со стулом доставили бы доктора к роженице. А Мадину он не уважил, нет! Да что Мадину, собственного предназначения – врачеватель! – не уважил!

– Собачий сын! – бормотала Мадина, задыхаясь. – Поплатишься еще, поплатишься!

Угрозы ее были жалки и неисполнимы, и она сама это понимала, но все бормотала и бормотала.

И вот уже дом оказался на виду, уже она пересекла поллуга, когда из дома выбежала дочь и кинулась навстречу, крича:

– Все! Все!

Все? Мадина застыла.

– Не уберегли, – прошептала она. – Проклятья нам на голову, из огня вышла, мы не уберегли…

Она с маху села на черную землю с редкой, едва-едва пробивающейся весенней травой, неловко раскорячив худые ноги в черных чулках, старых колошах, и закрыла лицо ладонями.

Дочь с пронзительным криком налетела на нее, потянула к себе.

– Подвернула ногу? Ушиблась? Что с тобой?

– В самое сердце попала, в самое сердце! – бормотала Мадина и слезы обильно катились из глаз.

Молодая крепкая дочь тянула ее к себе, точно сухую былинку срывала:

– Поднимайся же! Держись за меня! Какое время бабушке рассиживаться?

– Бабушке?

– Но крикнула же тебе: все! Разродилась! Сына родила! А у нас и нечем выстрелить, оповестить – мужчина на свет на-

родился. Говорила же тебе, не одалживай сыну Мыты ружье Хаджарата, самим может понадобиться!

– А Ласа… она как? – робко спросила Мадина, все еще сидя на земле.

Ей казалось: она летит в пустоте, но эта пустота теперь заполнялась надеждой. Опершись на надежду можно подняться даже из глубокого провала.

– Как женщина только что разродившаяся, устала, отдыхает. Вставай же! Или зарок дала до вечера тут просидеть?

Мадина с помощью Соны медленно поднялась.

– Платья измарала, – с досадой отметила дочь-чистюля. – Прямо в лужу угодила, что ли?

В том, что голова кружится и в глазах рябит, Мадина дочери не призналась, только не стала отпускать ее руку, вцепилась изо всех сил и Сона, почувствовав, что матери нехорошо, пошла рядом медленно и как радостную весть преподнесла:

– Мальчик – вылитый Хаджарат!

Ласа сама дала имя сыну – Андрей… Так звали ее семнадцатилетнего брата, убитого в партизанах. Мадину покоробило, что невеста нарекла сына именем юноши, столь рано, столь страшно принявшего смерть, но смолчала. Она понадеялась, что раз на стороне Ласы дают детям имена покойных родичей, то беды новорожденному это не принесет. Сона же, по обыкновению, побурчала. У нее, оказывается, было припасено имя племяннику. Мадина постаралась утешить ее, погоди, мол, настанет час, ты выйдешь замуж и первенца своего назовешь облюбованным именем.

– Я-то спрошу родню мужа, по душе ли им оно? – дерзко сказала Сона. – Не стану, как некоторые, волю свою чинить!

И брату она не преминула высказать свое недовольство. Тот отшутился. Но когда записывал сына, назвал его так, как хотела жена. Он щадил Ласу. Иногда Мадина ревниво отмечала, что сын слишком уж старается, как бы жена и вовсе не прибрала его к рукам. Дочь на то насмешливо говорила:

– Да она и у тебя на голове сидит, не замечала?

– У меня голова – не гнездо, никто там не высиживает цыплят!

– Цыплят точно не высиживают, а ногами болтают! – не задерживалась с ответом дочь.

И будто в подтверждение дочкиных упреков, Мадина уж очень быстро сдалась, когда Ласа наотрез отказалась укладывать в абхазскую люльку младенца, а принялась пеленать по собственному разумению, даже выдала невестке на пеленки простыни из своих запасов. Да вот беда, ветхие простыни от частой стирки расползались, а новые непросто было купить. Тут неожиданно Сончка прислала посылку с детскими вещичками и с пеленками. Ласа над каждой тряпицей ахала от радости, Мадина же чуть не задохнулась от обиды. Тряпье прислать Сончка догадалась, а сына за целых три года ни разу не привезла. Опасается, видать, что Яниса притянут этот двор, этот дом Обрубает Сончка привязи, будто человек дикий зверь, обрежешь путы, связывающие его, и кинется он в лес без оглядки. А человек не дикому зверью сродни – дереву… Чем глубже корни, тем оно сильнее, тем меньше ветер гнет к земле… Даже сейчас, когда при Мадине были и сын, и дочь, и первенец сына – родной от макушки до пят – Мадину временами охватывала такая тоска по Янису, что казалось: ладонь, привыкшая ерошить волосы мальчика, огнем горит.

Тогда проклинала Мадина Сончку, яростно отметая попытки сына заступиться. Хаджарат переписывался с Сончкой и неназойливо – щадил мать, – но твердо держал ее сторону. Однажды он даже ездил навестить Сончку и Яниса. Каждый раз, когда в присутствий сына Мадина принималась честить на чем свет стоит Сончку, Ласа взглядом просила мужа не вмешиваться. Но это еще больше распаляло Мадину, понимала ведь: Ласа старается не нарушать мира в доме из-за какой-то сторонней старухи. Откуда ей знать, что связывает Мадину и Сончку?!

– Когда ребенка некуда было девать, обо мне вспомнила. Теперь же мальчика на лето прислать и то не хочет! – яри-

лась Мадина. – Ну, ничего! Подрастет Янис, не удержит его Сончка, как бы ни старалась! Даже вода, говорят, к своему истоку возвращается.

– Пословица! – пояснял Хаджарат жене, выводя мать из себя.

Нашел время учить жену пословицам. Можно подумать, всему остальному уже научил.

– У Сончки только Янис и остался! – несмотря на предостерегающие взгляды жены, мягко напоминал матери Хаджарат. – За кого ей еще держаться, как не за него?

– Выходит, она мальчика к своему подолу должна привязать? Родни лишить?

Тем не менее, увещевания сына теплом отдавались в сердце. Не потому что сын заступался за Сончку, нет, а потому, что сердце в нем было такое – понимающее. Или, помимо этого, кое-что значило заступничество сына именно за Сончку?

Мадина как в воду глядела. Подрос Янис и приехал. Пять лет спустя приехал. Но приезд его не принес ожидаемой радости, совпав с горестными событиями. А может, тому виной было не только случившееся накануне, но и то, что Мадина заждалась Яниса. Он изменился, сильно подрос, не мальчиком вернулся, юношей. Говор Яниса стал другим. В его синих теплых, как небо поздней весны, глазах появилось незнакомое выражение – умное не по возрасту. Только волосы Яниса по-прежнему вились крупными завитками и остались такими же светлыми. Еще губы были прежними – яркими, по-ребячьи припухлыми.

Накануне приезда Яниса в дом поздним вечером пришел редкий гость – Бадра. Хаджарата не было дома, он уехал в Акву, чтобы ранним утром встретить Яниса. Ласа и с ребенком и Сона уже неделю гостили у родичей на побережье и собирались вернуться вместе с Хаджаратом и Янисом. Мадина оставалась дома одна-одинешенька. Бадра не мог не знать об этом, но пришел. Взглянув на него, Мадина обомлела – такое у него было серое лицо. Он, едва передвигая ноги, поплелся

к скамье, стоявшей возле нетопленного камина и рухнул на нее. Заметив, что он ее перепугал неожиданным вторжением и, очевидно, выражением лица, слабо усмехнулся и поторопился успокоить:

– Мои вести к тебе касательства не имеют… – он помолчал, опустил глаза. – Хотел увидеть тебя… попрощаться…

– Попрощаться? Что это значит?

Она подалась к нему, придвинулась на шажок и остановилась. Неведомая сила сдерживала ее, замораживала, как зима – беззащитную перед временем оголенную землю.

– Чую, – проговорил он, – как псы чуют последний свой час и уходят со двора, так чую…

– Не говори так… – взмолилась она.

И он вроде устыдился своих слов и того, что ее встревожил, попытался перевести на шутку:

– Во всяком случае, от председательства открещиваюсь с сегодняшней ночи…

– Пора и дать себе отдых! – подхватила она.

Он медленно тяжело поднялся на ноги, смотрел на нее долго-долго. Она была готова простоять под его усталым взглядом всю ночь.

– Не обо мне речь, – глухо произнес Бадра и поморщился, будто острая боль кольнула его, даже на скамью оглянулся, будто вновь намереваясь сесть, но остался на ногах. – Сегодня ночью турок будут переселять… всех…

– Куда? – ахнула Мадина. – Зачем?

– Зачем – не знаю. Куда? Далеко, не докричишься…

– Ласа? – приглушенно вскрикнула Мадина, вцепилась ногтями в щеки.

Он улыбнулся так, как не улыбался давным-давно: ласково и слегка пренебрежительно

– До сих пор не знаешь, что невестка твоя – не турчанка?

– О чем я? Голову совсем потеряла, – опомнилась Мадина и пристыжено замолчала, но тут же встрепенулась: – А Фатима?

– Ее миновало, – сказал Бадра и понурился, как ей показалось, виновато. – Кому легче, если бы и Фатимы косну-

лось? – спросил он и жадно посмотрел на Мадину, будто от ее слов что-то зависело.

– Никому! – твердо сказала Мадина. – Если удалось ее уберечь, спасибо тебе…

– Маца ведь в милиции уже нет… Фатима в абхазском доме живет, абхазских детей растит, фамилию мужа носит, и если рьяно не искать…

Он опять виновато наклонил седую голову и, поморщившись, покачнулся, точно вековой дуб, ураганом выворачиваемый с корнями. Мадина кинулась к нему, обхватила руками, подперла. Так они стояли некоторое время, и она слышала, как тяжко он дышит:

– Оставайся, – предложила она. – Переночуй.

Опять Бадра отказался, как когда-то давным-давно, слегка повел плечами, высвобождаясь, и когда Мадина отступила, забрал ее руки в свои:

– Хотел бы я верить: нет теперь за мной вины, нет…

Не дожидаясь ответа, он побрел к двери. На пороге обернулся, глянул на застывшую на месте Мадину, и вышел вон.

– Виновен! – шепотом оповестила она пустую комнату. – Тяжкой ношей своей не захотел со мной поделиться. В том виновен!

Высказавшись, она сумела оторвать ноги от пола и выйти на крыльцо. Там, ежась от вечерней прохлады, она смотрела на то, как медленно Бадра пересек двор, долго открывал боковую калитку у ворот, ступил на луг. Тут луна зашла за облако. Но Мадине показалось, что не наступившая темень скрыла от нее Бадру, а луг вобрал в себя, растворил… Так в памяти Мадины Бадра навсегда остался на лугу.

Она все стояла на крыльце, вглядываясь в темноту. Бадра ушел, а сказанное им осталось и это мешало ей вернуться в дом. Как он виноватился, что удалось от беды уберечь только жену младшего брата, мать его племянников, в конце концов, хозяйку в отчем его доме, женщину, которая, следуя абхазским традициям, не называла деверя по имени, а дала ему от себя необычное, бог весть, где услышанное имя –

Денни. Зря он винился, если бы каждому удалось бы хоть от одного человека или семьи отвести злую долю, разве этого было бы мало? Турки… сразу и не вспомнишь, много ли их в селе. Сразу не отсеешь, кто турок, а кто – нет, смешались уже с абхазами, на одном языке говорят, одну землю потом поливают, даже о вере своей они теперь молчат. Да и кто же теперь разбирает, кто христианин, кто мусульманин, раз дорога в храм под запретом?

Когда Мадина была еще маленькой, старые люди много толковали о былых бесчинствах турок на побережье. Матери дрожали от страха при рождении красивых детей, опасались: выкрадут их, и в Турции они разом лишатся матери, родины, веры…. Но ведь былое быльем проросло! Теперь даже ребенка и того не постращаешь, пригрозив: «перестань озорничать, иначе придет турок с мешком…» Ребенка не постращаешь, тогда с какого перепуга взрослые решили отделаться от тех, у кого лишь фамилии турецкие остались? Или это месть за давние прегрешения? Но ведь кровная месть теперь законом отменена! В таком случае, что происходит? Скажите, кто знает!

«Серна!» – вспомнила вдруг Мадина. Боюк-оглы! Тоже вдова. Две дочери. Одна на год моложе Сончки. Мадина не была особенно близка с Серной, хотя доля вроде общая вдовая, да и женщина была достойная, уважаемая. Но теперь, вспомнив о ней, Мадина неожиданно для себя слетела с лестницы и, как была в затрапезе, заторопилась к воротам, будто время молодых безрассудных поступков для нее не миновало давным-давно. Выбравшись на проселок, она и вовсе ускорила шаги, будто что-то могло измениться, если она как можно скорее достигнет дома Серны. А, может, и изменится? Главное опередить других – Мадина даже не знала, как их назвать – ну тех, из-за которых на Бадру смотреть было страшно. А ведь он – не турок. Каково же тогда туркам?

Ворота стояли распахнутыми настежь, точно в доме был покойник. У Мадины перехватило дыхание, когда она увидела, что посреди двора еще и стол стоит, тоже как при по-

койнике. Она хотела окликнуть Серну, но голос не повиновался ей. Амацурта была изнутри освещена. Мадина робко толкнула незапертую дверь и остановилась на пороге.

Серна сидела у очага, распустив волосы, как это делают плакальщицы. Возле нее стояла стопка тарелок, фаянсовых мисочек. Она брала в руки тарелки и с размаху швыряла на чугунное изголовье очага. Черепки разлетались по всему земляному полу. Дочери Серны – старшая, слывшая красавицей, и младшая чернявая егоза, – склонившись над кухонным столом, о чем-то шептались при свете коптилки. Старшая держала в руке школьную ручку, которую часто макала в чернильницу, но лежавший перед ней листок из тетрадки еще не был тронут.

– Серна, выходит, обо всем знаешь… – пробормотала Мадина и прислонилась плечом к косяку. – А я предупредить…

Серна подняла к ней сморщенное лицо, запричитала:

– Пришла нас оплакать, хорошая наша Мадина? Бросить горсть земли на мой гроб? Да отказано нам в горсти земли...

– Пойдем ко мне! – быстро сказала Мадина. – Места хватит. Поместимся все.

Та только горестно покачала головой. А младшая ее дочь подбежала к Мадине и доверительно сообщила:

– Мы письмо Сталину пишем. Какие мы турки? Я по-турецки ни одного слова не знаю. Только считать умею. До десяти. И то раньше умела, теперь половину забыла… Зачем нам Средняя Азия?

– Вы туда едете?

– Едем? – фыркнула девушка. – Не мы едем, нас увезут. Подальше от Турции. Какое мне дело до Турции, гори она огнем?!

– Никто ничего не знает, Мадина. – прервала дочь Серна. – Одни одно говорят, другие – другое… но все это слухи… может, это еще и неправда, а?

– Может, и неправда! – живо подхватила Мадина. – Люди что-то услышат, раздуют непомерно, рога приделают, хвост!

Серна жадно слушала ее, но поколебавшись, она, тем не менее, очередную тарелку разбила об изголовье очага и, обессилено уронив руки на колени, спросила:

– Кто тебе сказал, что мы умерли?

– Бадра! – вырвалось у Мадины, и она тут же зачастила: – Зачем ты упоминаешь о смерти, да не знать ей добычи?

– Раз Бадра сказал, так оно и есть, – пробормотала Серна. – Да и нас надежные люди предупредили.

Гордость просквозила в ее надломленном голосе, гордость за людей, сохранивших им верность.

– Пойдемте ко мне! – повторила свое предложение Мадина. – Разместимся.

– По-твоему, твой дом отстоит дальше от Турции, чем наш? – насмешливо спросила младшая дочь Серны.

Она по-прежнему стояла рядом.

– Я не знаю, – чистосердечно призналась Мадина. – Но ничего другого придумать не могу.

– Зато другие придумали!

– Как же быть? – растерянно спросила Мадина у молоденькой девушки, у кого никому из взрослых не пришло бы в голову спрашивать совета.

– Иди домой! Нам не поможешь, себе повредишь!

– Дожили, гостей выгоняем… – запричитала Серна.

– Какие гости у бездомных? – жестко прервала младшая дочь.

А старшая все мучилась над листком тетрадки в поисках спасения, которого не было. Но Мадина надеялась, что она его найдет.

– Возле холма Хичука два ряда чая непрокопанными остались. Сбоку, там, где папоротники, – вдруг сказала Серна. – Как бы колючкой не заросли.

– Сама прокопаю, – поспешно сказала Мадина. – Не беспокойся.

И сама устыдилась своих слов, нашла, чем утешить. Да и чернявая дочь Серны посмотрела на нее враждебно. А ведь встретила доверчиво. Или поначалу сработала привычка,

а потом девчушка осознала... Что же она осознала? В чем усмотрела провинность Мадины? Если же нет вины, то почему Мадина, понурив голову, стоит на пороге, и не знает, что предпринять? А ведь зря мозолит людям глаза, надо идти восвояси и все-таки она вновь завела свое:

– Двери нашего дома для вас…

– Дойную корову Кацу отдали, – перебила ее Серна. – Ребенок же в доме, без молока не обойдешься. Но жена Каца, сама знаешь, толком только спать умеет. Приглядывай за коровой, Мадина. Добрая корова, жаль, если пропадет...

– Да пропади пропадом и чай твой, и корова, и дом этот гори синим огнем! – вскричала младшая так громко, что старшая, оставив свое занятие, оглянулась на сестру с укором и сказала:

– Побереги свою ярость! Она тебе пригодится! В дороге…

– Они мелят всякую чепуху, а я – слушай?!

– Молчи! – прикрикнула на нее Серна, взяв на себя дерзкое замечание дочери. – Мала меня учить.

Дочь послушно замолчала и двинулась к сестре, на прощание послав непрошенной гостье враждебный взгляд.

Взгляд этот заставлял Мадину всю обратную дорогу ускорять шаги, будто подталкивал грубо – убирайся вон, от тебя никакого толку! И вправду, какой от нее был толк? А ведь бежала с надеждой помочь. Это все равно, что кинуться в воду спасать утопающего, не умея плавать. Но ведь лучше кинуться, чем стоять на берегу и смотреть, как человек идет ко дну? Позор-то какой стоять на берегу!

Мысли у нее путались. Добравшись домой, Мадина укрылась в комнате сына. Хаджарат отсутствовал, но его комната, тем не менее, показалась самой защищенной, самой надежной. На крючке за дверью висел старый пиджак сына. Мадина зарылась лицом в грубую ткань и заплакала в голос.

В ту ночь она так и не ложилась. А рано поутру пришла к ней жена Старшего, пожаловалась:

– С пяти утра на ногах.

– Выходит, и ты знаешь, – горестно выдохнула Мадина. – выселили их, значит?

– Нас вопли Фатимы на ноги подняли!

– И до Фатимы добрались? – ужаснулась Мадина. – И ее выселили?

– Куда это ее должны были выселить?

– Но турок, говорили, выселят? А может врали?

Робкая надежда зашевелилась в глубине души.

– Так то турок, а это Фатима. Турок выселили, да. Машины понаехали, военные. Погрузили турок и – айда. Да об этом турки раньше всех нас знали. Они – хитрые. У них всюду свои люди. Нигде не пропадут. Среди моей родни, благодарение богу, турок не было и не будет.

– А Фатима чего голосила?

– Так ведь Бадра умер. В одночасье. Невестка и голосила…. С пяти утра на ногах. Мы же близкие соседи, разлеживаться не станешь…

– Как умер? – Мадина тупо уставилась на жену Старшего.

– Как все… по-новому умирать вроде никому не удавалось. Говорят, на сердце жаловался дня два назад. Как причитает Фатима – любо-дорого слушать. Будь у Бадры родная сестра, и та лучше не сумела бы. Дыгу убивается, да племянников Бадры не удержать – омывают покойника слезами. Вот ведь своими детьми не обзавелся, родной сестрицы нет, мать давно в могиле, а не лежит без внимания вроде холодного жернова в углу, волосы над ним рвут.

Говорила она обо всем этом чуть ли не с завистью. Может, даже хотела добавить: хорошо устроился. Вроде тех турок, которым за несколько дней до ужасной этой ночи удалось узнать, что их ожидает.

– Умер… – невидяще глядя на болтливую родственницу, примерила к Бадре Мадина это слово.

Оно не примеривалось…

– В председатели, наверное, сына Георгия поставят, – не смолкала жена Старшего. – А, может, нашего Хаджарата?

Войну прошел, ученье прошел, чем не председатель? Как думаешь, Мадина?

– Зачем ты об этом говоришь? – полусдавленно вскрикнула Мадина. – Время ли о том сейчас говорить, время ли?

– Заслуг Бадры это не умаляет, – пожала та плечами. – Да и говорю я с тобой по-семейному, не с его родней. Так чего кричишь? Да на тебе лица нет! – наконец-то она заметила состояние Мадины. – Не заболела часом?

– С вечера лихорадило… – солгала Мадина.

– Надо настоять чеснок на водке, натрешься настойкой, да и стопку внутрь примешь, как рукой снимет. Меня тоже колотит. Не выспалась, да и над покойником сколько слез пролила…Хороший был человек, хотя, как по мне, Дыгу лучше, обходительнее, душевнее. Бадра, совести не хватит солгать о покойнике, никогда не различал где свои, где чужие. Послабления никому не давал. Вон, сунул мне шелковичных червей. На что они мне, будь они трижды прокляты? Возни с ним – хуже не придумаешь! Сказала ему, мол, тошнит меня от них, волосы дыбом встают! Думаешь, помогло? Как бы не так! А ведь рядышком всю жизнь прожили. Кто сегодня на вопли Фатимы первыми прибежал? Мы! А он, как чужой, да еще и деверя твоего на меня напустил. Тот и рад, ведь считает: все под ярмом должны ходить, а я – так больше всех. Ты слышишь меня, Мадина?

– Слышу. Куда деваться, слышу….

– На оплакивание со мной пойдешь или Ласы дождешься?

– Ласы дождусь…

– И то правильно. Ласа уже столько времени среди нас живет, а на оплакивании все бочком-бочком пробирается к ложу с покойным и вид у нее такой перепуганный, будто боится, что мертвый схватит за руку и потащит за собой!

– На похороны с танцами и песнями надо приходить?

– Зачем такое говоришь? Сама знаешь, о чем я. Ты умрешь, не надейся, что она причитать надо тобой станет, как Фатима над деверем…

Жена Старшего наконец-то собралась уходить. Она дошла до порога и с радостным восклицанием обернулась к Мадине:

– Гляди, кто пожаловал!

Жена Старшего поспешно вышла. Мадина побрела за ней. Двор пересекали Ласа с ребенком на руках и высокий мальчик – нет, не мальчик, юноша, в котором едва можно было признать Яниса.

Жена Старшего заспешила навстречу. С умильным бормотанием забрала у Ласы маленького Андрея, который отбивался от нее изо всех сил, но она не уступила и назад ребенка не отдала, а вместе с ним подошла к Янису и поцеловала в щеку, спросила:

– По-абхазски не забыл? А макароны и сейчас любишь.

Мадина же, как ступила на землю перед домом, так там и застыла – ноги плохо ее держали. Невестка заторопилась к ней, обняла теплыми руками, сказала тихо:

– Горе-то какое... Сона и Хаджарат по дороге узнали, так свернули туда… к Бадре… Больно до чего… я понимаю…

Она закусила губу, чтобы не расплакаться. Ласа всегда так поступала, когда старалась удержать слезы. Мадина знала за ней эту привычку, а того, что невестка догадывалась, как много для свекрови значит Бадра, не ведала. Значит, Мадина для нее не чужая, раз почувствовала ее боль. Остро захотелось остаться наедине с Ласой, выплакать ей то, что носила в себе долгие годы, ни с кем не поделившись.

– Ты, что, Мадина, ошалела совсем от радости? – окликнула зычным голосом жена Старшего. – Возле невестки топчешься, будто век не видела, а на долгожданного гостя и не посмотришь. Иди к ней Янис, не жди, пока названая мать в себя придет! – она бесцеремонно подтолкнула подростка в спину.

– Вспомнил нас, наконец! Больно долго ехал! Хворостиной отхлестать бы тебя! – сказала Мадина, когда он подошел.

– Так отхлещи! За чем дело стало? – сказал он и непринужденно обнял ее.

Она почувствовала себя старой и жалкой, ничего не значащей в жизни Яниса и в это мгновение пожалела, что он приехал. Должно быть, долгое ожидание, как колодец в засушливое лето, тоже исчерпывается.

Но потом, недели две спустя – Янис гостил целый месяц – все наладилось. Мадина вновь стала потакать ему во всем. Она даже позволяла Янису, несмотря на строгий запрет Хаджарата, бродить по лесу с ружьем, хотя сын терпеливо разъяснял, что есть вещи, требующие особого с ними обращения, и подкреплял свою мысль поговоркой: «даже не заряженное ружье раз в году стреляет».

Наставления Хаджарата и мать, и Янис выслушивали покорно, признавали его несомненную правоту. Но стоило сыну отлучиться из дому, а Янису с ожиданием глянуть на Мадину, как она, хоронясь ото всех, выносила на заднее крыльцо ружье и отдавала поджидающему там мальчику и даже не напоминала, чтобы не портить ему радость: «Будь осторожен!» А сама потом места себе не находила, пока Янис не возвращался с охоты без добычи, зато невредимый.

В тот время Мадина так непомерно исхудала, что жены Старшего и Младшего только дивились: в чем душа держится. Ласа все тревожнее поглядывала на нее, и Сона приставала с расспросами: «ничего не болит?»

Однажды, оставшись с Янисом наедине, – редкая радость в тот его приезд! – не удержалась, спросила:

– Помнишь, как Бадра нашел тебя?

–Ага, великое побоище из-за часов! Порядком я тогда перетрусил. – Он огляделся по сторонам и с преувеличенно таинственным видом сообщил: – Перед отъездом подарю Хаджарату часы, вот эти… – Он ногтем постучал по крышке своих наручных часов. – С мамой так решили. Часы мировые. Швейцарские. Это знаешь страна такая – Швейцария?

Но ее ни страна Швейцария, ни часы не занимали, потому вновь спросила:

– Помнишь или нет, как он тебя с дерева снял? Как дикого котенка. По-моему он сказал тогда: как дикого котенка. Или иначе? Не помнишь?

– Не-е-т… пацаном ведь еще был.

– Совсем-совсем ничего не помнишь?

Янис посмотрел на нее взрослым задумчивым взглядом, приобретенным на чужой стороне, и погодя произнес огорченно:

– Жаль, что дядю Бадру не застал в живых.

– Говоришь – не помню. О чем тогда жалеть?

– Да я подробностей, как он меня снял с дерева не помню… А уезжал отсюда вовсе не младенцем. Так? Бадра нас тогда на проселке, за поворотом, дожидался, попрощался со мной, попросил: «Не забывай нас, ни за что не забывай, парень, а то пожалеешь!» – Янис усмехнулся. – Может, вовсе и не попросил, а приказал! После его ухода мама сказала: «Отправился к Мадине… утешать…»

– Не забывай его, раз он просил, – глухо проговорила Мадина. – Постарайся, если сможешь… Помни, будто он нам близкой родней доводился.

– Я так и считал всегда, да и Хаджарат сказал, что его отец и Бадра побратимами были. Правда, ведь?

Она с минуту молчала.

– Отец Хаджарата сделал для него то, что не каждый брат сделал бы, – сказала погодя. – Но Бадра не умер его должником. Нет. Он заплатил долг сполна.

– Ласа говорит: большая потеря для всех… для села.

– Она знает, что говорит, – пробормотала Мадина, переполненная благодарностью к невестке, заведшей разговор с Янисом о Бадре и к самому мальчику, не забывшему слов Ласы, а может, даже понявшему, как Мадине требовалось их услышать.

Она выжидающе глянула на Яниса. Вдруг он еще что-нибудь вспомнит о Бадре? Но мальчик уже поднялся на ноги и сказал:

– Я в контору пойду, договорился там встретиться с Хаджаратом.

Потом Янис стал приезжать каждое лето. В один из приездов он даже стал дружкой на свадьбе Соны и, говорят, всех девушек свел с ума красотой и красноречием. К тому времени он уже был студентом и, наверное, лучшим среди всех, с кем он учился. И до чего он обрадовал Мадину, сказав, что жених Соны ему понравился, мол, мужественный, красивый и благо… словом, душой чуткий.

– Руку вот потерял на войне… – горестно сказала Мадина.

– Уарлам и с одной рукой тысячи двуруких стоит! – заверил ее Янис, решительно этак, почти как Хаджарат.

С Хаджаратом – понятно: взрослый человек, не спутает медь с золотом, а Янис ведь еще юнцом был, но разглядел же какой человек Уарлам и с первого раза. Такой дар смолоду редко кому дается…

Как поначалу ерепенилась Сона, когда Хаджарат обмолвился, мол, дошли до него слухи: Уарлам породниться с ним хочет, на сестрицу заглядывается.

Впрочем, тут никакие слухи и не требовались. Все уже приметили: как Уарлам появляется в доме, он все время ищет глазами Сону. Он даже дерзостью ее наслаждался, как обходительным словом. Однако долго не решался Уарлам открыть, что душа его лежит к ней. Увечья своего стыдился, будто в гульбе, в постыдной драке потерял он руку. Потом все-таки рискнул, через общих друзей дал знать Хаджарату, что был бы счастлив породниться с ним.

Как разъярилась Сона, как кричала:

– Слишком много места в доме занимаю, да? Избавиться хотите?

С яростью накинулась на Ласу, заступившуюся за Уарлама:

– Сама красавца выбрала, не калеку! Для меня так и хромой хорош, и убогий, и кривой? – Она так и не сказала «безрукий». – Он торил тебе дорогу в наш дом. Опрометчивость Хаджарата прикрывал. Теперь долг ему возвращаешь?

– Замолчи! – прикрикнула на нее Мадина. – Не люб тебе человек, так и скажи. Понапрасну зачем и его, и нас обижаешь?

– Это вы меня обижаете, еще как! Увечный ко мне посмел посвататься, будто я ославленная какая! Родной братец в том оскорбления не видит! Родная мать и та не удивляется…

– Почему не удивляюсь? – прервала дочь Мадина. – Просто диву даюсь, что в тебе, безголовой, нашел человек, который может угадать изъян птицы на небе.

– Какое мне дело до его бесполезных угадываний? Ни Хаджарату, никому другому не удастся уговорить меня выйти замуж за кого попало…

Но уговорил Сону не Хаджарат и никто другой. Уговорил старый ржавый лемех, висевший на нижней ветви ясеня, росшего на гребне холма. По этому лемеху спозаранок лупил железякой бригадир, сзывая людей на работу. С первыми ударами лемеха Сона принималась проклинать бригадира, да так длинно и слаженно, что Мадина поражалась: откуда она таких проклятий набралась? А Уарлам жил в городке – сердцевине района. Там Сона могла найти себе чистенькую, «карандашную» как она говорила работу, добавляя «Не зря ведь столько лет слепла над учебниками!» Вот это, должно быть, и перетянуло. Во всяком случае, так думала поначалу Мадина. И Сона к таким выводам подталкивала, говоря:

– Хотя по утрам буду досыта спать. Какой-никакой, а толк.

И однажды Мадина не выдержала, слушая рассуждения дочери, взорвалась, кликнула невестку.

– Не могу я, старуха, с молодым человеком о таком деле говорить, зазря и себя и его вгонять в краску, свои седины на посмешище выставлять, потому прошу тебя, Ласа, поезжай в город, передай Уарламу от моего имени: «Откажись от невесты! Ее родня поперек слова не скажет. В ней сердца нет. Мизинца твоего не стоит!»

– Уех! Уех! Испугала! – подбоченилась Сона. – Да он от меня не откажется, если ты даже петлю себе на шее затянешь!

– Бесстыжая! Как с матерью разговариваешь?! – пришла в ярость Мадина.

– Не сердитесь на нее, – тихо попросила Ласа. – И слов ее близко к сердцу не принимайте… Любит она его.

– Что-о-о? – закричала Сона, залившись пунцовой краской. – Какие слова знаешь. Лю-юбит! Не будь мой брат красавцем, стала бы ты месить здесь грязь и говорить: «лю-юбит».

– Парней я встречал и покрасивее…

– Значит, они ловчее моего брата оказались, хомута на шею не повесили.

Ласа приглушенно вскрикнула. А Мадина закатила дочери такую оплеуху, что рука онемела. Невестка выбежала из комнаты. Мать и дочь остались стоять друг перед другом, одинаково ошеломленные. Мадина редко распускала руки, даже когда дети были маленькими, а уж как дочка подросла, само собой, даже пальцем ее не касалась. И вот сорвалась. Да еще тогда, когда от дочери отчий дом должен был вот-вот отчалить с грузом прожитых в нем лет, предоставив ей ступить на островок счастья.

Счастья ли?

– Винишь невиноватых, – сказала Мадина.

– А кто виноват? Если даже дочка дармоеда Махаза вчера смеялась на плантации, по мне, сказала, лучше гусь с двумя крылами, чем подбитый лебедь. Думаешь, я не поняла, что она имела ввиду? Думаешь, другие на плантации того не поняли? Кто виноват, если в спину будут смеяться: «Чего однорукого выбрала, за кривого не пошла?» Кто виноват?

– Война и зависть, – сказала на то Мадина. – На долю дочери Махаза и осел не достанется. Лебедь-то он и до последнего издыхания лебедем остается…

– Ты не мне, другим скажи!

Яростное лицо дочери с раздувающимися ноздрями с отпечатавшейся на щеке пятерней матери показалось таким жалким, таким беззащитным, что Мадина прокляла себя: «Отсохни моя рука! Век проживу – ума не наберусь!»

– Все увечье его видят, самого не видят, – сказала дочь и, закрыв лицо ладонями, заплакала в голос.

Тут-то дошло до Мадины: права Ласа. Не к сытой жизни, да и какая там особая сытость? – в городе дочку потянуло, к самому Уарламу, да только духу не хватает в том себе признаться. Для безмозглых подруг оправдания ищет, будто так уж необходимо правду выдумкой занавесить.

– Слепые не видят, а зрячие Уарламу в достоинствах не отказывают. Никто не виноват, что ты сама не хочешь открыть пошире глаза.

Соне повезло, что Янис подоспел к свадьбе. Она была горда своим дружкой. К тому же Сончка сына не с пустыми руками прислала – такой наряд достался невесте – словом не описать: белое платье, шелковое с вышивкой в виде цветов белыми же нитками с серебристыми вкраплениями.

Разговоров о наряде невесты было не меньше, чем разговоров о дружке.

Теперь Янис в каждый свой приезд заводил, оставаясь наедине с Мадиной, разговор о своей матери. Должно быть, задумал проторить между прежними подругами тропу, давно заброшенную, заросшую. К чему ее было обновлять? Разве Сончка в богатой событиями своей жизни – по слухам, она едва ли не полмира объездила – нуждалась в Мадине? Какой толк теперь от старой подруги? Или Янис считал, что Мадине Сончки не достает? Это Мадине-то, окруженной детьми, внуком, внучкой? Ласа ведь еще и внучку подарила – на этот раз чин-чином разродилась в районной больнице. Да и у Соны сын подрастал. И не спрашивайте, как назвала. Янисом! Причем уверяла, что таково было пожелание свекрови, мол, дружка невесты пленил на свадьбе родню мужа. Мадине, Благодарение Господу, близких людей хватало. Так кому нужно возвращаться к былому? Неужто самому Янису? Ради него, если понадобилось бы, Мадина и на гору битого стекла босиком взошла бы. И потому однажды она сказала:

– Мать твоя, слов нет, занятой человек. У меня ума не хватит разобраться в ее заботах. Да только привез бы ты Сончку сюда хотя бы на лето, раз сама не додумается приехать.

– Привезу! – обрадовался Янис. – Непременно привезу.

Но когда это случилось, и подруга вошла в ворота, окруженная домочадцами Мадины, – даже маленькая внучка и та семенила рядом с гостьей, держа ее за руку, – она ощутила не радость, а тревогу. Легко ли в ее возрасте нового человека принять в сердце? Былая Сончка, где она?

Раздобрела подруга, постарела и что-то начальственное, требующее немедленного отклика и одобрения, появилось в ее голосе.

– Ты вроде самшитовая, Мадина! Время тебя не берет.

– Значит, на своем месте стою! Время меня и обтекает!

– Ты и вправду не меняешься! – рассмеялась Сончка, и в строгих ее глазах появилось ласковое выражение. – Никогда мне спуску не давала!

– Будто бы! – хмыкнула Мадина.

– Видно, я вовек уважения у нее не заслужу, – пожаловалась шутливо Сончка обступившим ее родичам подруги.

– А тебе ведь до смерти именно этого и хочется! – с улыбкой сказал Янис по-русски.

Но Мадина, спасибо Ласе, поняла сказанное и с благодарностью посмотрела на своего приемыша. Хотела бы она надеяться, что именно здесь – в этом доме, на этом дворе – он научился приходить на помощь, не дожидаясь, когда о том попросят.

– Я бы озябла без тепла твоего дома, Мадина! И на той стороне его чую! – неожиданно торжественно объявила Сончка.

Лучше она сказала бы об этом наедине и не таким твердым голосом. Но все равно хорошо, что сказала.

– Кто-кто, а ты всегда умела обходиться без сторонней помощи! – проговорила Мадина.

Она таким образом старалась дать понять подруге, что не считает ее своей должницей и незачем Сончке прилюдно произносить громкие слова – небось, не выступать на колхозном собрании приехала.

Тут родичи шумно заговорили о том, о сем, вводя гостью в дом, и на миг разъединили Мадину и Сончку, как бы давая

время раскаленным угольками остыть… Глупые! Остывший уголек выкидывают вон, кому он нужен?

А Сончка, судя по всему, еще как была нужна. Недаром с таким жадным интересом смотрел на нее первенец Хаджарата – Андрей. Мадина никогда не могла понять, почему ее дети так рвались заслужить одобрение Сончки, а теперь вот и внук туда же!

Янис за время гостевания старался находиться близ Мадины, разве что не мог удержаться, чтобы не пойти на охоту с Хаджаратом. С годами страсть его к охоте и к оружию не угасла. В тот раз он привез с собой новехонькое ружье, при виде которого у Хаджарата загорелись глаза, как у мальчишки. А мальчишка – Андрей – которому впору было замереть от счастья при виде такого сокровища и бровью не повел. Он от Сончки не отходил, совал ей свои школьные тетрадки с отличными оценками, проставленными сельскими учителями. Можно подумать, для важной Сончки что-то значили отметки, что местные учителя выставляли мальчику! Да и сам мальчик ей был ни к чему и с успехами в школе, и без них. Но он этого не понимал – барабанил гостье о прочитанных книжках. Сончка же, наверное, чтобы унять его болтовню, стала рассказывать Андрею о городе, в котором она жила, какие там книжные магазины, какие театры, какое кино крутят и много еще другого вполне бесполезного при пересказе. Но мальчик слушал со щенячьим восторгом.

Мадина, увидев, что Янис и Хаджарат засобирались на охоту, предлагала:

– Возьмите с собой и мальчика. Андриа – так она звала внука – не помешает! – И хвалила, больше чем требовалось и больше, чем было на самом деле. – Он кунице в глаз попадает!

– Я звал, он не хочет! – смущенно говорил Янис, отводя глаза.

Он понимал, почему бабка гонит мальчика на охоту. Но сам внук исправно нес дежурство возле Сончки. Даже, ког-

да, приехавшая навестить гостью, Сона повела ребятишек купаться на речку и звала его с ними «Пойдем, поможешь мне управиться с детьми», он все равно остался дома, соврал, мол, горло болит, нельзя ему лезть в ледяную воду, и остался. Мадина думала, что он не удержится и поедет с отцом и Янисом на высокогорное озеро Рица. Уарлам специально приехал на райкомовской машине с водителем, чтобы для гостей устроить поездку на озеро. Янис радовался как мальчишка, сразу положил в машину что-то вроде чемоданчика в чехле и сказал Мадине, что он давно мечтал побывать на озере и порисовать и что в плоском чемоданчике все что ему нужно для рисования.

– Раньше углем обходился и хватало! – сказала Мадина.

– Раньше глаза лучше видели и сердце! – загадочно сказал он, обняв Мадину за плечи. – А теперь вот надо себе красками помогать, – и ласково рассмеялся.

Если даже и рассмеялся над ее недопониманием, она не обиделась. В ее сердце негде было укорениться обиде на Яниса.

Звали на озеру и Сончку, но она осталась дома, не захотела трястись по головокружительной дороге.

– Я же не туристка, – сказала она сыну, – и не художница. К Рице я поднималась еще с твоим отцом давным-давно. Надеюсь, с тех пор у Рицы морщин не прибавилось! – и посоветовала Хаджарату: – Расскажи Янису по дороге о легенде про красавицу Рицу, которая бросилась с горы в озеро из-за неразделенной любви.

– Я знаю! – сказал Янис. – Еще в школе читал. Когда здесь учился.

– Образованный мой! Тебя ничем не удивишь!

Ее, похоже, покоробило, что сын напомнил: было время, когда он учился в местной школе и жил в деревенском доме без достатка.

Сончка не поехала со всеми на озеро, и Андрей остался при ней. Чего он добивался, Мадина поняла лишь в день отъезда дорогих гостей. Сончка пригласила внука Мадины

приехать к ней, когда он закончит школу. Она поможет ему устроиться в институт, его смышлености и способностей особенно по математике хватит на любой институт. Андрей сиял. Ласа выглядела смущенной. А Мадина готова была отхлестать внука пучком крапивы.

– Андрей задачки повышенной сложности и те щелкает, как орехи! – сказал Янис Мадине тихо. – Большая редкость! Таким надо помогать! Поверь, мама зря никому ничего не пообещает!

Янис все сказал, как подобало ему умному, чуткому. Мадина ничего другого от него не ожидала. Ее заботило другое: кто надоумил внука вести себя так, как он вел себя с Сончкой? Или это наказание свыше, полученное с даром всякие задачки решать? Сам, мол, отличи, где наказание, а где дар. Не ее одну, как оказалось, заботило поведение Андрея. Уехали гости, и Хаджарат позвал сына в лес поохотиться. Сын обрадовался, аж взвизгнул, точно охотничий щенок, завидевший хозяина в полном снаряжении. Равнодушие его как рукой сняло. Он собрался мигом.

Мадина не знает, где пробродили сын и внук почти до сумерек. Но вернулись они без дичи. У обоих были такие бледные усталые лица, что Ласа кинулась к сыну с вопросом: не заболел ли и, обернувшись, глянула на мужа с укором. Хаджарат с годами не стал строже с Ласой, по-прежнему щадил ее, словно страх за жену не притупился за долгие годы. Он не давал и любви к ней затянуться пеленой привычки, как затягивается ряской стоячая вода.

Хаджарат щадил Ласу, но на этот раз сердито велел:

– Не трогай Андрея, на сегодня он достаточно снадобий получил.

Ласа смолчала, посмотрела на свекровь с надеждой на заступничество. Мадина расчесывала в углу длинные волосы внучки, спутавшиеся после мытья. Волосы были густые, как когда-то у Мадины, но темно-русые. Внучка капризничала: «Не цепляй гребешком, больно». Почувствовав взгляд невестки, Мадина подняла голову и проронила:

– В нашем доме даже щенков не приручали вилять хвостом перед кем бы то ни было.

– В вашем доме, в вашем доме… – пробурчал внук со своего места.

Но отец резко обернулся к нему, и он осекся. Ласа торопливо заговорила о хозяйственных заботах – отвлекала внимание от сына, уводила по другому следу. Мадина пожалела о том, что попросила Яниса привезти мать погостить. Хотя если по справедливости – в таком возрасте уже грех увиливать от справедливости – Сончка здесь была не при чем.

Андрей потом долго дичился отца, на бабушку дулся и только перед матерью по-прежнему хвастал своими успехами в школе. Он не мог скрыть бурной радости, когда приходили письма от Яниса и Сончки, и по нескольку раз перечитывал те, в которых упоминалось его имя, где справлялись об успехах Андрея в учебе, подтверждали свое приглашение, мол, после школы ждут его приезда для продолжения учебы. Еще несколько раз ему присылали какие-то книги с замысловатыми задачами и прочими премудростями.

Однажды по радио из самой Москвы со щедрой похвалой рассказали о Янисе. Могла ли предположить Мадина, когда Янис, не зная удержу, пачкал углем стены хлева да мельницы, что когда-нибудь его за это всенародно похвалят. Не за хлев и мельницы, само собой, а за пристрастие к рисованию!

Хаджарат не раз и не два гостил у Сончки. Он уверял, будто выделили Янису помещение – просторное, точно добротный сарай, чтобы он в нем рисовал без помех и вволю, сколько заблагорассудится. Несмотря на то, что теперь Янису и красок, и бумаги, и холстов девать некуда, он взял и все стены своего помещения разрисовал.

Услышав об этом, Мадина рассмеялась, – обрадовалась, что он сохранил эту привычку. Кому, как ни ей знать, что Янис спокойно не мог пройти мимо гладкой светлой стены и не тронуть ее углем! А ведь привычка не хорошей жизнью была подсказана, нуждой. Будь у Яниса бумаги вволю… Но теперь ведь есть! И все же…

– Показал мне Янис свои картины, – рассказывал Хаджарат, – много картин. В рамках и без рамок. А на одной картине луг наш нарисован. Я сразу его узнал. Но потом засомневался, зеленее он получился, просторнее, и по нему совсем маленький мальчик гоняет большой мяч – настоящий, а приглядишься, вроде бы и не мяч, глобус, что ли? Во всяком случае, ничего похожего на те тряпичные мячи, которым доводилось катиться по нашему лугу. Еще ворота нарисованы, наши. Но не железные, как сейчас, а те старые, деревянные. У ворот ты стоишь.

– Я? – встрепенулась Мадина. – Мне разве место в картине? В картину красивых надо, молодых.

– Красивые молодые – на открытках, – фыркнул всезнайка-внук и заторопил отца: – Что еще?

– Там тебя нет, успокойся, – с усмешкой сказал ему отец и вновь Мадине: – У ворот стоишь, положив руки на верхнюю планку…

– Так она и любила стоять, пока железные ворота с пиками не поставили, – сказала Ласа, и в ее голосе отчего-то прозвучало сожаление.

– Сначала видишь луг, пацана с его большим мячом. Ты – далеко, за воротами, на мальца смотришь по-особенному. Не знаю, как у Яниса вышло, как он сумел, но ты – главная, чем больше я смотрел, тем больше убеждался – главная. Я спросил у Яниса: отчего получилось? Луг такой особенный, яркий, как во сне, разуйся да и бегай по нему, и малец со своим мячом вроде нечаянной радости, будто затишье перед боем. А наша мать, далеко стоит, в темном платье, невзрачном, но почему-то все сходится на ней. Как же так получилось, что она – главная? «Потому что так и есть» – сказал Янис и больше ничего не добавил. Может и сам не очень-то понимает, почему так нарисовалось?

– Как он картину назвал? – спросила Ласа.

Мадина удивленно посмотрела на нее. Картина ведь не ребенок, к чему ей имя?

Но сын не удивился вопросу, ответил просто:

– «Взгляд поверх ворот, выходящих на луг».

Мадина покосилась на внука насмешника, может, он фыркнет и растолкует: разыгрывают тебя, бабушка. Так нет же, он слушал сосредоточенно, а когда отец выговорился, сказал:

– Саму картину Янис, наверное, не даст. Но надо бы репродукцию приобрести.

– Это что еще такое? – удивилась Мадина.

– Это значит, что можно с картины как бы карточку снять! – доступно объяснил ей внук. – С тебя картины рисуют, а ты даже не знаешь, что значит репродукция.

– Выходит, не в словах дело! – подначил отец.

Внук оказался расторопнее всех в доме, списался с Янисом и Сончкой и вот теперь «карточка» той картины висит над его кроватью. Ласа хотела повесить «карточку» в комнате для гостей, пусть люди видят. Но сын не дал, забрал к себе, объявив, что сделать снимок с картины не так-то было просто. Однако Софья Михайловна и дядя Янис откликнулись на его слезную просьбу и сделали именно ему дорогостоящий подарок, значит и место подарку над его кроватью.

Когда внука нет дома, Мадина заходит в его комнату, при нем почему-то стесняется, и смотрит на картину, особенно, когда заскучает по Янису. Ей почему-то кажется, что мальчик на лугу не просто мальчик, а сам Янис. Непонятно только, как он запомнил себя маленького так отчетливо. И мяча такого у него не было, но, видно, очень хотелось. Еще недоумевает Мадина: разве в те голодные, тревожные годы Янис, росший без матери, отца, без кровной родни, без забав выглядел таким счастливым. Неужели столь добрым, столь нарядным возвращается к нему детство?

Внук уверял гостей, что у дяди – теперь он Яниса только так и называл – есть еще много картин о родной стороне. Много – не много, но одну Янис сам привез и подарил Мадине. Не «карточку» подарил, а «живую» картину. И Мадина сразу угадала на ней памятную ольху у плетня, хотя, как это получалось у Яниса, сама на себя непохожую, памятную

для нее, но Янису-то чем приглянулось невзрачное деревцо? Ольха, как ольха, вон в лесу их не счесть. И Янис ее ничуть не приукрасил, наоборот, сердце сжималось на нее глядя, уж больно тоненькая, одинокая, всем ветрам открытая.

– Ты часто на нее заглядывалась! – сказал Янис, когда она подняла на него удивленные глаза.

Господи боже, сама не знала за собой такой привычки, а он, выходит, и подметил, и пожалел, то ли ее, то ли стойкое деревцо над плетнем.

На этот раз Ласа настояла на своем и повесила картину в самой лучшей комнате на самом видном месте над диваном с высокой спинкой.

Больше всех радости от картины получал Андрей. Он хвастал ею перед сверстниками и даже врал им, что когда художник жил в доме бабушки, и учился в местной школе, то носил ту же фамилию, что он сам. Не было этого! Само собой, Янис был записан по фамилии отца. Не байстрюк? же он был, в конце концов! Пыталась Мадина это растолковать внуку, но он уверял, что бабушка ничего не понимает в этом и он знает, что говорит. Внук, конечно, любил Мадину, но не слишком-то прислушивался к ее советам. Зато мог, расшалившись, подхватить ее на руки, точно ребенка, и уверять:

– Травинка на лугу тебя тяжелее!

– Отпусти наземь, ветер под кепкой! – сердилась Мадина.

– Пусть у меня вместо мозгов и гуляет ветер под кепкой, но поверь мне, ты мудрая наша, укладываешься в одну единственную пословицу: воз с добром абхазца и петух повезет, а положи на арбу его совестливость, так и бык с места не сдвинет». Не мешало бы добра побольше, как ты думаешь?

– Уймись, а то задам трепку, не посмотрю, что вымахал выше меня!

Внук в притворном испуге отступал, и напоследок одарив Мадину улыбкой, убегал – высокий, статный, беспечный, знавший вкус долгого детства. Не то, что его отец, ставший с семи лет опорой матери. Как рано легла на его плечи нелегкая ноша – сберечь честь дома и свою честь незапятнанной про-

нести через жизнь… В заслугу внуку одно только и можно было поставить – не ленился в школе учиться. Но ведь Хаджарат и в школе первым был, и дом на нем держался. А Андриа школу закончил, ни разу не проложив в поле борозды. Тут, надо сказать, Хаджарат не доглядел. Чужих ребятишек вразумлял, а своего за ручки плуга держаться не научил. Обмолвился как-то сын: «способный паренек Андрей. Светлая голова. А уж в математике и во всей округе ему равных не найти. Только вот крестьянской жилки в нем нет». Какой же жилки в нем быть, если не крестьянской? Никак княжеской? Так в отцовском роду князей не водилось. Да и Ласу Хаджарат из крестьянского хутора взял, не из княжеских хором.

Сразу после школы Андрей поехал к Сончке и на удивление всем с первого раза в институт поступил, важный. Как сказали Мадине, туда и парни, учившиеся в городе в лучших школах, не могли попасть. Сам поступил или Сончка замолвила за него словечко, кто теперь скажет?

Однажды Мадина случайно услышала разговор внуков. Они сидели на крыльце и болтали о том, о сем. Внук рассказывал о городе, в котором он учился. Сестра слушала с жадным интересом.

– Подумать только, бабушка – ровесница века, – вдруг сказал внук и Мадина, находившаяся в комнате для гостей, – распахнутые двери как раз и выходили на просторное крыльцо – навострила уши. – А что она видела? Столько всего вокруг происходило и что она знает об этом? Ни-че-го! Софья Михайловна росла по соседству с ней, но, смотри, как многого добилась?! Почему? Цель у человека была, вот, почему! Под лежачий камень вода не течет. Ты себе и не представляешь как там, на чужой земле, с ней носятся. Все Софья Михайловна, да Софья Михайловна! В ее тени и внукам хорошо расти!

Тут внучка, – жила, жила в ней бабкина дерзость! – перебила брата:

– Какое приволье в тени? В тени чахлые деревца поднимаются!

– А что тебе еще остается сказать?! – рассмеялся Андрей. – Кто тебе другую бабушку даст?

– Я лучше другого брата себе поищу, готового и за меня и за себя постоять без всяких подпорок.

Тут Мадина поднялась с дивана, на котором сидела, замерев, и вышла к внучатам. Появление ее ничуть не смутило Андрея. Он обратил к ней любопытствующее лицо и подразнивающим голосом осведомился:

– Скажи, Глава нашего дома, что ты видела в жизни?

И лукаво скосил глаза на сестру.

– Жизнь… – сказала Мадина. – Я видела жизнь… как все. Что еще могла видеть?

– Один ноль в ее пользу! – вскричала внучка и, подскочив к Мадине, обняла ее и слегка влажными полными губами коснулась сухонькой щеки бабушки. – Ну что, получил?

Андрей сдвинул на переносице длинные брови, как сводил, когда при деревенских гостях поднимал тост за здоровье Мадины и произносил то, что от него ожидали, во всяком случае, по его разумению:

– Выпьем за главного человека в нашем доме. Недаром говорят – нет в доме старого человека, нет святыни. Выпьем за бабушку, нашу святыню.

– Счастливчик! – сказала ему Мадина и двинулась к лестнице, попутно взъерошив внуку густые волосы.

– Я хочу твоих вареников с сыром. Сготовишь? – догнал ее вопрос внука.

Повинился по-своему. И она подумала, что лучшего ей и не надо.

Он шел по двору, устремив на нее глаза, не утратившие со временем ни синевы, ни зоркости. Он – лучший из ее детей. О нем сильнее, чем о других, болело сердце, потому что он находился далеко от нее, и потому что за долгое время она не изжила страха его потерять. А вдруг рядом с родной матерью, в разнообразной своей жизни, где всего вдоволь, – и славы, и удачи, и любви – Янис забудет о Мадине. И тогда не

только она, но и земля, знавшая его малым слабым росточком, потеряет его. И неизвестно к каким еще потерям это приведет.

Он шел по двору не один. Справа от него – Хаджарат, седой, морщинистый, но поступь у него по-прежнему легкая, как у Шартына, слева – Андрей, такой оживленный, такой счастливый, будто не по земле, по облакам шагал.

Мадина положила на горку муки сито, поднялась на затекшие ноги и, сделав коротенький шажок, остановилась, предоставляя Янису пройти разделявшее их расстояние.

Он не обнял ее. Только взял ее руки в свои слегка подрагивающие ладони, подержал, точно согревая. Затем нагнулся, поцеловал, попросил на языке, вкус которого она когда-то дала ему ощутить, а он сохранил:

– Будь с нами всегда.

БЫК УДАЧИ

Повесть

Следующая лекция начиналась в двенадцать двадцать. Андрей, располагая почти двумя часами свободного времени, решил проехать к морю. Последнее время он постоянно ощущал усталость, порой даже думал, правда, пока как бы подтрунивая над собой: «Сойти, что ли, с дистанции?» Но ведь не по-спортивному уходить молодым, если даже понимаешь – нечто, с обозначением которого ты еще не определился, подтачивает твои силы.

Впрочем, что бы ни творилось в душе, по коридору университета Андрей шел всегдашним упругим шагом – стройный, с иголочки одетый молодой преподаватель. Студентки, здороваясь, смотрели не с притворным уважением, а с затаенным женским интересом: призывно. Внимание девушек подбадривало, как свет в ночи.

Андрей вышел в ясный осенний день, дохнувший на него прохладным ветерком. Стайка студенток, нарядных и звонкоголосых, точно птичий выводок, впервые собирающийся и отлет, встретилась ему.

– Здравствуйте, Андрей Хаджаратович!

– Можно прогулять занятия, Андрей Хаджаратович? В такой день науки не лезут в голову!

А когда они «лезли», спрашивается?

Он на ходу улыбнулся им насмешливой обаятельной улыбкой счастливчика. Девушки скрылись в здании, унося,

как отличие, улыбку молодого преподавателя, а он направился к воротам, возле которых был припаркован его «Жигуленок».

Открыв ключом дверцу, Андрей сел на обитое искусственным мехом сиденье, осторожно вывел машину на улицу и медленно покатил по дороге. Он давно приметил узкий переулок, заросший по обочинам сорняками. Автомобили сюда заворачивали редко, хотя и тянулся переулок до самого моря. Предстояло ехать минут двадцать, но Андрей не посчитался со временем, желая обезопасить себя от неожиданных встреч. Ему хотелось побыть одному. Правда, свою обособленность ото всех необязательно было подтверждать безлюдным пейзажем, как он с усмешкой отметил, направляясь к морю, но, понятно, возвращаться не стал. Между тем, если не считать досадного срыва, случившегося два месяца назад на приемных экзаменах, на работе все ладилось, во всяком случае, теперь-то его, как нашкодившего щенка, никто не посмеет вышвырнуть вон. Денег, конечно, не хватало, как не хватает всем, живущим на честный заработок. Зато жилищная проблема решена наилучшим образом, не приходится ютиться, как многим, по чужим углам. Правда, в городской дом сына родители наведываются нечасто. Но это объясняется лишь тем, что отец, сообразуясь с дремучими своими представлениями, видно, считал: сыну надлежало возвести собственный Дом, а не лепиться, как ласточкино гнездо, к жилью, доставшемуся его жене от деда. Между тем родитель в деревне обучал ребятишек истории, не только землю пахал. Уж ему-то сам бог велел выработать гибкое мышление! Попробуй в преподавании истории, особенно новейшей, обойтись без гибкости. Но отец обходился как-то. С матери же спрос невелик. Так повелось – она всегда заодно с мужем. Как некогда предстал он перед ней героем-спасителем, так и застрял на этих позициях намертво. И тогда мать Андрея, еще звавшаяся Олесей, а не Ласой, как нынче, и не ведавшая о грядущей судьбе и чужой земле, на которой, оказывается, было суждено жизнь прожить и детей поднять, вынесла с

поля боя раненого воина, пребывавшего в беспамятстве, и укрыла на своем бедном хуторе...

Андрей понимал: слишком прислушивается к отчему дому, и это никак не вяжется с его собственной материальной независимостью. Впрочем, только дурню невдомек: самая суровая зависимость – не материальная, а та, что замешена на любви...

Доехав до конца переулка, упиравшегося в берег – здесь не было ни волнорезов, ни насыпи, – Андрей остановил машину, вышел наружу и, сторожко ступая, точно не доверяя песчаной почве, полого спускавшейся к гальке, пошел к сонно шуршащему морю, мутно-голубому, как застиранный ситец. Андрей прошелся к самой кромке прибоя, щурясь, вгляделся в бледный горизонт. Море было пустынно, во всяком случае, та его часть, которую Андрей мог охватить взглядом, – ни быстроходных катеров, ни важно-медлительных пассажирских судов, заполненных людьми, которым времени девать некуда, ни нарядных парусников.

Андрей не любил морского купания, предпочитал ледяные горные потоки. Ему нравилось яростное сопротивление течения. И то нравилось, что ему хватает сил сопротивление сломать – плыть вверх по течению. Не в пору паводка, разумеется, и не на всех реках, но все-таки... Он медленно расхаживал по берегу. Здесь, недосягаемый для чужих взглядов, позволил он себе расслабиться, и тонкое лицо приняло старившее его, тоскливое выражение.

Поначалу, когда стала одолевать непонятно откуда взявшаяся тоска, Андрей решил: некая болезнь, пока еще тайно, как это свойственно самой коварной болезни века, угнездилась в нем, чем объясняется и ощущение подавленности, и вспышки раздражительности. Особенно после того, как случайно обнаружились те треклятые письма. Теперь Андрей с трудом удерживался от того, чтобы по любому случаю ехидно не подкалывать жену. Хотя при этом совершенно определенно знал: в другое время только посмеялся бы над листками из школьной тетрадки, исписанными старательным

почерком первой ученицы. Да и сейчас он не придал бы им такого значения, если бы жена повела себя умно.

– Сохранила черновики школьного сочинения на тему первой любви? – спросил он шутливо.

Но жена посмотрела на него с таким осуждением, будто он выкрал государственную тайну и продал врагам, и ответила зло:

– Во всяком случае, тебе они не адресованы!

– Что это значит? – вспылил он.

– Это значит: я любила, меня – нет.

Он засмеялся:

– Сколько пафоса! К детской своей бредятине ты хоть сейчас можешь отнестись с юмором?

– Не вижу ничего смешного!

Вот так из ничего она создала между ними поле высокого напряжения. А ведь могли вместе посмеяться над неуклюжими подростковыми рассуждениями, навеянными книгами для юношества, не лучшего, кстати, образца. Но посмеяться Рене не хватило сообразительности, что придало его нечаянной находке – жалким письмам – статус скандала. Лучше бы она его построила бы на чем–то другом, упрекнула бы, что ли: «Нарочно придираешься? Повод нужен уйти?» Или жена догадывалась – повод долго искать не придется, скажет: «не хочу жизнь прожить без детей, пустоцветом», и все его поймут, включая и родичей Рены, даже посочувствуют. Только какой толк ему от этого сочувствия? Заявился бы в отчий дом, размахивая им, как флагом? Вернулся бы к истокам своим, на круги своя? Он, что, конь в шорах, ходить по кругу? Как бы не так! Лишь бы здоровье не подвело, а марафон свой он пройдет. Но здоровье беспокоило. Преодолев врожденное недоверие к врачам, стыдливое нежелание подставлять свою совершенную – с виду! – плоть под пристальный взгляд специалистов (а сколько малых и больших изъянов может обнаружиться!), Андрей взял отпуск и поехал в Ригу. К Янису, воспитаннику бабушки Андрея, ныне известному художнику.

Как ни странно, слава не вытеснила из души Яниса прочно укоренившуюся привязанность к дому в глухом селе, к его хозяйке, в общем-то ничем непримечательной женщине, у которой еще мальчиком он жил несколько лет перед войной и всю войну. Недолгий срок, если соотнести с уже прожитой жизнью. Но Янис однажды обронил: «Время имеет особенность, как спрессовываться, так и до бесконечности растягиваться, в зависимости от того, что в него вложено». Неужто деревенская безграмотная женщина, известная лишь крутым своим норовом, имела власть над временем? Янис до сих пор говорит по абхазский, не так свободно, само собой, как на родном, тем не менее, объясниться может, иногда очень даже пространно. И все это благодаря бабушке Андрея, хотя в Абхазии полно кровной родни Яниса по материнской линии. Однако в свое время родня не простила его матери, что она, красивая, видная и даже образованная, предпочла в мужья чужака, латыша с берегов холодного моря, опрометчивым решением подставив под сомнение свои, казалось бы, бесспорные достоинства. Как же хватило ума и дальновидности бабке Андрея решить по-своему? Отчего же она, следом за всеми, не отвернулась от подруги? Бабушка даже взяла ее ребенка в дом, когда подруге приспичило последовать за мужем в его родные края. Причем муж вовсе не звал ее к себе, ведь и сам-то он пребывал там чуть ли не под чужим именем. Непонятно, но случилось так, как случилось. Счастливая, выходит, выпала монетка. Старушка, не ведая, что творила, обеспечила внука – спасибо, хоть это не миновало нашего порога! – родственником, которым не зазорно было гордиться. Никаким другим богатством смолоду овдовевшая бабушка утешить не могла.

Мать Яниса на чужой земле сумела поставить себя так, как иным и на родной не удается. На чужой сторонушке и сокола зовут воронушкой. Вроде так говорят. Но мать Яниса доморощенную мудрость опровергла, набрав должную высоту. После школы Андрей по ее приглашению поехал в Ригу, получил образование, при желании мог бы там и осесть. Софья

Михайловна (для бабушки она навсегда осталась Сончкой!) помогла бы устроиться, но он предпочел домой вернуться.

Однако, почувствовав себя плохо, Андрей отправился в Ригу, в город своей юности, как любил говорить всем и думать. Он считал, что был неотразим для северянок, что в круг неторопливых сдержанных молодых людей той стороны врывался наподобие смерча, втягивая в коловращение, может, зачастую против воли (но нет сил удержаться!), юных и совершенных девушек. Андрей теперь все чаще вспоминал годы студенчества, как непрерывный праздник, на котором он всегда срывал главные призы. Правда, справедливости ради приходилось признавать: в Риге он обретался не просто рядовым студентом, а как бы под двойным прикрытием: важной должности Софьи Михайловны и славы ее сына-художника. Видно, не только обаянию, смышлености и математическому дарованию, оказавшимся не столь выдающимся, как представлялось дома, он был обязан столь счастливо сложившейся студенческой жизни.

Андрей и любил Яниса, и гордился им. Софью Михайловну ценил, покорно снося ставший с годами вздорным характер – а может, он был всегда таким? Терпеливо выслушивал Андрей бесконечные сетования Софьи Михайловны на молодежь, гася в себе насмешку, мирился со всевозможными поучениями. Старуха, похоже, пребывала в уверенности, что прожила достойную жизнь, не совершив ни одной, даже незначительной промашки. Можно подумать, кому-то когда-то удавалось прожить такую жизнь! И только единственный человек – убитый на войне муж! – мог соперничать с Софьей Михайловной в праведности. И каких только замечательных качеств она ему не приписывала! С годами их ассортимент, естественно, расширялся.

Андрей теперь понимает: Софья Михайловна, вознося мужа до небес, искала себе оправдание. Раз уж она ради одного человека пошла против близких, пренебрегла родной стороной, даже сына забросила на долгие годы, то избранник должен был обладать такими достоинствами, которые

оправдали бы любую жертву. Вроде не случается бесполезных жертв!

Характер у Софьи Михайловны был аховый, это верно, но в Андрее она принимала доброе участие, что, кстати, можно поставить в заслугу обоим. Не у каждого хватило бы терпения поладить со старухой, расположить к себе. А Софья Михайловна, случалось, и откровенничала с Андреем, не только уму-разуму учила. Однажды призналась, как трудно было ей после долгой разлуки завоевать доверие сына. «До конца он так и не стал моим, – сказала она, – слишком много своего бабка твоя в него вкачала!» Но тут же широко улыбнулась – благодаря этой улыбке и человек, не знавший ее прежде, понял бы, что в молодости она была хороша собой – и добавила: «Правда, это не самое худшее, что могло с ним случиться!»

В Риге никакой болезни у Андрея не обнаружили, и он, немного ободренный, подолгу ходил по узким улицам, сопровождаемый Янисом, хотя можно ли сказать о столь выше тебя стоящем и по возрасту, и по успехам человеке – сопровождающий? Янис расспрашивал о доме, о родных. Его занимали всевозможные подробности, даже то, сохранилась ли у плетня старая ольха. Подхлестываемый жадным интересом Яниса, Андрей охотно отвечал на расспросы. Они льстили с одной стороны, с другой – досада брала. Возможно, Андрей нужен этому пожилому человеку с медлительными движениями и не полинявшей с годами синевой глаз лишь постольку, поскольку является как бы осколочком старого зеркала, в которое Янис гляделся в детстве и отрочестве.

– Как поживает Рена? – справился Янис, хотя зеркало, в которое он гляделся, не могло отразить ее.

– Работает, – односложно ответил Андрей, невольно хмурясь.

Янис внимательно оглядел его и больше не заводил разговора о Рене. Неужто угадал: упоминание о жене не в радость Андрею. Получается, заметно по человеку – не все слава богу? Это задело за живое. Меньше всего Андрей желал

выглядеть потерпевшим поражение. Но, выходит, не может скрыть, что не он носит чемпионскую майку? Впрочем, до финиша далеко. И при чем здесь Рена? Если они и разбегутся, еще неизвестно, кто больше потеряет.

Рена... При первой встрече она пробудила в нем лишь глухое, ему самому непонятное раздражение. Черные тяжелые волосы девушки свободно падали на плечи, оттеняя на редкость белое лицо. Малокровная белизна кожи в сочетании с иссиня-черными волосами – первое, что остановило внимание. Показалось это ему неестественным, точно нарисовали девицу на ватмане – и тонкие брови дугой тому подтверждение! – потом рисунок сошел с листа и облекся в плоть. И глаза черные, как капли туши, непроницаемые. У Рены крупный подбородок и большой неулыбчивый рот. Художник, похоже, любил работать широким пером. Роста Рена среднего, полногрудая, медлительная... Андрею она показалась еще и тугодумкой. Задело, что девушка не выказала (с ее-то наружностью!) интереса к нему, будто каждый божий день ее знакомили с такими, как Андрей, стоящими парнями, будто косяком они за ней ходили. Между тем, девушки, во всем превосходившие Рену и по внешности, и по уму, шалели от небрежных шуток Андрея. Он знал себе цену. Три года как проучился в Риге и мог похвастать, что и делал в кругу приятелей, множеством одержанных побед. Он усомнился в равнодушии Рены, не мог не усомниться. К тому же Инар познакомил их, наверняка, не зря. Парень приходился двоюродным братцем девушке и, похоже, не прочь был породниться с Андреем. Он не забыл сообщить, что сестрица его учится и Москве, на юрфаке, рвется в адвокаты – защищать всяких горемык, задарма защищать, от избытка доброты. «Слушай, как она возьмет нас под защиту, любой закон заплачет и отступит», – заявил братец Рены, ерничая и даже, как показалось вечно настороженному Андрею, подделываясь под простонародный, по своему разумению, стиль.

Это чтобы дружку было понятнее, что ли? Андрей принял навязываемую игру – не чувствовал он тогда в себе силы,

чтобы отказаться от навязываемого! – и с напускной горечью проговорил: «Мало того, что человек угодил на скамью подсудимых! Совсем надо добить, поручая защиту женщине?» Ну и по-дурацки, должно быть, это у него прозвучало! Да только Рена вряд ли в вникла в его красноречие, стояла с отсутствующим видом. Будто на берегу весенней реки стояла, чей временем пробужденный шум не мешал ей. Будто сама жила вне времени...

Нынче Рена работает в юридической консультации и не слишком, надо заметить, перетруждается. Здесь люди вспоминают о юристах, когда попадают в крепкую переделку. Тогда они не в советах нуждаются, а в адвокате с хорошо подвешенным языком и гибким умом. Такими качествами жена Андрея никак не может похвастать. Гибкий ум, между прочим, проявляется при ином характере. Легком. В Рене же с самой юности не наблюдалось никакой легкости. Ни в чем. Ни в разговорах. Ни в движениях. Что не привлекало Андрея – а кого это может привлечь? – но, как ни странно, мешало пренебречь девушкой. Так и подмывало острым словцом задеть ее, пробудить от спячки, заинтересовать собой, пусть бы потом мучилась, не умея сладить с собой. В день знакомства Андрей с юношеской горячностью и деревенскими словами, которые, когда он не контролировал себя, всплывали в памяти, мысленно пригрозил: «Не буду я сыном своего отца, девушка, если ты у меня еще не поплачешь!»

Все от того же Инара удалось кое-что узнать о Рене. Родич тугодумки и сам умом не блистал, если начистоту, а держался чемпионом оттого, наверное, что жил в центре города, в просторном доме отца. Андрею же приходилось во время каникул лепиться то к одним, то к другим, обосновавшимся в городе родичам. Оказалось, родные Рены – научные работники, а дед и вовсе профессор, чьи труды – кладезь премудрости, и не знать их невозможно. Андрей, разумеется, сказал, что знаком с научными откровениями профессора. И приврал самую толику. Имя-то было на слуху. Впрочем, живя в крохотной республике, невозможно не знать имени

хоть мало-мальски выделяющегося из толпы человека. Что же касается трудов профессора, ну кто станет углубляться в них, кроме тех, кому это надо по роду работы?

Рена жила у деда, отдельно от родителей, якобы потому, что за стариками требовался уход.

– Как же десять месяцев в году обходятся без вашей помощи, раз вы студентка и учитесь в Москве? – полюбопытствовал как-то Андрей у Рены.

Он с интересом ждал ответа, знал, что подловил. Как же она выкрутится? Но выкручиваться Рена не стала, сказала просто:

– Обходятся как-то...

И он не стал допытываться, как именно. А то, глядишь, его нарочитое простодушие еще примут за тупость. Позже Андрей узнал: у Рены – не родной отец. Потому-то, наверное, она и жила у стариков. Они, надо думать, в помощи не нуждались. Ни в чьей! Старикам – выбившимся! – почет! Трудно сказать, в чем заключалась помощь внучки, но ее саму баловали почем зря. Такими, как Рена, невозмутимыми, не удосуживающимися внести ясность в свои слова и поступки, будто им совершенно безразлично, что о них подумают, не рождаются. Такими становятся, когда тылы прочно защищены. К чему суетиться, если и без того очевидно – тебя не обойдут, не затопчут? Позаботились о тебе, поставили как бы на холме. Теперь заметят. Особенно стоящие внизу. Заметят и запомнят, как запомнилось навязшее в зубах имя профессора.

Хорошо родным Андрея, которым всегда хватало дворовой своей гордыни твердить затертые мудрствования, да еще с таким видом, будто сами додумались, мол, обошли вниманием сидячего, так он вскочил – вот я здесь! С пренебрежением, понятно, упоминался суетный горемыка. У самих-то самоуважения – ого-го! Ни перед кем на цыпочки не становились! Бедные мои родичи! Да сейчас хоть на цыпочках стой, хоть на два вершка поднимись выше – ноль внимания, если за спиной кто-то голосистый – из тех, к кому

прислушиваются, не только заплутавшись в лесу! – не станет выкликать, причем, не по принуждению, а за мзду: «Смотрите на него! Оцените по достоинству!»

Потом Андрей встретил Рену во время зимних каникул, случайно столкнулся с ней на улице в первый же день приезда. Он и короткие зимние каникулы делил между отчим домом и городом, где заводил друзей, рассказывая о Риге столь часто и пространно, что некоторые знакомцы принимали его за рижанина и спрашивали, как его родителей забросило так далеко, и кем они работают. «Отец – историк», – небрежно ронял Андрей, не уточняя, как и насколько тот причастен к истории. Конечно, Андрей прекрасно понимал: заинтересуется им кто-нибудь всерьез, за час выяснит всю его подноготную. Нет на родной стороне секретов – и все тут. Тем более приходилось торопиться стать своим в городе, где он собирался – эту высоту наверняка можно было взять! – жить до конца дней своих.

Андрей узнал Рену сразу. Он даже удивился. Не предполагал, что так хорошо она запомнилась. Девушка вроде немного похудела, впрочем, недостаточно, чтобы что-то существенно изменилось в ее облике. Волосы по-старушечьи были прикрыты большим черным платком, что не вязалось с замшевым пальто спортивного покроя. Впрочем, несоответствия самой природой были определены для Рены. Опустив ниже глаза, Андрей заметил, что полные ноги девушки обтянуты черными чулками и сапожки тоже черные. Тут сообразил: и старушечий платок неспроста. Похоже, она – в трауре.

– Рена...

Он спрятал ее прохладную без перчатки руку в своих ладонях, сочувственно и вопросительно – что нас достало? – глянул в глаза.

– Дедушка, – проговорила она сдавленно.

Он испугался, что Рена заплачет, и сильнее сдавил ее ладонь – и снизу, и сверху! – точно препятствуя влаге просочиться из глаз. Рена не заплакала, деликатно высвободила

руку, сунула в карман, может, за платком, но так его и не достала, глянула на Андрея виновато – прости, вынуждена огорчить! – и сообщила: – Не стало его... месяц назад.

Окончательно, выходит, высушило время кладезь премудрости. Андрею, само собой, не было дела до старика, но Рене он от души посочувствовал. С уходом старца она наверняка ощутит, что ненароком может оказаться на сквозняке. Брешь образовалась в прочном тылу, вот что! Но другие всю жизнь вынуждены рассчитывать на самих себя и – ничего! Их-то никому не приходит в голову пожалеть!

– Я не знал, – сокрушенно проговорил Андрей. – Наверное, в газетах было сообщение, но я же – в Риге, – заметил мимоходом. – Наших газет, местных, не получаю. И никто не написал!

С какой стати ему должны были написать о смерти старика? Кто он был Андрею? Дедом девушки, с которой парня случайно – пусть и не случайно! – познакомили однажды? Но такие заслуженные, такие почтенные люди, очевидно, имеют право на внимание даже тех, кто о них знал понаслышке, особенно отправляясь в последний путь.

– Это не только для вас потеря, для всей республики, для всех нас...

Слова находились легко, словно он некролог шпарил наизусть. Рена – надо же! – слушала жадно. Рассчитывала таким образом затянуть образовавшуюся брешь? Или была так привязана к старику, что позабыла: и он смертен? Неужто такие, как она, ледышки, способны прикипать сердцем к близким? Ко всем близким или к тем, кто в люди выбился?

Андрей молча пошел рядом с девушкой. Она не возражала, только сообщила: ей нужно накупить продуктов. В отличие от Андрея она, похоже, не собиралась менять свои планы ради случайной встречи. Нет, так нет. Ему даже нравилось, что она, не смущаясь присутствием молодого человека, возилась с кульками с сахаром, бутылками с подсолнечным маслом и вовсе, кажется, не обращала внимания на любопытные взгляды продавщиц, которые наверняка знали, кто

она такая, и Андрея – хотел бы он надеяться на это! – помнили в лицо. Не станут ли потом судачить, что девушка, не успев даже снять траур, разгуливает с молодым человеком? Почему Рену это не заботило? Или она и не допускала мысли, что их имена кто-то может поставить рядом? Будто так уж это невозможно!

Сделав покупки, они вышли из гастронома. Не мешало бы взять у девушки кошелку. В Риге Андрей не преминул бы предложить помощь, но тут медлил, опасаясь встречи с кем-нибудь из приятелей зубоскалов, которые потом проходу не дадут: «Слушай, тебя в тот дом тяжести таскать наняли?» «Выгодная невеста службы требует, понятно!»

– Дайте мне кошелку, – пересилив себя, все-таки предложил Андрей.

– Нет, спасибо, я сама донесу! – решительно отказалась Рена, и в глубине ее глаз, показалось, вспыхнула насмешка и погасла, точно кто-то включил и выключил фонарик, убедившись в его исправности.

– В Москву когда едешь? – спросил он на абхазском, чтобы с «вы» перейти на «ты».

До того они говорами по-русски. На родном языке даже к старикам не обращались на «вы».

– После каникул и поеду.

– Дала бы адрес. Весной собираюсь проскочить в Москву, навестил бы. Никуда он, конечно, не собирался. Но скажи она адрес, непременно съездил бы. Интереса ради. К тому же Янис часто бывает в Москве. Можно было присоединиться к нему и даже вместе с ним навестить Рену. Появиться с Янисом в общежитии – это, наверно, все равно, что въехать на белом коне.

– Бабушка на похоронах не плакала, – вдруг сказала Рена. – Она ведь у нас человек старой закалки, на людях мужа оплакивать не стала, а теперь от слез не просыхает, отказывается есть и все плачет, плачет...

Вот так неожиданно она разоткровенничалась. Но он-то сразу понял подоплеку откровенности. Упоминая о безутеш-

ной вдове, Рена, должно быть, упрекала Андрея в бестактности: мол, горе такое, а тебе адрес подавай... Но если бы он и собрался бы в столицу, так не раньше весны. К тому времени, надо полагать, Рена утешилась бы. Не век ведь скорбеть.

– Дальше я, пожалуй, пойду одна, – объявила Рена, когда они оказались на улочке, в глубине которой стоял ее дом, равнодушно попрощалась, проговорив ровное «до свидания», точно выкинула из кармана завалявшуюся там ненужную бумажонку, и пошла прочь, опустив голову и немного кренясь набок, – кошелка все-таки оттягивала руку.

Андрей круто повернул назад, борясь с нахлынувшей яростью. На тех каникулах больше не довелось увидеть Рену, хотя он целую неделю слонялся по городу в надежде на случайную встречу. Андрей намеревался пройти мимо, холодно кивнув, наверняка озадачив этим девушку, а, возможно, исподволь внушив мысль, что современных молодых людей надо куда больше поощрять. Времена неприступных крепостей миновали безвозвратно. Теперь предпочтение отдается уютным квартирам. Так-то. И кто нос дерет, вполне возможно, останется при своих печальных интересах.

Андрей вернулся в Ригу с обидой на Рену, смутной обидой, в суть которой он старался не вникать. Тем не менее, обида не давала забыть о ней. Помнить-то помнил, что не мешало брать полными пригоршнями дарованное молодостью и чувством свободы.

А потом неожиданно Рена материализовалась в Риге. Правда, приезд ее не имел отношения к Андрею, да и вообще к чему бы то ни было. Ее попросту прихватила с собой мать, пожелавшая, наверное, развлечь дочь, утомленную учебой в столице. Сама же она приехала в Ригу не развлекаться, а работать. Мать Рены, оказывается, занималась историей современной национальной живописи, о чем никак нельзя было догадаться, глядя на ее деревенское широкое лицо без следов косметики, на кошмарный пучок полуседых волос, на неуклюжие движения. Вот от кого дочь унаследовала неповоротливость. Возможно, профессия накладывает отпечаток

на человека, но не в случае с матерью Рены. Здесь, похоже, сильнее профессии оказалась кровь бабки-крестьянки. Ведь отец у этой женщины, что ни говори, профессором был, хоть и провинциальным. Привязать бы к ее боку корзину, нахлобучить широкополую шляпу и отправить на чайные плантации. Наверняка преуспела бы, и фотография ее с пафосной подписью украсила бы первую полосу республиканской газеты. Так нет же...

Мать Рены еще носила траур по отцу – черное платье самого простого покроя, черные чулки, туфли на низком каблуке, черный шифоновый платок, накинутый на плечи, окончательно придавал ей вид непроходимой деревенщины. А Рена в ношении траура, слава богу, ограничилась сорока днями и теперь щеголяла в фирменном джинсовом платье, что, впрочем, тоже не шло и не могло идти к ее округлым формам.

Рена с матерью объявились у Яниса без предупреждения, и случилось здесь быть, кроме хозяев, Наде – девушке, с которой в ту пору встречался Андрей. Он без стеснения, сообразуясь с тамошними нравами, приводил подружек и на квартиру к Янису, и в его мастерскую. Предпочтение многими девушками отдавалось мастерской, особенно, когда там не было самого художника. Но Наде нравилось крутиться в квартире, оживленно вступать в общие разговоры за обеденным столом, засыпать Яниса вычитанными из книжек суждениями о художниках и живописи. Он всегда выслушивал ее, вежливо наклонив голову, произносил неопределенное: «Та-ак», случалось, смешливо щурился, но ни разу насмешкой не поставил Надю на место и ни разу не дал втянуть себя в спор.

В те дни отсутствовала Софья Михайловна, явно неодобрительно относившаяся к частой смене Андреевых подруг, правда, главным образом осуждая лишь девушек, неспособных – очевидно, как она в свое время! – внушать сильные и непреходящие чувства. Софья Михайловна лечилась в санатории. Надя днями напролет торчала в квартире, и это

называлось «вместе готовиться к экзаменам». Когда, наконец, экзамены были сданы, пребывание в доме стало как бы традицией.

Вторжение неожиданных гостей расстроило Надю. Она шепотом пожаловалась Андрею, что раз есть телефон, гости предварительно могли бы позвонить и условиться о времени визита, а не сваливаться, как снег на голову. Но Янис «снегу» обрадовался, оживился, кликнул жену Лайму, торопясь поскорее познакомить ее с неожиданными посетительницами. Андрей досадовал, глядя на него. Чушь, хоть и восторженную, которую несла старшая гостя, невозможно было слушать без чувства неловкости. Вогнав хоть в какое-то русло ее словесный поток, можно было добраться до сути, заключавшейся в том, что назрела необходимость в выставке работ Яниса в Абхазии, особенно тех работ, которые воспевают красоту края, где прошла чудесная пора жизни художника – детство!

Разве Янис не видел, что перед ним сидит законченная дура? Разве он был обойден вниманием, недополучил признания? Что к его авторитету могла добавить выставка в областной картинной галерее? Андрей умом, конечно, понимал: все дело в том, что простецкого вида женщина явилась из города, который в голодную военную пору – «в чудесную пору его жизни» – из деревенского дома бабки Андрея, возможно, и выглядел средоточием прекрасных неожиданностей, например, коробки цветных карандашей. Но разве он не вырос из ребячьих своих представлений, как из детских штанишек? Или сладко цепляться за них? Людям, особенно выбившимся, свойственно приукрашивать свое прошлое. Нынче модно снабжать его избытком трудностей. Только не предполагал Андрей, что и Янис подвержен моде...

Голубоглазая светловолосая жена художника, похоже, прониклась к гостям добрыми чувствами, как проникалась ко всем приятным для ее мужа людям. Держась в тени мужа, тем не менее, она направляла разговор, стараясь, чтобы его русло было удобно и хозяевам, и гостям. Рена чинно сиде-

ла возле матери. С таким вот внимательным лицом она, наверное, слушала из первого ряда аудиторий преподавателя, особенно, когда ни черта не понимала, авось старательность зачтется на экзамене.

Надя уселась на ручку кресла, в котором расположился Андрей, и он чувствовал себя крайне стесненно и вовсе не из-за присутствия Рены, скорее, из-за ее матери. Той, наверняка, показалось зазорным поведение Нади. Окажись на месте Нади Рена, она от негодования, возможно, потеряла бы дар речи. Но ее неуклюжая дочь и впрямь выглядела бы нелепо на ручке кресла, независимо от того, кто сидел бы в нем, пусть даже родная бабушка. Не имело значения, какое мнение составит недалекая женщина о его подруге. Не имело, но почему-то заботило.

– Откуда ходоки? – шепотом осведомилась Надя, наклонившись к нему, щекоча ухо дыханием.

А ведь она прекрасно знала, кто они, откуда и как зовут, ведь знакомили, объясняли, да и старшая гостья рта не закрывала, пространно излагая свои планы, пожелания.

– Землячки, – тем не менее, буркнул он.

– Старая дева в фирме тоже?

– Она не старше тебя!

– Серьезно? Никогда бы не подумала!

К великому облегчению Андрея, она вспорхнула с подлокотника, прошла к стеллажам у стены, с непринужденным видом своего человека в доме принялась рыться и книгах. Гибкая ее фигура – на ней были белые джинсы и красная тенниска – на фоне массивных стеллажей представлялась хрупкой, беззащитной. А на чем попадаются мужчины? Как утверждал один из многоопытных друзей Андрея, именно на этом – на женской беззащитности. Стоит в самце пробудить инстинкты – выставить вперед рога, прикрыть самку и – полный порядок! Переведя на Рену глаза, Андрей без сожаления признал: в ней несомненно есть что-то стародевичье. Если не стародевичье, то несовременное, провинциальное, что и подметил острый глаз его подруги. Впрочем, и сама

Надя выросла в заштатном городке среднерусской полосы, но в институте держалась так, что многие, правда, из числа приезжих, считали ее москвичкой.

Надя встряхнула головой – она носила короткую стрижку, мягкие светлые волосики едва курчавящейся струйкой спускались на тоненькую шею, сердце щемило из-за этого намека на кудряшки, – и звонко осведомилась, глядя на гостью чуть выпуклыми ясными глазами:

– Почему на юге обожают черное? Ходят в жарищу в черном, как... Она хотела, наверное, сказать «вороны», но непосредственным жестом прихлопнула рот ладошкой, ойкнула, будто невзначай это у нее вырвалось, но смотрела она без капли смущения.

Вместо замешкавшейся гостьи ответила Лайма:

– Горе само выбирает и свой цвет, и свое время.

По-русски жена Яниса говорила с легким акцентом. Сейчас акцент отдавал дополнительным холодком, точно Лайма перекатывала во рту ледяные шарики. Она посмотрела на Надю долгим взглядом. Со многих картин Яниса смотрел на мир глубокий этот взгляд, печалящийся неведомо о чем. Сейчас печаль была разбавлена неприязнью. Лайма наклонила выпуклый лоб, и ее лицо, точно освещенное изнутри красным светом, полыхнуло. Так при малейшем волнении или обиде кровь приливала к ее лицу, отчего и без того на редкость светлые волосы казались еще светлее, а Лайма – моложе. Андрея удивило, отчего она так всерьез приняла выходку Нади? Обычно Лайма относилась к подружкам Андрея с необидной снисходительностью, за что он был ей благодарен. Она таким образом как бы давала понять – случайные девчонки, как бабочки-однодневки, сегодня радуют глаз, а завтра и думать о них позабудешь.

– Я ношу траур по отцу, – сочла нужным объясниться и старшая гостья, хотя уже в этом не было нужды.

– А-а, тогда извините...

Надя вернулась к креслу, вновь пристроилась на подлокотнике, шепнула Андрею:

– Глушь, Саратов!

– Ты о чем?

– Классику надо знать! Бедную Софью, наверняка, собирались отправить к таким вот, «к тетке, в глушь, в Саратов». Вы в школе, что, «Горе от ума» не проходили?

– Проходили!

– Я думала, в ваших школах этого не проходят! – почти в полный голос сказала Надя и прыснула.

Ей не сиделось на месте, опять вскочила, прошлась по комнате, смахнула вроде нечаянно со стола листы чистой бумаги, кинулась подбирать с виноватым возгласом: «Простите!» и сидя на корточках, глянула на Яниса жалобно, и он, на миг отвлекшись от своих гостей, утешил: «пустяки». Только сейчас осенило Андрея: подружку огорчает то, что хозяева, отвлеклись на посетителей, оставили ее без должного внимания. Вот она и старалась, как могла, втиснуться в круг.

– А в мастерскую пойдем? – вмешалась-втиснулась в разговор Надя, едва собрав листы и сложив их на столе неровной стопкой. – Покажете картины гостям?

Краем глаза Андрей заметил, что Лайма поморщилась. Янис терпеливо проговорил:

– Если гости пожелают.

– Ничего другого нам не надо! – с жаром заверила мать Рены.

Они и отправились в мастерскую. Всю дорогу Надя оживленно тараторила и в мастерской не замолчала. Блестя глазами, она брала за локоть Рену и с преувеличенной заботой подводила ее, точно слабо видящую, к висевшим или прислоненным к стене картинам. Перед стоявшими на полу она садилась на корточки и, подняв глаза к Рене, спрашивала:

– Правда, прелесть?

Андрею хотелось отойти к старшим, к тем полотнам, которые Янис отчего-то со смущенным видом показывал своей гостье, но не решался оставить девушек одних. Между тем присутствие Андрея только подзадоривало Надю.

– Помните у Ренара, – обратилась она к неуклюжей своей спутнице, при этом мельком глянув на Андрея, как бы желая удостовериться, что он на месте. – «Когда показывают рисунок, я разглядываю его ровно столько, сколько нужно для того, чтобы придумать отзыв». А вы уже успели придумать отзыв? Рена или Рена? Где надо ставить ударение? Как у вас в Азербайджане принято?

– Она из Абхазии, – не выдержав, вмешался Андрей.

– Какая разница? И все-таки, куда ставить ударение?

– На первый слог, – равнодушно проговорила та.

– Ну так, Рена, придумайте, что сказать мастеру.

– Не думаю, что наше с вами мнение что-нибудь значит для Яниса Арвидовича.

– «Глас непосвященных легковесен». Вы это хотели сказать?

– Я сказала, что хотела.

– Помните, у того же Ренара: «Когда прогуливаешься по лесу с художником, самое главное – это останавливаться перед каждым деревом и спрашивать: “Вы каким его видите? Синим, зеленым, лиловым? – и добавлять: – Я лично вижу его синим. Особенно, если видишь его зеленым”». Ну как?

Андрей почувствовал, что его душит злость. Неужто чертова мать не могла сунуть Рене хоть несколько книг о живописи, чтобы сейчас она не стояла здесь дура дурой, нелепая, как индюшка в городской квартире? Кто в ту пору была Андрею Рена? Никто. Ему бы позлорадствовать, что насмехаются над ней, не способной с должным вниманием отнестись к доброму отношению к себе. Но отчего-то злился, будто Надя насмехалась и над ним, будто и он на вершок становился ниже. Его подружка не унималась:

– Рена! Нет, я все-таки буду звать вас Рена, не смущайтесь, говорите, как видите, если вообще видите. Помните у...

Рена перебила ее. Оторвалась от созерцания картин – можно подумать, что-то в них смыслила! – и проговорила, исподлобья глядя на Надю непроницаемыми глазами:

– Опять у Ренара? Дали обет выучить его «Дневники» наизусть?

Андрей весь подобрался, точно перед прыжком в ледяную воду. Странно даже, что он тогда принял все так близко к сердцу.

Надя запнулась лишь на мгновение, и тут же заявила с обаятельной непосредственностью:

– Ренар – мое последнее увлечение, если не считать, – она стрельнула глазами в сторону старших, – кое-кого еще...

Насчет «Дневников», Рена, похоже, попала в точку, иначе Надя не спустила бы ей, и все-таки, если и удалось отбрить, блеска в том не было. «Дали обет» прозвучало неуклюже, по-деревенски, точно дорогую вещь обернули грубой серой бумагой, которую в той же деревне с голой прямотой называют бумагой из ослиного дерьма. А ведь Рена сроду в деревне не жила, и родитель у нее за плугом не ходил. Хотя кто сейчас за плугом ходит? Но и на тракторе тоже зябь не поднимал. И мать, вот, к чистой работе пристроилась. Даже дед вошел в науку, точно поднялся из продымленной постройки, именуемой амацурта, прямехонько в гостевую, лучшую комнату в доме на сваях, а, освоившись, перетащил туда всех домочадцев.

– Рядом в кинотеатре новый фильм, говорят, хороший, сходили бы посмотрели, – предложил Янис Андрею, но взглядом как бы объединил его с Надей.

Усылал их, как бестолковых подростков, путающихся под ногами. Андрей вспыхнул. Видно, Янис был слишком увлечен своими гостями. Никого другого не замечал. Как тетерев. Токующий! И Лайма, сидевшая в сторонке, на колченогой табуретке, подперев кулаком нежный подбородок, – потом, когда она отнимет руку, там розовое пятно останется, – по обыкновению поддержала мужа:

– Правда, идите. Остроумный фильм.

Янис все-таки почувствовал обиду Андрея, мягко добавил:

– Видишь, Андрей, девушкам скучно.

Может, про себя продолжил, что Андрей несет ответственность за Надю, раз приучил ее к дому. Во всяком слу-

чае, выставлять ее за дверь – его прямая обязанность. Возможно, Андрей ушел бы сам, повернулся бы и ушел, если бы не вмешалась Надя:

– Двинули в кино, ребята! Рену развлечем!

Андрей шагнул к дверям. Он не привык оставаться там, откуда его выпроваживали. На это у него гордости всегда хватало, пусть никто и не пытается утверждать обратное.

Рена замялась на пороге, сказала, ни к кому прямо не обращаясь:

– А еще раз сюда прийти можно?

– Разумеется.

Янис глянул на нее. Тепло. Андрей немного оттаял, будто часть тепла досталась и ему. Это было трудно уяснить себе.

– Собираетесь в одиночестве любоваться полотнами? – спросила на улице Надя. – Мы своим грубым присутствием мешали вашему тонкому восприятию?

– Мешали.

– Спасибо за откровенность, – придержав шаг, Надя за спиной Рены глянула на Андрея лукаво – посмеемся вместе? – Ошарашивает, правда, как холодный душ. Но и в этом своя прелесть.

– В правде достаточно самой правды, без дополнительных прелестей.

– Суровая женщина! – Надя рассмеялась. – Не надо меня доставать, иначе Андрей бросит нас. Женских стычек мужчины не выносят. Правда, Андрюша?

Он погрозил ей кулаком. За спиной Рены. Позже жалел об этом жесте, как бы объединяющем его и Надю против девушки, случайным камнем упавшей в чужое, старательно возделанное поле любви и близости.

Надя смешливо наморщила нос, тряхнула по обыкновению головой – живчик подросток, способный от избытка ума и сообразительности плести взрослые интриги и сохранять, как дань возрасту, свою непосредственность. Хитрющий ее взгляд сулил Андрею некую неожиданность – так,

мол, разыграю тебя, закачаешься! Студенты, которых нынче обучал Андрей, сказали бы: «полный отпад».

– Поздравьте, меня мысль посетила!

– Не может быть! – неуклюже подыграл Андрей.

– Может! Дарю вам полную свободу! Пользуйтесь! Не смущайтесь! А я, солнцем палимая, возвращаюсь в мастерскую!

И не дав им и рта открыть – впрочем, Рена упорно молчала – Надя убежала.

– Ненормальная, – только и сказал Андрей.

Он чувствовал, что его здорово провели, но не знал, как быть. Рена молчала и даже, похоже, не испытывала от этого неудобства. Как будто ей и не было дела до происходящего. А ведь Надя наверняка изощрялась из-за нее.

– Но мы-то идем в кино или нет? – нетерпеливо осведомился он.

– Я – с удовольствием, Андрей.

Она иногда невнятно выговаривала некоторые буквы, вышло у нее не Андрей, а Андей. Его это почему-то странно взволновало. Много позже, когда ему попались дурацкие те письма – как неловко было их читать, как стыдился их глупости, ребячьего лепета, будто не Рена, а сам насочинял! – невзлюбил он свое имя. Втайне даже сердился на мать, назвавшую его так в честь погибшего на войне брата. Брата ли? Кто знает, что носят в сердце своем самые близкие нам женщины... Теперь Андрей давно уже остыл. А тогда «Андей» задело сердце, это правда. Может, впервые он почувствовал к Рене не злой интерес, а другое – душу согревающее...

Рена молча шла рядом, жадно глядя по сторонам. Ведь была наслышана о неповторимости Риги и теперь находила необыкновенные красоты повсюду. Вряд ли ей хотелось идти в кино. Всюду демонстрируют одни и те же фильмы, какая разница, где посмотреть. А Рига – одна. Андрей мог бы поводить по городу, рассказать о нем, немного хвастая своей осведомленностью и привирая там, где его осведомленность

оказалась бы недостаточной. Но Рена молчала. Тогда ведь он еще не знал – она редко выказывает свои желания, предоставляя другим их угадывать, и, очевидно, искренне считает себя нетребовательной. Можно подумать, легкое это занятие – угадывать, что другому человеку по нутру, а что – нет. И при этом не допускать промахов.

У касс кинотеатра было многолюдно, и Андрей, ненавидевший всякие очереди, поморщился, но выхода не было. Он отвел Рену в фойе, а сам пристроился к длинному хвосту очереди. С полчаса он томился в ряду жаждавших зрелищ и, взяв билеты, вдруг забеспокоился, а что, если Рене наскучило ожидание, и она ушла? Не было никакого желания идти на просмотр фильма, но как бы он снес неуважение со стороны девушки, и без того испортившей ему день? Андрей заторопился в фойе и облегченно перевел дыхание, обнаружив Рену на прежнем месте. Но не успел, победно размахивая билетами, подойти к ней, как на полпути его перехватил ковбой отечественного разлива в потертых джинсах, в клетчатой рубахе со множеством заклепок и молний, только вместо конского пота, которым должно нести от истинного ковбоя, часами не слезающего с коня, он источал запах цветочного одеколона. Заступив дорогу Андрею, он, улыбаясь, слегка раскачивался на каблуках.

– Где пропадаешь, слушай, почему тебя не видно? – упрекнул он. Парень, земляк, учился курсом ниже, только и знал, что таскать Андрея на сборища земляков и нудными прозрачными намеками, а то и впрямую осуждать Софью Михайловну, которая, по его разумению, обязана была стать доброй тетушкой всем учившимся в Риге землякам – в конце концов, их здесь раз два и обчелся! – но не стала. При этом парень смотрел на Андрея голодными глазами, будто просил поделиться куском белой булки, а тот по жадности лопал в одиночку.

– Чего один в кино собрался? Мор на твоих девушек напал?

– Не один я, – нехотя проговорил Андрей и, желая поскорей отделаться от парня, указал глазами на Рену, скромно стоявшую неподалеку.

Земляк с любопытством оглядел девушку, хмыкнул.

– Смена декорации? Наде отставку? Без выходного пособия? Просто коленкой под зад? Правильно! Заслужила! Давно хотел сказать тебе, но подумал и сам знаешь, к кому она подбирается.

– К загсу, наверное, – небрежно обронил Андрей.

Земляк посмеялся шутке. Но тут же посерьезнел, напустил на себя озабоченный вид, чем и насторожил Андрея. Прежде чем сказать гадость, он всегда изображал тоску-кручину.

– Не понимаешь, да? Я же не говорю: к чему? Я говорю: к кому? Понимаешь?

Андрей пожал плечами, нет, мол, не ведаю, в какую пыльную даль скачешь.

– Извини, меня ждут, – он сделал шаг в сторону, но земляк схватил его за локоть и скороговоркой доложил.

– К Янису подбиралась, вот к кому!

– С ума сошел?

Андрей вырвал локоть, но с места не сдвинулся, глядя на знакомца ошеломленно, и вдруг почувствовал, как глуповатая улыбка расползается по лицу. Так всегда случалось с ним, когда попадал впросак.

– Выходит, ты не догадывался?

Земляк сокрушенно покачал головой, печалясь о том, как порой бывают недогадливы даже самые проницательные люди.

– При чем Янис? Ты просто помешался на этой семье! В неурочное время снег выпадет, тоже скажешь: по приказу Софьи Михайловны.

– Хорошо, я помешался, но и все вокруг помешались, да? Спроси у своей прежней, у Томки. Надя перед ее подружками хвалилась, что на твоих плечах, как на гребне волны, нашлась тоже морячка! – он выругался, – влетела в дом Яниса,

остальное, мол, дело техники. Что касается жены, так Надя сказала: «Жена – не стена, отодвинем...»

– Только женщины, – сказал Андрей, – не все, а только дуры патентованные, способны так чесать языками, как ты!

– Не связывайся с женщинами, подальше будешь и от их длинных языков, – невозмутимо посоветовал земляк, будто сказанное Андреем никакого отношения к нему лично не имело.

Позже, сидя с Реной в зале и невидящими глазами уставившись на экран, Андрей казнился тем, что не сумел дать достойный ответ трехкопеечному ковбою. Надо было просто двинуть в зубы, а не пытаться уязвить словами. Андрей выступил на поле противника и проиграл. На поле противника! Вот в чем дело!

В ярости на себя Андрей стукнул кулаком по колену. Рена повернулась к нему, стараясь, наверное, вглядеться в лицо. Это в темном-то зале?

– Ерундовый фильм, – буркнул он.

– Уйдем? – тотчас предложила Рена.

Ничего другого он не желал, но почему-то сказал:

– Если тебе нравится, досмотрим.

Но она уже поднялась и, бормоча извинения, протискивалась к выходу. Андрей пробрался следом. На улице легче не стало. Он не знал, как быть с девушкой, сам рвался в мастерскую к Янису в расчете застать там Надю. Не терпелось объясниться. Рена помогла, сказав:

– Здесь близко мамина подруга живет. Они когда-то вместе учились. Дружат до сих пор. Мы остановились у нее. Она просила пораньше прийти.

Рена подала руку, прощаясь. Пожатие неожиданно оказалось крепким, мальчишечьим.

– Я провожу, – пробормотал он.

– Не надо, ее дом – рядышком, за углом.

И быстро ушла. Андрей, конечно, сообразил: она все это насочиняла. Если где-то и впрямь существует подруга, то Рена вряд ли сумела бы так быстро сориентироваться в чу-

жом городе. Она сориентировалась в другом: Андрею сейчас не до нее. Мельком он удивился ее чуткости, также мельком усовестился, что бросил одну в незнакомом городе. Но не в лесу же, где волки бродят, не съедят...

Андрей заскочил в мастерскую и, никого там не застав, помчался домой к Наде. Она снимала комнату у пожилой одинокой латышки. Иногородние студенты жили в общежитии, но это было, как она сама признавалась, не по Наде. Мысль о хозяйке и заставила Андрея споткнуться у подъезда. Он испугался, что именно она откроет дверь. Хозяйка квартиры не отличалась разговорчивостью, но вежливость ее была не только данью воспитанности, в ней сквозила сердечность. Так казалось Андрею. Раньше он не сомневался, что хозяйка к нему благоволит, и, уверенный в ее приязни, веселил ее шутками, блистал – во всяком случае, так представлялось – находчивостью в разговоре. Теперь подумалось, хозяйка попросту сочувствовала ему, дураку. Видела: водят за нос, и сочувствовала. Надя, надо думать, хвастала, что втерлась в дом к известному художнику, правда, пришлось для этой цели отбить у рыжеволосой второкурсницы родича художника – самовлюбленного простака, ведь для подсечки большой глубинной рыбы требуется мелкая рыбешка-приманка.

Андрей перебежал улицу и позвонил из телефона-автомата. Трубку подняла хозяйка. Он гундосо – зажал нос пальцами, чтобы его не узнали, – поздоровался и с заминкой, будто впервой было, попросил позвать Надю. «Момент» или «минутку» пропела хозяйка, как всегда, удивив его тем, до чего молодо звучит ее голос; услышал, что трубку положили рядом с аппаратом, потом донеслись приглушенные голоса. Заколотилось сердце: вдруг Надя не подойдет? Хотя с какой стати? В трубку мягко сказали:

– Еще немного терпения, пожалуйста.

Что-то зашуршало, и через минуту Андрей услышал Надино:

– Алло...

– Это я.

– Андрюшенька? Откуда звонишь?

– Здесь я, неподалеку.

– Лежу в ванной, отмокаю, – в трубку прыснули. – Забралась всерьез и надолго, но аппарат мне сюда принесли, так что можем поболтать. А увидимся вечером. Я приглашена к вам. Званый вечер в честь твоих ископаемых землячек. Шампанское будет литься рекой! – она засмеялась. – Алло, ты слышишь меня?

– Слышу.

– Отчего такой скучный голос? Утомила краса твоих гор? Умыкнуть не пыталась по вашим законам?

– Мужчины умыкают, а не наоборот, – тупо разъяснил он, будто это имело хоть какое-нибудь значение.

– У нас – равноправие, джигит мой резвый! А тебе невдомек? Не будем ждать милостей от мужчин, сами умыкнем!

– Ты кого собралась умыкнуть? Яниса Арвидовича?

Он и сам не знал, почему вдруг назвал Яниса по имени-отчеству. Чтобы увеличить расстояние меж ними? Пропасть возраста, авторитета? Чтобы невозможно было встать вровень с ним? Потом пришло вместе с болью откровение: такой Янис, с кем можно встать вровень, – в чем бы то ни было! – ему не нужен, такая возможность – самая горькая утрата...

– Кто сказал?

Надя оплошала, от неожиданности, вероятно. Вопрос сорвался, точно выстрел, теперь пулю вспять не повернешь.

– Сам догадался!

Заслонялся, точно щитом, несуществующей догадливостью. Неудивительно, что пуля его достала. В трубке некоторое время молчали, потом донеслось насмешливо-протяжное:

– Ишь, какой догадливый! – и смешок. – Не выдумывай, Андрейка! Ладно? Вечером поговорим.

– Вечером? – поразился он. – Ты все-таки придешь?

– Почему бы и нет?

– Но...

– Ой, какой ты смешной, а я думала...

Он, торопясь, поставил себя в нелепое положение, влив беспомощную злость в заемные слова:

– Отказываю тебе в доме!

Мигом получил заслуженную отповедь:

– Разве у тебя есть дом, дяревня ты моя?

И тотчас – короткие гудки. Она бросила трубку, оставив за собой последнее слово.

Андрей набрал номер телефона Яниса и, коротко предупредив, что не придет ночевать, отправился к приятелю в полупустое общежитие: многие уже разъехались на каникулы. Приятель обрадовался ему, и полночи не давал спать, читая с выражением в лицах фантастическую повесть собственного сочинения, где время вело себя, как взбесившийся бык, и крушило все, что ни попадя, совершая немыслимые зигзаги и петли.

Надя же веселилась от души у Яниса в гостях. Бесстыжие редко впадают в печаль. Много терпения и такта понадобилось Лайме, чтоб отвадить ее от дома. Но надо отдать должное и Андрею – больше он такой работы жене Яниса не задавал, перестал водить в дом подруг. С Надей он и вовсе раззнакомился, хотя она при встречах несколько раз пыталась растолковать ему: это нелепо и провинциально (знала ведь, чем уязвить!) проходить мимо, не здороваясь. Андрей дольше, чем других случайных подруг, вспоминал ее, недобро вспоминал, зла желал, хотя и считал унизительным для мужчины так беспомощно ненавидеть женщину.. Впрочем, ноги у этого предрассудка росли из отчего дома, как и у многих других прилипчивых понятий. Между тем, студенческому житью-бытью маячил конец, и Андрей понимал –будущее всецело зависит только от него одного. Трамплина для взлета никто не подготовил. Отец, как с усмешкой думал Андрей, лишь по телевизору, в сущности, совсем недавно приобретенному, видел трамплины, когда лыжные состязания показывали. Наверное, считает – только такие трамплины и существуют. Считает, потому что так ему удобно, как удобно морочить головы деревенским сорванцам пространными

разговорами о непреходящих ценностях, о безупречной честности, подкрепляя ее личным примером. И личный пример тоже кстати! Благосостояния ни тебе, ни твоим детям это, правда, не сулит. Зато можно оставаться честным и, пальцем не пошевельнув, довольствуясь зарплатой школьного учителя и кукурузой с приусадебного участка. Еще можно упорно не замечать, как твои бывшие ученики (настоящие головотяпы!) разъезжают на собственных автомобилях и не всегда останавливаются, чтобы подвезти по дороге недавних одноклассников, слишком доверчиво слушавших учителя и корпевших (тоже слишком!) над умными учебниками. Последние летние каникулы Андрей уже не делил между отчим домом и городом, полностью сосредоточился на последнем. Он не больно-то докучал пригревшим его городским родичам, приходил лишь ночевать. Весь день Андрей проводил с приятелями, исподволь приучая к своему постоянному присутствию, старался не отбиваться от косяка, теперь не гонялся за простыми радостями, как беспечные друзья, обходил вниманием курортниц. Зато крепил дружбу с двоюродным братом Рены и вовсе не из-за девушки, просто тот, пожалуй, лучше всех в компании относился к Андрею, хотя друзей у Инара хватало, и надобности в новом друге вроде не было. Благодаря Инару Андрей часто виделся с Реной. Правда, она всегда была с подругами, с братцем, а он как бы сам по себе. Но он и сам по себе не терялся, никому не позволил бы задвинуть себя в угол, как вещь топорной работы. Это, надо полагать, понимал и братец Рены, потому тянул в компанию, нахваливая своим пижонам. Рена в то лето выглядела лучше, чем когда-либо: изрядно похудела, бледное лицо немного загорело. Подбородок, понятно, оставался тяжеловатым – это уж на все времена – и движениям по-прежнему не хватало живости. Рена печалилась вроде о чем-то, зато и не огорошивала обычной прямотой, больше помалкивала. Инар все старался развеселить ее. Андрей считал, что парень перебарщивает, угождая сестрице. Можно подумать, она была смертельно больна, и родич то-

ропился исполнять ее прихоти, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть.

Непонятно, почему, когда Рене понадобилась помощь, она не кинулась к Инару. Уж он не заставил бы себя дважды просить. Похоже, она самонадеянно решила, что сама справится безо всякой посторонней помощи. А уж к Андрею обратиться ей и в голову бы не пришло. Это он случайно увидел Рену. Она стояла на набережной перед гостиницей, несмотря на жару, зябко обхватив плечи руками, и выглядела, надо признать, довольно нелепо. Андрей и подошел спросить, кого она ждет здесь на солнцепеке, даже позволил себе пошутить, уж не его ли? Рена с таким отчаянием подняла на него глаза, что он даже растерялся, не предполагал, что она способна смотреть так – сироткой. Показалось: сейчас заревет, и слезы омоют темень ее глаз, начисто лишив их непроницаемости. На миг он пожалел об этом...

– Случилось что, Рена?

– Он остановился здесь, я знаю. Точно знаю.

– Твой... знакомый?

Он и не думал, что так худо станет от одного только предположения.

– В доме нашем дневал, ночевал, а теперь...

– Куда же Инар смотрит?! Впрочем, если надо проучить...

Она прикусила губу, что-то соображая, потом слабо усмехнулась:

– Папку надо забрать. С рукописью. А он не отдает.

– Какую еще папку?

Андрея отпустило, речь всего-навсего о каких-то бумагах.

– Рукопись деда. Моего. Он отдал ему. За месяц. Как это случилось...

Говорила она отрывисто, точно каждое слово железными клещами откусывала. Она больше не смотрела на Андрея и вроде даже досадовала на его расспросы.

– Хочешь, вместе пойдем?

– Он говорит: не брал никакой рукописи. Я видела. Дед при мне отдал. А он говорит: не брал! Она в единственном экземпляре. Рукопись...

– Почему твой... – Андрей замялся, знал уже, что у нее отчим, – отец не возьмется за это дело?

– Потому что взялась я!

Можно подумать, стояние под окнами гостиницы, разумеется, под ручку со справедливостью, можно было назвать так громко: «взялась». Он и загорелся показать, как берутся по-настоящему за дело.

– В каком номере остановился?

– В двадцать третьем, но...

– Жди меня здесь!

Он взлетел, перепрыгивая через ступеньки, на второй этаж, отыскал двадцать третий номер и решительно постучал в дверь. Она не была заперта и приоткрылась. Тотчас Андрея пригласили войти, и он, лишь переступив порог, вспомнил, что не удосужился справиться у Рены об имени обидчика.

Сухощавый мужчина среднего роста, усатый, очкастый, в отутюженных светлых ' брюках, голубой тенниске, открывавшей жилистые руки, густо покрытые полуседыми волосками, дружелюбно поздоровался и широким жестом пригласил сесть, ничем не выражая удивления (если и удивился!) по поводу неожиданного вторжения. По возрасту он годился Рене, а значит, в какой-то мере и Андрею, в отцы. Деду он никак не мог доводиться другом, разве что учеником. Любимым? Верным?

– Никак не привыкну к гостиницам в родном городе, – доверительно сообщил имярек. – Десять лет как переехал в Тбилиси, а никак не привыкну, – он усмехнулся, – к статусу гостя. Здесь у меня родственников и друзей – уйма. Нашлось бы у кого остановиться. Но зачем людей понапрасну стеснять? К тому же из окна море видно. Вот чего мне в Тбилиси недостает, так нашего моря...

– Верно, от моря нелегко отвыкнуть, – промямлил Андрей.

Постоялец номера кивнул, соглашаясь, и подошел к окну, выглянул наружу, точно хотел убедиться, что за время разговора ничего непредвиденного с морем не случилось, и оно находится на прежнем месте.

Удостоверившись, что с морем все в порядке, он перевел взгляд на тротуар, усмехнулся чуть приметно. Андрей сообразил: номер расположен над главным входом в гостиницу. Значит, и площадка перед входом прекрасно просматривается.

– Вы, наверное, пропадаете на пляже, – доброжелательно проговорил имярек, отходя от окна. – Как вся молодежь.

– Предпочитаю реки. Горные.

Собеседник поднял брови, выказывая интерес. Ложный. И прошел к холодильнику.

– Хотите боржоми? Или предпочитаете, – он тут позволил себе улыбнуться, не насмешливо, нет, по-свойски, – что-либо покрепче?

– Мне – ничего, спасибо, – пробормотал Андрей с нарастающим чувством неловкости.

Теперь он понимал: влип в историю, как последний олух, влип, повел себя, как буйвол, который рвется к кукурузе, а ограды не замечает. Ограда же – вот она, здесь! Но уже деваться было некуда, и Андреи заставил себя сказать:

– Я к вам по делу...

– Если что в моих силах...

Хозяин ободряюще улыбнулся, взял из холодильника бутылку боржоми, два высоких стакана, еще раз жестом предложил присоединиться к нему – Андрей отказался – откупорил бутылку, наполовину наполнил стакан, почему-то посмотрел на свет, как вода пузырится, сел за стол, отпил маленький глоток и с ожиданием глянул на гостя, давая понять, что он – весь внимание.

– По поручению я... насчет рукописи профессора... короче, меня просили зайти. Словом, я... – Андрей беспомощно улыбнулся.

В конце концов, что он знал об этом человеке? К тому же по возрасту тот годился ему в отцы. И с этим нельзя было не

считаться. Да и вообще попробуйте-ка взять за горло человека, дающего вам наглядный урок вежливости!

Имярек ничуть не удивился его словам, только печально наклонил голову и отставил в сторонку стакан, будто постыдился, что в знойный день наслаждается ледяным напитком, тогда как учитель (друг?) покоится в сырой земле. Но ведь все смертны, а старик почти выбился в долгожители. Хотя, правда, не выбрал времени упорядочить земные свои дела. Андрей вспомнил, что слышал – профессор скончался скоропостижно. Неожиданно представилось, как старик зимним днем вышел за порог погреться на солнышке – та зима выдалась на редкость солнечной – и тут настигло его. Он успел поднять глаза к небу, солнце высветило седой пушок на голове. Старик медленно опустился на порог, и тихо угас свет в волосах и глазах. Так ярко, точно изнемогающий под собственной красотой кадр кинофильма, увидел это Андрей, и на душе полегчало. Как всякий зритель, он мог, совладав с эмоциями, проанализировать ситуацию. По здравому размышлению выходило: вряд ли в столь почтенном возрасте удалось бы профессору создать нечто новое, не требующее вмешательства, доработки...

– Вы – родич профессора? Вроде всех его близких знаю. Может, кто из подросших племянников?

– Нет, я не родич...

– Возможно, будущий?

Андрей почувствовал, что краснеет, а собеседник деликатно отвел глаза, поднялся со своего места, вновь подошел к окну, сказал, выглянув наружу:

– Зной не зной, а запах моря мертвого оживит.

Андрей кивнул, да, мол, оживит. Что еще оставалось?

– Относительно рукописи, – он повернулся и прямо посмотрел на Андрея, – так ведь давно уже все обговорено с Танасом. Зятем покойного. Мужем его единственной дочери. Кто же дал вам поручение? Ведь ближе дочери и зятя родни у покойного нет. Правда, жива еще жена профессора. Но она никогда не занималась его делами. Я имею в виду науку. У

нее, кажется, и высшего образования нет. В житейской мудрости ей не откажешь, и вообще она на редкость сердечный человек. Мы студентами души в ней не чаяли.

Андрей решил, когда умрет вдова профессора, этот человек непременно приедет на похороны и над гробом произнесет все то, что сейчас сказал, разве что опустит упоминание о невысоком образовательном цензе жены учителя. И присовокупит еще много от сердца идущих слов.

– Новую книгу выпущу с посвящением памяти наставника и непременно укажу, что его заметки были для меня при работе большим подспорьем. Я добьюсь этого.

– А кто против? – вырвалось у Андрея.

– Не то, чтобы против... Но Танас сомневается, надо ли упоминать о последних заметках, о злополучной этой рукописи. Между нами говоря, не много я из нее почерпнул. Вам пока трудно понять, но страшно подумать, какие перемены происходят с человеком с возрастом, даже с самым совершенным умом... – он вернулся к столу, рассеянно повертел в руке стакан с недопитой минералкой, мягко предположил: – Давно, наверно, дали вам поручение, а у вас все не было времени заняться?

Он указывал путь к почетному отступлению. Это-то Андрей сразу понял. Ума хватило. И пуще устыдился собственной выходки – нерасчетливой по-мальчишески. Подоплеку выходки он тоже видел: уж очень хотелось произвести впечатление на девушку, застрявшую у входа в гостиницу. Но ведь никто не был обязан помогать ему производить впечатление...

– Извините, – он поднялся.

– Какие извинения! Рад знакомству! На сердце теплеет, когда встречаю таких красивых, таких умных ребят. Выходит, не оскудела еще наша сторона.

Андрея проводили до двери, пожали крепко руку, пожелали всего самого наилучшего.

Внизу терпеливо дожидалась Рена. Неужто и впрямь рассчитывала, что Андрей явится с рукописью, точно с забы-

тым в номере свертком, в котором ничего привлекательного не нашлось для постороннего? Он вышел с пустыми руками и пылающим лицом, быстро проговорил с нарочитой обидой:

– Почему не предупредила, что твой отец в сговоре с... – он ступил на тротуар и поднял глаза: у окна, небрежно опираясь одной рукой о подоконник, стоял недавний его собеседник. Он не отступил в комнату, нет, свободной рукой непринужденно помахал Андрею. Рука непроизвольно дернулась в ответном приветствии. Позже Андрей тешил себя надеждой – жалкий незавершенный этот жест остался незамеченным Реной, так как она в это время углядела в окне имярек и... Андрею и в голову не могло прийти, что она способна на такое, не сопрягалось это с его представлениями о ее сдержанности, даже холодности. Она запрокинула кверху лицо, на шее некрасиво напряглись жилы, и вдруг пронзительно – Андрей похолодевшим затылком почувствовал, как люди, праздно шатавшиеся по набережной, обернулись к ним, – закричала:

– Вор! Без чести и совести! Вор!

Судорожно сжатыми кулаками она ударила себя по лбу в древнем жесте отчаяния ее бабок-прабабок и кинулась прочь от гостиницы.

Невозмутимый человек у окна, поймав взгляд Андрея, беспомощно развел руками, что, мол, тут станешь делать.

Андрей пошел следом за Реной, хотя далось это ему нелегко. Казалось: все с него глаз не сводят. Завтра весь город узнает: Рена скандалила у гостиницы, всласть посудачат люди. Предположения, конечно, будут разные и бесконечно далекие от истины. Истина всем покажется слишком нелепой и лежащей вне круга интересов молоденькой девушки.

Андрей догнал Рену, когда она была далеко от гостиницы. Она теперь не бежала, сломя голову, а, сутулясь, брела по берегу. Ему вдруг показалось, если она сейчас споткнется и упадет, то не станет подниматься.

– Послушай, зачем с ума сходить? Ведь не стал бы... отец поступаться правами твоего деда.

Она поежилась, белые руки, выступавшие из коротких рукавов летнего платья, покрылись гусиной кожей, и Андрея разобрала жалость. Не зная, чем еще утешить, повторил:

– Твой отец, он бы...

Сорванным голосом она яростно отрезала:

– Отчим! Не отец вовсе! Прекрасно знаешь!

– Пусть так, дело не в этом...

– Верно... В другом! Лучше живая собака, чем мертвый лев. Вот как считает мой... хозяин моей матери. Покойникам – гнить, живым – жить! Так он тоже считает. Не веришь, можешь у него самого справиться! Торгует последним, что осталось от деда! Он приманивает нужных людей, как, – она остановилась, точно споткнулась, закусила губу, – свиней на желуди! И нет на него управы, нет!

Наконец-то она заплакала, но тоже как-то странно, не по-женски. Резким досадливым жестом, как непредвиденную помеху, Рена тыльной стороной ладони смахивала слезы. Андрей вконец растерянный, вытащил из кармана чистый, вчетверо сложенный платок, и протянул ей. Ему стало приятно, когда Рена взяла платок, постаралась насухо вытереть глаза и даже заставила себя улыбнуться. Потом они медленно шли вдоль берега, и Рена бормотала как заклинание:

– Не оставлю этого так, не оставлю, увидишь, не оставлю.

Переполненный жалостью Андрей искренне желал ей удачи, но ни минуты не сомневался: ничего у нее не получится, зря она трепыхается.

– Извини, что втянула тебя, – поуспокоившись, сказала Рена.

– Я тому человеку в гостинице выдал все, что он заслужил! – с жаром заявил он не из желания выставить себя в лучшем свете, а в надежде хоть немного ее утешить. – Да что толку?

Рукопись деда Рена не отбила, что было очевидно с самого начала. Соперники, как говорится, выступали в разных весовых категориях. Но ее самое Андрей отбил от косяка

друзей и близких в тот самый день. Правда, еще некоторое время он встречал девушку только в компаниях, но все вокруг, не только он один, почувствовали: что-то изменилось. И родич Рены уже больше не расхваливал при Андрее сестрицу, будто опасался, что кому-то в голову придет – он навязывает ее приятелю. И языкатая длинноногая подруга Рены, не дурнушка, между прочим, пристававшая к Андрею с шуточками: «Разгоню всех женишков и за тебя выскочу замуж!» – притихла.

Как-то, прогуливаясь по набережной с друзьями, Андрей, шутливо пререкавшийся с Реной, замедлил шаги, и она, приноравливаясь к нему, отстала от других. Друзья ушли вперед, они остались, точно два деревца на островке посреди реки.

– Взяла бы и вышла за меня замуж, Рена! Время-то идет!

– Опаздываем куда-нибудь?

– Могли бы давно быть вместе.

– Опаздываем быть вместе?

Она напряженно смотрела на него.

– Опаздываем!

– Андрей...

У нее, разумеется, вышло: Андей. Опять невнятно проговоренное его имя, как редкостная ласка, задело сердце, и он рискнул, открылся больше, чем собирался, сказав: «люблю».

С удивившей доверчивостью Рена мгновенно ему поверила. В ту пору Андрей, очевидно, по молодости, хотя и тогда мнил себя многоопытным, еще не понимал: любая девушка, даже самая осторожная, легко поверит, что любима. Но сколько надо приложить усилий, чтобы растолковать наконец: не нужна ни сегодня, ни завтра, никогда вообще в жизни! Впрочем, поверив Андрею, Рена не ошиблась. Сам он это понял гораздо позже.

– Спасибо за предложение, – проговорила Рена, пряча от него глаза.

– Быть свадьбе? – отчего-то с шутливой интонацией спросил он.

– Ты же говоришь: время идет, а ждать... ждать нечего...

Тем не менее, со свадьбой она тянула, ссылаясь то на одно, то на другое. Все чего-то ждала... Андрей опасался, что бабушка Рены, так и не оправившаяся после смерти мужа, умрет. И тут уж свадьба неминуемо отодвинется на год, а может, и полтора. И не возразишь: время траура пересмотру не подлежит. Между тем, учеба завершалась, надо было определяться в жизни. Но все обошлось. Старуха перемогла зиму, весной Андрей и Рена поженились. Глубокой же осенью Андрей в качестве близкого родича шел за гробом старухи, которую полюбить не успел, но испытывал к ней безграничную признательность, будто та, догадываясь о его намерениях, тянулась из последних сил по колее жизни и остановилась, когда это не могло никому помешать.

* * *

«Здравствуй, Андрей!

Ты не получишь этого письма, но все равно здравствуй! Здравствуй на чужой стороне! Здравствуй на далекой земле! Всюду здравствуй! Гули (ты ее знаешь, ее все знают, она красивая) говорит: “Рена, ты надуманная!” Она хочет этим сказать, что я забиваю голову всякой чепухой. Пусть. Среди чепухи ведь и стоящее может попасться. Разве нет? Рассортируем и найдем!

Ты уехал, и мы уже, наверно, никогда не встретимся. На мне даже генерал не женится, как на Татьяне Лариной. Если и женится местный генерал, ну где мы с тобой увидимся на людях, чтобы ты мог спросить: “Кто там, в малиновом берете, с послом испанским говорит?” Малиновый берет я бы достала, но где найти посла испанского? Да и знакомого тебе генерала тоже. Такие мои дела. Я знаю, у тебя есть невеста. Гули тоже знает. Нам тетя Римма сказала. “Мой студент по междугороднему с какой-то девушкой разговаривает часами, дешевле бы привезти ее с собой”. Ну и привез бы. А мы с Гули посмотрели бы, какая она. “Дика, печальна, молчалива”? Да какая она молчаливая, если часами треплется

по телефону? И вовсе, наверно, не печальна. С чего печалиться, если ты каждый день разговариваешь с ней? Гули говорит: “Будь у кого-нибудь из местных ребят невеста, да двадцать невест, разве это помешало бы оценить красивую девушку?” Но я вовсе некрасивая! Гули – да, но ты ведь и ее не замечаешь. К нам в дом хотя бы заходишь. Иногда. По вечерам. Сидишь на веранде с дедушкой. Раньше, когда мы про невесту не знали, думали, что ты приходишь не с дедушкой разговаривать, а на меня посмотреть. Гули даже не сомневалась в том. “Он тебя сто раз пригласил бы в кино, но боится – не пойдешь. Местные с приезжими в кино не ходят”. А я бы пошла. С тобой. И Гули бы взяли. На всякий случай.

Тетя Римма сказала: “Мой студент (она тебя так называет) с ума сходит по вашим разговорам”. Это она дедушке сказала. Всем нравится дедушку слушать. Но, знаешь, никому в голову не приходит говорить с ним как с равным. Кроме тебя! Бабушка даже упрекнула: “Что же ты мальчишке позволяешь себя за бороду хватать?” Дед: “Так по неведению ведь хватает, если ты о квартиранте Риммы”. – “О нем, о ком же еще? Других мальчишек в нашем доме не бывает!” – “Верно, другие – почтительные ученики, такое ремесло”. – “Студенту Риммы, ты кто?” – “Никто, ему просто интересно. Парень подпорки не ищет”. – “Даже яблоневой?” – удивилась бабушка, желая польстить деду, ведь яблоневая подпорка самая крепкая, самая надежная. “И без яблоневой обойдется, без всякой...” Ты себе не представляешь, Андрей, как мне приятно было это слышать! Куда приятнее, чем меня саму бы похвалили. Правда, правда.

Приезжай на будущее лето, Андрей. Что тебе стоит? У тети Риммы будешь жить прямо как в санатории. Такую, как она, нигде больше не найдешь. Ее в Красную книгу надо занести, как Последнюю Настоящую Хозяйку. На смену приходят другие, чьи головы забиты соображениями выгоды, как банковские сейфы деньгами. Так дедушка сказал, не я придумала, Ничего, и у меня когда-нибудь прорежется соб-

ственный голос. Главное условие – не петь с чужого голоса. Пока же лучше помолчать. Так считает очень уважаемый мной человек, и я с ним согласна.

Приезжай, Андрей, слышишь? Подгадай к нашему выпускному вечеру и приезжай. Я все равно прибегу показаться тете Римме в белом платье. Ты посмотришь на меня в новом наряде. Вдруг понравлюсь? Только какой ужас, если в июле приедешь. Меня же здесь не будет. Я поеду в Москву, в институт поступать. Не приезжай, пожалуйста, в июле, и в начале августа не приезжай. Разминемся. Как тогда быть? И сейчас как быть? Сколько же раз мне повторять про себя "приезжай", чтобы ты услышал. Тысячу раз? Миллион? Я могу.

Рена».

«Здравствуй, жизнь по имени Андрей!

Самый везучий человек на свете – это я. Во-первых – я студентка, во-вторых – ты приехал, услышал меня и приехал. Нет, это, во-первых, по степени важности. Ты приехал в середине августа, меньше чем на две недели, но зато в какое время! В какое свободное замечательное время! И не разминулись! И один приехал! Без невесты! Конечно, она тебе не подходила! Никто тебе не подходит. Кроме меня! А Гули говорит: "Что в нем хорошего, кроме фирменных джинсов и сумки?" Я постаралась не остаться в долгу: "Кто джинсы видит, кто – человека!" "Откуда ты знаешь, что он за человек? Да он с тобой всерьез ни разу не говорил! И вообще все выдумываешь: "он такой, он сякой... Курортник как курортник – и все!" Я обиделась. Как никогда в жизни. Ушла от нее поскорее, чтобы ненароком при ней не разреветься.

'Гули вечером примчалась и опять за свое: "Дался тебе этот белобрысый! Лично я его в упор не вижу!" Будто ты виноват, если она слепая. "И вообще, что ты знаешь о нем хорошего?" Я и сказала: "Он в шторм спас троих детей!" Я вовсе не ожидала, что Гули поверит, просто разыграла ее, чтобы с глупостями не лезла. "Со дня его приезда ни разу

шторма не было, – уличила она. – Да соверши он такое, весь город знал бы!” И попала в точку. Но она еще добавила: “Все о нем выдумываешь, с начала до конца!” Вот это уже неправда. Обидно только, что ты целыми днями торчишь на пляже. Как настоящий курортник. Даже нос облупился. “Чем ему еще заниматься, не на тебя же смотреть приехал!” – язвит Гули. Раньше я любила море, теперь ненавижу.

Один-единственный раз пригласил меня в кино и то, наверное, из-за того, что дождь пошел, не пляжный день. Гули, конечно, пришлось взять с собой, но она старалась не мешать. Все равно ты мне ничего важного не сказал ни по дороге и кино, ни тогда, когда возвращались. Когда снова пригласишь? Опять в дождь? Или после дождя? После дождичка в четверг? Ведь времени совсем мало осталось, почти ничего. Вот-вот уедешь в свой город – заканчивать институт, а я – в Москву – положить почин учебе. Ты говорил, что, возможно, приедешь в Москву в ноябре. Но когда еще этот ноябрь наступит?

Когда-нибудь напишу тебе настоящее письмо, такое, которое можно вложить в конверт, заклеить и отправить. В этом письме расскажу о студенческой жизни, о том, какая она замечательная. Она, наверное, и вправду оказалась бы замечательной, будь ты москвичом. Но ты живешь в другом городе, родился в нем, вырос, неужто обязательно было еще и в институт там поступить? Никак не можешь с ним расстаться, даже ненадолго? Я никогда не была в твоем городе. Знаю только – он большой и красивый. То есть, ничего не знаю. На свете много больших и красивых городов. А знать – это увидеть свое, очень личное. Существует в нашем доме такое мнение. Мне понравился бы твой город. Потому что ты живешь в нем. Значит, мне недолго пришлось бы искать свое, родное. Правда? Впрочем, и об этом я не написала бы тебе. Не хочу, чтобы ты смеялся надо мной. Слышала: человек должен уметь смеяться и над собой. От случая к случаю, конечно. Но я не доросла до этого. Выходит, только слышала об этом, знать – не знаю.

Рена».

«Андрюшенька, милый!

Надо же! Ты приехал в Москву! На целых три дня! И снег шел! Все три дня шел снег, такой белый, такой густой. У нас такого снега не бывает. И мы могли ходить под снегом, сколько хотели. И на каждом шагу не попадались любопытствующие знакомые. И моря здесь нет. Не удерешь теперь на пляж, не станешь часами загорать, дожидаясь, пока нос облупится. Ты меня расспрашивал, точно маленькую, нравится ли мне в Москве учиться и почему я пошла на юридический? Не могла же я тебе сказать, что выбрала юридический назло Джоте. Ты все равно его не знаешь. Он лет пять назад переехал и наш переулок, живет в большом доме, с сыном и женой. Сын у него противный, приставала. Но не в сыне дело. Джота сбил на своей машине старика, переходившего улицу. Старик умер не сразу, месяц спустя, в больнице. А Джота отвертелся. Получилась даже: старик сам виноват, что умер. Джота хвастал, что от сына старика откупился большими деньгами. А уж сколько денег он дал инспектору ГАИ, чертившему план наезда, он помалкивал, но говорят, еще больше, чем сыну старика. Один из наших соседей заметил: “Понятно, парень только отцовской кровью торговал, а инспектор рисковал мундиром”. Бабушка сказала, что от всего этого можно с ума сойти. Но никто не сошел. Посудачили, что следователь вел дело спустя рукава и что Джота не первый и не последний, кто подмазывает закон. И все. А я вот решила стать следователем назло Джоте. Дедушка отговаривал: “Человек не должен строить свою жизнь назло кому-то”. И как всегда, оказался прав. Здесь я чувствую себя неуютно. Во-первых, на курсе я моложе всех, у других – стаж работы, опыт, то да се, а меня-то приняли без стажа, потому что в республике – нехватка специалистов. Теперь же получается, что я – самая бестолковая... Уж как стараюсь, а все равно получается именно так. Во-вторых, лучше бы я на медицинский пошла, как всегда хотела. Врачам никто не мешает любить людей... Тебе я, конечно, сказала: нравится, мол, учиться в Москве, все нравится. И когда говорила – не врала.

Потому что ты приехал в Москву. Зачем только почти целый день провели в Третьяковке? Ты ведь много раз бывал там, сам сказал. А дней у нас было всего три. “По столичным театрам и музеям только провинциалы ходят”. Так говорят москвичи. Правда, правда, я сама слышала. Сказала тебе, а ты засмеялся: “Подумаешь! Я сам столичный!” Но ведь Москва одна, а столицы республик – это ведь так себе, не настоящие разве нет? Москвичи, во всяком случае, в том уверены. Но тебе, наверное, и дела нет до мнения москвичей, и мы еще в театр на Таганке прорывались и прорвались, чудом. Ты все радовался, как нам повезло. Я соглашалась с тобой. Но лучше бы мы ходили по улицам. Вместе со снегом. И зачем мы пошли в гости к твоему другу, обитающему – это он сам сказал: “обитаюсь” – на знаменитом старом Арбате в доме с высоченными потолками и узкими окнами. В его комнате когда-то раньше, оказывается, жила очень известная поэтесса. Как она, бедная, пробиралась по темному-претемному коридору, заставленному так, что все время на что-то натыкаешься? Хозяин играл на гитаре и пел песни Высоцкого, некоторые из них я вообще в жизни не слышала. Вино было кислое, бутерброды – черствые, но это – ничего, хотя у нас никогда так не встретили бы друга. Плохо, что мы у него потеряли целый вечер. А еще хуже, что стоило тебе уехать, как твой друг пришел в гости в общежитие. Я поначалу страшно испугалась: решила – плохая весть о тебе. Но нет, он просто вздумал пригласить меня в кино. Разве он тебе не друг, Андрей? Если друг, зачем меня в кино звать? Он, что, слепой? Ничего не видит, не понимает? А мы целый вечер на него потратили... В аэропорту, прощаясь, ты поцеловал меня в щеку. Хорошо, что не спросил “можно?”, иначе я возненавидела бы тебя на всю жизнь. Разве о таких вещах спрашивают? Еще сказал: “Мне очень жаль...” Что именно жаль, не сказал. Все время думаю над этим. Но почему ты не сказал, что любишь меня? Ну почему? Когда же мы теперь увидимся с тобой? Только летом? Ждать до лета еще сто лет. Сто! С ума сойти!

Рена».

Андрей стоял лицом к морю, когда до него донесся шум подъезжающей машины. Рывком подняв руку, он почему-то посмотрел на часы, будто условился с кем-то встретиться здесь и теперь проверял во время ли тот прибыл. Но ведь он никого не ждал и никого не хотел видеть. Из людей. Он распрямил плечи и, вскинув голову, пристально стал вглядываться в горизонт, точно попавший на необитаемый остров человек, напрягающий и зрение, и нервы в надежде – зряшной! – разглядеть паруса, поднятые во имя его спасения. Андрей понадеялся: если в машине – парочка, уберутся, обнаружив, что уединенный уголок уже застолблен. Но не тут-то было. Мотор заглушили. Хлопнули дверцей. Не без вызова. Старались привлечь внимание Андрея? Мол, какая тебе разница, парень, где в одиночку глазеть на море? Андрей упрямо не оборачивался, стоял, поигрывая ключами от машины. По гальке зашуршали шаги. Легкие. Разговора не было слышно. Андрей, не выдержав, покосился через плечо назад и обомлел. Ну и наивный же он человек, если рассчитывал в этом городе завести хоть одну привычку и сохранить ее в тайне от других. К нему шла Саида – лаборантка с кафедры. Не по сезону легкое платье с широким подолом билось о колени, из-под пышных, растрепавшихся на ветру волос выглядывало, точно из норы, худенькое темноглазое личико. Саида была примерно одних лет с Андреем – для женщины далеко не юный возраст – но она, порывистая, всегда отчего-то гримасничающая, хихикающая, строила из себя избалованную всеобщим вниманием юную особу. Вдобавок ко всему она лихо, с мальчишескими ужимками водила отцовскую машину, и чуть ли не каждый месяц родитель обивал пороги милиции, вызволяя ее права на вождение. Надо думать, он мечтал сбыть дочь с машиной кому-нибудь, пока и дочь, и машина целы.

– Нашла иголку в стоге сена! – хихикнула Саида. – Кто, кроме меня, сумел бы, скажи?!

Он поймал себя на мысли, что с удовольствием отпустил бы ей полновесную оплеуху, чтобы не лезла, куда не следует. Вслух же было сказано:

– Надо же: красавица да еще и с наклонностями детектива!

Саида зарделась и глянула на него взглядом поверженной. С некоторых пор – не с тех ли самых, как пронесся слух, что у Андрея нелады в семье? – она смотрела только так. Примеривалась к возможной вакансии?

– Расторопная, вроде тебя, и на дне морском достанет! – проговорил он, улыбаясь, скрывая, как огорчен этим обстоятельством, – Только зачем утруждалась? Взяла бы в руки расписание. В двенадцать двадцать у меня пара, а я не пропускаю занятий, разве не так?

– Корова слизнула твою пару языком, – объявила Саида, состроив рожицу, значение которой он не понял.

– С какой стати? – небрежно поинтересовался.

– Декан занял твои часы.

– Навсегда?

Спросил Андрей шутливо, а у самого сердце екнуло. После того, как он сорвался на приемных экзаменах, всякое могло случиться.

– Конечно же, нет, и не надейся. Гулуа приехал, председатель колхоза, куда третьекурсников возили на помощь. Теперь вместе с деканом разбирается: кого пожурить, кого по головке погладить. При студентах разбирается. Студенты вне себя от радости. Вместо тебя – целый спектакль.

– А после занятий нельзя было сыграть спектакль-то? – для виду возмутился Андрей.

Но и девица было не лыком шита, возмущению не поверила:

– Тебе-то что? Ты же не почасовик!

– Тогда пусть за меня декан вместе со своим председателем и программу пройдет!

– Ладно, – засмеялась она, – принято, возмущение твое зафиксировано! У меня, между прочим, и другая новость для тебя. Тоже приятная! – Взгляд Саиды, точно юркий зверек, обежал его лицо.

Он невозмутимо ждал.

– Почему не спросишь: какая?

– Какая?

– Жена твоя звонила на кафедру. Из Москвы. – Она вновь обежала его взглядом. – Я и вызвалась разыскать блудного мужа.

– К чему такая срочность? Не ждет же она у телефона до сих пор, – он усмехнулся.

– Угадал, не ждет, уже, наверное, до аэропорта добралась. Сегодня прилетает. На сухумский самолет билет не достала, потому прилетает в Адлер. Наверно, можно было взять на другой день, рейс, – она пожала плечами, – варианты возможны, верно? Но когда есть муж, машина, почему бы и в Адлер не прилететь? Встретят, доставят со всеми удобствами, так ведь?

– Да, насчет удобств, все точно.

– Насчет остального – тоже!

Девушка застряла перед ним – с места не сдвинешь. Надеется: дорогу заступит, он век простоит? Будь все так просто, перед ним целый лес вырос бы. Но он и в лесу тропку найдет.

– Осень на дворе, ты – в легком платьице, смотри – не простудись, – заботливо предостерег он и, обойдя девушку, пошел к машине.

– Никогда не простуживаюсь! – похвастала Саида, догнав и сбоку заглядывая в лицо.

Она узким носком туфли отшвырнула в сторону какой-то камешек, а потом зачем-то погналась за ним и с возгласом «пас» покатила к Андрею.

«Тяжелый случай», – подумал он.

Возле машин, причем Саида так поставила свою, что только после нее можно было выехать из переулка, она осведомилась, уже взявшись за дверцу:

– Поедешь в аэропорт?

– Придется, раз ты меня разыскала.

Он злорадно отметил, что она огорчилась.

– Я же могла и разминуться с тобой...

– Но ведь не разминулась!

Она собрала лоб в гармошку, затрепетала ресницами, наморщила нос, что, очевидно, означало сожаление о мужской недогадливости. Любой повод сгодится, чтобы лишний раз увидеть любимого человека.

– Повезло, что именно сегодня приспичило председателю поговорить с твоими студентами, – уныло определила Саида.

– Я вообще везунчик, не замечала?

– Замечала!

С тем она и уехала. Выезжая следом за ней из переулка, Андрей подумал, что действительно все совпало удачно. Забрав пару, декан, выходит, услугу ему оказал. Между тем услуг от декана он не ждал, несмотря на то, что тот числился в приятелях Танаса, отчима Рены. Потому не ждал, что помнил о случае на экзамене, где впервые, между прочим, Андрей выступал о новом для себя качестве председателя экзаменационной комиссии.

...Декан взял его под руку, отвел в сторону, показал глазами на парня, стоявшего в коридоре возле дальнего окна, сложив на груди руки и подрыгивая ногой, точно в такт звучавшей в нем танцевальной мелодии. «Это сын Дочба Рамина, – скорбно сообщил декан, словно пышущий здоровьем молодой человек бездыханно лежал перед ним. – Попытаемся сделать из него человека. Отца жалко, преждевременно из-за стервеца поседел». Услышанное, само собой, не удивило Андрея. Подобными просьбами с тех пор, как он работал, досаждали все, кому не лень, начиная от дальних родичей и кончая школьными приятелями. Хорошо еще, что Андрей учился в Риге, и институтские друзья добраться до него не могли. Не предполагал Андрей, что просьба декана обернется для него препятствием, которого он, точно отяжелевший скакун, не возьмет. Когда двумя часами позже вошел в аудиторию тот юнец, одетый, разумеется, во все фирменное, играя ключами от машины – хотя бы треклятые ключи спрятал! – Андрей понял: не выйдет ни черта! Не пройдет у него этот парень, нет и нет. Мальчишка взял первый попавшийся

билет и сел готовиться. Андрей наблюдал за ним. По виду абитуриента нельзя было сказать: пытается он проникнуть в суть вопросов или нет. Похоже, он даже не ознакомился с ними, что-то небрежно начеркал на листке бумаги и сидел со скучающим лицом. Вот тут-то и надо было Андрею выйти покурить. Ассистентки – и востроносая Лейла, обожавшая скандалы, когда они лично ей ничем не грозили, и добродушная Тося, которой решительно все было безразлично, лишь бы дети не болели и свекровь подольше гостила у деревенской родни, – не обидели бы парня, ведь и им замолвили словечко, перестраховки ради. Но на Андрея неизвестно, что нашло, не мог заставить себя выйти из аудитории. Мальчишка вроде гипнотизировал искренней убежденностью в особом своем положении. А ведь Андрей все отлично понимал. Он давным-давно оставил за спиной, как опавшие паруса, юношеский максимализм, если он вообще когда-то у него наличествовал. Не всякий может его себе позволить. Абитуриент неторопливо опустился на стул перед экзаменаторами, выложил на стол листок из школьной тетрадки, на котором значились крупными буквами его имя, отчество и фамилия. Еще там стояло: «0x0 = 0, 2+2+1 = 5, есть другое решение: 2 + 2 = 4, мне хватит». В своеобразном юморе ему нельзя было отказать. Но лучше бы он не демонстрировал его. Юмор свой.

– Слушаем вас!

Парень недоуменно поднял брови, будто удивляясь чрезмерной требовательности экзаменатора, сказал, кивнув на листок, облагороженный, надо полагать, его прикосновением:

– Там все написано.

Добродушная Тося, придвинув экзаменационный лист парня, кончиком карандаша ткнула в графу, где была проставлена фамилия. Она почуяла неладное и теперь старалась спасти положение, обуздывая Андрея для его же пользы.. Востроносая сидела затаившись, точно мышь, чью норку кот стережет. Она-то не сомневалась: и кошачьих когтей избежит, и приятно пощекочет себе нервы...

– Если вам удобнее, начните со второго вопроса, – предложила Тося, все еще не терявшая надежды спасти положение.

Экзаменовавшийся вместе со стулом ближе придвинулся к столу, покосился на тех, кто за его спиной готовился к ответу, и тихо предложил:

– Может, биографию рассказать?

Похоже, он предлагал экзаменаторам выручить их, оградить от возможных пересудов, мол, такой-то, не раскрыв рта, отхватил положительную оценку.

– Ваша биография, может, и представляет историческую ценность, но к математике отношения не имеет.

Парень осклабился – оценил шутку. Или то, что он посчитал шуткой. Ну и вытянулось же у него лицо, когда Андрей влепил ему двойку. Не огорчение, нет, – вряд ли он рвался в студенты, все – папашина блажь!– а озадаченность вытянула его физиономию. Он не мог взять в толк, почему механизм, неплохо отлаженный, в чем он убедился на двух предыдущих экзаменах, сданных на «четыре», вдруг не сработал. Парень так и ушел, прислушиваясь к безграничному этому удивлению, как к невесть откуда возникшей болячке в его здоровом теле.

Андрей отошел к окну. Среди множества машин у ворот университета ему в глаза бросилась канареечно-желтая машина Живчика – мужа Андреевой сестры Майи. И обрадовался так, будто это было неожиданностью, будто не знал, что отец и Живчик еще утром приехали в город и пообещали дождаться, пока он освободится, чтобы вместе ехать в деревню. Следующий день у Андрея был свободен, а собственная машина стояла дома без двух покрышек – то денег на них не мог наскрести, то резину достать. Андрей едва удержался, чтобы не крикнуть, наверняка переполошив колыхавшуюся во дворе толпу «болельщиков»: «Эй, Живчик! Бездельничаешь?»

Зять стоял возле машины, забрав руки в карманы брюк. Андрей на миг представил себе, как на его голос вскинул бы

Живчик лохматую голову на высокой жилистой шее и, выдернув руку из кармана, выбросил бы над головой, выставив на всеобщее обозрение широкую улыбку, обнажавшую крепкий ряд зубов. Волос и зубов, похоже, ему было отпущено сверх всякой меры.

Отец же, должно быть, сидел на переднем сидении зятевой машины и терпеливо дожидался сына, при этом наверняка размышлял о своих школьных заботах. О чем ему еще размышлять? Правда, отец был единственным человеком, который ни разу не попросил сына помочь его ученикам, штурмовавшим университет. Андрей и без всяких просьб держал их в поле зрения и радовался, удивляясь самому себе, если ребят хвалили преподаватели истории.

Освободился Андрей часа через полтора. Все это время родичи терпеливо дожидались у ворот. Завидев его, Живчик обрадовался:

– Наконец-то! А я уже думал: съели они тебя там!

– Съедят! – пообещал Андрей, забираясь на заднее сидение с ощущением неудобства, привык ведь ездить за рулем.

Отец, как Андрей и предполагал, сидел впереди. Он обернулся и сдержанно спросил:

– Справился?

– Впервой ему, что ли! – сказал Живчик, занимая свое место и включая зажигание машины.

– Справился, – сказал Андрей с трудом.

– Скромничает, – определил Живчик.

Жизнерадостность так и била из него ключом.

Андрей вовсе не собирался рассказывать о сыне Дочба Рамина и о том, что подвел декана, проигнорировав просьбу. Родичи не могли помочь, только бы зря их расстроил, если бы, конечно, они разобрались – декан не из тех, кто позволяет наступать на себя. Но беспечность Живчика отчего-то действовала на нервы. Вот и не удержался Андрей, чтобы не «отяжелить» легкую поступь зятя упоминанием непростых проблем, которые жизнь ставит перед другими. В качестве примера сгодился и злополучный абитуриент. Живчик, слу-

шая, похмыкивал, как всегда, восклицал: «Смотри ты!» Отец же сидел тихо. Когда Андрей замолчал, он, не оборачиваясь, осведомился:

– Окажись парень поумнее, держись скромником, тогда что?

– Тогда наш экзаменатор не дал бы ему коленкой под зад! – радостно определил Живчик.

Радовался же он тому, что так легко смекнул, куда клонит тесть. Выходит, спелись?

– Скромного хоть пожалеть можно, – упрямо сказал Андрей.

– Какая разница – скромный, нахальный, – если тупица?

Задело Андрея не сказанное, а тон – терпеливые разъяснения человека, всю жизнь вдалбливающего нерадивым ученикам, что к чему в этой жизни. Будто сам он так уж в ней преуспел, Андрей сжал губы и промолчал, вместо него высказался Живчик:

– Скромный дурак все-таки лучше!

И засмеялся. Себя, надо полагать, он причислял к умникам.

– По-вашему, отличную оценку ему надо было выставить? – не выдержал Андрей. – Он таблицу умножения и ту вряд ли знает!

– Приди он в латаных штанах, все равно бы не знал, – сказал отец. Философ.

– Зато латаному Андрей посочувствовал бы! – Живчик подмигнул тестю.

Водилась за ним такая деревенская привычка подмигивать по-свойски, хотя деревенская же обходительность к родне подобных вольностей не допускала. Андрей, само собой, подосадовал, что разоткровенничался с родичами, и еще было жаль радости, которую он ощутил, заметив сверху машину зятя. Теперь она испарилась, как и не приходила вовсе. Давно пора усвоить – нельзя ни на кого, кроме себя, рассчитывать. Между прочим, вернуться после института в отчий дом, и пойти преподавать математику в деревенскую школу

было проще простого. Это значило бы плыть по течению, касаясь брюхом дна. Ниже некуда! Андрей встал против течения, не только встал, вверх по реке двинулся. Неужто отец не видит, как непросто это дается? А мать... она на поводу у отца. Своего что сохранила? Гладкое, долго не стареющее лицо славянки? Спотыкающийся на каждом гортанном звуке мягкий акцент? Неумение слушать без слез выступление по телевизору «Песняров»? Леденящий душу страх, так и не отпустивший ее за долгую жизнь? Страх за раненого воина, которого она укрывала на бедном своем хуторе? Сколько лет и событий миновало с тех пор, а мать и теперь не находит себе места, если отец отлучается надолго куда-нибудь, будто вне поля ее зрения его подстерегает опасность. Что еще? Имя Андрей, дарованное сыну?

Однажды рыжий Хафиз – это было позапрошлым летом – приезжал к Андрею замолвить слово о племяннице, абитуриентке. Кстати, девочка была прекрасно подготовлена, незачем было за нее хлопотать, но теперь как рассуждают: не похлопочешь – в лужу сядешь, независимо от своих достоинств. Может, и правильно рассуждают... Так вот Хафиз и поведал: «Давно это было. Ты, парень, еще на свет не появился, а теперь, вишь, просьбами донимаем. Полгода, как твой отец вернулся с войны и не один, а с женой. Мадина, бабушка твоя, скажу по чести, мужской ум показала – не пикнула, мол, с чужачкой в дом не пущу. Понимала: сын не на гулянке был. Если что и пришлось не по душе, все в ней и умерло. Так вот, говорю, с полгода прошло, как Хаджарат вернулся, ну, может, чуток больше, чуток меньше...»

Андрей никак не мог понять, куда он клонит. Не исключено, что человек попросту пеленал свою просьбу в тряпье необязательных слов, чтобы она не выглядела неприлично назойливой. Прием известный. Почти все к этому прибегают, излагая главное, ради чего пришли, как бы между двумя порциями дружеских излияний или родственных. Хафиз и без того был любитель поговорить, а на старости лет это стало и вовсе единственным его развлечением.

– Так вот, – неторопливо продолжал Хафиз, которого теперь лишь по привычке именовали рыжим, потускнели его волосы, поредели, а какой кудрявый был, даже Андрей помнит, – иду я как-то мимо вашей изгороди, иду себе в удовольствие. Правда, держу ушки на макушке, чтобы треньканье колокольчика не пропустить – я за буйволицей нашей стельной присматривал, а мы на буйволиц всегда колокольчики надеваем. Остановился я у вашего плетня, помню, весной это было, кукурузные росточки едва-едва пробивались. Птицы в лесу такой галдеж подняли, разве треньканье несчастного колокольчика различишь? И вдруг за спиной: «Андрей!» Клянусь тебе, мороз по коже продрал. Такой голос, не то чтобы громкий, вовсе нет, но как-то пробирающий до костей, у меня аж спина одеревенела, точно пуля меж лопатками вошла, клянусь тебе! И снова: «Андрей!» Обернулся: жена Хаджарата, мать твоя, значит, стоит, над изгородью едва возвышается. Она ведь ростом не вышла – это ты в отца такой вымахал! – ухватилась руками за колья и смотрит на меня во все глаза. Потом взгляд ее увял. Я смекнул – перепутала с кем-то, со спины перепутала, а увидела мой серп, – он усмехнулся и потер большой горбатый нос, – и надежда умерла. «Простите, – сказала по-русски, – обозналась». Положим, я и без нее об этом догадался. Она припустила к дому бежать, точно голодный волк по пятам гнался. Видать, поначалу крепко скучала по дому. И Андреем кого-то из родичей звали.

– Брата, на войне убитого, – вставил Андрей, хотя и не сомневался, что и Хафиз об этом наслышан.

– Да, родня твоей матери вся погибла, – сказал Хафиз с таким выражением лица, будто сообщал горькую новость, которой не суждено устареть. Но тут же, ободрившись, добавил: – А теперь, гляжу, она, будто в нашем селе выросла – всему научилась, все знает, даже по-нашему говорит.

«Что же хорошего, – с внезапным раздражением подумал Андрей, – своего не сохранила, в мужнином мире растворилась, “утонула” в его мамалыге».

Андрей знал, как он много значил для матери, но знал и другое: заступницей сына перед отцом она не смогла бы стать, перед всем миром – да, перед отцом – нет. Впрочем, сын не искал у матери защиты, как не искал ни у кого. Никогда!

Андрею показалось: мотор плохо тянет. На приборном щитке зажглась красная лампочка. Похоже, что-то стряслось с генератором, якорь, наверное, полетел. Проклятый генератор – ахиллесова пята «Жигулей». Предусмотрительные водители и вовсе не отправляются в длительную поездку без запасного якоря, а то вообще без генератора. Но то предусмотрительные водители, а это – Андрей. Поехал он, правда, не за тридевять земель, всего лишь в Адлер – два часа спокойной езды – и ты на месте. И дело вовсе не в легкомыслии Андрея. Попробуйте еще достать проклятый этот якорь! Генератор целиком полсотни стоит, с установкой на станции техобслуживания и вовсе семьдесят пять. Теперь вся нагрузка на аккумулятор. Если учесть, что он давно нуждается в подзарядке, то и ребенку ясно – до Адлера машина не дотянет. Хотя бы до станции техобслуживания добраться, но и там никто на блюдечке ничего ему не преподнесет, а если и преподнесет – не хватит денег расплатиться. Проклятые деньги. Опять все упирается в них! Андрей со злостью, будто это случилось вчера, вспомнил, как он занимал на машину недостающую сумму. Отец обещал помочь. Но буйволы, которых он собирался сдать на заготовку, еще мирно стояли в загоне, когда представилась редкая возможность (считай, лотерейный счастливый билет вытянул!) купить почти новую машину по сходной цене. Но и на сходную цену не набиралось денег, а времени съездить в деревню и попросить – отцу тоже пришлось бы у кого-то занимать – не оставалось. В ту пору Андрей недавно закрепился в городе. Жившая здесь Андреева родня, отличаясь радушием, зажиточностью, увы, похвастать не могла. Словом, Андрей мысленно уже распрощался с облюбованной машиной, когда соседка надоумила обратиться к Джоте. Тот жил в конце переулка за

чугунной оградой в двухэтажном кирпичном доме, победно глядевшем на улицу огромными чисто промытыми окнами.

– Джота всегда при деньгах, – сказала соседка. – И тебе не откажет, вот увидишь!

И не отказал. Правда, когда Андрей попытался как бы между делом – так ведь повелось! – изложить свою просьбу, Джота не принял условия игры.

– Так тебе всего лишь деньги нужны? А подошел с таким лицом – я, честное слово, испугался, подумал: беда у вас стряслась!

Он полез во внутренний карман пиджака, достал пачку денег, повертел в руках и, не считая, протянул Андрею.

– Тут – тысяча! Может, на полсотни, сотню больше, будем считать за тысячу! Мало? Тогда заходи, накину!

Они стояли возле новехонькой «Волги», на которой только что приехал хозяин после трудового дня.

– Достаточно, спасибо, – пробормотал Андрей, отступая к воротам. Считать при Джоте деньги он постеснялся. Дома оказалось: до тысячи недостает четвертака. Но он, разумеется, вернул тысячу. Через две недели.

Андрей помнил до сих пор и не забудет, каким опустошенным, потерпевшим поражение чувствовал он себя, бредя домой с деньгами, будто Джота не выручил, а отправил восвояси, несолоно хлебавши. Дома он заглянул на кухню, где суетилась жена. Она всегда опаздывала с ужином, объясняя это занятостью на работе, хотя какая там работа в юридической консультации?

Он, прислонившись к косяку, некоторое время наблюдал за женой, нарезавшей, отвернув лицо, лук, потом спросил:

– Кем он, в конце концов, работает?!

– Кто?

– Спустись на землю! Треклятый Джота, кто еще?!

Она внимательно глянула на него и пачку денег, что он держал на открытой ладони, взвешивая, конечно, заметила, но коротко информировала:

– Приемщиком чая на фабрике.

И отвернулась к своему луку. Он обессилено опустился на табурет.

– У него, думаю, и среднего образования нет.

– Собираешься его в университет пристроить? – насмешливо кинула Рена, возясь у плиты.

– Он в кармане тысячу рублей носит. На всякий случай. Как другие – десятку.

– И случаев у него бывает больше, чем у других!

– Болтать – это, конечно, каждому под силу! Тысяча в кармане – как носовой платок!

– Только не умирай от зависти! Плохая смерть, как от удушья!

Она обернулась к нему – его, много мнившая о себе, жена. Понятно, она была выше зависти. Да, он позавидовал! Почему бы и нет? У него-то самого свободных денег не водилось. Между тем, вкалывал всегда, себя не жалея, в конце концов, многим поступаясь. Возможность преподавать в университете тоже с неба не свалилась. Вначале требовалось получить диплом хорошего вуза, правда, его надежды на рекомендацию в аспирантуру по месту учебы не оправдались, пришлось год проваландаться на родной стороне в университете лаборантом, одновременно мучаясь над всякими научными статьями, чтобы пробиться в аспирантуру. Впрочем, вряд ли хватило бы одного лишь личного старания. Без вмешательства Танаса еще неизвестно, – получил бы Андрей направление в аспирантуру. Рена, само собой, устранилась, не помогла. «Уж как-нибудь обойдись без него», – сказала. «А он сам разве обходился без помощи твоего деда?» – осторожно спросил он. «В том-то и дело, в том-то!» В чем в том? Рена, ясно, не забыла невнятной истории с последней рукописью деда. Никто не утверждает, что в этом случае Танас выглядел безупречно, но, если по справедливости, и женушка его повела себя не лучше. Воспротивься дочь покойного, сделка не состоялась бы, так ведь? Зачем все валить на одного человека? В любом случае отчим Рены обязан был поддержать Андрея. Долг, как говорится, платежом красен. Но

Рена не желала взыскивать долги. Не хотела по земле ходить, мараться. Рассчитывала над землей парить? С ее-то весом?! Пришлось Андрею обратиться к теще. Впрочем, с широколицей бесхитростной женщиной он ладил легко. И то сказать, после школы, пройденной у Софьи Михайловны, труда не составило бы поладить и с самим чертом в юбке. Узнав о его деликатных переговорах с ее матерью, Рена вышла из себя – он даже не ожидал, – и сильно обидела, сказав:

– Прикрываешься женщиной, как щитом?

Лицо жены пошло красными пятнами. Она рванула вон из комнаты, унося, не расплескав, свое презрение. Перехватить бы ее, вытрясти вместе со слезами и мольбой о прощении неуместное презрение и еще более неуместное чистоплюйство. Но Андрей совладал с собой, остался сидеть, где и сидел, на старом низком кресле, где сиживали десятки родичей – не его! жены! – и даже заставил себя беспечно насвистывать назло той, кто в соседней комнате переживала мужнино несовершенство.

Танас помог. Андрей запомнил первый их разговор об аспирантуре. Отчим Рены пригласил его к себе на работу, будто бы они не могли поговорить в домашних условиях. Когда Андрей вошел в просторный кабинет, Танас стоял у окна и глядел наружу. Высокий, статный, с крупными чертами лица, он смотрелся представительно. В молодости, судя по фотографиям, и вовсе был хорош собой. Не приходилось теряться в догадках, что его заставило жениться на женщине с грубым крестьянским лицом и двухлетней дочерью на руках. Что он в ней углядел, полюбил? Отца, разумеется, уже тогда пользовавшегося достаточным авторитетом. И надо отдать ему должное, условие сделки он соблюдал неукоснительно. В обмен на поддержку тестя относился к жене предупредительно. Жена, верно, ставила это себе в заслугу, мол, и сама не скуплюсь на любовь и внимание к мужу.

– Пришел, парень?

Танас двинулся навстречу зятю, крепко пожал руку, не удовлетворившись этим, еще и за плечи обнял, затем отстра-

нил, вгляделся в лицо, будто любуясь, и объявил, как диагноз поставил:

– Смотрю на тебя и думаю: десять лет жизни отдал бы, чтобы на год вернуться в свою молодость.

«И вновь жениться на широколицей вдове?» – мельком подумал Андрей.

– Очень уж тебе к лицу молодость, зависть берет. Только не думай, что всем она к лицу. Некоторые, вроде только что пробившихся ростков, растопырятся, – он жестом показал, как растопырятся, – и не знают, куда расти, зачем?

Андрей рассмеялся. Не потому, что в словах или жестах Танаса нашел что-то и впрямь забавное, а чтобы не утруждать себя ответом. Рассмеялся – вроде тоже среагировал.

– В науку, значит, решил идти?

– Если счастливой дороги пожелаете...

– Наука, как и женщина, соперниц не любит, – важно сказал Танас, что прозвучало пошло.

И внешность у него, если присмотреться, была пошлой. Мужчины с широким разворотом плеч, пустыми глазами и озабоченно-деловитыми лицами теперь прямо как с конвейера сходят.

– Умный мужчина и двух женщин примирит, разве нет?

– Так то умный...

Андрей вспыхнул:

– Ну знаете...

– Шучу я, шучу! С вами, молодыми, и пошутить нельзя. Должны нас, стариков, уважать или нет?

– Мы уважаем...

– Да знаю я, – Танас усмехнулся, – ощущаю...

Еще с полчаса он промурыжил Андрея в кабинете и на прощание обещал свою любовь и поддержку. Первое было необязательно, а насчет второго он слово сдержал – помог с направлением в аспирантуру. Но ведь в аспирантуре Андрей сам вкалывал. Еще как! Другие, возможно, способнее Андрея или беспечнее, в сторонних удовольствиях себе не отказывали: Андрей же головы не поднимал, чтобы со всем

справиться вовремя, защититься с честью. И это ему удалось. Тем не менее, сейчас едет и ломает голову из-за паршивых семидесяти пяти рублей, тогда как какие-то проходимцы... Джота, когда Андрей возвращал ему долг, обронил как бы между прочим: «Слышал, парень, пословицу: «Ум – хозяин, образование – гость»? И засмеялся. Как тут быть? Зажмуриться и сказать: «мерещится»?

Андрей едва дотянул до автозаправочной станции, где работал школьный товарищ Рены, знакомый Андрею еще со времен своего жениховства.

То был здоровенный мужчина, который в подростковом возрасте закалил здоровье, преодолевая вплавь ледяные горные потоки, – во всяком случае, так он утверждал! Его звали Малхазом, и теперь он припадал к другому источнику, не столь чистому и стремительному, как горные потоки, но, судя по его виду, не менее полезному для самочувствия.

Андрей подозревал, что в свое время этот мужлан был неравнодушен к Рене, и не слишком доверял ему.

– Машина забарахлила, – небрежно сообщил Андрей после взаимных приветствий. – Глянь, что там такое. Ты ведь в машинах разбираешься получше любого механика.

– Ума для этого немного требуется, хочешь сказать?

Крепыш был отнюдь не таким простаком, каким казался. С ним не мешало держать ухо востро. Со всеми держи ухо востро... Может это осточертеть человеку или нет?

– Бери ключи...

Приятель перегнал автомобиль в угол площадки перед станцией. Андрей досадливо отметил: сам он так поставил машину, что мешал водителям подъезжать к колонкам с бензином. Медленно пробравшись меж автомобилями, стоявшими в очереди на заправку – все они были исправны, сверкали хромом и чистотой, – Андрей побрел в конец площадки, сказал копавшемуся в моторе Малхазу:

– Пройдусь немного, разомну ноги.

И, не дожидаясь ответа, двинулся к дороге, а там по обочине зашагал в нужную ему сторону, точно намеревался

пешком добраться до аэропорта. Он усмехнулся, подумав так, глянул на часы: времени в обрез, не починит Малхаз машину за полчаса-час, придется добираться на попутных, иначе опоздает. Впрочем, горе небольшое. Рена и сама найдет дорогу домой. Ей ведь не пришлось, как другим, привыкать к новым дорогам, к новому – мужниному дому. Все старые привычки при ней остались...

Почти месяц она провела в Москве, истратила весь отпуск на лечение. Она непременно хотела иметь ребенка. Истовое это желание проклюнулось в последние годы. Между тем, когда она в свое время забеременела, Андрей что-то не замечал, чтобы жена была на седьмом небе от счастья. Наоборот – постоянно жаловалась, изменяя обычной своей сдержанности, на тошноту, слабость, на то, что подурнела, непривычно ласкалась к Андрею и по-детски радовалась, если он уверял, что она ничуть не изменилась, такая же, как и в девичестве. Ей, наверно, было невдомек – и в девичестве глаза красотой не слепила...

Тот теплый день раннего лета, когда небо еще не выцвело от зноя, еще сохраняется привнесенная весной свежесть, и молодая бодрость как бы разлита в самом воздухе, стоит особняком в жизни Андрея. Между тем, мог бы затеряться в череде обыденных дней, как того и заслуживал, если бы не реакция жены, неадекватная, как бы сказал психиатр. Но каждому толчку придавать значимость землетрясения – это в характере Рены. Ей всегда чудится больше, чем есть...

Сессия в университете уже началась, благодаря чему Андрею выпало свободное время, он сидел на открытой веранде ресторана, подставив лицо ветерку, напоенному щедрым запахом моря. Ресторан стоял на сваях, вбитых у берега в морское дно. Расположился Андрей на веранде второго яруса, разумеется, не один, а с миловидной женщиной – чистенькой, улыбчивой. Она восхищалась всем, что видела вокруг, недавно приехала на отдых и еще не свыклась с красотой местных видов. Похоже, она и Андрея

воспринимала, как живую часть пейзажа, вроде тура на горном хребте. Тур был в новинку, женщина этого не скрывала, что его забавляло.

Рена появилась на веранде неожиданно. Андрей заметил ее уже у стойки бара. Бармен, отставив в сторону смешиваемые коктейли, с недовольным лицом, будто его в должности понизили, взвешивал зеленоватые сморщенные яблоки, пролежавшие где-то зиму с тем, чтобы потом, к великой досаде бармена, портить вид стойки и витрины, облепленной иностранными наклейками. Впрочем, по цене эти яблоки были куда доступнее красивых рыночных и расходились довольно ходко, что, впрочем, не сильно утешало пижонистого бармена. Взвесив яблоки, он все так же хмуро ссыпал их в сетку-авоську Рены. «Кто теперь ходит с авоськами, кроме древних старух? – первое, что с досадой подумал Андрей. – У нее, что, мало сумок?» Еще не хватало, чтобы его жена выглядела убого! В следующее мгновение он сообразил – Рена сейчас обернется, и взгляды их встретятся. Так оно и случилось. Андрей запомнил, как улыбка узнавания тронула ее губы. С радостным лицом шагнула к нему и только потом обнаружила, что муж не один. Рена остановилась, вроде даже попятилась, свободной рукой потерла переносицу, будто настраивая свое зрение на иную, более благоприятную картину. Спутница Андрея, наблюдавшая за чайками, повернулась к нему с вопросом:

– Чайки, наверно, привыкли, что их подкармливают?

– Наверное...

Рена все стояла, смотрела, и он не знал, как быть.

– А с ладони они взяли бы крошки?

Женщина продемонстрировала ему маленькую крепкую ладонь.

– Взяли бы.

Рена медленно прошла меж столами. Он почувствовал, как пот струйкой стекает по спине.

– Но чайки ведь все-таки не голуби! Голуби – ручные.

– У голубок однозначно лучше нрав...

Жена прошла мимо, и он, скосив глаза, увидел, как она взялась за поручни лестницы, сбегавшей вниз к площадке перед рестораном.

– Это неприлично, – сказала спутница, – сидеть с дамой и глазеть на других.

– Это я так... хватаюсь за соломинку, чтобы... не утонуть в твоих глазах, – сострил он.

– За основательную соломинку, – рассмеялась женщина.

Андрей легко перевел разговор на другое. Но настроение было безнадежно испорчено. Некоторое время они еще посидели, любуясь морем, чайками и еще черт знаем чем. Потом прошлись по набережной, не переставая любоваться окружающими красотами и познавать их: «А как это деревцо называется? Что за цветочки на том кустике? Тебя студенты боятся, Андрей? Ивы плакучие и у нас растут». Условившись встретиться вечером – он заедет за ней в Дом отдыха и повезет за город, чтобы поближе познакомиться с растительным покровом края, – Андрей отправился домой. Прощаясь, он точно знал – не приедет, пропал интерес.

У ворот встретила встревоженная соседка.

– Жара во всем виновата, – сообщила со злостью.

– Какая жара? – удивился он. – Прекрасный день. Зной у нас еще впереди.

Он сразу смекнул: разговор о жаре – подступ к чему-то более значительному. Недаром соседка таращит глаза, изображая участие, и готова разразиться слезами. Он тянул время. Да соседку, видно, распирало:

– Рена поднялась на второй этаж, на веранду, перегнулась через перила, ее, наверное, затошнило, и...

– Что «и», – перебил он, глядя с яростью, будто винил ее в чем-то. Под его яростным взглядом она заговорила сбивчиво:

– Яблоки, вон, еще рассыпаны там, я не успела подобрать. Никого из соседей с машинами дома не оказалось, так я «скорую» вызвала. Но она очень быстро приехала, не так, как обычно, на удивление быстро...

– Упала Рена, что ли?

– Ну да, я же говорю...

Он рынком распахнул ворота настежь и кинулся к «жигулям». В тот день он не выводил машину, испугался, что мотор не сразу заведется, но обошлось. Вырулив на улицу, он крикнул соседке, все еще торчавшей у ворот:

– В какую больницу увезли?

– Сказали: во вторую. Я тоже сейчас приеду.

Будто ему было дело до того, приедет она – не приедет! У входа в больницу он столкнулся с тещей. Она стояла с растерянным лицом, прижимая к себе сверток, очевидно, с вещами Рены.

– Рену уже в палату перевели, полчаса, как перевели. Попросила меня уйти, уснуть хочет. И он, как назло, в Тбилиси, в командировке.

Она имела ввиду не какое-нибудь медицинское светило, как можно было предположить, а своего мужа. В его присутствии она куда увереннее чувствовала себя.

– Рена сказала, – теща замялась, – что хочет побыть одна. Такая вот блажь...

Смотрела она на зятя виновато, сама-то не привыкла ни в беде, ни в болезни отгораживаться от близких. Более того, немеркнущее свое счастье она выковала лишь благодаря отцу, если она это осознавала, конечно.

– Не лучше ей? – сдержанно спросил Андрей.

– Ребенка... спасти не удалось.

Он не почувствовал ничего. Разве что досаду. На Рену. Но когда на следующий день пропустили к жене, – она лежала в крохотной палате, двоим не разминуться, – жалость захлестнула Андрея. Такой неприкаянной выглядела Рена с бескровным лицом и темными полукружьями под глазами. Когда он вошел, она лежала навзничь, уставившись взглядом в облупленный, давно не беленый потолок и, возможно, плакала перед его приходом. Показалось даже, что щеки у нее влажные. Рена перевела на мужа темные глаза, прикусила губу, точно от внезапной боли, но спустя время ска-

зала твердым голосом: «Ребенка от тебя нет, не хотела!» И отвернулась к стене. Так и пролежала все время, пока он у нее был, ни оправдаться – правда, если каяться из-за каждой случайной связи, так и грешить времени не достанет! – ни пожалеть себя не позволила. Он сидел на краешке кровати, маялся и явственно ощущал, как капля за каплей, точно просачиваясь через прохудившуюся емкость, утекает в никуда его жалость.

В те дни показалось: все кончено меж ними. Когда сестра с мужем приехали навестить занемогшую, Андрей, улучив момент, сказал зятю:

– Комнату, похоже, сниму. Потом поднажму и заставлю университет похлопотать о квартире.

Живчик – на то он и живчик! – сразу смекнул, что дело зашло далеко, и воскликнул с присущей ему развязностью:

– Совсем нюх потерял? Нашел когда отделяться! Как говорится, не успели покойника вынести – застольная грянула!

Андрей неприязненно подумал: будь сестрица, ни красотой, ни сообразительностью не обделенная, усерднее в учебе в свое время, вместо того, чтобы обугливать красоту на чайных плантациях, в мужья ей достался бы парень поприличнее. Вслух же он ничего к сказанному не добавил. Живчика он поставил в известность только затем, чтобы пошло дальше по цепочке и достигло родителей. Андрей заранее хотел подготовить их к возможным переменам в своей жизни.

Как он потом жалел, что поторопился. До разрыва дело не дошло. Поняла, наверно, Рена – не все так просто в жизни. Оттаяла понемногу. Надо надеяться: со временем рассосалась ее темная обида, как синяк, и следа не осталось. Теперь вот мечтала о ребенке. И вопреки сказанному в больнице, вполне устраивало отцовство Андрея.

– Андрей, уа, Андрей, да остановись же!

Его догнал Малхаз.

– Ничего не могу сделать с твоей машиной. Якорь надо заменить, а где его так сразу возьмешь?

– Мне в Адлер надо. Срочно.

– Случилось что?

– Самолет встречаю. Московский.

– Сухумский аэропорт теперь, что, не принимает?

– Почему не принимает?! Но Рене приспичило лететь в Адлер!

– А-а, – Малхаз запнулся. И засмущался, будто Андрей, назвав имя жены, доверил ему тайну, и теперь он не знал, как быть: поклясться, что не выдаст ее и под пыткой, или это и без того понятно.

– С Реной хлопот не оберешься! – пожаловался Андрей. – Все не как у людей получается.

– Машину у меня оставь, – предложил Малхаз, – тебе остановим попутную. За свою тачку не волнуйся. В три часа Заур заедет ко мне, наш, Чамагуа.

– Молодец, тебя не забывает.

– Попробовал бы забыть! Он и отбуксирует твой мотор на техобслуживание. Я скажу.

– Ты скажешь, – он разбежится исполнять? – с внезапным раздражением спросил Андрей.

Малхаз удивленно глянул на него, растолковал:

– Он скажет – я тоже разбегусь. На техобслуживании – Вова. Золотой парень. За нас голову положит.

– За кого, за вас?

– Ну, за наших ребят. Он починит машину, а вечером я отправлю ее тебе. Жора едет в Сухум. Сейчас он без колес. Твою машину пригонит, прямо под окнами поставит.

– Вижу, ты здесь банду сколотил!

– Почему банду? Ты что, Жору не знаешь?'

– Жору знаю. Что такое станция техобслуживания – тоже! Ладно, поступай на свое усмотрение. Деньги за ремонт передам через Жору. Дело в том, что...

Но приятель торопливо перебил, словно испугавшись, что разговор о деньгах темным крылом заденет его доброту:

– Понятно, передашь. Когда сможешь, тогда и передашь!

Он захотел сам остановить попутную машину, и страшно был доволен, когда возле них затормозил потрепанный «Москвич» и водитель, перегнувшись через сидение, позвал:

– Малхаз, фаэтон тебя дожидается!

Тот зычно расхохотался нехитрой шутке, заорал: «А-а, Рем!» и засыпал парня шуточками, недалеко ушедшими от перла того насчет фаэтона. Усадив Андрея в машину, он посчитал нужным посоветовать водителю: «Быстро довези, Рем, человек опаздывает, но в пути будь осторожен!»

Водитель попался на редкость словоохотливый, поведал, что живет не в Сухуме, а в пригороде, в Гульрипше, работает же в городе, на стройке, приходится каждый день тратить уйму времени на дорогу. Зато сейчас новый дом строится. Девятиэтажный. На лечкопском плато. Как дом построится, и он получит жилье. «Если, конечно, какой-нибудь ловкач не польстится на его квартиру, – подумал Андрей, – с деньгами, с солидными друзьями. Интересно, как бы это пережил парень? Утешился бы тем, что на лечкопском плато еще много места? Построят новый дом? Лет через десять?»

Андрей покосился на водителя. Был он кряжистый, крупнокостный, с широкими запястьями грубо слепленных рук. Бровастый, с густым не по сезону, впрочем, и в сезон не на пляже приобретенным загаром, он смотрелся отнюдь не мальчиком. Только по глазам, большим, как у буйвола, глядевшим с доброжелательностью простака, можно было догадаться, что ему немного лет.

– Как тебя зовут?

– Ремизом. Но все с детства заладили: Рем да Рем.

– Детские клички – самые прилипчивые, – заметил Андрей. Подростком, его, коновода деревенской ребятни, с легкой руки отца, вечно копавшегося в исторических книгах, правда, с небольшой пользой для себя, называли Быком Удачи. Так в старину охотники нарекали своих предводителей, да и среди воинов сотник часто именовался не только «впереди стоящим», но и « Быком Удачи». До сих пор бывшие приятели, приезжая в Сухум просить за каких-нибудь абитуриентов, –

«ты пригляди» – случается, кличут Андрея Быком Удачи, особенно когда хотят подчеркнуть, что были ему близки и остались. Будто существует что-то неизменное, вечное...

– Давно пришел из армии, Рем?

– Позапрошлой осенью.

– С восемнадцати служил?

– Да. В институт ткнулся, но русский язык подножку подставил, – он хмыкнул, – с детства с грамматикой на ножах.

– Я в университете преподаю, – вдруг сообщил Андрей. – Если надумаешь на какой-нибудь факультет...

– Спасибо, собираюсь в строительный институт попробовать, на заочное отделение, если снова русский язык... Уех!

Он едва успел затормозить перед какой-то девушкой, выскочившей на проезжую часть невесть откуда, секунды две сидел, крепко сжимая руль, а потом, рванув дверцу, вывалился наружу с ревом:

– Сумасшедший! Сумасшедший! Зачем лезешь? Спрашиваю: что под машиной хочешь?

Говорил он по-русски, похоже, не лучше, чем писал.

– Скорее, товарищ! Хулиганы! Там! Люба!

– Почему?

Рем никак не мог взять в толк, что происходит. А девушка частила: «товарищ, товарищ», точно этим словом, звучавшим в ее устах более чем нелепо, прикрывалась, как щитом. Андрей, питавший отвращение ко всяким нелепицам, разъярился, но, понимая, что без его вмешательства не обойтись, вышел из машины, резко велел девушке взять себя в руки и толком рассказать, что случилось.

– Хулиганы! Там! Пристают! Люба осталась! – крикнула девушка, переводя на Андрея затуманенные страхом глаза.

Наконец до Рема дошло, что у него просят защиты, и он затопал в указанном девушкой направлении. Ничего другого ожидать от него и не приходилось. Девушка семенила рядом, правда, то и дело забегая вперед, оборачивая к нему жалкое лицо. Проклиная про себя и случайную эту дуру – «полезли в кусты, нечего потом орать о помощи!» – и придурка-

водителя – «вот что значит зависеть от чужого транспорта!» – Андрей нагнал их у кустарников, здесь полого спускавшихся к морю. Рем прокладывал дорогу, раздирая заросли могучими ножищами. Запыхавшись, они продрались к сыпучему берегу, круто падавшему на широкую полосу гальки. На гальку мирно накатывал прибой. На берегу, ближе к кустарникам, меж двумя что-то сердито бубнившими парнями стояла, засунув руки в карманы алой распахнутой куртки, полная светловолосая девушка. Один из парней встряхнул ее за локти, точно вылущивая из куртки, как созревший орех из кожуры. Она сердито мотнула головой, расплескивая по плечам неряшливо распущенные волосы.

– Видите! – крикнула девушка, позвавшая на помощь. – Пристают! Катали в машине! Теперь пристают!

– О, братьев, что ли, на помощь привела? – оглянулся один из парней. Смуглый и курчавый, неотразимый для таких дурочек.

– Нехорошо шутишь! – определил Рем.

Похоже, он наладился дискутировать.

– Пошел... – выругался другой парень, усатый и плечистый, тоже в своем роде неотразимый. – Тебя не спрашивают!

– Подумай раньше, а потом скажи...

Андрей не дал договорить Рему – а что толкового тот мог сказать? – проскочив мимо него, налетел на парня, возившегося с девушкой, отшвырнул его в сторону и, быстро крутанувшись на месте, встретил кулаком в челюсть другого красавчика, который кинулся приятелю на помощь. И завертелось... Долгий томительный день обрел свою завершенность, свой смысл. Андрей бил короткими, резкими ударами, наслаждаясь своей яростью, тем, что тело молодо подчиняется ему, что он не ставит перед собой никаких препон, никаких заслонов. Сила в чистом виде. Без примесей. И толкований! И пусть попробуют свалить его с ног, затоптать! Пусть попробуют!

– Не надо, не на-а-адо! По-жа-луйста! – будто издалека, как затухающий сигнал, достиг его сознания крик одной из девушек. Той, что на помощь звала. Впечатлительной!

– Бежим, Олька!

Это, конечно, толстуха. Поумнее она, поопытнее, знает, когда смыться!

Сильный удар в бок – увлекся, недосмотрел! – едва не свалил Андрея с ног. Ярость, и без того до краев наполнявшая его, будто утроилась. Но тут Рем тяжело, точно жернов, повис на нем.

– Уходите, дурни! – кричал он красавчикам, пытался Андрея урезонить: – Прошу, возьми голову в руки! Хватит с них. Пацаны еще! Не понимают!

– Пусти!

Андрея подмывало задать перцу и увальню, повисшему на нем. Защитник выискался! И кого? Ублюдков, желающих напялить на себя одежды вожаков, лидеров, а способных лишь белобрысых дурех в укромном месте щипать. Он покажет им, кто вожак, кто лидер!

– Пусти, болван!

– Прошу! Как умного, прошу!

А ведь топал сюда с яростью кабана, получившего пулю в загривок. Для того топал, чтобы недоносков прикрывать?!

– Пацаны еще, – бубнил свое Рем. Намного ли он был старше этих пацанов?

– Что мы такого делали? – крикнул из-за спины Рема один из парней. Объяснений жаждал. А может, к роли миротворца примеривался. К роли, достающейся слабакам.

– Два дня катали. Они что, «нет» говорили? – вставил и его товарищ. – В чем тогда дело?

– Сейчас растолкую!

– Уходите! Что за люди! – изнывал Рем.

Андрей рывком высвободился, и тут же парни отступили к кустам, правда, бормоча угрозы – пустые, они сами это понимали. Молодые бычки с обломанными рогами. А телки умчались быстрее ветра. Не скоро, надо полагать, в загон вернутся.

– А вы с этого что получили? Вот что! – курчавый показал неприличный жест и, повернувшись, скрылся в кустах. При-

ятель от него не отставал. Вскоре донесся шум мотора. Где-то поблизости парни, очевидно, держали машину, не оставлять же ее на дороге, на виду у всех. До этого они додумались. Как лучше паскудить, они всегда додумаются.

Андрей напряженно прислушивался к шуму двигателя. Машина, натужно урча, взбиралась к дороге. «Пацаны», – сказал Рем. А развлекаются, разъезжая на собственных машинах. Копейки в жизни, наверное, не заработали, но все к их услугам. Да и папаши, от которых все это им перепадает, не слишком потеют на работе. На этот раз у дурней прокол вышел с девицами, в другой раз не оплошают. Живо научатся ладить с ними. Единственное, наверное, чему научатся.

– Зря удержал, – упрекнул он спутника. – Я бы надолго у них охоту отбил.

– Уж очень круто вышло, – пряча от него глаза, сказал Рем. – Жестоко...

Он еще что-то говорил, но Андрей не слушал. Раздирающая боль, поднимавшаяся из самого нутра, заставила тяжело осесть на землю. Он весь сотрясался, стараясь совладать с этой болью, и не сразу понял, что рыдает.

Рем неловко топтался рядом, наконец, сказал:

– Надо идти, торопились ведь, опоздаете...

– Опоздал я уже, ты иди.

Ему хотелось остаться одному, и в то же время боялся, что Рем уйдет.

– Всегда можно успеть, – поразмыслив, решил Рем. – Если постараться. – И оживившись (до смерти, наверно, был рад, что нашел выход), заговорил:

– Вы еще не знаете, что у меня за «Москвич». Такую прыть покажет, «Волге» не снилось. Выжмем предельную скорость и успеем.

– Разве что предельную!

Андрей заставил себя подняться на ноги и повернулся лицом к морю. Далеко-далеко, едва различимо покачивалась на воде лодка. Должно быть, рыбачья. Андрей загляделся на нее.

ЖИВАЯ ВЕТВЬ

Повесть

В память о семидесятых годах минувшего столетия

Ешсоу шел по проселку, провожаемый ночной тишиной и свежим ароматом раннего мая.

– Даже скотина, чуя поздний час, домой торопится, а не бежит невесть куда! – послала вдогон теща, когда он выходил из двери.

У тещи ключи от квартиры, и она то и дело заглядывает «на минутку», а называется – врозь живут. Ешсоу иногда думал, что именно из-за нее он на этой земле единственный дом – отчий – считал своим, хотя жилье в городе досталось вовсе не как приданое жены. Квартиру выделили на работе. Он долгие годы исправно водил междугородные автобусы, без нареканий с чьей бы то ни было стороны. Ешсоу легко пропускал мимо ушей легковесные шуточки некоторых приятелей, намекавших – и в этом состыковываясь с его собственной тещей – что, на самом деле, работать он не умеет. На себя работать! Есть в нем некий изъян, может, даже наследственный. Люди без изъяна, будучи водителями междугородных автобусов, за три года – в худшем случае! – покупали личные легковушки, а через год-другой, накопив деньжат и пустив по нужному руслу, пересаживались из старых, вечно ломающихся машин в новенькие вместительные «Икарусы». А Ешсоу – надо же ни одного дорожного происшествия по его вине за все эти годы! – ничего не в состоянии обернуть в свою пользу. Проклятие, что ли, над ним тяготеет? – гадала

теща. Еще она острила: «Смотрю на зятя и начинаю верить: газеты не всегда врут, помещая фотографии широколицых передовиков. Наш тоже просится на газетную полосу. Такое уж счастье выпало моей дочери!» Пять лет она пыталась развести Нару с Ешсоу. Пока валы ее красноречия разбивались о мягкое, но прочное сопротивление дочери. Молчаливое, правда, сопротивление. Правильная тактика, тещу все равно не переговоришь. Да и жена Ешсоу не охотница до словесных перепалок. Не в мать пошла, слава богу. И доброту свою она тоже унаследовала не от нее. Надо полагать от отца, которого, к сожалению, Ешсоу не знал. Нара потеряла родителя задолго до их знакомства. Случайного знакомства.

Ешсоу оказался свидетелем дорожного происшествия. Нара же работала врачом на «скорой». В тот день Ешсоу, обнаружив несвойственную ему прыть, неожиданно – прежде всего, для себя! – впрыгнул в «скорую», назвавшись родичем щекастого парня, пострадавшего при столкновении машин. И никогда не жалел об этом, хотя долго с чувством неловкости вспоминал, как шепотом выяснял имя у очнувшегося по дороге толстячка. Тот благодарно схватил его за руку: «Внимания твоего никогда не забуду. Спасибо. По-братски поступил». Позже, пока травмированный не выписался из больницы, Ешсоу через день навещал его, расплачиваясь за это «по-братски поступил». Хотя парень оказался отнюдь не сиротой, и его родня топталась в палате дни напролет. А старший брат пострадавшего при каждой встрече утверждал, что как только больного поднимут на ноги, Ешсоу пригласят в дом, накроют на стол, и в присутствии друзей и родичей объявят названым братом. Потому как большое человеческое сердце Ешсоу не позволило бросить человека в беде. И как же тут было признаться, что если сердце – насколько оно большое не ему судить! – в тот час и дрогнуло, то при виде молодой врачицы из «Скорой». Если, кто и мог спасти, так это она! Он это сразу понял. Когда, оставив пострадавшего в больнице, врач «скорой» собралась уходить, Ешсоу, перехватив ее в приемной, заступил дорогу:

– Назовитесь, прошу, неудобно обращаться, не зная имени.

– Нара, – сказала просто. – Не волнуйтесь вы так сильно. Сейчас вашего родича обследуют. Мне кажется, опасности для жизни нет.

– Значит, можно надеяться?

– Все будет хорошо! – пообещала она. – Извините, но мне нужно поторопиться, я – на работе.

Она, обойдя его, пошла к двери. Он – за ней.

– Где я вас найду? Чтобы рассказать о самочувствии… брата?

– Я сама справлюсь о нем, – сказала она в дверях и ушла, одарив улыбкой, точно ломтем теплого хлеба.

Потом, борясь с ощущением внезапной потери, Ешсоу уговаривал себя избавиться от временного затмения. Что это, в конце концов, так его пронзило? Ведь толком и то не разглядел Нару, не посмотрел, как говорится, мужским взглядом, не запомнил даже, какого она роста, на ноги и то ума не хватило глянуть, осталось только ощущение ее теплоты, спасительной чистоты. «В белом халате все кажутся чистенькими!» – пытался он насмешкой остудить себя. Да и вообще – при его-то везений! – может, и вовсе оказаться, что она какая-нибудь дальняя родственница, седьмая вода на киселе, как сказали бы русские, но жениться – ни-ни! Всюду чудится призрак кровосмешения. Как сказал недавно один из друзей младшего брата, историк: – брат познакомился с ним в Сухуме на пляже и превратил в друга – «кровосмешение ведет к вырождению. Неудивительно, что малые народы так строго следят за степенью родства». Но тогда ни о чем таком умном Ешсоу не подумал, но определенно встревожился, предположив, что по какой-либо линии – отцовской, материнской – он может с Нарой пересечься. Обошлось – а как же, и на нашей улице, оказывается, случаются праздники, просто мы от них немного отвыкли! – и Нара вошла в дом Ешсоу хозяйкой. Все, что он смутно ощутил с первой встречи, нашло свое подтверждение в виде деятельной доброты жены, ее способности уловить начало любой болезни,

если даже болела душа. Вряд ли врачевать душу ее обучали в институте. Хотя, по мнению матери Нары, высшее образование дает человеку все, что нужно. Без образования человек вроде и вовсе не человек, а так, удобрение для земли – сначала потом ее польет, затем костьми в нее ляжет. Сама же теща в давние времена, когда «дипломы о высшем образовании не валялись под ногами, как перезревшая алыча, только нагнись да подними, хотя у некоторых ума и на это не достает», добилась получения высшего – и не какого-нибудь, а экономического! – образования. Добилась, потому что знала его высокую цену!

И сегодня, когда Ешсоу в десятом часу вечера вошел в квартиру, теща, встретив у двери, притворно посочувствовала:

– Намаялся? На тебе лица нет! Духота кабины кого хочешь изнурит. Еще и бензиновая вонь... Даже квартира пропахла. Как канистра. Хотя бы выгода какая от этого была.

– Какой выгоды надо? – не выдержал он.

Она посмотрела на него как на безнадежно больного, и завела привычное – жаль, что ли, сходить с наезженной колеи?

– Попытался бы воткнуться на какой-нибудь факультет, хотя бы на заочное... пока я жива...

Было неясно, к чему относится это «пока жива...». То ли она готова помочь зятю, если он возьмется сочетать учебу с работой, то ли ей непременно хочется дожить до того часа, когда дочь не за простым водилой будет замужем, а за представителем достойной профессии. Теперь же теще приходилось стыдливо умалчивать о роде занятий зятя. Хотя каждый, кто посмотрит на коренастую фигуру Ешсоу, на крепко вылепленное, без особой заботы о тонкостях, лицо, если и примет за кого-то другого, так за деревенщину, кем он, в сущности, и являлся, нравится это кому-то или нет. С четырнадцати лет он ходил за плугом, как взрослый пахарь. Да и сейчас Ешсоу намеревался на следующий день спозаранок выйти в поле и с помощью Плаксы – такова детская клич-

ка младшего почти на десять лет брата с громким именем Георгий – вспахать и засеять кукурузой. Отсеяться можно и нужно было раньше, но у Ешсоу не выпадало свободного времени. А Георгий, он же Плакса, даром, что уже около года работает на местной чайной фабрике технологом – выучил его Ешсоу назло всем и, возможно, будущей теще! – сам о таких вещах не позаботится. Да и при Ешсоу поломается, мол, на фабрике дел невпроворот, пусть брат и подгадал под выходной – деревня выходных не знает, фабрика работает круглосуточно, это тебе не автобусы водить, не ты, так другой поедет, не будет автобусов – частник подвезет, еще и спасибо скажет... Не удастся уломать Плаксу – хотя почти всегда это удается, во всяком случае, когда речь об обыденных вещах! – Ешсоу позовет кого-нибудь из соседских мальчишек направлять коня, тянущего плуг. А сам будет прокладывать борозду, неизменно ощущая себя юнцом, первый раз ступившим босиком на вывернутый плугом беззащитный пласт земли. Если же место мальчишки займет Плакса, то он всю дорогу будет насмешничать, мол, пригласили бы тракториста, так тот за полчаса справился бы с работой, правда, оставив невспаханной покатую и узкую часть поля. Впрочем, и вспаханного хватит за глаза, но приходится, потакая капризам старшего брата, маяться на солнцепеке. Можно подумать, кому-то всерьез могло прийти в голову: потакать... Но при этом в голосе Плаксы не услышишь и примеси злости или горечи, одну только насмешку. Ребячью. К ней Ешсоу привык с тех пор, как брат стал воспринимать себя Георгием-Победоносцем и передавать свое ощущение другим. Частые наезды старшего Плаксу вроде радовали, что не мешало ему говорить: «Все не поверишь: в отчем доме теперь хозяин есть. Мало ты наездился, пока я грыз гранит науки? Дай себе передышку!» Будто не понимал: это невозможно. И сегодня не было нужды срываться домой ближе к ночи да еще после долгого рабочего дня. Ничто не мешало приехать завтра поутру. Все равно Плаксы на заре, как обычных деревенских ребят, не добудишься. Тем не менее, Ешсоу отправился в до-

рогу. Или это теща своим сочувствием вытолкала за дверь? Что бы там ни было, теперь он, сойдя на центральной трассе с автобуса, – знакомый водитель тоже поинтересовался: «Чего ты на ночь в деревню собрался, Георгий здоров?» – шел пешком. Если не нагонит кто-нибудь из припоздавших соседей, ясно, на собственной машине, – все тринадцать километров придется отмахать на своих двоих. Впрочем, Ешсоу вовсе не жалел об этом.

Прошло пропасть времени с тех пор, как он ходил пешком по этой дороге. И вспомнил он...

Однажды, давным-давно... ему и девяти лет не было... Последняя поездка с матерью в город. Его не с кем было оставить дома, потому мать взяла с собой. Кто знает, может, и тяготилась обществом сына: с ним всласть не побегаешь по магазинам, не заглянешь к знакомым, мальчик устанет от беготни, жары, захнычет, то пить захочет, то что другое приспичит... Приехав в город, мать, разумеется, не могла миновать рынка. И тут, на рынке, сын намертво прирос к земле напротив глиняных, ни разу до того не виданных игрушек – расписных коней, жар-птиц, оленей с ветвистыми рогами и неведомых сказочных существ, которые чем непонятнее выглядели, тем казались привлекательнее.

– Обычно здесь девчонки мельтешат, – сказал немолодой однорукий продавец, морщась, точно от боли. – К чему мальчишкам такие игрушки? Им подавай что-то разящее, стреляющее, разве нет?

Сказано было по-русски, но Ешсоу все понял, втайне немало возгордился познаниями в чужом языке. Не напрасно, выходит, учительница ставила его в пример другим. Понять-то он понял, но вступить в разговор не решился. Робость одолела. А глаз от игрушек оторвать не мог. Никак. Он не желал завладеть какой-нибудь отдельной игрушкой. Так, во всяком случае, ему казалось. Важнее было разобраться в другом – из чего они сделаны? И как? Разъять бы, посмотреть: как? Вот

он и застрял у грубого, сколоченного из небрежно оструганных досок прилавка, на котором пестрели совершенно бесполезные поделки. У продавца было усталое, сумрачное лицо, будто он больше, чем кто-либо другой, осознавал ненужность своего товара. Мать, обнаружив, что сын отстал, вернулась. Она, как бы походя, точно таясь, коснулась плеча Ешсоу, выражая этим жестом, будоражащим, будто неожиданное прикосновение птичьего крыла, свою сдержанную ласку. Продавец поднял сумрачные глаза под подпухшими веками с короткими белесыми ресницами, и неожиданно лицо его прояснилось, вроде кто-то, кому время было подвластно, стер с него десяток лет, полных потерь и печали.

– На что засмотрелся? – спросила мать, наклоняясь к Ешсоу. Но он, завороженный теперь уже не только пестротой разнокалиберных игрушек, но и неожиданным преображением продавца, промолчал.

– Возьмем тебе какую-нибудь безделицу? – предложила мать. – Коли он не запросит цену, по какой и скакуна – живого! – отдадут. И тебя в придачу!

Она взъерошила сыну волосы.

– Будь я по-прежнему человеком, – вдруг сказал продавец, обращаясь к ней, – нарисовал бы Вас. Непременно.

– О чем он? Ты же у нас – грамотей! По-всякому разбираешь! – смеясь, спросила мать.

Нарочно спросила. Ясно, она не хуже сына понимала по-русски, хотя и стеснялась говорить на нем. Во всяком случае, в памяти Ешсоу не сохранилось, чтобы она изъяснялась на каком-нибудь ином языке, кроме родного.

Продавец оглядел свой жалкий товар, выбрал расписную лошадку – красную с черной гривой – и протянул мальчику:

– Возьми. От дяди Сани.

Только повзрослев, узнал Ешсоу, что Саня – это сокращенное от имени Александр, такое же, как Шура или Саша. Узнав об этом, Ешсоу огорчился, словно разорвалась тонкая – не толще паутины – нить, связывавшая его, взрослого, с загадочным именем – дядя Саня.

Мать не стала отказываться от подарка, не сказала, как это принято даже меж близкими знакомыми, мол, мальчишка вашей доброты не стоит, не тратьтесь на него. На миг она свободной рукой прижала сына к теплому боку и заметила со смешком:

– Смотри, только высунул нос в город – и уже обзавелся родственником.

Продавец смотрел, не понимая и – как теперь догадывался Ешсоу – не делая попытки понять. Видимо, он полагал, что, вникнув в разговор, ничего существенного не добавит к тому, что видел глазами.

– Будь благословенна земля твоя! – вдруг сказал он.

– А теперь что говорит? – на этот раз и впрямь заинтересованно осведомилась мать.

– Ему здесь нравится, – важно растолковал Ешсоу.

– Здесь всем нравится!

Наклонив голову, мать то ли попрощалась, то ли поблагодарила и потянула за собой сына. Ешсоу пошел рядом, унося с собой черногривого, гладкого на ощупь коня и странное имя: Саня.

Мать водила Ешсоу от прилавка к прилавку, к чему-то приценивалась, редко что покупала и в основном в дощатых, пропахших керосином ларьках, где продавались хозяйственное мыло и керосиновые лампы, гвозди да тусклые обои, топоры без топорищ, большие амбарные замки и прочая дребедень. Ешсоу хотелось поскорее выбраться из толчеи. Окажись они на дороге, какой-нибудь грузовик или дребезжащий автобус с облупленной краской – чуть ли не до четырнадцати лет он себе и не представлял других автобусов! – обязательно подобрал бы их и довез бы до того поворота, где высится одинокая ель. Здесь от центральной трассы ответвлялась дорога и, становясь все ухабистее, вела в глубь села, которое было самым надежным местом в мире – там стоял родной дом.

От центральной трассы обычно приходилось добираться пешком. Конечно, по дороге могла нагнать колхозная

машина. Но и грузовиков в ту пору, не говоря уж о легковых машинах, попадалось негусто. Нагонит машина – водитель непременно предложит подвезти, если даже мать не проголосует. Ешсоу только диву давался, как удается матери останавливать машины, даже не удосуживаясь руку поднять.

– Заговорное слово знаю, – лукавила мать.

Он приставал:

– Скажи какое?

– Не могу! Иначе оно силу потеряет.

– Раз так, сама откуда узнала?

– Горный ветер нашептал!

Ешсоу обижался – вредничаешь, не хочешь поделиться тайным словом. В ту пору он мнил себя таким защищенным, что легко обижался на всякие пустяки, даже на материнские подшучивания.

С рынка они выбрались нескоро. Но с попутной машиной, ясное дело, повезло. Подвез их словоохотливый парень, правивший огромным грузовиком, а сам бестолковый, никак не мог поверить, что Ешсоу вовсе не брат, сын... Высаживая у развилки дороги, водитель все сокрушался, что не может доставить своих пассажиров прямиком к дому. Отъезжая, бестолковый водитель, высунулся из кабины и со словами «Счастливо оставаться!» нажал на сигнал своего автомобиля. В ушах аж зазвенело от прощального гудка.

– Это он тебе! – сказала мать.

Но Ешсоу засмущался и ответно не пожелал счастливой дороги, только помахал рукой с зажатым в кулаке конем.

– Еще один друг! Да у тебя от них отбоя нет! – точно поддразнивая, заметила мать. – Другие – горемыки – годами одного-единственного друга обхаживают, как привередливый саженец. Ты же хлопнул в ладони – дюжина бежит, с ног сбивается.

– Я не хлопал! – возразил он, отчуждаясь от материнского оживления, будто это оживление что-то отнимало у него, что-то, только ему одному принадлежащее.

– Верно, и хлопка не понадобилось, – примирительно заметила мать и предложила: – Пойдем лесом, так ближе.

– Лучше по дороге! – заупрямился он. – Может, машина нагонит.

– Машин с нас хватит! – возразила она весело. – Пошли!

И быстро, будто куда-то опаздывая, – неужто день беготни ее не утомил? – она пересекла дорогу и ступила на вкось и вкривь протоптанную тропу через луг, за которым виднелся жиденький лесок в путах колючек и ежевики. Недовольный Ешсоу поплелся за матерью, но упрямства ради не нагонял, тащился позади. Мать шла быстро, откинув назад голову и, хотя несла кошелку с покупками, не позволяла себе перекосить стан. Глядя на нее, Ешсоу неожиданно вспомнил: однажды, сидя под соседским домом – играли в жмурки, и он там прятался, – подслушал случайно, потому что от смущения не решался вылезти из своего укрытия, один разговор. Гостья соседки, старуха Ханифа, жившая на пригорке, чесала языком: «Видала, в какой обувке разгуливает жена Шураха? Моя дочь – она, слава богу, не кто-нибудь, грамоте всю окрестную ребятню учит – на таких ходулях носу из дому не кажет. А Шурах жену не из города привез, выудил из глухомани, как рыбу из горного ручья. Теперь же она ступает так, будто в княжеских хоромах выросла. Ходули ходулями, глянь, какие платья носит, прорву ткани изводит на них».

На матери и сейчас были туфли на высоких каблуках. Подол голубого в белых горошинах платья свободно бился вокруг ног – юбка широченная, а на талии перехвачена кожаным ремешком. На лугу мать сбросила туфли, то ли каблуки увязали в земле, то ли, что вернее, берегла нарядную обувку. Туфли она взяла в свободную руку, не отягощенную кошелкой, и, оглянувшись на сына, сказала:

– Ну вот, набежало облачко на солнце. С какой стати? Давай разгоним облачко. Прорвемся через него наперегонки. Спорим, что я первая добегу до леса, хотя ты налегке, я – с ношей.

– Спорим!

Он, не дожидаясь команды, взял «ноги в руки», что, в общем-то, было справедливо, раз мать стояла на несколько шагов впереди. Она посторонилась, давая дорогу, а потом легко побежала рядом, приминая ступнями колкую траву: тропу она уступила сыну. Ешсоу наддал ходу и первым добежал до леса, схватился за ствол ольхи и крикнул:

– Эй, где ты там? Мне надоело ждать!

– Хвастунишка!

Мать, добежав до него, бросила наземь кошелку и туфли и засмеялась. Лицо ее пылало румянцем, каштановые волосы, расчесанные на прямой пробор и собранные на затылке в узел, распустились и теперь широкими полукружьями спускались вдоль щек. Мать встряхнула головой, волосы и вовсе рассыпались по спине.

– Говорят, у худой кобылицы грива землю метет! – со смешком сказала мать и, достав из сумочки маленький гребешок, принялась расчесываться.

Но даже Ешсоу понимал: ей нравится, что у нее густые длинные волосы. Мать, порывшись в кошелке, вынула шпильки и быстро, умело скрутила волосы жгутом и заколола, при этом отчего-то морщась, будто шпильки не в волосы втыкала, а в кожу.

– Пошли, – велела. – Праздник завершается.

Она подхватила свои вещи и первой ступила на лесную тропу.

– Пусти вперед, я в ботинках, – потребовал Ешсоу.

Он встревожился, что мать босиком наступит на колючку или – нельзя исключить и такое! – на змею! Только он постарался не выдать тревоги. Она легко уступила.

– Дорогу прокладывать – дело мужское!

Хотя сказано было: «праздник завершается», он все еще был их попутчиком. Ешсоу шел по тропе, собранный, настороженный, как и полагается идущему впереди. Носком ботинка он отбрасывал колючки и мелкие камушки, рукой отводил в сторону низко нависавшие над тропою ветви. И

черногривый конь, зажатый в потной ладони, прокладывал вместе с ним безопасный путь.

– Тот, кто тебе игрушку подарил, – вдруг проговорила мать за спиной, посерьезневшим голосом, как бы намекая празднику, что пора отстать, – он вроде из огня вышел. Все огню оставил. Кроме сердца...

– У него только руки нет, – досадливо сказал Ешсоу. – Одной.

Ему послышалось: мать хмыкнула, но не возразила, погодя даже посулила:

– В другой раз купим у него пропасть игрушек. Сколько ему не жалко будет продать, столько и купим,

– Когда?

– Скоро!

Но скоро не получилось. После нескончаемой зимней слякоти, ранней-ранней весной, когда еще в оврагах среди молодых трав несмело лиловели фиалки и концы обманчиво непрочных папоротников еще были скручены в бараньи рожки, мать сказала:

– Твой черногривый с прошлого лета пасется в одиночку, так уж ему выпало. Пусть немного потерпит. Случится одно событие, потом я выкрою время, обязательно съездим на рынок, найдем того, как его звали?

– Дядя Саня! – напомнил он с готовностью.

– Вот-вот, купим у него коней, кобылиц, жеребят, целый табун, не поместятся на камине, – она глянула на каминную полку, где в вечном галопе застыл красный конь, – пустим пастись на комод.

Мать потрепала сына по плечу. Жест, оставшийся в памяти, как единственное выражение полноты чувств.

– Минует событие... – мягко сказала она.

Ешсоу не спрашивал, какое такое событие, догадывался и без того. Ведь старуха Ханифа чуть ли не ежедневно донимала расспросами: «Кого хочешь? Братика? Сестричку?» Ничего он не хотел, кроме как вырваться из цепких рук лю-

бопытной говоруньи. – Признавайся, кого хочешь, чтобы купили, мальчика, девочку?

– Велосипед! – орал он, выведенный из себя. – Пусть купят велосипед!

Старуха заливалась хрипловатым – она была заядлой курильщицей – смехом и, наконец, отпуская мальчика на волю, растолковывала:

– Чего-чего, а уелесепеда ты не дождешься...

Они расходились в разные стороны, считая друг друга безнадежными тупицами.

Ешсоу вовсе не ощущал нехватки брата или сестрицы. Но и ему вроде передалось материнское нетерпение. Он и подгонял дни, пусть случится все, что должно, и поскорее, случится и забудется. А мать свезет Ешсоу в город. Он намеревался набраться храбрости и спросить у дяди Сани, как превратить вязкую, смешанную с песком глину, мигом трескающуюся, стоит только поставить поделки из нее на солнцепек, в огненного коня со сдвоенными в беге ногами и хвостом, в котором ветер намертво застрял, как и в гриве. Мать молча стояла бы рядом, не мешая разговору, не отвлекая, наоборот, своим присутствием сообщая сыну ощущение прочности...

Как-то среди ночи Ешсоу внезапно, будто от толчка, проснулся и обнаружил зажженную лампу на столе, мать была на ногах. Несмотря на ее торопливое: «Спи, ночь еще, спи!» он сел на кровати, тараща спросонья глаза. На матери было что-то светлое, просторное. Неуклюжей, тяжело ступающей она в памяти сына не сохранилась, хотя женщина, у которой начались родовые схватки, вряд ли могла птицей летать по дому. Но Ешсоу запомнил, как мать мерила комнату шагами: подходила к окну, от окна – к двери, опять к окну. Даже годы спустя он мог бы поклясться: она легко скользила по комнате и лицо ее, если что и выражало, так не тревогу, а ожидание. Еще ее заботило, что сын ночь ломает, не спит из-за нее, досадливо роняла: «О многом разве прошу? Усни, говорю, и только!» Ешсоу отмалчивался, но не ложился хотя бы для виду, сидел, обхватив колени руками. Куда же отец подевал-

ся? Ведь с вечера был дома, даже рано пришел, что случалось редко. Отчего-то в те времена у председателей колхозов не было принято возвращаться домой раньше полуночи, поднимались же, понятно, на заре. И орденов за это вроде не давали, наоборот, в район вызывали только затем, чтобы хорошенько намылить шею. Отца Ешсоу видел дома, пожалуй, не чаще, чем ту же языкатую соседку Ханифу или ее дочь Серну, на которую Ешсоу еще в школе надоедало смотреть. Если отцу и случалось прийти рано, немного внимания перепадало сыну. Да и матери было не до Ешсоу. «Затихни, парень. Старшего надо уважить!» – подмигнув, бросала она сыну, пробегая мимо то с чистым полотенцем, то с розовым земляничным мылом. Только она вовсе не боялась отца. Ешсоу побаивался, она – нет. Да и кого на свете боялась его бесстрашная мать? Не только не боялась, но и до полуночи не могла угомониться от радости, если отец приходил домой еще при свете дня. Она затевала печь пирог с сыром, будто важный гость пожаловал, и подсаживалась к отцу с требованием, чтобы он вслух почитал какую-нибудь книжку, вроде тот не председателем в колхозе, а учителем в школе работал. В конце концов, мать и сама могла почитать, грамоту знала. Так нет же! Ей надо было, чтобы он почитал! К удивлению Ешсоу, отец, случалось, брался за книжку. Но и при отце неотложные дела тянули мать из дому. Нередко в такие дни со двора доносилось пение. Высокий голос матери, казалось, взмывает к небу и парит там, не снижаясь. «Может, ее в коморку посадить, чтобы утихомирилась? – оборачиваясь к сыну, с улыбкой спрашивал отец. – Только справимся ли?»

Ешсоу, пропадая от смущения, отмалчивался, всей душой желая только одного: пусть поскорее кончится веселье, наступит следующее утро – отец спозаранок рванет в контору! – и он вновь останется вдвоем с матерью... Но теперь, глядя, как мать скользит, точно челнок, от окна к двери и обратно, он с нарастающей тревогой пожалел об отсутствии отца и, не выдержав, спросил:

– Он где?

Ешсоу смущался называть отца по имени – Шурах, и ребячье «папа» как-то не выговаривалось.

– Сейчас машину пригонит, – сказала мать, вглядываясь в темноту. – И Серну обещал позвать. Она с тобой побудет. До завтра.

– Не надо, – запротестовал Ешсоу. – Не надо никакой Серны! По-твоему, я по ней соскучился?

– Погоди, – мать подошла к кровати, быстро провела по его щеке сухой горячей ладонью, легонько толкнула в лоб: – Ложись лучше... – А потом, наклонившись к сыну, заглядывая в глаза, сказала доверительно и с лукавинкой, мол, понимаю, надо удержаться, да не получается:

– Думаешь, мне самой ваша кислица Серна так уж нравится?! Но она о тебе позаботится. Сделает все, как полагается. А ты потерпишь... Молоко при виде Серны – раз! – и створаживается. От скуки! Но ты же не молоко! Тебе чего бояться?

Тут они услышали шум машины. Мать торопливо отошла от сына, заколола волосы шпильками, и к тому времени, когда показалась в дверях широкоплечая фигура отца – Серна мышкой прошмыгнула мимо него, – мать наготове стояла возле стола с маленьким, лишь один замок посередине, рыжим чемоданчиком в руке.

– Поторопитесь, – сказала Серна, будто и без ее совета кто-то собирался тут рассиживаться. – Припозднились, дальше некуда.

– Не скучай, Ешсоу, – попрощалась мать.

– О нем не думай, – вступила Серна. – Я позабочусь.

Очень ему нужна была ее забота, как же! Об этом, наверное, подумала и мать – вновь оглянувшись, она усмехнулась, может, даже подмигнула, но из-за полумрака в комнате он этого не разглядел.

Отец, едва различимый в темноте, терпеливо – или безучастно? – дожидался у двери.

Серна перехватила у матери чемоданчик и вышла последней, притворив за собой дверь. Но до мальчика все равно,

точно стук дятла, доносился ее голос. Видно, что-то умное вдалбливала матери. Она ведь привыкла в школе всех поучать. Ешсоу злился на Серну, будто по ее вине мать ушла среди ночи, бросив сына одного. Он соскочил на пол, подбежал к окну. Во дворе было темно, и он толком ничего не разглядел. Но тут у ворот заурчал мотор машины, вспыхнули фары. И как только снопы света, точно взявшие след охотничьие собаки, указали дорогу автомобилю, Ешсоу нырнул в кровать, укрылся до подбородка, отвернулся к стене, отгородился, как мог.

До самых сумерек следующего дня он терпеливо сносил заботу Серны. И в школе она не оставляла его в покое, заглядывала в класс чуть ли не каждую перемену, будто проверяя, не сгинул ли он куда – а куда он мог? – после школы повела домой, как мальца неразумного. Ешсоу наотрез отказался идти к училке в гости. Она, правда, настаивать не стала, но свобода его длилась не больше получаса – столько времени понадобилось зануде, чтобы забросить домой свой учительский портфельчик, переодеться в домашнее платье и заявиться к Ешсоу. Платье-то она переодела, а недоверчиво-кислое выражение лица: «Что еще выкинете?», понятно, никуда не делось. Она с ним, наверное, никогда не расставалась. Серна принесла миску вареников с сыром – полкласса можно было бы накормить – и даже карамельками угостила, яблочными. Кислица, как сказала бы мама, все старалась рассмешить Ешсоу разными шуточками, будто у них такой урок был. По смеху. Только мать, будь она здесь, потом наверняка сказала бы: «Даже ослица сдохнет от таких шуток!»

Ближе к вечеру забот у зануды, к счастью, прибавилось. Она подоила их пятнистую корову, а потом пришлось к себе домой отлучиться. Только Серна ушла, вернулся отец.

– Зачем в темноте сидишь? – удивился он, входя в комнату. Но и сам лампу зажигать не стал, тяжело прошел к столу, сел, выложив на светлую скатерть темные от загара руки, позвал сына:

– Иди сюда!

Ешсоу нехотя подошел. Руки отца внезапно сжались в кулаки. Казалось: он наклонил крупную голову со щедрой проседью для того, что бы отпугнуть недругов, если надо, и вовсе забодать. Ешсоу, как ни странно, не чувствовал себя рядом с этой силой защищенным. Хотя и признавал наличие самой силы, способной все на своем пути сокрушить, может, даже и преувеличивал ее.

– Ты – мужчина, так, Ешсоу? – не оборачиваясь, проговорил отец.

Ответа, понятно, не дождался. Что тут скажешь?

– Забаловали тебя женщины, как девчонку растят, а мужчина ты хоть куда, правду говорю?

Кроме матери, некому было баловать Ешсоу. Ей же такое и в голову не пришло бы. Но спорить он не стал. Слушал молча. Только опасался одного: как бы ноги, нетвердость которых ощутил внезапно, не подогнулись бы. Грохнется еще на пол. Позору не оберешься!

– Мужчина должен быть тверд, как самшит, как кремень...

Отец рывком обернулся к сыну, сильно обхватил руками, и ткнулся лицом в живот. Горячее дыхание через бумазейную блузу защекотало кожу, отчего неприятный озноб пробежал по спине. Отец все крепче и крепче обнимал Ешсоу, представлялось – конца этому не будет. Придется вечность простоять. стиснутый отцом, обмирая от необъяснимого страха и неловкости.

Дрогнули плечи отца – раз, другой... Ешсоу так и не понял, что отец плачет, но если бы и понял, ничем бы не сумел помочь.

– Ни на шаг от себя не отпущу, – глухо сказал отец, так же внезапно, как и обнял, отпуская сына. Отстранив Ешсоу, он поднялся на ноги и, пройдя к окну, оперся крупными ладонями о подоконник – кряжистый, крутоплечий. Такого с ног не собьешь, хоть тысячу лет старайся.

– Худо твоей матери, – не поворачивая головы, сообщил отец. – Поеду опять в больницу.

Он медленно выпрямился и обернулся к сыну.

– Не надо Серну звать, – собрав всю решимость, попросил Ешсоу. – Один переночую, не маленький.

Отец помедлил, раздумывая, сказал, наконец:

– Как хочешь...

Он зажег керосиновую лампу – тогда ведь электричество к их дому еще не провели, хотя столбы уже понаставили. Отец водрузил на середину стола лампу, и, оставив тусклый свет за собой, вышел в ночь.

Сразу после его ухода Ешсоу лег в постель, чтобы Серна – он подозревал, что она все равно заявится, – нашла его спящим, и чтобы поскорее время прошло. Новый день принесет добрые вести о матери. Непременно добрые.

Под утро Ешсоу разбудили женские голоса. Его за плечи тормошила старуха Ханифа, причитала, перекосив рот, обнажая гнилые прокуренные зубы: «Сирота ты горемычный! Нет твоей матери, нет! Оставила тебя, несчастная, дом свой светлый оставила, двор свой чистый покинула!» Заполнившие комнату женщины вторили ей. Через толпу пыталась пробиться Серна: «Дайте пройти к мальчику...»

Так родился на свет Плакса. А мать ушла. Навсегда.

Когда, наконец, многоглазая охрана, стенавшая «На кого ты сына своего оставила, жестокая?» – с такой яростной определенностью никого он раньше ненавидел, как этих плакальщиц! – ослабила бдительность, Ешсоу схватил с каминной полки глиняного коня и крадучись выбрался из дома. В орешнике он поставил скакуна на плоский камень и обрушил на него булыжник. Молотил по коню, ненароком попадая и на пальцы, – он их порядочно раскровенил, – до тех пор, пока не раскрошил целиком, но и потом успокоиться не мог, все бил и бил по камню. До изнеможения. Только ярость, переполнявшая его, не убывала...

В доме поселилась отцовская тетка присматривать за новорожденным – безобидная старушенция, от чьих темных платьев пахло огородом: мятой, кинзой, петрушкой, хотя она в огород почти не заглядывала, не до того было, все семени-

ла по дому, хлопотала над младенцем, склоняя над люлькой маленькую, туго обтянутую черным платком голову. А новорожденный только и знал, что пищать. Тогда-то и прилипла к нему кличка Плакса, правда, и когда подрос, он, чуть что, любил слезу пустить. Тетка не донимала Ешсоу причитаниями о его сиротской доле, не пыталась походя приласкать, чем и заслужила его признательность. Они сосуществовали под одной крышей без взаимных обид, каждый был занят своей заботой, она – младенцем, он – одиночеством. Но отец решительно – а упорства ему было не занимать – взялся кое-что переиначить. Так как контору он в собственный дом не мог перенести, – без нее, очевидно, жизнь остановилась бы, во всяком случае, для него, – отец поместил в контору сына. Ешсоу велели ежедневно после занятий заходить на работу к отцу. Благо, школа и контора находились, можно сказать, в одном дворе, разграниченные трухлявым от времени штакетником. Большей частью Ешсоу не заставал отца на месте. Ведь, по убеждению председателя, без его личного догляда ни в одной бригаде прямую борозду и то проложить не могли. Так мог ли он усидеть в конторе?! Обрадованный отсутствием отца, Ешсоу устраивался за председательским столом, покрытым ворсистым зеленым сукном, заляпанным чернилами, пропахшим отчего-то мелом и запустением, и готовил уроки, прислушиваясь к разговорам, доносившимся из приемной, где сидела Минца, секретарша, которую в ту пору он принимал за важное лицо. Рано или поздно Минца входила в кабинет, неся в руке пакет из серой грубой бумаги, и у Ешсоу от любопытства загорались глаза.

– Посмотрим, что за угощение нынче прислали твоему отцу из главного ресторана райцентра! – говорила она и разворачивала пакет, в котором оказывалось то полкурицы, хрустко зажаренной, с куском пирога с сыром, то кусок вареного мяса с чуреком или другая снедь.

По уверению Минцы, ежедневно из районного центра привозили еду для председателя колхоза, чтобы он, ворочая народным делом, не дай бог, не остался голодным. Но разве

в родном селе дадут такому человеку проголодаться? Председатель всегда сыт. Он и велел отдавать сыну присылаемые из района гостинцы. Вид пакета вызывал у Ешсоу не только любопытство и радостное предвкушение сытной еды, но и законную гордость: достойным по-настоящему человеком, очевидно, был его отец, раз известные и наверняка занятые люди из района ни разу не забыли прислать ему угощение. Так в селе люди, у кого затевается свадьба иль какое другое пиршество, считают своим долгом прислать на дом угощение самому уважаемому, правда, и старому человеку, который из-за возраста уже не посещает застолий.

Ни разу ведь не пришло в голову, что Минца попросту подкармливает его. Если бы хоть раз, когда отец спрашивал: «Умираешь, наверное, с голоду?» – Ешсоу обмолвился: «Ну и вкусную же еду тебе присылают...» – все бы разъяснилось. Но в ту пору Ешсоу как можно короче отвечал на вопросы отца.

– Садись в машину! – звал отец, заглядывая в кабинет, где без особой надобности он не любил задерживаться. – Поедем к Хмычу, дрыхнет, наверняка, под какой-нибудь шелковицей, хоть динамит под него подводи!

Ешсоу с готовностью вскакивал, хватал портфель и шел к двери. Отец, поджидая, стоял на крыльце.

Обычно он носил кирзовые сапоги – попробуйте сейчас найти председателя колхоза в кирзовых сапогах, в новомодных итальянских, на худой конец, югославских штиблетах щеголяют! – в них он заправлял черные грубошерстные, что зимой, что летом, брюки. А вот сорочки он всегда надевал белые и всегда свежие – неужто, тетка-одуванчик успевала и ему стирать? Поверх сорочки – кургузый пиджачишко, едва сходившийся на широченной груди. Головных уборов отец не признавал, зимой и летом, в дождь и ведро ходил простоволосый, но густые волосы – уголь, пересыпанный солью, – вроде еще круче завивались от этого. Ешсоу выходил к отцу, и тот, быстрым взглядом окинув его, торопился спуститься вниз, где возле лестницы дожидался обшарпан-

ный «газик», который председатель водил сам, а случалось, и чинил.

– Давай за руль! – командовал он сыну, если время не поджимало.

С первых же дней отец стал учить сына, правда, без особого терпения, водить машину. Но Ешсоу пристрастия к автомобилям, как другие мальчишки, не обнаруживал, садиться же за руль попросту ненавидел, только не осмеливался заикнуться об этом.

– Любой паренек на твоем месте с ума бы сошел от радости!

Отца сердило, что сын хмурится. Но это было куда легче снести, чем когда родитель оказывался близок к разгадке:

– Может, боишься насмешек? Дурной я, что ли, насмехаться?

А, забывшись, обзывал и бараном, и ослиным ухом. В гневе он себя не слышал, но другие-то слышали. Сын помнил, как однажды отец завелся с присланным из района человеком – уполномоченным. В ту пору Ешсоу, да не только он, но и многие взрослые, считали: это такое ремесло – уполномоченный. Скажем, как агроном. Главное назначение уполномоченного – держать в узде председателей колхозов. «Я присматриваю за лошадьми, уполномоченный – за председателями», – уверял конюх Уша по прозвищу «Ветер под кепкой». С этим смотрителем и завелся отец. Об Ешсоу спорщики забыли, он и стоял в углу кабинета, прижавшись плечом к холодному торцу несгораемого шкафа.

– Есть у тебя глаза?

Кулаком отец со всего размаха долбанул по столу, выбив из суконного верха немало пыли.

Уполномоченный – тоже здоровяк, в кителе, в галифе, заправленном в узкие кожаные сапоги, – заложив за спину руки и выпятив грудь, ответно надсаживал глотку:

– Не ори! Я тебе не бригадир!

– Ты мне лучше скажи: глаза у тебя есть?

– Они дальше твоего видят. Уже вижу, где через месяц окажешься, если сегодня за ум не возьмешься!

– Такой зоркий, соколу фору дашь, а не замечаешь, что за окном делается. Хоть высунь руку, почувствуешь, дождь льет! Две недели подряд!

– Возьми иголку, нитку, небо залатай!

– И небо не трону! И в гнилую землю зерна не брошу!

– Другие бросили! Ты лучше всех?

– Другие повесятся, так и я должен повеситься?

– Без твоей инициативы обойдутся, сами повесят!

– Тогда и скажу: молодец. Про тебя!

– Твой характер всем надоел! – заверил уполномоченный и, похоже, давая себе передышку, обратил внимание на Ешсоу: – А малец что тут делает?

– Меня дожидается!

Уполномоченный поднял руку, отогнул рукав, глянул на огромные, как жернов, часы, сообщил, как будто и без него не было ясно:

– Время позднее, как же ребенок завтра в школу поднимется?

– Поднимется, – хмурясь, сказал отец, – куда денется?

–Зачем мальца заставляешь ночь ломать? – начал было уполномоченный, да осекся, встретив взгляд отца, усмехнулся: – Посоветуй я тебе пацана пораньше отправлять в постель, вовсе запретишь ему спать.

–– На этот раз ты сказал сущую правду! – Отец обернулся к Ешсоу, позвал: – Идем, парень, сегодня мы и впрямь припозднились.

Можно подумать, когда-нибудь случалось иначе. Во дворе лил дождь. Отец взял Ешсоу за руку и широкими шагами пошел к воротам. На ночь он оставлял машину в деревянной пристройке, к великой досаде сторожа, который, не будь автомобиля, преспокойно отправлялся бы спать под боком жены вместо того, чтобы бродить вокруг конторы со старым ружьишком, хотя в человека не только выстрелить, прицелиться не отважился бы.

Пока добрались домой, они промокли насквозь. Плакса с теткой уже спали. Десятый сон, наверное, видели. Ешсоу было странно думать: когда-то и он к возвращению отца досматривал десятый сон.

– Раздевайся быстро! – велел отец и растер его жестким вафельным полотенцем, хотя Ешсоу и вырвался, мол, сам справится, не маленький.

– И меня разотрешь! – сказал отец. – Причем тут маленький – не маленький?

Потом они пили мед, разведенный кипятком. А когда улеглись спать, все ворочались в постели, хотя обычно мгновенно засыпали, будто сон весь день, как паук, раскинув паутину, таился в подушке. Отец поднялся, постоял у окна, вглядываясь в темень, потом подошел к кровати сына, настороженно застыл, как над кручей, и после раздумья велел:

– Подвинься немного.

Он лег навзничь и заложил за голову руки. Ешсоу боком вжался в стену, освобождая как можно больше места, а заодно увеличивая между ними расстояние, словно отец находился под током высокого напряжения и прикоснуться к нему было опасно для жизни – все равно что наступить на оборванную линию.

– Дай руку, – попросил вдруг отец и тут же, не дожидаясь, пока сын выполнит просьбу, нащупал его руку и сжал: – Покачнусь – не дай упасть.

Ешсоу ошеломленно молчал.

– Прости уж, ношу не по плечу взваливаю на тебя... выходит, не всякий мужчина кремень.

Сын почувствовал, что он усмехнулся. Глаза привыкли к темноте, и Ешсоу ясно различал твердую линию отцовского подбородка, крупный, без горбинки нос, широкие брови, темные провалы глазниц. Отец сейчас, наверняка, не мигая, смотрел в потолок. Твердо сомкнутые губы разжались, и он заговорил неожиданно низким голосом, мало походившим на обычный его зычный голос.

– Тогда, в войну еще, – он вновь сжал руку сына и выпустил, головы же к нему не повернул, глаз с потолка не сводил, словно смотрел немое кино и озвучивал, – я же здоровенным парнем был, воином, а она...

Ешсоу мигом смекнул: речь о матери, и озноб пробежал по спине. До смерти хотелось удержать: «Не надо, молчи!» – до того боязно было услышать многократно распеваемое другими: «Бедная твоя мать, на кого тебя оставила!» Но чуял нутром – нельзя этого делать. Если даже он найдет в себе силы перечить. Сегодня никак нельзя.

– Мы ночью пришли. Ее родитель проводником у наших разведчиков был, водил по охотничьим тропам. Дом в каштановом лесу стоял, легкий такой, ладный, на сваях... К мужчине, ко взрослому человеку пришли, а на зов вышла девчушка. Это мы различили, когда она на миг показалась на пороге, освещенная тусклым светом из комнаты. Не с пустыми руками вышла – с ружьем наперевес. И дверь тотчас захлопнула: от света заслонилась, мишенью себя не подставила. Попробуй, не удивись, когда ребенок к таким предосторожностям прибегает. Это нынче наслышаны, как дети в войну быстро взрослели, а тогда... Скажу тебе: такому камешку надо бы находиться подальше, когда скалы сшибаются. Девчушка с крыльца как пропищит: «Эй, кто там?» Спутники мои даже прыснули. А у меня сердце оборвалось, сам не знаю почему, будто погибель свою почуял.

Отец рывком поднял руку, сильно потер переносицу и вновь уставился в потолок. Ешсоу боялся шевельнуться, точно от его неосторожного движения исчезло бы изображение на потолке, видеть которое стало сегодня для отца насущной необходимостью.

– Дыши свободно, – сказал отец, – ничего не бойся... Так вот. Наш старшой, крутой был парень, а любил, чтобы его Митей называли, хотя в армии это вовсе не принято, тихонько растолковал нам: «Это дочь проводника. Бедовая девчонка! – И гаркнул: – Старик куда схоронился? – Добавил потише: – Это я... Митя».

На крыльце медлили с ответом, а потом она выкрикнула срывающимся голоском: «Освети лицо!» – «Видали чертушку? – расхохотался Митя. – Весь устав назубок знает! Можно поставить на охрану самого ответственного объекта! – Тем не менее, требование он выполнил, осветил фонариком лицо: – Узнала теперь?»

«Заходите, – позволила она и уже по-абхазски, видимо, запас русских слов исчерпала, добавила: – Будьте хозяевами...».

Мы услышали, как стукнул об пол приклад ружья. Под прицелом нас, похоже, больше не держали. Девочка открыла дверь в комнату и жестом предложила войти, а сама стояла у порога, все так же зорко вглядываясь в нас, точно силилась на глазок определить, не затесался ли в наши ряды недруг. Она тогда еще совсем зеленым росточком была, ну, может, года на два старше, чем ты сейчас, а норовила взрослую ношу на себя взвалить... хорохорилась... ничего ведь другого не оставалось... Я, знаешь, подумал тогда: позор нам, мужчинам, до чего дело дошло, допустили даже козявку эту подставить плечо под общую беду, сами не сдюжили. Ее отец лежал на лавке близ очага. Завидев нас, он откинул бурку, которой укрывался, и приподнялся, ясно, вежливости ради. Иначе, будь он в силах подняться, давно бы был на ногах и девчушке не позволил бы выйти. Я удержал его на месте, а Митя, похоже, не сразу разглядел, до чего человеку худо: «Что, отец, прогуляемся по твоим горам?» – «Гуляем, гуляем, – закивал проводник и у меня справился: – Как ты, парень, насчет русского языка?»

– Вроде разбирают, о чем я толкую, – сказал я.

– Я тоже здесь за месяц грамотеем заделался. Но у тебя лучше получится. Объясни старшому – знаю я его, парень смекалистый, на лету хватает, – досталось мне вчера, сегодня почти покойник. Та, которая мне мамалыгу варит, повела в горы людей Вадима, ваш старшой с ним знаком, здесь встречались. Моя мамалыжница, когда не ленится, лучше серны по горам ходит и видит в темени, как волчица, но раньше утра никак не обернется. И никто бы не обернулся...».

Я говорю Мите, мол, так и так... Он вроде и сам уже смекнул, что к чему: «Худо дело, соколы, придется без проводника двигать. А в этих горах сам черт ногу сломит».

Тут девчушка вмешалась: «Я поведу!» И на отца смотрит. Во все глаза. Его разрешение ей требовалось, нас в расчет не принимала. Но уж отцовского слова ждала с таким напряжением, что не знаю, как другим, а мне показалось: шаровая молния влетела в окно...

Ешсоу пошевелился, переменил, наконец, позу, подложил руки под голову и теперь локтем касался отцовского локтя, что было одновременно и неловко, и приятно.

– Старик не отпустил ее, обронил: «На кого дом бросишь?», не сказал «меня». Но она, сметливая, сразу поняла, что к чему, канючить не стала, сникла. Мы в ту ночь ушли без нее – и слава богу. Не всякую хворостинку в огонь надо подбрасывать. При любой стуже.

«Ну да, это мужчине полагается быть крепким, как самшит» – подумал Ешсоу – если даже чувствуешь себя бросовым деревом вроде ольхи, все равно надо прикидываться, будто ты – самшит. Ценная древесина!»

– Повезло ей, – нечаянно проговорилось вслух.

Ешсоу имел ввиду, что матери незачем было притворяться самшитом, не мужчина ведь… Но откуда было знать отцу, о чем он в тот момент думал, потому и глянул на сына удивленно, сказал:

– Не знаю, о чем ты. Но в тот вечер она вряд ли считала себя везучей. Провожая нас, насупилась, старалась не расплакаться. Главный наш, Митя, постарался ее ободрить: «Оставляем тебя, сестренка, тыл держать. Будешь как свет в окошке». Только ободренной она не выглядела.

– Я думал, она все-таки убежала с вами показывать дорогу! – неуклюже соврал Ешсоу.

– Она никогда ничего тайком не делала! Уважение к себе имела! Никого из нас дочь проводника не запомнила в ту ночь, кроме Мити. Правда, он не раз бывал в доме. Между тем мне куда легче было обознаться. Она выросла, переме-

нилась. Я же каким был, таким и остался. Обличье, приданное тебе войной, вместе с гимнастеркой не скинешь. Да и гимнастерку таскал, пока не стала расползаться по швам. Не признала... Отец ее сразу после войны умер. Можно сказать, погиб. Надорвался в проводниках. Двужильный человек был. Иной бы не сдюжил еще в сорок втором. Осталась она вдвоем с матерью. Слышал я от дальних ее родичей, будто осенью, когда каштаны созревают, медведи прямо к ограде их дома спускаются. Они охочи до каштанов не меньше, чем до меда. Она, – отец так ни разу не произнес ее имени, не сказал даже: «твоя мать», – брала в руки ружье, то самое, наверное, которым пыталась нас напугать, и выстрелами разгоняла зверей. Иногда в ярости даже с палкой за медвежатами гонялась. Это похоже на нее – с палкой за медвежатами... Так и пасла медведей, пока не удалось сманить ее в долину. Если только можно назвать долиной место, где мы с тобой живем!

Отец помолчал и добавил с отчаянием:

– Словами тут не поможешь. Говорю, говорю, а все – мимо цели.

Он рывком сел на постели, спустил на пол ноги, посетовал:

– Все люди как люди, табак смолят, а я к куреву и то приучиться не могу! – Потом, спохватившись, повинился: – Спи, парень. Даром ночь ломаем.

«Не даром!» – хотелось сказать Ешсоу, но вместо этого он неожиданно для себя попросил:

– Свези меня в город, на рынок.

– За конем поедем?

У Ешсоу дух захватило. Он и думать не думал, что отец обращал внимание на безделку на каминной полке. Да и где у него было время для таких пустяков? Но ведь спросил: «За конем?» Оставалось только, чувствуя, как комок подступил к горлу, подтвердить: «За конем!»

– Съездим, – пообещал отец. – Летом съездим. У тебя начнутся каникулы. Да и у меня будет передышка.

Они и съездили. В разгар лета. Хотя дел у отца вроде не убавилось, все равно съездили. Только обернулось не так, как ожидалось. Наивно, конечно, было надеяться, что, как только окажутся на рынке, так сразу увидят слева от ворот, на деревянном прилавке под дырявым навесом табун красных коней с гривами, поймавшими, как парус, ветер. И табунщика увидят – однорукого, с серым, точно пеплом обсыпанным лицом, – мать же сказала: «Из огня вышел!» Но при желании он мог мгновенно преобразиться, ожить, точно жар раздуть в себе. Только и он, наверное, не был в состоянии вместе с новым красным конем вернуть давно миновавший день?

За прилавком словоохотливый старик продавал плетеные корзины для всякой хозяйственной надобности: для винограда, кукурузы, фасоли. С его помощью – он кинул клич по базару – удалось узнать, что тот самый человек, которого Ешсоу именовал дядей Саней, уехал. Навсегда.

Потом отец и сын молча шли по улице, и ничто Ешсоу не занимало. Он сам этому удивлялся. Не настолько ведь часто попадал в город, чтобы происходящее вокруг не представляло интереса. Но было так. И он решил, что заболел. Когда у него поднимался жар, ему тоже хотелось одного: лежать с закрытыми глазами и ни о чем не думать.

– Застань мы его на месте, все равно не было бы толку, – сказал отец, так долго, так хорошо молчавший. – Поверь. Тот конь... он был единственным.

«Зачем же тогда мы сюда приехали?» – хотел, было, спросить Ешсоу, но сдержался, поняв: спорь – не спорь, все едино.

Отец, сославшись на то, что сын совсем обносился, завел его в просторный магазин, где накупил ему новые брючки, белую сорочку и пиджачок в сине-красную клетку. Сроду у Ешсоу не было такой красивой одежды. По дороге домой он понадеялся: когда спадет жар, придет черед радоваться обновам. Через день-другой, вернее, к концу недели, Ешсоу и, впрямь отошел вроде, но к этому времени обновы как бы перестали быть обновами и желанная радость так и не случилась.

Плакса между тем подрастал. Но, похоже, существование его занимало одну только тетю Шураха, – и то вынужденно, раз день ее забот замыкался на нем. «Нашли себе слиток золота! За так получили!– Разносила по селу Ханифа, которой до всего было дело, будто на тетку набрели случайно в лесу, как на земляничную поляну! – Пропал бы без нее председатель, совсем пропал бы!

– Нашлось старушкам о чем почесать языки, ну и ладно! – говорил отец, когда до него доходили слухи.

А Ешсоу на соседскую старушку злился. Ему казалось: та была бы счастлива, если бы председатель и впрямь попал бы в безвыходное положение. А ведь ей он ничего плохого не сделал! Много времени понадобилось Ешсоу, чтобы понять, куда на самом деле клонила Ханифа. И не без умысла она нахваливала родственницу Шураха, на которой теперь его дом держался, при этом не забывала возносить до небес и собственную дочь. Мол, та всем взяла – и лицом, и умом, и нравом, только счастья ей нет. «Может, счастье ее, под боком ходит...» – после многочисленных намеков начинала размышлять тетка в нужном направлении. Ханифа, закрепляя успех, расписывала, как ее дочь-учительница души не чает в детях. «Над чужими сорванцами трясется, заведутся свои – совсем с ума сойдет». Тетя, не удержавшись, хотя не в ее характере было злословить, жаловалась на племянника: «Даже походя младшенького сына не приласкает. Старшего возле себя держит, не расстается, как с нательной рубахой. А другой ребенок в чем виноват?»

Ханифа тотчас подхватывала:

– Очерствел сердцем Шурах, смерть мне! Кто его смягчит, к родному ребенку лицом повернет? Жена, больше некому.

– Верно угадала мои мысли, о том днем и ночью думаю, – соглашалась тетя.

Ешсоу даже духа не переносил Ханифы, и до самой ее смерти так и не переменился к ней, хотя позже стыдился своей неприязни к немощной старухе. Но в одном она была права – не было дела до Плаксы ни отцу, ни брату. Да и времени

не было! Плакса еще спал, когда они спозаранок уходили, а возвращались же слишком поздно, чтобы застать ребенка бодрствующим. Случались, конечно, выходные, особенно зимой, или простуда держала Ешсоу дома... Плакса путался под ногами, тянуло повозиться с ним, подразнить, посмеяться над его неуклюжестью. Но при отце Ешсоу себе этого не позволял и не хотел, чтобы отец затеял возню с малышом. Это не пошло бы ему. Все равно, что удивил бы сладкоречием, как бухгалтер Мехал, который чуть ли не ежедневно дергал Ешсоу за вихор и говорил отцу: «Глянь, Шурах, как он вырос!» Можно подумать, Ешсоу каждый день по вершку прибавлял. Еще Мехал уверял: «Помяните мое слово, этот парень дальше отца пойдет!»

И дочь Ханифы Серна – с легкой руки Ешсоу прицепилась к ней кличка Старая Мотыга, ничуть не хуже, чем Кислица – тоже злила его, по каждому поводу поминая имя отца. «Какого отца позоришь!» – сокрушалась Серна, если Ешсоу оказывался не готов к уроку. А случалось отличиться: «Сразу видно – сын Шураха!». Неудивительно, что, когда во дворе школы Ешсоу свалился с эвкалиптового дерева, Серна не в учительскую побежала, а в контору и, по слухам, всех переполошила, ворвавшись в кабинет, где – на ее счастье или несчастье! – оказался председатель, с криком: «Дерево... Ешсоу... дерево». Серна кинулась к столу, схватила графин с водой и выбежала вон. Как потом шутил языкатый конюх Уша: «По мнению Серны тот графин был с живой водой. Скажи спасибо, парень, что она в тебя жизнь хотела вдохнуть. Другая бы обрадовалась – одним оболтусом в классе меньше!» Не дожидаясь «живой» воды, Ешсоу сам очнулся, поднялся на ноги. Правда, в голове гудело, но он твердо держался на ногах, когда отец, выскочив на крыльцо, не по лестнице сбежал, а сверху грузно спрыгнул наземь, перемахнул – кто мог ожидать от него такой прыти? – через штакетник, затрещавший от его могучего рывка, и очутился перед сыном.

Серна, вместе с людьми, которых она зря переполошила, пронеслась в калитку и, рассекая локтями толпу взбудора-

женных школьников и учителей, добралась до Ешсоу, плеснула ему в лицо пригоршню воды.

– Очнулся? Лучше тебе?

– Мне плохо и не было! – дерзко сказал он.

Отец молча, быстро ощупывавший его глазами, крепко хлопнул широкими ладонями по бокам и, обернув к Серне усталое лицо с подпухшими веками и щетинистым подбородком, гулко захохотал. От души.

– Видала: ему и плохо не было! Вот стервец!

Уняв веселье, он вроде сердито осведомился у сына:

– Ты что, парень, себя с орлом перепутал? Хотя какой орел в своем уме на дерево сядет? Ворона! Вот ты кто!

Отец вновь рассмеялся. Следом залился смехом бухгалтер Мехал:

– Циркач, а не мальчик!

Серна стояла с виноватым видом, судорожно обхватив обеими руками узкогорлый графин из мутного стекла. Таких графинов и в учительской, и в каждом классе – хоть пруд пруди.

– Скажи ему, Шурах, чтобы он не смел больше, чтобы...

– Зачем говорить? Не дурак – каждый день сваливаться с дерева.

– У нас первоклассники, малышня, пример какой...

Тут председателя опять веселье разобрало.

– Нет, Серна, ты и впрямь думаешь: кто-нибудь подхватит почин моего оболтуса? Ты и впрямь так думаешь?

Серна сунула графин стоявшей поодаль однокласснице Ешсоу Манане, дочери бухгалтера, и быстрым шагом пошла к зданию школы. Молоденькая учительница истории догнала ее и взяла под руку.

– Серна, парню задай перцу! – крикнул вслед Шурах, но она не обернулась, а завуч школы, стоявшая тут же, заметила:

– Не ожидала от Ешсоу такого озорства. Он у нас дисциплинированный...

– Пусть это будет худший из его проступков! – буркнул отец и двинулся в сторону конторы.

За ним потихонечку стали расходиться и остальные. А Ешсоу стоял на прежнем месте и, пропуская мимо ушей болтовню приятелей, украдкой поглядывал на Манану. Она со злополучным графином отправилась за конторскими работниками, очевидно, не сообразила: сосуд можно передать кому-нибудь из них. Как-нибудь донесли бы! Ступала она осторожно, точно по льду. В младших классах Манану, хотя училась она хорошо, не постигла обычная участь отличниц – двоечники ее не дразнили, зубрилой никто не обзывал, и никакой другой клички не приклеили. Но в пятом, особенно в шестом классе, в ребят точно бес вселился. Мальчики проходу не давали Манане. Они смеялись над ее аккуратностью, неторопливостью, злились, что не могут довести до слез, равно как и вовлечь в шумную игру. Она держалась обособленно, будто жила, как сказочная Гунда, сестра богатырей Нартов, на высокой горе, в хрустальном дворце. И все, что кричали сверстники внизу, стоя на черной земле, не достигало ее ушей, и – самое обидное! – не потому, что она нарочно отворачивалась, просто стены дворца не пропускали голосов снаружи, сколько ни надрывайся. В тот день одноклассник-переросток по кличке Секач вытянул на уроке из косы Мананы розовую ленту. Не такой уж он был искусник, чтобы проделать это незаметно, за его гримасами – «Смотрите, расплетем гриву лошадке!» – наблюдал весь класс. Одна Манана не дала себе очнуться, сидела, не шелохнувшись, прямо глядя перед собой. А ведь ничего не мешало обернуться и дать книгой по голове нахалу!

На перемене, когда все высыпали во двор, Манана вышла, держась в тени подруг, но заметная, как зерно в борозде. Секач стал дразнить, помахивая лентой под самым ее носом: «Как думаешь, откуда эта тряпица?» Подруги Мананы с громким верещанием накинулись на него. Увертываясь от крикливых подруг, Секач пытался докричаться до Мананы:

– Слушай, соня-засоня, такие тряпки только в гривы кобылиц вплетают!

– Ну и забирай для своей кобылицы! – обронила она.

Подруги захохотали, уела, мол. Манана даже не улыбнулась, смотрела на кривляку без обиды, но и без приязни, смотрела и не видела. Вот тогда-то Секач схватил с земли камушек, обмотал лентой и запустил в эвкалипт. Камушек взлетел высоко, лента размоталась, зацепилась за ветвь и повисла между светло-зелеными с холодным серебристым отливом листьями. Под дружное нытье девочек – Манана в том нытье участия не принимала – и полез Ешсоу за лентой. Хорошо, что об этом не знала Серна, иначе и Манане досталось бы: «Тихая вроде, тихая, а исподтишка, верно, царапаешься, иначе с чего бы на тебя налетали, как на сову?» Будто все, кто на виду, виноваты в этом...

Прежде чем сорваться – надломанная ветвь попала под ноги – Ешсоу успел дотянуться до ленты и сунуть ее себе в карман, о чем в суматохе все позабыли. На следующее утро он положил ленту в парту, за которой сидела Манана, а сам помчался в контору. Он всегда так поступал: приходил спозаранок, закидывал портфель на парту и – ходу в контору, будто без него отец не мог начать трудовой день. В конторе же чаще всего Ешсоу торчал в приемной возле Минцы, тыча одним пальцем в клавиши пишущей машинки. Ему, единственному из посторонних, Минца позволяла такую вольность. Машинка была старой – «трофейной», как говорил отец. Ешсоу, хотя истина была ему прекрасно известна, предпочитал представлять себе это таким образом: где-то на чужбине в обычае выставлять в качестве приза пишущие машинки. Их добывают в честном состязании, как деревенские стрелки – бычка, тоже выставленного в качестве приза и потому кажущегося лучше обычной скотины... В тот день он из конторы в класс прибежал, запыхавшись, уже после звонка, и в дверях едва не сбил математика с ног. «Ты не торопись, Ешсоу, если хочешь, я под дверью постою, дам тебе отдышаться». В классе засмеялись нехитрой шутке учителя. Одна Манана не смеялась, и по ее виду нельзя было угадать, обнаружила она уже ленту или нет.

После уроков Манана задержалась в классе, собирая учебники. Ешсоу тоже задержался, никак не мог отыскать ручку, – она потом в кармане брюк нашлась. В классе, кроме них, никого не осталось. Но девочка не сказала ни слова, только замялась на пороге, глянула на Ешсоу с ожиданием, выступив на миг, как из волны, из своей безмятежности.

Он смотрел с крыльца, как она шла к воротам, склонив набок голову, будто к чему-то прислушивалась. Захотелось догнать, сказать что-нибудь, все равно что – злое, доброе... Доброе вряд ли решился бы сказать. Сказать доброе – подставиться. Со стороны конторы нетерпеливо окликнул отец:

– Ты чего застрял там? Поторопись!

Когда Ешсоу подошел, отец сказал:

– Уж не обижайся! За руль сегодня сяду я. Время не терпит.

Ешсоу обрадовался, что его не толкают за руль, и взлетел на сиденье рядом. К тому времени стараниями отца он неплохо водил машину, но радости это не доставляло. Он тогда ни за что не поверил бы, скажи ему кто, «суждено тебе всю жизнь баранку крутить». И что, в конце концов, смирится он со своим ремеслом, хотя порой, просыпаясь по ночам от непонятной тяжести в груди, станет в несправедливой обиде на всех и вся прикидывать, сколько на свете разнообразных занятных дел. А он на них как бы с обочины смотрит. Впрочем, по утрам он стыдился своих мыслей…

Выбравшись на проселок, они поехали быстрее. Старая разболтанная машина дребезжала. «Слушай, Шурах, лучше иметь дело с арбой, ее мылом смажешь – враз скрипеть перестанет, а этой чем глотку заткнешь?» – спросил как-то Уша, с подначкой, ясно, спросил, но без зла, шутки ради. Отец же обиделся, точно обругали собственноручно укрощенного скакуна, за которого он как бы в ответе. Подпрыгивая на ухабах вместе с плохо закрепленным сиденьем, Ешсоу скашивал на отца глаза – замечает ли, как ерзает сиденье. Отец смотрел прямо перед собой. Потому, верно, первым и заметил женщину, бежавшую в коконе узкой юбки по краю дороги. Первым заметил и узнал. Это была фельдшерица Мария

Григорьевна. Год назад она приехала в село и работала в амбулатории. Была она безмужней, приехала с маленьким сыном, и старый бездельник Езыгу повадился к ней ходить, хотя его всегда заворачивали с порога. Очевидно, фельдшерица не верила, что он и впрямь намерен на ней жениться, потому гнала прочь. А то, что он попросту был ей не по душе, никому в голову не приходило. Что еще надо безродной, да еще с ребенком на руках?! Езыгу проходу ей не давал, и Мария Григорьевна время от времени приходила то к председателю колхоза, то к предсельсовета, искать защиты. Не раз уже стыдили приставалу, а он в свою очередь удивлялся: «Какое вам дело до нее? Братья, что ли?»

Женщина замахала обеими руками, прося остановиться!

– Если опять Езыгу пристает к ней, остригу его наголо принародно! – сердито сказал отец и остановил машину.

Фельдшерица, не сбавляя, шагу, легко – Ешсоу был поражен ее прытью! – одной рукой задрала выше колен мешавшую ей узкую юбку, другой ухватилась за дверцу машины и вскочила на подножку.

– Председатель, боже мой, председатель... – заплаканное лицо Марии Григорьевны казалось непрочным, как стекло на керосиновой лампе. Наверное, не из-за слез, а из-за непривычной белизны, и брови белесые, и ресниц почти не видно. – Надо срочно в больницу. Сыну плохо. Опасаюсь перитонита.

Выдохнув все это, фельдшерица спрыгнула с подножки, точно уже сделала все, что могла, а дальше им решать. Но с обочины она неотрывно смотрела на отца Ешсоу.

– Чего опасается? – растерянно осведомился тот у сына.

– Не знаю, – чистосердечно признался Ешсоу. – Чего-то нехорошего.

Отец усмехнулся:

– Сообразительности тебе не занимать. Перебирайся на заднее сиденье! – И, врезаясь клокочущим голосом в обманчивую податливость чужого языка, позвал: – Садись, уважаемая, куда надо, туда поедем.

Фельдшерица мигом очутилась в машине, взмолилась:

– Скорее, прошу вас. Каждая минута на счету.

– Это – машина, не самолет, – не без сожаления сообщил отец, но постарался выжать предельную скорость.

Как проворно соскочила Мария Григорьевна у дома, почти, кажется, на ходу спрыгнула. Только мелькнула белая, выбившаяся из юбки, кофта, и она уже, с силой распахнув калитку, мчалась по двору, что-то крича хозяйке, у которой снимала комнату. Хозяйка на руках вынесла мальчика. Его длинные, худые ноги в белых носочках и сандалетах болтались, свисая с рук хозяйки, головой он прижимался к ее плечу. Мальчику было лет шесть, в школу он еще не ходил. Фельдшерица подхватила ребенка и с прежней стремительностью кинулась назад, к машине. Хозяйка не поспевала за ней, кричала вслед: «Пожалей вас бог!»

Отец спрыгнул наземь и неуклюже попытался помочь фельдшерице забраться в машину, но та отчего-то локтем резко отстранила его, проговорив свое суматошное: «Скорее!» Она посадила сына на сиденье, поднялась следом и тотчас взяла мальчика на колени, будто так он находился в большей безопасности.

– Поехали!

Впрочем, отец не заставил себя долго ждать, взял, как говорится, с места в карьер.

Мальчик вяло лежал на коленях у матери, только когда машина подпрыгивала на ухабах или ныряла в рытвины, он тихонько поскуливал, точно щенок, оставленный на ночь за дверью.

– Ничего, ничего, Игорек, обойдется, – утешала мать, наклоняясь к нему и прикладываясь губами к его лбу, вроде проверяя, нет ли жара, но одновременно и лаская, смягчая боль.

Внезапно острая зависть к мальчику захлестнула Ешсоу. Он не видел его лица, только худые ноги и одну руку, белую, с длинными пальцами – самое удивительное! – с совершенно чистыми, как у младенцев в люльке, ногтями... Ешсоу резко

отвернулся к окну и принялся, будто в диковинку это было, разглядывать проносившиеся мимо деревья в молодой листве поздней весны и утешаться мыслями о близких каникулах. Наступят каникулы, не придется делить себя между школой и конторой. Летом он все время будет под рукой у отца. Отцу подсобит и сам не перетрудится.

У самого въезда в город машина остановилась. Отец, не обуздывая гудящего голоса, объявил с такой яростью, будто кто-то в этом был виноват:

– Кончились мы! Бензин вышел! Весь! Не дотянули!

Мария Григорьевна встрепенулась:

– Я пешком. Уже недалеко. Добегу!

Отец выскочил из машины за ней следом.

– Подожди, придумаем что.

Но фельдшерица, не слушая, спешила изо всех сил, прижимая к себе мальчика, и, глядя на нее, трудно было поверить, что она, не упав, пройдет хоть сотню шагов. Сын-то не грудной, а сама невысокая, хлипкая с виду, хоть и быстроногая. Ее вроде ветром несло. Как перышко или сухой лист.

– Гори огнем! Все гори! – заметался отец по дороге.

Когда Ешсоу, о котором все забыли, выкатился из машины, отец уже остановил встречного велосипедиста:

– Одолжи, прошу, одолжи! Скорее, тебе говорят! Скорее!

Напор отца как бы сдернул велосипедиста с сиденья, точно ураганом.

– Жди здесь! Не сходи с места!

Отец помчался на велосипеде за Марией Григорьевной, так толком ничего не объяснив, и вовсе не вспомнив о сыне, с одинаковой легкостью бросив посреди дороги и Ешсоу, и машину, уже не говоря о чужом человеке, который и вовсе ничего не понимал. Стараясь не показать чужаку, как он уязвлен, Ешсоу сел на подножку «газика» и, скосив глаза, смотрел, как отец, нагнав фельдшерицу, принял на раму мальчика и последовал дальше, яростно крутя педалями. Ешсоу не подозревал даже, что отец умеет ездить на велосипеде. Хотя

невеликое это умение. Ешсоу и сам бы ездил, будь у него велосипед.

Чужак, так внезапно и так грубо ссаженный с собственного транспорта, смотрел вослед, изрыгая проклятия вперемешку с угрозами. Исчерпав запас ругательств, он подошел к брошенной машине, прищурившись, оглядел ее. Был он высокий, поджарый, в спортивном костюме, немного похожем на тот, что носил учитель физкультуры, когда ожидалась комиссия из района. Костюм на чужаке, конечно, был лучше, наряднее.

– Скажешь, кладбище это все еще на ходу? – велосипедист ткнул пальцем в капот «газика».

– Почему не на ходу? – обиделся Ешсоу.

Он и без того был переполнен обидой, только крепился, чтобы она не выплеснулась слезами.

– Чего она тут застряла, как памятник?

– Бензин кончился...

– Всего лишь... Скажи, озверевший тот дядя, он кто?

– Председатель.

– Чего? Земного шара?

–Председатель колхоза, – разъяснил Ешсоу, дивясь тупости незнакомца. Какие еще бывают председатели? В ту пору он других не знал.

– На совещание опаздывал?

Ешсоу догадался, что велосипедист насмешничает, но отразить насмешку не мог: не доставало ума, привычки зубоскалить, наконец, хорошего знания чужого языка. Оставалось, сжав зубы, вобрать в себя насмешку, точно в костер обиды подбросить лишнюю хворостину, и смолчать.

– Тебе кто председатель?

– Отец.

– А женщина с ребенком?

– Никто... фельдшерица, работает у нас в амбулатории.

– Рассказал бы толком, в чем дело, – миролюбиво, видно он был отходчивый, предложил велосипедист. – Как-никак, я в некотором роде потерпевшая сторона. Подвинься-ка...

Он уселся рядом с Ешсоу и, против ожидания, это не было неприятным.

О случившемся Ешсоу рассказал, как мог, путаясь в русских словах. Велосипедист оказался наполовину греком, наполовину армянином и, по его уверению, он, кроме русского, прекрасно владел еще греческим и армянским, но был несведущ в абхазском. Вот и приходилось барахтаться в море русских слов, выплывая с помощью велосипедиста из глубоких мест. Тот под конец его даже похвалил:

– Мастак говорить по-русски. И отец твой – мужик что надо!

Они еще потолковали о том, о сем, о школе, о каникулах, а потом велосипедист объявил:

– Хватит прохлаждаться!

Останавливая проезжающие машины, он что-то доверительно втолковывал водителям. Несколько водителей не вняли его словам: «с олухов что возьмешь?» Зато за рулем пятой, нет, шестой машины оказался понятливый парень и перелил в бак «газика» полканистры бензина. Велосипедист от души пожелал ему счастливой дороги.

А потом у них только и было дел, что ждать отца. Он приехал в кузове попутного грузовика. Ешсоу еще издали заметил его и вскочил на ноги. Он был рад, что отец, передавая велосипед подошедшему к машине владельцу, пусть и грузно, но без посторонней помощи спрыгнул наземь.

– Успели? – спросил велосипедист.

– Еле-еле! Слушай, врач говорит, еще десять минут и... лопнул бы. Понимаешь? Кишка лопнула бы, ну, аппендицит который...

– Уж понятно, не воздушный шар! – со смешком сказал велосипедист. – Поеду, если вам больше не нужен.

– Да, езжай, – позволил отец, вроде и не заметив насмешки. Может, он и думать не думал, что не вправе был распоряжаться велосипедом незнакомца и его временем тоже. Но тот вроде не обиделся, глянул на Ешсоу смеющимися глазами, покрутил головой и оседлал велосипед:

– Понадоблюсь еще раз, не стесняйтесь.

– Хорошо, дорогой!

Оба одновременно рассмеялись. В спину отъезжающему велосипедисту отец запоздало крикнул:

– Спасибо, выручил! – Обернувшись к сыну, добавил: – Гляди, какой молодец! Другой крик поднял бы, хай, уй, ограбили, мол, скакуна из-под меня увели! А этот понятливый. Люди же бывают разные. Другой и на твоем месте надулся бы – «зачем мне тут торчать, машину сторожить, мое какое дело?» Но то другой, а это – ты!

– Я что, не понимаю? – сказал Ешсоу.

– Понимаешь!

На обратном пути отец медленно вел машину, точно вспомнив об осторожности, и вдруг, подъезжая к центру села, сказал:

– Ты для меня большое подспорье, Ешсоу! – И тут же, как бы устыдившись откровенности, торопливо добавил: – Давай прямиком домой поедем. Удивятся же, завидев нас. Солнце, вон, как высоко стоит, а мы уже дома... – И помрачнел, вспомнив, наверное, что особенно удивляться – и радоваться! – некому.

Ешсоу не напомнил: «А ферма как же?» Раз отец не поехал, значит, не мог. Что было толку напоминать? Машину они на этот раз не оставили возле конторы, домой на ней поехали. Может, отец намеревался вечерком, передохнув, наведаться на ферму?

Плакса с радостным визгом вкатился в машину. Допоздна не удавалось выманить его оттуда. Сердобольная тетка даже понесла ему туда ужин – пусть мальчик вдоволь насладится редкой радостью.

– Испортит мальца, коли мы за него не возьмемся, – заметил отец вроде мимоходом.

Ешсоу согласился с ним. Про себя. Вслух признать это он еще не был готов.

– Послушай, а не податься ли тебе в лекари? – вдруг предложил отец. – Станешь хирургом, чем плохо?

Он усмехнулся, будто и сам не верил в такую возможность, но сквозь смешок, как сквозь прозрачное стекло, проглядывал стержень его надежд.

– Пока школу окончишь, институт одолеешь, мы тут – предсельсовета горой за это дело стоит, – поставим больницу. Только кто у себя захочет лечиться? Как пойдут женщины чесать языками: «Зачем человеку родственники, если они его, умирающего, даже до Сухума не могут довезти, когда другие и в Москву везут!» Можно подумать, только больной взглянет на Сухум – все равно, с какой стороны! – мигом исцелится! – он рассмеялся. – Но когда приспичит... особенно, если ты себя в деле покажешь!

Отец смолк. Он и без того обнаружил в тот вечер редкую словоохотливость. Ешсоу не сказал ему, – да и никому в мире не признался бы! – что больше всего хочет научиться лепить из глины все, что приглянется: и людей, и зверье. Признаешься – люди на смех поднимут. Найдутся и такие зубоскалы, которые посоветует присоединиться к голопузой детворе, строящей на берегах речушек песчаные крепости. Мол, если времени девать некуда, забаву всегда найдешь. Люди, не жалея себя, тянут воз забот, надрываются... а ты... И впрямь, как в пословице: армия билась насмерть, а Хабыдж пахал.

Может, он и правильно поступал, неведомый тот Хабыдж? Армия повоюет и угомонится, а дело пахаря – вечное...

В ту ночь приснился Ешсоу редкий сон. Правда, потом он на протяжении многих лет снился ему, но никогда больше – так отчетливо, так ярко, точно высвеченный льющимся с неба беспощадным светом, выявляющим любой изъян. Только в увиденной картине не было изъяна. На высоком, на удивление зеленом берегу стояла молодая мать в светлом просторном платье и держала под уздцы огненно-красного коня с высокой изогнутой шеей. Длинная, едва ли не до земли, черная грива билась на ветру. Мать щекой касалась огненной шеи коня, и медвяные ее волосы, полураспустившиеся, как тогда, на лугу, смешивались с черной гривой. Мать неотрывно смотрела на сына. Ешсоу думал: окажись

он на расстоянии вытянутой руки от нее, мать легонько коснулась бы его плеча, как умела только она... Ему до смерти хотелось этого. Но он знал: нельзя сходить с пологого своего берега, нельзя ступать в воду. Еще хотелось крикнуть: «Это я подарил коня, можешь довериться ему. Конь добрый, не подведет». Но передать матери и малое это знание он не мог. Онемел. В ярости на свою немоту и бессилие Ешсоу заплакал горькими слезами. Но слезы не застилали глаза, не мешали смотреть на мать. И он смотрел, смотрел...

Когда на следующий день Ешсоу с отцом подъехали к конторе, увидели на крыльце двух чужаков, мирно покуривающих в обществе бухгалтера, который обволакивал их, точно туманом, своим многословием. При виде подъехавших бухгалтер засуетился, шагнул было к лестнице, но, вовремя сообразив, что негоже гостей бросать одних, придержал шаг и нетерпеливо крикнул, точно вестник радости:

– Ревизоры из района! Тебя, Шурах, дожидаются!

– Меня чего дожидаться? – донеслось из машины. – Контора на месте, ты на месте, чего еще?

– Да, но... – замялся бухгалтер.

– Пусть принимаются за работу, вернусь с фермы, тогда и поговорим.

Ревизоры невозмутимо курили. По их лицам нельзя было угадать, как они отнеслись к его словам. То ли дело Мехал! Он стоял, поникнув головой, сраженный грубостью председателя.

Отец вполголоса выругался, высадил сына – прямо под взгляды безучастных людей! – и уехал. Ешсоу неловко было повернуться спиной к крыльцу, хотя наверняка никто не смотрел ему вслед. Да и с какой стати было смотреть? Но ни с того ни с сего безотчетная тревога охватила его. Он пошел к школе, сдерживая шаги, так и подмывало броситься наутек, будто кто-то за ним гнался, кто-то, совладать с кем он был не в силах. Встретивший его у двери класса Секач надумал было подразнить: «Слушай, даже медведи умеют лазить по деревьям, а ты...» Ешсоу так сильно толкнул на-

смешника в плечо, что парень отлетел к стенке и, не столь рассерженный, сколь изумленный, выдохнул: «Взбесился?» Потом, правда, опомнившись, стал петушиться, вызывая на драку. Да только ничего не вышло. Невесть почему даже те ребята, кого хлебом не корми, а дай на чужую драку поглазеть, не обнаружили на этот раз обычной изобретательности, не стали подзуживать. А драка без души разве драка? Лучше уж матрацы выбивать...

В классе, во втором ряду, за четвертой партой сидела Манана и, подперев рукой щеку, смотрела в окно. К Ешсоу она головы не повернула. Не заметила? И перебранки у двери не слышала? Оглохла? Ослепла? Напрочь отсутствует в классе? Встряхнуть бы за плечи, крикнуть в лицо, невозмутимое, как у тех на крыльце: «Очнись!»

Он, проходя мимо, задел портфелем парту, но она головы не повернула. Только когда вошел учитель, поднялась со всеми, наконец, отняв ладонь от щеки. На скуле остался розовый след. Едва дождавшись приглашения сесть, Манана опустилась на свое место, сложила на парте руки и уставилась теперь уж не в окно, а на плохо вытертую доску, будто что-то могла разглядеть на ней, покрытой белесым налетом мела.

Ешсоу, втискивая в парту портфель, почувствовал помеху и, сердито просунув руку, нащупал в углу нечто круглое и прохладное, а, достав, обнаружил, что это яблоко. На редкость крупное, красное, без единого пятнышка – твердое, пахучее.

Он мгновенно смекнул, откуда оно здесь. Тут же испуганно опустил руку, поспешно – едва замок с мясом не отодрал! – сунул яблоко в нутро портфеля и затих. Только спустя некоторое время он глянул в сторону Мананы – странно, что никогда позже он об этом яблоке с ней не заговаривал, – но она смотрела по-прежнему на доску, не обращая внимания даже на учителя ботаники, успевшего вызвать двоечника Мераба и теперь тщетно пытавшегося дознаться, каким чертом плодоносят деревья. А смог бы определить учитель сорт того яблока, что, оставаясь прохладным, тем не менее,

жарко горело в портфеле Ешсоу? Смог бы, если кто-нибудь отважился выставить яблоко на всеобщее обозрение? Таких яблок Ешсоу сроду не видал. И вряд ли увидит еще...

После уроков в класс заглянула Минца с обычным пакетом из серой бумаги и позвала Ешсоу. Рядом с ней стояла Серна, она же Старая Мотыга. Когда Ешсоу вышел, Старая Мотыга провела по его спутанным волосам негнущейся ладонью и сказала:

– Пора постричься.

– Давно пора, – подтвердила Минца. А Старая Мотыга тут же на попятный:

– Шураха столько дел одолевают...

Отец возил Ешсоу в район, в парикмахерскую, возбуждая зависть сверстников сына, которых матери все еще стригли дома.

– Проверяющие в конторе все вверх дном перевернули, да и Шурах на ферме, – сказала Минца не то Старой Мотыге, не то Ешсоу. – Лучше устроимся здесь где-нибудь.

Серна провела их в пионерскую комнату, открыла по такому случаю, оставила одних и ушла. Спасибо, сообразила. Минца с порога оглядела узкую комнату с барабаном, горном и знаменем в углу и длинным столом, покрытым красным кумачом, на котором пылились альбомы пионерских отрядов, покачала головой:

– При нас здесь все было по-другому... Ешсоу ухмыльнулся, представив себе Минцу пионеркой.

– Садись!

Она развернула пакет: чурек, кусок жареного мяса, два вкрутую сваренных яйца.

Некоторое время она молча смотрела, как он ест, потом подошла к тусклому окну, выглянула наружу, и, стоя к парню спиной, после недолгого молчания спросила:

– А кто это Серну переименовал в Старую Мотыгу?

– Откуда я знаю? Но попали в точку.

– Помню, в сорок четвертом Серна восьмилетку закончила, – сказала Минца. – Самой красивой во всей школе слыла.

«Ну и уродины учились в ту пору в нашей школе», – подумал Ешсоу.

– Знаешь, на нее и взрослые парни заглядывались. И у нее сердце лежало к одному парню.

– Лучше него не было на свете! – вырвалось у Ешсоу.

– Угадал!– подтвердила Минца, будто не заметив насмешки. – На фронт он ушел. В Германии остался.

– Как остался?

– Навечно! – сказала Минца, оборачиваясь к нему. – Как тысячи других. Ты что, не слышал, что была война?

Ешсоу не мог понять, с чего вдруг Минца рассердилась, но почувствовал себя неуютно, бросил есть, отъехал вместе со стулом от стола и уставился на секретаршу отца.

– С тех пор Серна ни на кого не поднимала глаз, и если теперь... если что... зачем ее ненавидеть?

Он пожал плечами, мол, мне и дела нет до Старой Мотыги.

– Не называй ее Старой Мотыгой!

– Я не буду – другие будут.

– Другие – как хотят, тебе – не надо!

Ешсоу смотрел на полуседую сморщенную женщину с бледными губами и остреньким, как птичий клюв, носом, которая в свое время училась, оказывается, в одном классе с его сильным, молодым отцом – так, во всяком случае, она утверждала, да и отец не отрицал – и понять не мог, что ей надо от него. Ясно одно – что-то важное, раз Минца так разволновалась. Самое время ему выскочить за дверь. Ищи потом ветра в поле.

Но Минца, вроде угадав его намерения, сама отпустила, сказав устало:

– Беги домой... И вот что я тебе скажу: не приходи пока в контору, пусть ревизоры уедут...

Домой он не пошел, отправился прямиком на ферму, обрадовался, обнаружив возле ворот знакомый «газик». Привычно забросил на заднее сиденье портфель. Отца искать долго не пришлось, услышал его раньше, чем увидел. У входа в коровник он распекал зоотехника Лумана, стоявшего, на-

бычившись, мрачнее тучи. И как распекал! Работники фермы, сновавшие с деловитым видом по двору – показывали себя перед председателем! – придерживали шаг, точно пережидая удар молнии, когда голос председателя взвивался аж к самому небу. Поодаль от отца стоял заведующий фермой, но, будто напрочь отсеченный яростью председателя, не пытался заступиться за Лумана, а заодно и за себя: ведь ответственность, прежде всего, на нем лежала.

– Это не можешь, то не умеешь. Кому тогда нужен, скажи? – надрывался председатель. – Лечить коров выше сил, так, может, на замену бугаю годишься?!

– Говори, да не заговаривайся! – не выдержал и Луман. – Не люди умерли, скотина сдохла...

– Кто тебя близко к людям подпустит? – кипел Шурах.

И показалось ошеломленному Ешсоу, что еще немного – и отец с кулаками набросится на зоотехника.

– Дрыхнул в теплой постели! Коров хворых без присмотра бросил!

– Я не нанимался по ночам работать!

– Ты нанимался пузо отращивать, лодырь убогий!

– Что же теперь, из-за двух коров повеситься?

– Да какая веревка тебя выдержит! – заорал отец. – Я этого так не оставлю! Не называй меня по имени, если оставлю!

Отец оглянулся, обвел сына невидящим, затуманенным яростью взглядом. Ешсоу, точно ошпаренный этим взглядом, попятился и скорым шагом – он и вовсе побежал бы, да опасался привлечь к себе внимание – пошел к воротам. Очутившись за ними, прихватил портфель – странно было забраться в машину только за этой малостью – и отправился домой. С проселка Ешсоу свернул на тропу, сокращая путь, не потому, что торопился, а чтобы отец не догнал по дороге, не спросил: «Откуда ты здесь взялся, парень? »

Долго он брел домой, загребая ногами прошлогоднюю листву, чувствуя, как портфель оттягивает руку, так и подмывало выбросить его вон. Потом он выбрался из жидкого ольшаника на узкий луг, за которым пролегала пыльная до-

рога, тянущаяся мимо плетней, штакетников, одиноких, но могучих деревьев, на ветвях которых повисли виноградные лозы, мимо деревянных ворот, укрывшихся под навесом из черепицы. За этими-то воротами с красной, как у дятла, шапкой стоял отчий дом. Ешсоу дальше луга не пошел, кинул на траву портфель, и сам опустился на прогретую землю, лег навзничь, подложив под затылок руки – совсем так, как любил ложиться отец, только уперся взглядом не в потолок, а в теплое синее небо с редкими неподвижными, как парящие птицы, облаками. Сердце отчаянно заколотилось от неистового, невозможного желания воспарить над самим собой и с высоты увидеть себя. Со стороны! Таким увидеть, каким его другие видят. Отец видит. Хоть бы разок стать не самим собой. Другим. Неважно каким. Но другим. С другим лицом. С другим отцом. Но это и вовсе невозможно было себе представить.

Небо задрожало в его глазах – вместе с ним и неподвижные облака, – задрожало, замутилось, смешалось белое с синим. Ешсоу перекатился на живот, зарылся лицом в колкую короткую траву, зацарапал ногтями дерн. Пришлось потом, крадучись, пробираться на зады огорода, умываться у родника и, передохнув, с ощущением лютого голода и обиды заявиться домой. Отцова тетка, нянька Плаксы, наверняка, удивилась, что он пришел один, но довольствовалась коротким объяснением: «К отцу большое начальство из района приехало». Редко потом Ешсоу встречал людей, которым хватало, как тете, самых что ни на есть незначительных сведений о происходящем вокруг. Зато Плакса, охваченный восторгом, что видит старшего брата среди бела дня, не желал отходить от него ни на шаг, задавал бесконечные вопросы – уж он-то хотел знать всевозможные подробности обо всем, что хоть на миг останавливало его внимание. С трудом удалось Ешсоу выпроводить Плаксу из комнаты, сославшись на пропасть заданных уроков. Между тем уроков было немного, ведь до каникул оставалось не больше недели, и давно уже повторяли пройденное. Можно бы и вовсе

не отвлекаться на школу, если бы только отец разрешил. Тут вспомнился Ешсоу яростный взгляд отца, и то, как его голос сотрясал воздух над фермой, точно большая птица, привязанная к столбу потехи ради... Он поежился... Торопливо, будто желая согреться, вынул из портфеля красное яблоко, подержал его в руке, хотел оставить прямо на столе рядом с чернильницей-непроливашкой – скрасило бы безобразие чернильницы – но, передумав, переложил на подоконник, сдвинул его в угол. Но и оттуда оно освещало комнату, даже в электричестве, появившемся у них не так уж давно, не было нужды. Во всяком случае, в этой комнате.

Прошло много времени, пока послышались на крыльце шаги, и в комнату вошел отец.

– В чем дело? Перегорела лампочка?

– Нет.

Отец некоторое время постоял в световом проеме, потом потянул за собой дверь и в сумерках – то, что комната освещалась яблоком, он, ясно, не заметил – тяжело прошелся к окну.

– Если человек человеческого языка не понимает, как тут из себя не выйдешь? – вдруг произнес он, и сын понял: видел он его на ферме, видел!

– Не знаю...

– Я кричал – это плохо. А дать коровам сдохнуть – это хорошо? Раньше и на стоящих людей не зазорно было орать, теперь и скотине говори: уважаемая. Выходит, так?

– Откуда я знаю? – буркнул Ешсоу. И тотчас отповедь получил.

– Не знаешь – учись. Не отмалчиваться учись. Разбираться, где человек, где скотина. Размазнями подтираются. С человеком считаются. Понял?

– Ты звал, парень? – заглянула в комнату тетя.

Она отличалась прекрасным слухом, как, впрочем, и зрением, но, видно, от голоса племянника дом ходил ходуном, и своим почти бесплотным появлением тетя надеялась его утихомирить. Сколько раз случалось ей заглядывать в ком-

нату с неизменным: «Ты звал, парень?» – будто всерьез рассчитывала наперстком воды залить пожар.

– Не звал, – сказал отец. – С чего это я стану звать?

И это было правдой. Отец никого не звал на помощь. Разве что Ешсоу. Когда уж вовсе невмоготу становилось... Но в тот день сын с помощью не торопился. Непримиримо смотрел из своего угла.

Когда отец сказал: «Совесть Лумана не только криком – горным обвалом не разбудишь!» – тем самым окончательно подтвердив, что заметил сына на ферме, Ешсоу не нашел ничего лучшего, чем буркнуть, что занят, еще уроки не учил. А ведь день был субботний, впереди воскресенье – учить не переучить.

Отец постоял, держа руки в карманах брюк, покачиваясь на носках, постоял и вышел, попутно включив свет. Не только из комнаты вышел, из дома. И в ту ночь не вернулся.

Ешсоу в скрытой тревоге, наскоро позавтракав – и завтракал-то в надежде, что тетка за едой обмолвится, куда же подевался отец, а она ни гугу – пошел прибрать в сарае. Здесь давно пора было навести порядок. Даже тетя, которая ничем, кроме кухни и Плаксы не интересовалась, и та как-то заметила, что в сарае такое творится, будто черти еженощно устраивают застолья. Ешсоу вспомнил о сарае потому, что тот, располагаясь в отгороженном углу двора, ближе всего находился к проселку. Забравшись по приставной лестнице на сеновал, где шуршали от малейшего ветерка, залетавшего под крышу, прошлогодние очистки от кукурузных початков – Ешсоу мог наблюдать в широкую щель за дорогой. Он для виду что-то переставлял и перекладывал, но его так и тянуло взлететь наверх, занять место возле щели. Смотрел вроде в оба, тем не менее, отца он проворонил. В сарай заглянула тетка и сообщила, не пытаясь разглядеть, где он там устроился:

– Иди в дом. Шураху вроде нездоровится. Пришел и улегся, не поел, не попил.

Ешсоу не стал спрашивать, когда пришел, откуда, хотя никак не мог взять в толк, каким образом отцу удалось

пройти незамеченным – не крался же он, в конце концов, задворками! – а если шел проселком, с какой еще стороны он мог появиться?

Отец лежал в своей излюбленной позе – навзничь, заложив руки за голову. Он покосился на вошедшего сына и отвел глаза. Выглядел он на редкость усталым, может, и впрямь захворал, показалось даже: пожаловаться на что-то хочет – или на кого-то? – но удержался. Ешсоу, неловко топая, прошел к окну. Яблоко лежало на прежнем месте, но, когда он взял его в руки, с внезапно замершим сердцем обнаружил возле черенка расползающееся коричневое пятно. Рывком распахнув обе створки окна, а ведь было достаточно и одной, Ешсоу далеко зашвырнул его.

– Надо было съесть вовремя, – сказал отец за спиной.

Ешсоу промолчал. Стоял, глотая слезы, будто произошло нечто непоправимое.

– Жаль, не можешь ты завтра с утра поехать. Я уеду чуть свет. Вытрясу душу из кое-кого, чтобы неповадно было гниль вместо шпагата присылать. На такой шпагат не только табак, бумагу не нанижешь. Думаешь, не понимают, сукины дети? А присылают! Ничего, услышат от меня завтра кое-что.

– Услышат! – вырвалось у Ешсоу. – Медвежий рев услышат!

И, подстегнутый сказанным, он стремглав кинулся из комнаты.

Скатившись с заднего крыльца, Ешсоу пронесся по орешнику, перескочил перелаз, перебежал через ручей, замочив низ ветхих брюк – холодная вода ручья ожгла босые ступни – не переводя дыхания, взлетел на некрутой пригорок за ручьем и тут будто споткнулся. Теперь, чтобы достичь леса, надо было пробежать по узкой полосе незасеянной земли, лежавшей меж кукурузным полем и огородом за невысоким плетнем. В огороде же, надвинув белый платок на лоб – береглась от солнца, чтобы красоту не испортить – трудилась Старая Мотыга. Мимо нее незамеченным не пройдешь. Конечно, можно было повернуть назад, ведь и за ручьем про-

стирался такой же жидкий ольшаник. Тем не менее, помедлив, он решил не сворачивать назад, а попытать счастья. Ну, зачем пытать счастья тому, кому оно не отпущено?

Старая Мотыга проворно – тоже нашлась девчушка-поскакушка! – подбежала к плетню, глянула из-под низко надвинутой косынки странным, вроде даже виноватым взглядом, осведомилась:

– Ты куда собрался? Отчего запыхался? Войско за тобой гонится? Да ты и целое войско можешь остановить, особенно в узком ущелье!

Это она так шутила. Послушай ее кто-нибудь поязыкатей, ну, хотя бы конюх Уша, непременно сказал бы: «Зачем Создатель на нее время тратил? Лучше бы дыню сотворил! Куда больше пользы было бы!» И оказался бы прав. Так прикидывал про себя Ешсоу и молчал.

– Не стесняйся меня, – неожиданно попросила Старая Мотыга, растворяя губы, точно заржавленные ворота, в улыбке, никого не греющей. – Я ведь не только учительница, но и твоя... соседка.

Зануда, подумал он, проклятая зануда.

– Куда бежишь?

– Никуда!

– Никуда и так запыхался?

Он пожал плечами. Некоторое время они стояли так друг против друга, разделенные низким плетнем и непониманием. Первой отступила она:

– Иди. Только, отправляясь в Никуда, не забудь же дорогу домой.

Он и пошел прочь, ускоряя шаги, а следом неслось:

– Ты понял? Я с тобой шучу. Ты понял?

Возвращался Ешсоу кружным путем, чтобы опять не наткнуться на Старую Мотыгу с ее шутками, над которыми, кроме нее, никому в голову не пришло бы смеяться. А дома вроде и не заметили его долгого отсутствия. Разве что Плакса кинулся навстречу с неотложными своими делами, но кто тогда в расчет брал Плаксу? На следующее утро никто

не позвал с собой Ешсоу, пришлось одному плестись в школу. Так продолжалось до конца недели. Тут уже и каникулы наступили. В последний день занятий в класс вошла Старая Мотыга и попросила Ешсоу – «ты рядом живешь!» – зайти в библиотеку, забрать две связки лично ей принадлежавших книг. Она их на целый год приносила в школу, то одни ученики читали их, то другие, пока всем оскомину не набили. Теперь требовалось зачитанные книжки вернуть хозяйке.

– Тебе Манана поможет, – сказала Старая Мотыга. – Вдвоем донесете!

Он и один бы справился. Не только две связки книг, дрова из лесу на плечах носил, уж в них-то весу побольше, и Старая Мотыга знала об этом. Но она сказала то, что сказала, а он промолчал.

Пошли они лесом. Ешсоу объявил Манане, что так они скорее доберутся, и она, глянув на него непроницаемыми глазами, спорить не стала, только едва заметно усмехнулась. Ступала она себе рядом почти неслышно, или, может, так казалось оттого, что сам Ешсоу производил много шума – то хрустел валежником под ногами, то натыкался на заросшие мхом пни и как бы в отместку дубасил по ним палкой. Ничего подобного не случалось с ним раньше. Но раньше и не приходилось ходить рядом с человеком, который воображает, что можно вдвоем на лесной тропе уместиться и придерживает шаг, если ты немного отстаешь, не замечая, что ты-то пробиваешься по нехоженой дороге. Когда они дошли до ручья, Манана остановилась с таким видом, будто наткнулась на непреодолимое препятствие. Между тем на другой берег можно было перейти по камням, не замочив ног, уж не говоря о том, что неподалеку отсюда через ручей было переброшено бревно.

– Передохнем, – предложила Манана.

– До дома Старой Мотыги рукой подать, – сказал он, как бы назло себе. Точно назло. Ведь никуда не торопился. Да он тут, у ручья, и до ночи мог простоять. С радостью.

– Обождет твоя Мотыга!

Манана сложила на берегу книги и портфель, сбросила с ног босоножки, вошла в ручей, причем без верещания, мол, вода студеная, то да се, расстегнула ворот форменного платья, сложив лодочкой ладони, ополоснула лицо, и, вновь набрав воды, брызнула на Ешсоу. Он все еще стоял на берегу истуканом, правда, догадался хоть книги пристроить возле ее вещей.

– Искупаю, – пригрозил он, хмурясь.

Она бесстрашно вновь одарила его прохладой ручья. С сердцем, заколотившимся от восторга, – а не нашел ничего лучшего, чем брякнуть: «Говорю тебе, брось!» – он спрыгнул в ручей, пряча от Мананы жарко вспыхнувшее лицо. Она не кинулась наутек, хотя бы в притворном испуге, наоборот, подскочила к нему, сжала мокрыми прохладными пальцами его запястья, близко заглянула в глаза, и он скорее догадался, чем услышал:

– Сдаюсь!

Но ведь яснее ясного было: победа осталась за ней. Вода просочилась меж сомкнутыми ладонями, а Манана все держала его за руки, и речка, что едва до щиколоток доставала, вдруг зашумела в ушах, точно в весеннее половодье.

– Раз трусиха, не дразнись! – перебарывая этот шум, выговорил он.

– Вовсе не трусиха! По-моему, это ты испугался.

Она отпустила его руки. Шагнув к невысокому берегу, Манана оперлась ладонями о землю, подтянулась и удобно уселась на плоском замшелом камне, даже не забыла аккуратно расправить подол платья и принялась болтать ногами, точно малый ребенок. Небольшие ее ступни с огрубевшими подошвами – неужели она дома бегала босиком, как другие? – предстали перед его глазами. Он все стоял в воде, не зная, куда себя деть. Потом заставил себя отвернуться, спустился ниже по течению и там выбрался на берег.

– Ты не заблудился? – весело окликнула Манана.

А ему-то казалось: она – молчунья.

– Заблудился!

– Иди тогда на голос! Эй! Я – здесь! Я – здесь...

Он и пошел на голос.

– Как же это сегодня председатель отстегнул тебя от своего пояса, председательский сынок?

Она, смеясь, снизу вверх смотрела на него.

– Лишнее говоришь...

– Шучу, шучу... Садись, отдыхай...

Он уселся подальше от Мананы, стараясь не глядеть на нее. Тем не менее, она все время оказывалась в поле зрения, будто в сотнях зеркал отражалась.

– Не обижайся, – попросила мягко, – я же только пошутить хотела.

– Делать нечего – обижаться!

И они помирились, если, конечно, размолвку можно было назвать ссорой, а потом разговорились. Говорила в основном Манана, он большей частью вроде только слушал, а получилось: поговорили от души. И он, и она.

К Старой Мотыге, ясно, припозднились, и она встретила их со встревоженным лицом. Опережая ее расспросы, Манана заявила, что пытались спрямить путь, а кончилось тем, что в лесу заплутали. Старая Мотыга смотрела недоверчиво, но Манане это было нипочем, держалась за сказанное и глаз не прятала.

Ешсоу удивленно слушал ее, решил: в сообразительности с Мананой ему никогда не сравняться. В учебе, если захочет, не уступит, а во всем остальном и тягаться не стоит. Она даже Старую Мотыгу могла в краску вогнать. И вогнала. Всю обратную дорогу домой он не переставал удивляться тому, как мало, оказывается, он знал о Манане. И вообще, как мало знает. Всего. Даже ошеломляющую новость об отце Манана узнала первой. Оказывается, после отъезда проверяющих неожиданные заботы свалились на Шураха. Ревизоры – вот уж привереды! – остались многим недовольны. Если по правде, так они даже к тому придрались, к чему и вовсе вроде невозможно было придраться – не пришлось им по нутру, что Ешсоу готовил уроки в кабинете

отца. Жалко, что ли, им стало покрытой зеленым сукном столешницы, пыльной, чернилами закапанной? Так ведь не Ешсоу закапал! Или зло берет, что он с отцом на «газике» ездит? Разве с машины убудет? Машина не конь, спина у нее не протрется. А худшее прегрешение заключалось в том, что в первый день приезда ревизоров председатель сказал им: «Вот контора. И проверяйте! Это ваше дело – не мое!» «Он не так сказал!» – попытался было возразить Ешсоу, но толку-то? Он не так сказал, они так услышали. Несмотря на старания отца Мананы – а уж он старался, и подход к людям имеет, это все знают! – ревизоры остались при своем мнении. Неуважительного к себе отношения не могли простить. А придраться ко всему можно. Это ведь тоже все знают. Еще Луман, зоотехник, заявился некстати к председателю сельсовета наябедничать на Шураха, отец Мананы – он-то ни о чем не догадывался – в это время завел ревизоров к предсельсовета, и они узнали про обиду Лумана. «Им какое дело?» – вспыхнул Ешсоу. Конечно, это их не касалось, но они услышанное запомнили. Как и многое другое. Стыдно сказать, но даже о навозе, оказывается, шел спор. Председатель не сомневается: навоз лучше, чем селитра. Но и они точно знают – все наоборот!

Манана частила, будто спешила изложить вызубренный урок, пока он не выветрился из головы. Но при этом она смотрела на Ешсоу растерянно, что и тревожило больше всего. Какой же силы гром грянул, раз пробился сквозь толщу ее хрустального терема?! Но, как говорится, гром гремит, а дождя может и не быть... Теша себя такой надеждой, и немного досадуя на Манану – зачем она ему это рассказала? – вернулся Ешсоу домой, а наутро, вскочив раньше всех, не попадался на глаза отцу, пока тот не собрался на работу. Он догнал отца у ворот, пробормотал, глядя в сторону: «Что случится, если с тобой пойду?» – «Пошли, увидим...» Ни слова больше. Вновь они были вместе.

И в райцентр отец не ездил без Ешсоу. Будто дразнил кого. А ездил он теперь туда постоянно.

Не по собственному хотению. Вызывали, потому ездил. Поджидая отца, Ешсоу томился в «газике» то у здания райкома, то исполкома. Раза два машина стояла и перед новехоньким, свежевыбеленным зданием, где помещались районная милиция и прокуратура.

Ешсоу, скучая, даже газеты читал – от корки до корки. Почтальон иногда ленился подняться в кабинет – бросал газеты на сиденье «газика», читайте, мол, в дороге. Если читать было нечего, Ешсоу глазел на сновавших по улице людей и наделял прохожих, по своему усмотрению, именами, фамилиями, различными судьбами. В основном, по его улице проходили удачливые люди, несколько, может, грубоватые, но добряки и шутники... Отец порой задерживался так надолго, что начинало сосать под ложечкой от голода. Не только от голода, хотя в ту пору он ни за что в этом себе не признался бы, но и от страха, словно двери, за которыми скрылся отец, захлопнулись навсегда. Но рано или поздно появлялся отец. Шел он с поднятой головой, стремительно, будто показывая свою стать и занятость тем, кто наблюдал за ним в окно. Вроде кому-то могло прийти в голову смотреть ему вслед. Отец плюхался на сиденье, и, казалось, машина приседает, точно конь, прогибающий спину под тяжестью седока. Так же стремительно отец поворачивал ключ в замке зажигания, трогал автомобиль и лишь спустя время ронял, как бы извиняясь перед заждавшимся сыном:

– Увязли в разговорах. Как в болоте...

Сыну самому приходилось угадывать – целым вышел отец из разговора или нет.

Однажды, уж очень долго они ехали в молчании, Ешсоу не выдержал и спросил:

– А что значит «химизация всей страны»?

Об этом в ту пору много писали в газетах.

– Это когда у нас коровы не навозом, а селитрой будут опорожняться!

В жесткой усмешке раздвинулись губы отца, Ешсоу прикусил язык, да было поздно.

– Извини, ради бога! – погодя обронил отец. – Совсем из головы вылетело: ты ведь тоже сторонник обходительных разговоров! – Отец намекнул о недавней размолвке, и Ешсоу подумал, что он несправедлив. – С тобой как с красной девицей надо говорить. Верно? Если бы только с одним тобой! Но и красная девица спустит крепкое словцо, коль за ним дело стоит. Мне тычут в глаза: мол, как можно, фронтовик же ты, фронтовик! Мы что, на фронте бабочками друг над другом порхали? Над прошлыми обидами слезы роняют, а дело стоит!

Отец смолк и уже до самого дома слова не проронил. Ешсоу почувствовал себя кругом виноватым. Хотя он-то был при чем? От конторы они шли пешком в темноте и одиночестве, и Ешсоу не решался заговорить о чем-то стороннем, отвлекающем и клял себя за безъязыкость, опасался, что отец решит, будто он на него разобиделся. Между тем не думал ведь обижаться. Кому под горячую руку попадать, как не близким? А слова не шли на язык, и были слышны только шаги на каменистой дороге и то, как шебаршились на придорожных деревьях птицы, устроившиеся на ночлег.

Дома они вынули из гулкого полупустого шкафа в летней кухне тарелки с мамалыгой и сыром, закутанные, чтобы сохранилось немного тепла, в полотенца, сели к столу. И тут отец сказал:

– Ты бы мог уже десятый сон досматривать... как Плакса.

– Успею бока отлежать!

Отец с надеждой глянул на него:

– Ты ешь, ешь, словами сыт не будешь.

Сам к еде не притронулся. А, поднявшись в дом – тетка выглянула из своей комнаты: «Вы целы?» – и скрылась, он ложиться не стал, дождался, пока Ешсоу нырнул под одеяло, погасил свет и, сказав, что посидит на крыльце, вышел. Он и вправду некоторое время задержался на крыльце, но потом тяжело спустился вниз, и выпрыгнувший из постели Ешсоу – он все настороженно прислушивался к тому, что делалось

на крыльце – увидел в окно, как отец медленно пересек двор, открыл ворота... Постель его вновь пустовала до утра...

Ешсоу, проснувшись, ждал, не поднимаясь из постели, возвращения отца и, только когда услышал его шаги, вскочил, натянул одежду. Отец, не заглянув в комнату, принялся мыться под рукомойником на крыльце. Ешсоу, выйдя, прислонился спиной к косяку, стыдясь того, что сейчас отец обернется, и они встретятся глазами, но не было сил отвести глаза от склоненной широкой спины в белой рубахе. Отец, обернувшись – на его чисто выбритом – и когда же успел? – лице блестели капли воды – сказал досадливо:

– Чего стоишь, смотришь? Собирайся! Время не терпит!

Он быстрым шагом прошел мимо сына в комнату. У Ешсоу не хватило духу сказать, что он может и дома остаться, не нанимался работать в конторе. Днем, пока отец за закрытой дверью разбирался в своих делах вместе с бухгалтером и счетоводом, а Минца с озабоченным лицом печатала, он отправился в библиотеку, куда в то лето зачастила Манана, удивляя библиотекаршу, чей покой редко нарушали посетители. Особенно летом, когда пропасть всяких других дел.

Дух захватило, как от неожиданности, когда, перешагнув порог библиотеки, он увидел Манану, а ведь знал: она здесь! Библиотекарша Шахусна, морща лоб, склонилась над формуляром с таким видом, будто впервые в жизни его заполняла. Поверх ее головы Манана глянула на вошедшего ясным и отстраненным взглядом, словно не узнавая. Так она всегда смотрела в первые мгновения встречи, что выводило Ешсоу из себя. Получалось так: ее, как дикого зверька, нельзя до конца приручить. Только отвернулся, она уже и забыла о тебе.

– Что-то вы зачастили ко мне! – сказала библиотекарша, подняв на Ешсоу блеклые глаза. – Кто это велел вам и летом читать книжки без передыху?

– Старая Мотыга! Кто же еще?! Наказала прочитайте все книги, что под присмотром Шахусны; даже мышами изгрызенные не пропустите.

– Серна, говоришь, велела?

– Она!

– Тогда послушай меня, Ешсоу, и не порть глаза. С тебя она спрашивать не станет.

– Почему? Я, что, слабоумный?

– Умнее не придумаешь! У вас в роду все умные... потому и не станет. – Шахусна с лукавой усмешкой поднялась с места, взглядом объединила его с Мананой. – Так и быть, приглядите за книгами, я схожу в сельмаг; смотрите в оба, как бы вас не ограбили без меня.

– Давай выберем тебе книгу! – предложила Манана громко, так, чтобы Шахусна, которая уже перешагнула порог, услышала, и прошла к стеллажам в глубине библиотеки.

Ешсоу двинулся за ней, вдыхая пыльный запах лежалых книг.

– Постой!

Манана охотно подчинилась и, полуобернувшись, глянула на него с жадным интересом, будто в ожидании подарка. Стало стыдно, что нечем порадовать.

– На этой полке книг до черта, – сказал он, не придумав ничего лучшего.

Она быстро – чтобы скрыть разочарование? – повернулась к полке и стала перебирать книги: потянет за корешок, выдвинет немного, и возвращает на прежнее место. Книгу за книгой. Будто поклялась ко всем книгам прикоснуться.

Ешсоу решился: поднял отяжелевшие вдруг руки и положил ей на плечи. Манана не шелохнулась. Ешсоу казалось, что он ощущает, как пульсирующая в ней кровь ласково тычется в ладони.

– Давай дружить, – едва слышно выговорила Манана.

– Нет, – облизнул он пересохшие губы, дивясь, что нельзя обойтись без слов. – Закончим школу, увезу тебя. Посажу в машину и увезу. К себе. Домой. Навсегда.

– Я ведь тоже об этом, – чуть громче – и нетерпеливее? – проговорила она, и спустя некоторое время попросила: – Пусти, вдруг войдет кто... нехорошо подумает.

А ему такое и в голову не приходило. Да и что нехорошего можно было подумать? Но он отстранился и, как ни странно, почувствовал облегчение, точно ношу сбросил. Манана теперь стояла лицом к нему и, подняв голову – она была ростом ниже – смотрела на него умными глазами. И он вдруг почувствовал к ней такое большое доверие, что спросил:

– А ты не знаешь, на что это Шахусна намекала... про Старую Мотыгу и все такое...?

– Сам разве не догадываешься?

Он пожал плечами.

– О чем?

– Так твой отец к ней захаживает. Это все знают!

– Что?

– А тебе чего с ума сходить? С мужчины не убудет!

– Слишком многое становится тебе известным! – обрушился на нее Ешсоу и едва не добавил: никак стены хваленого дворца дали трещину? Будто она была виновата, что он сам поместил ее в треклятый тот дворец. Будто кто бывает в том виноват.

– Что же мне теперь, с заткнутыми ушами ходить?

Он не дослушал, повернулся и пошел вон, оставив Манану между книг, до которых ей и дела не было. До книг ли тут, если только и знаешь, что слушаешь, разинув рот, всякие небылицы о соседях, родичах, односельчанах... всякие небылицы...

Через день Манану отправили к родичам в город. Погостить на две недели. Бухгалтер об этом сам сказал при Ешсоу. Просто так, к слову пришлось. Так же случайно, но уже из разговора Минцы по телефону, Ешсоу стало известно: отцу вкатили строгий выговор. «Чтобы они лучшей награды в жизни не видели! – сказала Минца. – Теперь сладкоголосый наш и вовсе распушит хвост». Ешсоу не задался вопросом: кто это – сладкоголосый? Оттого, наверное, что ответа не пришлось бы долго искать.

По отцу нельзя было угадать, как он принял случившееся. Напрямик же спросить Ешсоу не осмелился. Клокочущий

голос отца ничуть не смягчился, смотрел же он так, будто постоянно приходилось сдерживать натиск сотни недругов, которым не намеревался уступать в чем бы то ни было. Правда, осунулся он вроде. А может, казалось так, оттого что теперь он только и знал, что бриться, выставляя на всеобщее обозрение отметины времени – множество глубоких и мелких морщин. Ешсоу нравилось, когда отец носил усы, даже полуседая щетина на щеках нравилась. Он смутно помнил, как выглядел отец в ту удивительную пору, когда мать еще была жива. Усов он точно не носил, и щеки были гладкие. Но тогда было одно, сейчас – другое...

Однажды поздним вечером отец, дойдя с сыном до ворот, не вошел во двор, а сказал:

– Иди, парень! Мне еще кое-куда надо зайти.

Ешсоу промолчал. По обыкновению. Но, бредя к дому по двору, неожиданно показавшемуся широченным и пустым, как брошенное поле, дал себе слово – твердое! – как только наступит утро, пойдет к Старой Мотыге, встанет на крыльце, широко расставив ноги, упрется руками в бока. При виде сына Шураха она полжизни потеряет; конечно же, мигом смекнет, в чем дело и, ошеломленная, застрянет в дверях. Лишь бы проклятая старуха Ханифа не помешала, возникнув, как черное привидение, из летней кухоньки и дымя прокуренной трубкой. Она в открытую курит, не стыдится. А кто в их доме чего стыдится? Кто бы ни помешал, все равно Ешсоу скажет Старой Мотыге: «Оставь нас в покое, людей постыдись!»

Утром решимости в нем поубавилось. Но и с отцом, который старательно мылся под рукомойником, будто в том доме, где ночь провел, воды не было, отказался идти, сославшись на недомогание, сказал: живот болит. Какая досада взяла Ешсоу, когда отец встревожился: «Давай Марию Григорьевну к тебе пришлю!»

До полудня Ешсоу маялся дома, и впрямь живот стал побаливать. А тут еще Плакса пристал: «Соу, построй мне мельницу на речке, кукурузных кочерыжек я целую корзину

собрал, вот они!» Ешсоу шуганул, его как следует. Время игрушечных мельниц и других уступок Плаксе еще не настало...

Он не помнил, как прошел по двору. Рыжая собака Марыху, лежавшая под яблоней, лениво подняла голову и, очевидно, признав своего – а ведь он здесь почти не бывал! – вновь уронила морду на лапы. Не удосужилась залаять. Это было на руку Ешсоу. Ведь он собирался застать ее врасплох. Непременно! Тем не менее, то, что даже собака на него не залаяла, задело его. Будто она почуяла: не представляет он опасности. Никакой!

Ешсоу взбежал по ступенькам, и тут в настежь распахнутую дверь увидел Старую Мотыгу. Она стояла босиком на влажном полу, очевидно, мыла его совсем недавно. На ней была распахнутая на груди белая блузка – он даже маленькую латку на плече разглядел – и короткая пестрая юбка, а волосы, всегда туго стянутые на затылке в узел, теперь были распущены и концы их курчавились, загибались, как бараньи рожки. Волосы доставали почти до пояса и оказались совершенно черными, молодыми... стянутые узлом, они никогда не казались такими, никогда! И босые ноги, открытые его взгляду выше колен, белели, как молодой сыр. Он раньше не видел ее без чулок, и рук обнаженных не видел. Еще белизна, выступавшая из блузки... Он смотрел, весь напрягшись – узнавая – не узнавая... и загорелось в нем странное желание подойти вплотную, собрать в горсть волосы, оттянуть назад, чтобы вместе с ними и голова откинулась, подставив взгляду белую высокую шею, оттянуть сильно, еще сильнее, пока она не упадет навзничь на прохладу пола, только что вымытого, и... Озноб пробежал по спине…

– Ешсоу? Добро пожаловать... А я вот волосы сушу, вымыла, – заговорила она суетливо и принялась заплетать косу. Едва справившись с волосами, застегнула блузку, путаясь в пуговицах, до самого горла, резко одернула юбку, точно могла ее удлинить...

Старалась, пряталась от него, спешила предстать перед ним Старой Мотыгой.

– Садись, пожалуйста. Молодец, что зашел...

Он, чувствуя, что слезы закипают на глазах, повернулся и стремглав кинулся прочь.

– Остановись, Ешсоу, прошу, подожди!

И тут раздался голос Ханифы. Стояла, наверно, на пороге летней кухни, посасывая вонючую трубку:

– Не надрывайся. Не удержишь. Он из такой породы. Дышло выломают и уйдут.

– Ты тоже оставь меня, оставь! – услышал он и голос Серны.

Голос, в котором звучало отчаяние.

Выскочив на проселок, Ешсоу помчался через узкий луг к ольшанику и там, пробиваясь через колючки, добрался до старой дуплистой ольхи, и сел под ней скрючившись, с таким ощущением, будто все нутро сожжено, и боль ничем не утишить. Слезы защипали глаза, яростно смаргивая их, он твердил себе: после восьмого класса уеду в город, поступлю в художественное училище, пусть кто-нибудь попробует удержать, пусть. Тогда он покажет, каково, иметь с ним дело. Покажет!

И, выплакавшись, он остался сидеть под ольхой, подтянув колени к подбородку, стараясь занимать как можно меньше места, и представлялось ему: лес заполнен гулкой пустотой, точно каждое дерево дуплисто, а все птицы снялись с места и улетели невесть куда. Слушая пустоту, Ешсоу задремал. Приснилась ему гнедая лошадка с черной гривой почти до земли. Он взнуздал ее, вскочил на гладкую спину, сжал горячие бока ногами и понесся во весь опор. Ветер наслаждения шумел в его ушах, как никогда раньше, как никогда... И в тот миг, когда острота наслаждения достигла пронзительной высоты, он внезапно пробудился. Некоторое время, приходя в себя, Ешсоу смотрел невидяще, а потом распрямил занемевшие ноги, удобнее привалился к стволу, вновь прикрыл глаза и устало, без прежней ярости, подумал, что если он решит после восьмого класса перебраться в город, никто особенно препятствовать ему не станет. Мысль эта не об-

радовала его. Получилось же так, что он оказался опутан по рукам и ногам... жизнью.

Тем же летом – Ешсоу теперь не припомнит, вернулась ли к тому времени Манана из города или нет – отца вновь вызвали в районный центр по личному делу. После выговора вроде бы перестали теребить, а теперь опять вызвали. На этот раз он не взял с собой Ешсоу, вроде почувствовал – сын постоянно приглядывается к нему со смешанным чувством любви и неприязни. Каждый устанет, если к нему так приглядываться. Что же удивительного, если отец решил отдохнуть и не позвал с собой сына? Ешсоу сам не вызвался поехать. Всю жизнь он будет помнить: не вызвался!

...Поздним вечером на пустынной дороге колонна грузовиков с военными остановилась, привлеченная непрерывным сигналом, доносившимся из «газика», стоявшего с зажженными фарами на обочине. Водитель головной машины, с бранью распахнувший дверцу «газика», только охнул. Человек, лежавший щекой на руле, был мертв. Потом врачи установят причину смерти – обширный инфаркт. Еще они обнаружат на сердце несколько мелких рубцов – следы микроинфарктов, очевидно, перенесенных на ногах. В селе же скажут: «Могучий, как лев, был человек! Поди, теперь угадай, когда смерть настигнет».

На похоронах секретарша Минца подойдет к скорбящему бухгалтеру Мехалу и велит ему немедленно покинуть двор покойного, пригрозив в противном случае объявить его всенародно убийцей. Об этом не один год будут толковать в селе, осуждая Минцу, не доводившуюся покойнику даже дальней родней. По какому же праву она осмелилась взять на себя роль обвинительницы? А ведь всем вскоре станет известно – в последний раз председателя Шураха вызывали в райком партии из-за анонимки, составленной так замысловато, что не каждому юристу по плечу. Впрочем, это ничуть не скрывало грубого ее содержания: руководство района информировали о сожительстве председателя с учительницей, что не могло не отразиться пагубно на нравственности руко-

водимых этим человеком людей – одна паршивая овца стадо портит, а если это не просто овца, но вожак? И – что неизмеримо хуже! – позорное поведение женщины, согласившейся на положение любовницы – наихудшим образом влияло на обучаемых ею детей... Все шушукались, что анонимка – дело рук бухгалтера, Минца в этом, похоже, ни минуты не сомневалась...

Родных братьев у Шураха не осталось, двое старших погибли на войне. Что касается двоюродных, так те жили в дальнем районе. В свое время своевольный отец Шураха отселился подальше от родни, когда решил взять в жены девушку из ничем не примечательной бедной семьи – не брать же было во внимание редкую красоту самой девушки, которая казалась среди родни садовым цветком меж сорняков?! А дед Ешсоу взял вот во внимание, настоял на своем, женился и уехал подальше ото всех. Семья от него не отказалась, но холодок, возникший меж ней и своевольным сыном, остался навсегда. Хотя теперь по истечению немалого времени, когда ни старика, ни его жены не было на свете, никого это, само собой, не занимало. Но родичам отца было удобно держаться в тени полузабытой размолвки. К тому же они считали, что сделали больше, чем требовалось, когда уступили овдовевшему Шураху вполне еще крепкую тетку, чьи руки пригодились бы и в доме других племянников, над которыми не простиралась ни тень, ни полутень какой бы то ни было истории...

Тем не менее, прибывшие на похороны двоюродные, троюродные братья, все, как на подбор, рослые, широколицые и низколобые, выразили готовность продать дом Шураха, а сирот забрать к себе: «От нашего стола что-нибудь да перепадет им. Вырастим». Но тут Ешсоу показал характер, заговорила в нем, как сказала Минца, отцовская кровь. Возможно, вкупе с дедовской! Хотя в те дни, сразу после похорон, он чувствовал себя так, будто все, глазевшие на него и Плаксу, как на найденных в брошенной берлоге беспомощных зверенышей, отнимали у него кто щепоть силы, кто пригорш-

ню – в зависимости от настырности. Из тех горьких дней, когда он стоял с траурной повязкой вокруг головы, ощущая бедром тепло прижавшегося к нему Плаксы, Ешсоу запомнил, как рябило в глазах от многолюдья, как закусывал губу, чтобы не разрыдаться от ненависти – только от ненависти! – когда кто-то из плакальщиц начинала сокрушаться над судьбой несчастных сироток. А до чего разозлился Ешсоу, когда долговязые родичи отца ввели во двор и поставили, возбудив любопытство и одобрение людей, коня под черным покрывалом, будто отец был наездником, будто без коня прожить не мог. Если уж что-то и надо было занавесить черным полотном, так машину, с которой не слезал, пока не надорвался. Но «газик» принадлежал государству. Заменив его конем, родичи отца совершили по отношению к покойному непростительное. Ешсоу не сомневался, что это так, хотя и не мог объяснить, почему.

У отца теперь не было иной защиты, кроме Ешсоу. Плаксу в расчет брать не приходилось. На следующий день после похорон родичи отца – торопились, видно, осень на носу, страдная пора – немедля созвали уважаемых людей села и затеяли украшенный цветистыми словесами, долгий разговор о судьбе сироток. Детей никто не собирался выслушивать. Плаксе, ладно, четыре года, но ведь старшему четырнадцать сравнялось, не ребенок. Ешсоу и напомнил, что не ребенок, твердо заявив, что в своем доме он – хозяин и ему решать, как дальше жить. «Силенок как у петушка, зато – язык метровый», – рассердился один из новоявленных родичей. Но и Ешсоу не остался в долгу: «Можно дубы с корнем выворачивать, а толку?» Родичам, ясное дело, не понравилась его дерзость. Она его самого смущала. Но ведь ничего другого не оставалось! Пока уважительное отношение к старшим будешь выказывать, в сироту бездомного превратят, в лишний рот в чужой семье, кто бы как бы красиво сейчас не говорил! Председатель сельсовета – земля ему пухом, нет уже его в живых – поддержал тогда Ешсоу, пообещал, мол, сельсовет без внимания не оставит. И мудрая женщина – это он тетку

имел в виду – поможет советом да присмотрит за мальчиками. «Мы тоже не останемся в стороне!» – сказал кто-то из соседей, на которого родичи отца глянули пренебрежительно и дали понять, не пожалев вороха слов, что родню они в состоянии сами прокормить, в сторонней помощи, благодарение богу, не нуждаются; пока они живы, мальчиков с протянутой рукой по селу не пустят. «Так я же не об этом», – смущенно бормотал сосед, сраженный высокомерной отповедью. Родичи, подогреваемые упрямством Ешсоу – а может, и обнадеженные, зачем им лишняя обуза, лишь бы люди не упрекнули в бессердечии – вовсе разошлись и держали себя так, будто скорее согласились бы поседеть в споре, чем покинуть дом, не забрав племянников. Но зычные их голоса, точно отдаленный гром, не приносящий дождя, прогрохотали и затихли. Потом родичи и раз в год не наведывались.

Еще издали увидел Ешсоу: отчий дом ярко светится, точно маяк в тумане. Только у покойной тети была такая привычка – щедро, наслаждаясь доступностью света, зажигать огни в доме. Но старухи полтора года, как нет на свете. За Плаксой же такого не водилось. Тем не менее, дом сиял как отсвет непрерывного праздника.

Ешсоу с легким сердцем вошел в ворота. К нему бесшумно кинулся Чарлик, охотничий пес брата. Он наклонился к нему, и пес, обдавая жарким дыханием, ткнулся влажным носом в разгоряченное быстрой ходьбой лицо.

–Уйди, дурень, – забормотал Ешсоу, а сам не удержался, потрепал песика по длинным свисающим ушам, а, углядев возле дома светло-зеленые «Жигули», добавил:– Чарлик, никак, у нас гости? – и вновь наклонился к собаке, будто в ожидании ответа.

Незамеченным Ешсоу поднялся на крыльцо. Веселье, бушевавшее в доме, судя по взрывам смеха, осталось бы глухо даже к нашествию беды, во всяком случае, до тех пор, пока беда не вломилась бы вовнутрь и не принялась хозяйничать. «Пропала завтрашняя работа!», – подосадовал Ешсоу

и тотчас осудил себя, вроде позавидовал брату, его беспечности. Он отворил дверь и вошел. За столом сидело четверо – два парня и две девушки – из которых он признал только Плаксу. Впрочем, можно ли было именовать Плаксой – даже про себя! – высокого весельчака, чей нежный – любой девушке на зависть! – румянец и блеск широко расставленных светло-карих глаз не вступали в противоречие – уж таков он был! – с резкими очертаниями губ и подбородка, с властными движениями?

– Вот и старший! – радостно воскликнул он, вставая, глядя без удивления, будто брат отличался привычкой сваливаться, как снег на голову.

Гости поднялись, Ешсоу пожал им руки с неизменным: «Добро пожаловать», стараясь при рукопожатии и девушкам прямо смотреть в глаза, хотя при этом он чувствовал себя стесненно.

– Слетай на кухню, Эвелина, за прибором! – с непонятной усмешкой велел Плакса одной из девушек.

Сказано было по-русски, но, судя по всему, девушка была местной и прекрасно понимала по-абхазски. Ешсоу поразила непринужденность, с какой она выскочила за дверь, будто выросла в этом доме и где что можно взять знала назубок. Или такие девушки всюду чувствуют себя, как дома? Другая гостья, похоже, засмущалась, приуныла. Склонив рыжеватую голову – наверняка крашеные волосы, кожа-то у нее смуглая – что-то шепнула парню, сидевшему возле нее. Его невыразительное лицо с мелкими чертами казалось приклеенным к огромным вислым усам. Он, косясь на спутницу, виновато пожал плечами. Видно пообещал подруге, что на их посиделках посторонних не будет, и ничто не отбросит тень на доброе имя девушки.

– Ну не знал я, не знал! – весело проговорил Плакса, обнимая брата за плечи. – Нечего на меня так смотреть. В конце концов, и я влип. Всех нас он застукал. Правда, Ешсоу?

– А вы что здесь – награбленное делите?! Что значит «застукал»? – предостерегающе глянул на него Ешсоу.

– Но вот видите, он все понимает! Не пень замшелый! Ешсоу – свой парень!

– Как бы гостья наша не заблудилась, – глядя на дверь, куда вышла девушка по имени Эвелина, попытался Ешсоу неуклюже перевести разговор на другое.

– Не заблудится! Потому как на дороги она плюет. Предпочитает бездорожье! – непонятно сострил Плакса.

Невыразительный усач поддержал его слабой усмешкой, а Ешсоу нахмурился, и Плакса, как бы в утешение, мягко добавил – специально для него: – Придет она сейчас, никуда не денется.

Можно подумать, Ешсоу соскучился по ней. Эвелина и вправду вскоре возникла в дверях с тарелкой, вилкой и бокалом. В туфлях без каблука она бесшумно скользнула к столу и, раздвинув тарелки, смахнув на пол крошки, поставила чистый прибор и посмотрела на Ешсоу с ожиданием похвалы.

– Спасибо! Да не лишится ваш стол хлеба-соли.

Он придвинул стул и сел рядом с братом, заняв, очевидно, место Эвелины.

– Стол холостяцкий, но кто осудит хозяина без хозяйки! – сказал Плакса, игриво поглядывая на Эвелину.

Та смущенно улыбнулась, будто косвенно упрекнули ее лично, будто звали занять свободное место хозяйки, а она вот все раздумывала. Маленькое большеротое личико Эвелины с черными любопытными глазами все время находилось в движении: то она морщила коротенький нос, то вздергивала высокие брови, пряча их под жесткую черную челку, то покусывала нижнюю яркую губу, сверкали на редкость белые зубы...

Ешсоу сидел, не притрагиваясь к еде, чувствуя, как в нем нарастает досада на себя! Все неймется! Утра и то не мог дождаться, чтобы приехать без помех для кого бы то ни было.

– Мы тут берложку устроили, – сказал брат, оборачиваясь к нему, и от приветливости его ясного взгляда что-то больно кольнуло внутри. – Холостяцкую. Отдыхаем!

– От чего?

– От жизни! – оживленно растолковал брат. – После трудов праведных. Учти, после трудов. – А потом, обращаясь к своим друзьям, добавил: – Я же вам говорил. Во всей республике можно найти одного единственного правильного человека. И это мой брат!

– Лучше тебе больше не пить, парень! – резче, чем хотел, сказал Ешсоу и, чувствуя, как напряглись руки, крепко уперся ладонями о колени, будто намереваясь пригвоздить себя к полу. А ведь видел: хотя вино стояло на столе, пьяны они не были, веселье их, похоже, не нуждалось в вине. Горячило другое...

– Конечно, некрасиво собственного брата хвалить. По традиции, надо подождать, пока другие похвалят. Но мне – можно! Я ведь не ханжа! Куда мне!

Плакса вновь глянул на Ешсоу с обычной, всегда расслаблявшей брата, приветливостью, с выражением искренней привязанности. Все это ничуть не мешало пренебрегать советами старшего.

Плакса, похоже, невысоко ставил ум брата. Иногда казалось Ешсоу: именно благодаря этому обстоятельству неизменна его привязанность. Уж такое свойство у Плаксы: дарить дружбой тех, на кого – справедливо – несправедливо, а смотрит свысока.

Рыжая вновь что-то тихо, но настойчиво, сказала своему соседу. Усач, сидевший прямо, с неподвижным лицом, будто опасался при неосторожном движении потерять усы – а кто он без усов? – бормоча: «Где-то у меня часы были», – захлопал по бокам, словно в поисках просочившегося в карманы времени.

– Четверть первого! – звонко объявила Эвелина, указав остреньким подбородком на часы в деревянном футляре, занимавшие чуть ли не полстены.

– На часах всегда какое-нибудь время! – беспечно отозвался Плакса. – Не вздумайте разбегаться! Брат ведь только-только пришел. Надо уважить человека или нет?

– Время позднее, а нам еще сколько ехать! – надула губы крашеная.

Можно подумать, кто-то силком удерживал ее здесь. Эвелина отчего-то встревожено глянула на Ешсоу, но, встретив его взгляд, растянула губы в улыбке. Внезапной жалостью к ней сжалось сердце. Ешсоу потянулся к бокалу. Эвелина проворно вскочила, схватила кувшин – Ешсоу услышал, как хмыкнул брат – и доверху наполнила бокал.

Кивком поблагодарив, Ешсоу поднялся.

– За наших гостей! – провозгласил он. – Пусть радость жизни пребудет с вами.

Эвелина, посерьезнев, настороженно смотрела на него. И он заметил, что она старше, чем кажется. Сквозь детскость повадок, подвижность личика проглядывала, как плохо закрашенное пятно, усталость... И в горле застряла насмешка: «И ты будь здорова, забава моего брата!»

Ешсоу осушил бокал, поставил на стол, извинился: «Не могу больше, все равно не догоню вас», – и отошел от стола.

– У меня брат мировой! – сказал Плакса.

– Оставлю вас. Ненадолго...

– Не откладывайте из-за нас своих дел, – вежливо проговорил усач.

Устоявшееся вежливое словосочетание, как все, что человек усваивает не вникая, прозвучало смехотворно. Какие же такие неотложные дела могли обнаружиться за полночь? «У такого дурня не хватит ума увезти своих девок, как только я уйду», – подумал Ешсоу, выходя на крыльцо. Он не позволил себе думать, что и Плакса мог бы не превращать отчий дом в нечто непотребное... Впрочем, он знал, какие слова услышит от брата завтра. «Надо же мне, молодому, холостому, как-то устраиваться. Не по оврагам же таскаться, когда дом пустует». И возразить Ешсоу не сумеет, и вовсе не потому, что так уж нечего возразить. На очередное: «Возьмись за ум, женись!» – Плакса скажет: «Влюблюсь и женюсь. А без любви уже, кажется, наши отцы себе не позволяли...»

Ешсоу прошелся по двору, опять сопровождаемый нетерпеливой радостью Чарлика, постоял у летней кухоньки, но не вошел, себя устыдился. В доме какие-никакие, а гости, не

к лицу отсиживаться на кухне, как мальчишке, которого к взрослым разговорам не допускают.

Ешсоу направился к орешнику за домом, пробрался меж деревцами, вдыхая свежий запах листвы и, подойдя к плоскому камню, с незапамятных времен вросшему здесь в землю, уселся на него, запрокинув голову, вгляделся в звездное небо, которое со времен отрочества ничуть не изменилось...

...До чего ненавидел Плакса вставать по утрам! В школу его отдали с шести лет. По вине брата, как в сердцах говорила тетка, отчаявшись добудиться мальчика. Она упрекала: слишком Ешсоу своевольничает с тех пор, как почувствовал себя хозяином в доме.

Все его своеволье заключалось в том, что он перешел в вечернюю школу, засеял часть кукурузного поля табаком, да на чае гнул спину, хотя стоящего сборщика из него так и не вышло. Никакая другая работа не представлялась ему такой нудной. Нудной и не мужской... Тем не менее, и тетка по-своему была права. Именно Ешсоу отправил Плаксу в неполных шесть лет в школу. Может, старался доказать всем – себе тоже! – что в их семье все рано взрослеют, и то что другим и в двадцать лет не по плечу, они в пятнадцать одолеют играючи? Или была иная причина, более существенная?! В том году под свое крыло собирала первоклашек Старая Мотыга... Она оставила уроки в старших классах, за малышей принялась. Малыши называли ее – и в глаза, и за глаза – по имени-отчеству. Кличка осталась в прошлом, как и многое другое...

В те дни, когда в доме был покойник, Ешсоу не видел Серны. Он знал: она где-то рядом, не может не быть, но не видел и не хотел видеть. Казалось, если она приблизится к нему или к Плаксе, вступит в круг, который множество людей держали под неусыпным вниманием, как под прицельным огнем, невозможно будет это снести, никаких сил не хватит. Но Серна не подошла к нему. И, к своему удивлению, Ешсоу

обнаружил, что ее отсутствие льдинкой оседает на сердце. Временами представлялось: Серна смотрит в спину жалкими глазами, как тогда в комнате с чисто промытым полом, и тогда немела спина, но он не оборачивался. А увидел он ее недели через три после похорон. Он шел домой лесом. Ешсоу все чаще ходил лесом, точно чурался проселка... В «газике», носившемся по проселочным дорогам, теперь ездил новый председатель колхоза – Мехал. И никому, наверное, не приходило в голову удивляться этому. Все шло своим чередом, и каждый после работы мог возвращаться домой более для него удобной дорогой.

У перелаза в орешник Ешсоу увидел Серну. Она стояла спиной к нему, держалась за колья, торчавшие из плетня, и по напряженности позы можно было решить, что она кого-то высматривает, будто ей невдомек: опустел орешник. Она услышала шаги Ешсоу – а ведь он считал: ступает неслышно, – возможно, просто почувствовала чужое присутствие, круто обернулась, спиной вжалась в плетень, смотрела на него прямо – без сочувствия, без заискивания. И жестко сомкнутые губы не дрогнули в улыбке, пусть даже деланной. А на скулах горели, как отсвет затухающего пожара, два красных пятна.

– Разрешилось, – проговорила она ломким, как у подростка, голосом. – Все разрешилось...

И развела руками, словно показывая – и крупицы счастья не удалось ухватить, удержать для себя.

Ешсоу молчал. Она не сводила с него глаз – жестких, непроницаемых, как закопченные камушки.

– Можешь успокоиться, утешиться, некого тебе больше сторожить!

– Я никого и не сторожил! – Удивление его было столь велико, что и в голову не пришло рассердиться. – С чего бы я стал сторожить?

– Тебя боялся обидеть, иначе, – она рванула ворот пестрого платья, – иначе не стояла бы я сейчас в этом платье!

– Тебе кто-нибудь задолжал платье?

– Олух! – вскричала она, сползая на землю.

Серна спрятала в колени лицо и разрыдалась.

Ешсоу осенило: плач ее по трауру, которого она не имела права носить... Не по наущению ли матери она вырядилась в броское – сплошь красные цветы по белому полю! – платье? Мол, пусть видят все – беда ее даже краем не коснулась. Даже краем!

Ешсоу подошел ближе. Она не подняла головы, плакала, вздрагивая плечами, и узел волос на затылке дрожал, нелепо торчали в нем две шпильки. Он взял и выдернул эти шпильки – положил конец нелепости. Серна замерла, а потом подняла к нему заплаканное лицо. Как резко обозначились морщинки у подпухших глаз, и худые щеки представлялись иссушенной землей, которую теперь никаким дождем не пропитать. Она медленно поднялась на ноги. Оказалось: теперь они одного роста. Волосы и без шпилек не рассыпались по плечам, свисали плетью за спиной.

– Я не виноват...

– Знаю, – она отвела глаза. – Считай: ничего не говорила. Я с ума сошла, вот что...

Серна обошла его и медленно побрела прочь, немного прихрамывая, точно подранок.

Кинуться бы за ней, схватить за плечи, заставить обернуться, заглянуть в глаза: Серна ли она на самом деле? Может ли человек так измениться, принять другое обличье? Или все зависит от того, какими глазами мы сами смотрим на него?

Ешсоу знал, что в его отсутствие Серна бывает в доме, по обмолвкам тети знал, да и Плакса не был обделен ее вниманием, быть может, избалован даже. Между тем, по уверениям старших, Плакса походил лицом на покойную мать, Ешсоу – на отца... Представлялось, что Серна не может по-настоящему привязаться к Плаксе, никак не может. Тем не менее, он взял за руку брата и повел в класс к ней. Это все, что он мог сделать для нее. И Плакса не прогадал, если, конечно, не считать утренних вставаний. Сколько раз случа-

лось им опаздывать! Ешсоу впускал мальчика в класс после звонка. Брат, ничуть не смущаясь, громко здоровался и, не дожидаясь, пока позволит учительница, шел к своему месту, свободно располагался, не забыв смахнуть локтем тетрадки или книжки соседа, если они оказывались на его половине. Ешсоу, глядевший в щелку двери, одновременно сердился на брата и восхищался его непринужденностью. Сам он и сейчас вряд ли сумел бы заявиться, куда бы то ни было с такой непоколебимой уверенностью, что его приход желанен.

Серна смотрела сквозь пальцы на опоздания Плаксы, но время от времени справедливости ради – другим-то она спуску не давала – пыталась спросить и с него. Тот не утруждался, выискивая уважительные причины, признавался чистосердечно, даже радостно:

– Сон хороший снился, потому опоздал.

– Примерные мальчики пренебрегают сном, даже хорошим, ради школы.

– Но я ведь не примерный! – все так же радостно напоминал Плакса.

На этом нравоучения Серны заканчивались. Ешсоу же за день не раз вспоминал звонкий голос брата и усмехался, удивляясь нутряному его лукавству. И думал, что Серна – миновали безвозвратно дни Старой Мотыги, ничего не скажешь! – совершенно его забалует. Это предположение отчего-то радовало.

Впрочем, он и сам во многом потакал Плаксе, будто прося прощения за утреннюю суровость. По утрам приходилось круто обращаться с мальчиком – торопить, одергивать, стыдить за лень, расхлябанность. Плакса искал защиты у тетки, когда брат понуждал его поскорее одеться, умыться, позавтракать. «Все бегом, бегом, – ворчала тетка, – а куда торопиться, день только разлепил глаза...» Вытащив мальчишку из дома, Ешсоу несся по проселку, таща под мышкой мешок для сбора чая и ранец Плаксы. А школьник налегке тянулся за ним, жалуясь то на одно, то на другое – шнурок на ботинке развязался, камешек подвернулся под ноги, острекался о

придорожную крапиву и мало ли на что еще. Ешсоу не оглядывался, и, когда уходил далеко вперед, Плакса вприпрыжку догонял его и возобновлял свое нытье. А ведь давно убедился: ничего он этим не добьется, но все скулил и скулил. Кто знает, возможно, он догадывался – такому хитрецу все по зубам! – что утренние его жалобы не проходят бесследно. Что благодаря им, после школы он находил дома на обшарпанном столе, за которым готовил уроки, какую-нибудь игрушку – часто самодельную, но случалось – и покупную. Какие фигурки в ту пору вырезал из дерева Ешсоу! Загляденье, и только! Во всяком случае, старый учитель рисования, которому ненароком – привел школьников в помощь чаесборщикам – попались на глаза поделки Ешсоу (когда было ими заниматься, как не во время полуденного отдыха?), сказал, вертя в руках фигурку деревянного воина с луком и стрелой: «Какое чувство движения, учиться надо тебе...» – и замолчал, сочувственно на него глядя. Учитель был приезжим, работал в селе совсем недолго, но, видимо, кое-что слышал об Ешсоу. Подумалось: сплетничали в учительской о Серне и бывшем председателе, который хватался за много дел одновременно, безудержно тратя свои, как выяснилось, небеспредельные силы... При этой мысли Ешсоу обдало жаром. Он вскочил и ушел, бросив старого учителя, который остался сидеть на выжженной траве под грабом, вертя в руках деревянную игрушку. Вечером, собрав школьников, учитель подошел к Ешсоу, все еще обиравшему чайный куст, и, возвращая поделку, сказал:

– Прости, брат...

Ешсоу пробормотал извинения, мол, наоборот, он виноват, понимает, как поступил некрасиво, не дослушав старшего по возрасту. А сказать, что похвала учителя была ему приятна, может, как ничья похвала в жизни, он не решился. Не то чтобы боязно, а неудобно как-то стало. Как бы не вышло, что он вскользь выраженному одобрению придал слишком много значения... Кроме учителя рисования, поделки Ешсоу хвалил еще и Плакса, кидался в рев, если ломалась игрушка,

и не успокаивался, пока Ешсоу, забросив все дела, не изготовлял ей замену.

Тетка слабо упрекала:

– Зачем вырезаешь? Сломается – опять ребенок с ума сойдет.

Ей, возможно, представлялось: и ребенок может довольствоваться малым, совсем малым, как она сама. Чтобы ограничить по возможности круг потерь? Но Плакса-то был слеплен из другого теста.

– В кого он у вас такой? – удивлялась и Манана. – Такой красавчик!

Класс Мананы прислали на подмогу той бригаде, где работал теперь Ешсоу, и на протяжении целого месяца он, стоило только поднять глаза, видел Манану в широкополой соломенной шляпе, склонившуюся к чайным кустам со сторожким вниманием, точно бабочек ловила. К вечеру же обнаруживалось, что она собрала меньше всех чая. Так мало, что сердобольные учителя советовали: «Завтра оставайся, девочка, дома. Лучше помогай матери». Но каждое утро Манана появлялась на плантации. По слухам, на этом настаивал новый председатель, мол, он не допустит, чтобы его дочь уклонялась от работы, на которой заняты ее сверстницы. «Какой совестливый! – оказывается, воскликнула Минца, прослышав об этом. – Другой такой совестливый и с незапятнанной честью прожил бы...»

Ешсоу теперь редко виделся с ней. Не отдавая себе отчета, он избегал Минцу, потому что при ней чувствовал себя неуютно, будто не оправдал возлагаемых на него надежд. А Минца всегда радовалась ему и со свойственной ей прямотой одобрила, что он не поддался на уговоры родичей, не уехал с ними. «Пока родная крыша над головой, ты сам себе хозяин! – сказала она. – Да кто посмеет заколотить двери отчего дома, пока есть ты – живая ветвь рода?»

О Плаксе она слова не сказала, точно он не был сыном своего отца. Точно вся ответственность – и честь, и бесславие! – возлагалась на одного только Ешсоу. «Живая ветвь!»

– сказала Минца. Живая... Между тем как он боялся, что Минца ненароком заведет разговор о новом председателе или намекнет: ей известно, что Ешсоу видится с Мананой. Наедине. И это было правдой.

Однажды, школьники уже последний день работали на плантации, Манана подошла к Ешсоу и между делом сообщила, что ей непременно надо зайти к Серне – «ведь завтра начнутся занятия!» – и, очевидно, она пойдет лесом. Он пораньше ушел с работы, поджидал ее у ручья. Впрочем, долго она себя не заставила ждать. К Серне Манана в тот день не попала. Позже Ешсоу сообразил: да вовсе она к ней и не собиралась. В школе Серна теперь с малышней возилась. Что могло старшекласснице понадобиться у нее? Не просто старшекласснице, а дочери Мехала? Спустя годы ему даже стало казаться, что Серна отказалась от преподавания в старших классах из-за Мананы. Но тут он, наверно, перебарщивал. Серна вряд ли можно было заставить отступить из-за пятнадцатилетней девочки, пусть и неуязвимой за стенами своей безмятежности.

Долгую осень они встречались у ручья, бродили по жидкому, далеко просматриваемому лесу, стояли, прижавшись к непрочному стволу старой ольхи, слушая, как моросящий дождь приглушенно, точно наполовину прикрученный радиоприемник, звучит в листве, а мельчайшие капли; рассеиваясь, дымкой стоят над землей. Сквозь дымку так славно гляделось вдаль, на деревья, как бы смягченные дождем, подобревшие, так остро ощущалось присутствие Мананы, и шепот, тоже скрадываемый дождем: «Я выйду только за тебя замуж, только за тебя». И мысли о том, что жизнь бесконечна...

А потом дожди и вовсе зачастили – зимние, промозглые. Лес обеднел, оголился... Манана все реже выбиралась на встречу с ним, затем и вовсе заболела, простудилась. Но как бы то ни было, зиму они пережили, пришла весна... И однажды к ручью вместо Мананы заявилось трое молодцов – студент, брат Мананы, его приятель, не знакомый Ешсоу, и

бывший одноклассник, чье имя забылось, а кличка – Секач – помнилась.

– Ждал лисичку, а нарвался на волков! – С недоброй усмешкой сказал студент и добавил по-русски, очевидно, для своего приятеля: – Только он волков не боится, иначе бы в лес не ходил. Верно, мальчик?

Он подошел вплотную к Ешсоу и стал, расставив широко ноги в высоких болотных сапогах. Руки он держал в карманах синей куртки, и по тому, как бугрились карманы, нетрудно было угадать: он сжимает кулаки. Парень был выше Ешсоу, но тоньше в кости и, по всему видать, белоручка. Не вынимая рук из кармана – брезгуя? – он сильно толкнул Ешсоу плечом. И тогда, хотя Ешсоу помнил, что парень – брат Мананы и он не должен его трогать, сомкнув руки – первым! – снизу ударил студента в подбородок. У парня вздернулась голова, как у коня с укороченной уздой. Секач кинулся на помощь. И завертелось... Даже спустя много лет Ешсоу не хотел признать, что испугался. Страшно не было. Стыдно – да! «Делают со мной, что хотят!» И за них совестно было: трое на одного! Еще боялся: увидит кто-нибудь, вмешается. Если он чего и боялся, так этого – вмешается...

Когда студент и Секач, по увещеванию третьего, который не столько марал руки, сколько наблюдал – такое уж он себе выбрал занятие – отошли, пригрозив: «Попробуй еще близко к моей сестре подойти, сиротка!» – он, оставшись один, кое-как смыл в ручье грязь и кровь. И отправился Есшоу не домой, хотя мог бы незамеченным пробраться в комнату, а поднялся на пригорок и огородом – к деревянному невзрачному дому, где с полузадушенным криком взяли его лицо в ладони, быстро ощупали глазами – цел ли? – обмыли ссадины, к синякам приложили пятаки... Серое пальтишко – лучшее, что у него было – измазанное грязью, с оторванными пуговицами валялось на стуле. «Это пустяки, починим, куда денемся!» – утешала она как могла. По ее настоянию он снял замызганные ботинки, носки и сидел босой, пряча под стул ступни, сутуля плечи и пуще всего опасаясь,

что откроется дверь и войдет Ханифа, как всегда, некстати. Но, к счастью, она в тот день отсутствовала, отправилась на чьи-то поминки.

– Что делать? – спросила Серна с отчаянием. – Что делать?

Он пожал плечами, глядя на нее не заплывшим глазом, проговорил:

– Не отступлю!

Хотел добавить: «Теперь другого выхода нет!» – но смолчал. Понадеялся: сама поймет. Да только она решительно заявила:

– Знаешь что? У меня родич в Сухуми в АТК работает. Он тебе поможет. Ты же замечательно водишь машину. Тебе только права надо получить. Исполнится восемнадцать лет – и...

Она с ожиданием посмотрела на него. Ешсоу подумал, что до восемнадцати лет еще пропасть времени, и кивнул, чтобы не перечить.

– Тебе же нравится водить машину?

Он и это подтвердил. Пусть думает, что нравится, если ей так хочется.

– Получишь права, мой родич поможет, на работу примет. Разве это плохо? Скажи – плохо?

Похоже, Серна едва сдерживала слезы... Она подошла к нему и нерешительно остановилась. Он, будто впервые видел, подивился ее худобе. Какой-нибудь зубоскал сострил бы: «Мяса с нее и на один шампур не хватит». Людоедское выражение, впрочем, вполне обиходное...

– В армию тебя не возьмут. Как кормильца! Единственного.

Последнее ей далось нелегко. Он сглотнул комок в горле, спросил:

– Куда же мне от них, раз кормилец... единственный?

– Нет-нет, тут мы не пропадем, – быстро заговорила она. – Если подумать, до города рукой подать. На курсы даже из дому можно будет ездить. А начнешь работать,

тоже ничего... – Она положила руку ему на плечо, с неожиданной силой сжала. – Не допущу, чтобы и ты так вот, на полдороге...

Серна не договорила, выпустила его плечо, отошла в сторону, добавила, не глядя на него, тихо:

– Век не забуду, что ты пришел сегодня сюда...

Он не мог отсиживаться дома, дожидаясь, пока сойдут синяки. Весна стояла на дворе, хлопот хватало. Тем, кто любопытствовал, что с ним стряслось, Ешсоу неловко врал, мол, свалился со старой ольхи. Обрезал лозу, обвившую ее до самой макушки, вот и свалился. С Мананой он в те дни не виделся. Сам встреч не искал, стыдясь синяков, но в глубине души надеялся, что дочь Мехала сама отыщет возможность встретиться. Да только не было от Мананы вестей, и постоянное сосущее чувство ожидания, казалось, подмывало Ешсоу изнутри, точно норовистая река – крутой берег. Но он держался. Как мог. Однажды Ешсоу возвращался под вечер с работы. Он очищал на плантации чайные кусты от колючек и прокапывал междурядья. Бригадир, один из немногих, кого еще не сменили при новом председателе, поглядывая на него, отчего-то виновато хвалил: «Ну и сноровистый ты парень, разрази меня гром!» В тот день Ешсоу устал больше обычного. Все-таки нелегко было втягиваться в работу после зимней передышки, и потому изменил обычной своей привычке – отправился домой не лесом, а по проселку – так ближе. До дома было рукой подать, когда из-за поворота выкатил ему навстречу «газик». За рулем сидел не председатель, нет, шофер. Новый председатель сразу вспомнил, что к машине и водитель полагается. Раз так, с какой стати экономить не свои, колхозные деньги? Рядом с водителем устроился Мехал. Ешсоу некуда было свернуть. Не перемахивать же через чужую изгородь, да и на голом участке – кукуруза еще даже не засеяна – куда денешься? Оставалось надеяться: Мехал проедет мимо. Не тут-то было! Машина затормозила, и председатель, приоткрыв дверцу, окликнул:

– Иди-ка сюда, парень!

Он подошел и взгляда не отвел, хотя давалось это нелегко. У Мехала были, как у дочери, светло-карие, но не спокойные, а холодные, как застывший клей, глаза. Узкогубый рот причудливо изгибался, точно по нему, как по воде, постоянно проходила рябь, лоб сужался к вискам, а на узком подбородке – вмятина, точно оспинка. А вообще-то он выглядел моложе своих лет. Это все отмечали.

– Ну что? Насмотрелись друг на друга? – усмехнулся Мехал. – На кого ты стал похож? Что с твоим лицом?

– Уж такой уродился, – сказал Ешсоу.

– Еще и дерзишь! Оставили мы тебя без присмотра, вот что. В жизни себе не прощу... Хотя бы из уважения к памяти горемычного Шураха не должен был тебя без внимания оставлять.

Похоже, даже водителя передернуло от его слов. Во всяком случае, он сердито вмешался:

– Зачем мальчика на ногах держать? Он целый день работал, не фасоль лущил.

– Так уступи свое место, он и сядет, – тихо посоветовал ему Мехал.

– Я бы уступил, да как бы он не побрезговал! – сказал водитель.

Мехал некоторое время горестно смотрел на него сбоку, потом заметил с горечью:

– Ты спешишь уехать, а не подумаешь: мы не позаботимся о мальчике, кто еще позаботится? – Мехал повернулся к Ешсоу: – По твоему лицу, будто волы копытами прошлись! Где тебя угораздило? Неровен час, с головорезами связался!

– Где у него время на головорезов? – не унимался водитель, местом, что ли, не дорожил?– Ему некогда даже с чистенькими нашими мальчиками водиться.

– При тебе и слова сказать нельзя! – упрекнул Мехал. – И то понятно: ты же у нас старше всех, и по работе, и вообще...

– Всегда найду, где баранку крутить! – напомнил водитель и рванул машину с места.

– Зайди, парень, ко мне. Нужен на два слова! – крикнул Мехал.

Но к председателю Ешсоу так и не зашел, предназначенных ему слов не услышал.

На исходе весны, когда уже отсеялись, а на чайной плантации наступила передышка – ждали, когда побеги вновь подрастут, – он взял и повез Плаксу в небольшой районный центр, который в ту пору казался братьям значительным городом, достойным огромного моря, не стыдящегося омывать его ноги. Конечно, он повел Плаксу на пляж. Он ведь для того и привез его. До той поры Плаксе не приходилось купаться в море, хотя несколько раз уже приезжал с Ешсоу сюда, но большей частью зимой, когда свободного времени хватает. Городские пацаны с хихиканьем указывали друг другу на черные брюки Плаксы, на его туфли на резиновой подошве, на сорочку с длинными рукавами, сшитую теткой. Но Плакса ничего этого не заметил. Он видел только море.

– Где оно кончается? – допытывался он, приближаясь с опаской к воде. Войдя по щиколотку, он ухватился за Ешсоу, держал его цепко, и тут же, осмелев, потянул брата за руку, горя нетерпением скорее окунуться с головой. Похоже, он не прочь был выяснить, как далеко простирается море, правда, непременно держась за жесткую ладонь брата. Ешсоу приходилось оттаскивать Плаксу на мелководье, пугая волнами и глубиной, а тот твердил свое: «Ну, дай руку, пойдем туда, вон к тем мальчикам», – указывал на мальчишек, резвившихся, как молодые дельфины, метрах в пятнадцати от берега. Плакса верил, что он вместе с братом может соперничать и с ними, выросшими у моря, научившимися плавать раньше, чем ходить. Он, наверное, и до вечера не вылезал бы из воды, если бы Ешсоу не пообещал ему купить мороженого. Только таким образом удалось выманить брата на берег.

С каким нетерпеливым ожиданием радости смотрел Плакса на продавщицу мороженого, которая неспешно вынимала из бумажного свертка свежо хрустящие, точно на-

крахмаленные, поджаристые вафельные стаканчики! Мороженщица открыла – все так же неторопливо! – длинный ящик на колесах – прохладой тотчас дохнуло из него! – сняла крышку алюминиевого цилиндра. Длинной, тоже алюминиевой, ложкой она вынула не белое, нет, желтое, как топленое молоко, мороженое, наполнила стаканчики и поставила на синие, обшарпанные, как в сельмаге, весы, чье грубое присутствие здесь казалось неуместным. Наконец, продавщица, улыбнувшись Плаксе: «До чего красивый мальчик!» – протянула стаканчик, и он принял, робея. Ешсоу, ободряя, положил руку брату на плечо, хотя и сам отчего-то почувствовал себя неловко под взглядом продавщицы. Расплатившись, он взял и свое лакомство, но не стал набрасываться на него, как Плакса. Братья, перейдя улицу, вошли в чахлый парк – даже они нашли его неухоженным – отыскали в глубине скамейку и там, в тишине, в полной мере насладились лакомством. Плакса заявил:

– Вырасту – каждый день буду есть мороженое.

Мечту эту, он, кажется, осуществил... В парке Ешсоу все собирался с духом, чтобы попросить брата передать в школе записку Манане, но так и не решился. И все потому, что казалось недопустимым в такой редкий для Плаксы день просить его о чем-то, будто платы требуя. Напрасно он всегда боялся этого: чтобы брат не почувствовал себя обязанным. Целую неделю еще тянул с просьбой Ешсоу. Дождался, что и у старшеклассников начались каникулы. Наконец все-таки решился, поручил брату отыскать Манану и передать записку. У Плаксы лукаво заблестели глаза.

– Тайно передам, – важно сказал он. – А если кто заметит, я съем записку!

– Зачем? – рассмеялся Ешсоу.

– Чтобы секрета не выдать. Им!

И, не разъяснив, кому им, убежал. Как потом выяснилось, записку он передал с великими предосторожностями – он и до сих пор умеет любое поручение обращать в забаву для себя. И не только в забаву: тогда он выпросил у Мананы

новый красный карандаш под предлогом, что ему – вестнику радости! – полагается награда.

Манана пришла к ручью, как просил Ешсоу, и, смеясь, сообщила о проделках Плаксы, будто за тем только и явилась.

– Не мальчик, чертенок ловкий! – сказала она. – В школе все по нему с ума сходят...

Она держалась так, будто невдомек ей было, что произошло между Ешсоу и ее братом. Поначалу он и поверил: невдомек.

– Давно не виделись.

– Я же болела, и столько времени на школу уходит. И ты всегда занят.

– И все дела?

– Ну и траве надо было дать подрасти, а то мы всю ее вытоптали!

Она прыснула, довольная своей шуткой, уселась на берегу, свесив по давней своей привычке ноги к воде, сказала:

– Какой сегодня теплый день, даже жаркий.

Он не ответил, бродил вокруг Мананы, тряс куцые деревца ольхи, будто надеялся, что вместо бесполезных ольховых сережек посыплются с них невиданные диковинные плоды, подбирал сухие хворостинки, ломал и бросал в речку, неотрывно следя за тем, как их уносит вода.

– Ну что ты ходишь, сядь посиди.

Ешсоу отшвырнул надломленную хворостину, одним махом опустился рядом с Мананой, плечом коснулся ее плеча, но она не отодвинулась, а теснее прижалась к нему. Распущенные ее волосы были стянуты на макушке желтой тесьмой. Пышные концы волос цвета густого меда спускались ниже лопаток. Лицо у нее было незагорелое, и вся она – с розовыми губами, высоким лбом, неяркими щеками – казалась такой чистенькой, что боязно было этой чистоты.

– Видал вблизи дельфинов? – вдруг спросила она.

– На нашей ферме их не держат, – неуклюже пошутил он, не понимая, к чему она клонит.

– Оказывается, даже они умеют целоваться. По-своему, конечно. Вот так вот...

Манана повернулась к нему и потерлась носом о его нос. Внезапно разозлившись – а может, попросту смутился? – он откинул голову, отстранился. Но показалось: глаза Мананы наполнились слезами, а плачущей он раньше никогда ее не видел. Нерешительно, ничего, кроме неловкости, не ощущая, Ешсоу ткнулся губами в прохладу ее щеки, раз, другой... Она ответно мягко поцеловала его в угол рта. Слезы покатились по ее щекам.

Он ребром ладони осторожно смахивал ее слезы, чувствуя себя вконец оглушенным.

– Сама не знаю, почему плачу, – сказала Манана, улыбнувшись сквозь слезы.

Он и сам был готов заплакать, хотя тоже не сумел бы объяснить почему.

– По-моему, я на сто лет старше тебя, – сказала Манана.

– Всего лишь на сто?

– Мало разве?

Он засмеялся, следом улыбнулась Манана. Она повеселела, точно освежилась слезами, разговорилась вовсю. Запомнилось: она каждое утро, просыпаясь, заклинает невесть кого: «Пусть сегодня случится что-нибудь...» Похоже, ей было безразлично, что именно – хорошее, плохое – лишь бы это взбудоражило всех вокруг и ее саму, чтобы все дивились, как же могло такое произойти, чтобы женщины вцеплялись ногтями в щеки: «О-ди-ди, что я слышу!», чтобы мужчины сдвигались в тесный круг, точно отгораживаясь от события. Но чтобы оно было такое, от которого не отгородишься... Прощаясь, она сказала – ему показалось, не без удовольствия:

– Дома узнают, что я здесь была – убьют!

И убежала. Он понял: Манане известно обо всем. И даже тогда – а может, это он додумал позже? – решил: это вовсе не тревожит ее, даже нравится. Может, больше всего запрет и нравится.

Тем летом он делил свою привязанность между Мананой и Плаксой. И многое спускал брату, наверное, из-за того, что

Манана неустанно расхваливала мальчишку, мол, и красивый, и смышленый. Однажды даже сказала:

– Рада что у меня такой братик будет. – И добавила ставшее привычным: – После школы.

При каждой встрече то он, то она начинали разговор со слов: «после школы...» Будто после школы поджидала их совсем иная, пока еще не тронутая, точно целина, жизнь, в которую какое не уронишь зерно – непременно даст добрые всходы.

Сразу после окончания школы они собирались пожениться.

– И все – наше! – сказала Манана. – Я – полная хозяйка, ты – полный хозяин. И никаких советчиков!

Но еще целый год оставался до этого. А в конце августа следом за сестрой на встречу пришел ее брат-студент. По тому, как он, подбоченившись, без всякого удивления рассматривал застигнутых врасплох, их свидания тайны для него не составляли. Похоже, это больше всего расстроило, нет, даже разочаровало Манану. Она подскочила к брату.

– Ты знал, да, знал?

Он пожал плечами.

– А дома никому не скажешь, правда?

– Вроде им невдомек, какую дурь ты вбила себе в голову, – с усмешкой сказал брат. – Только играй, да не заигрывайся, ты уже не ребенок. Иди домой. А я еще потолкую с этим парнем, со... скороспелкой.

Манана стояла спиной к Ешсоу, ни разу к нему не обернулась, будто его вовсе здесь не было. Он не знал, какое у нее сейчас выражение лица, но в голосе испуга не слышалось, смущения тоже, вроде она вовсе не считалась со старшим братом, вроде ей было безразлично – гневается он или нет, вроде все, что происходило, не имело для нее существенного значения.

– Пошли вместе, – позвала она брата.

– И одна не заблудишься!

Манана, ни разу и не оглянувшись, пошла прочь скорым шагом. Ее зеленое в желтый цветочек платье мелькнуло меж кустов, сливаясь с их зеленью, и вскоре скрылось совсем.

– Хоть теперь, может быть, откроются у тебя глаза, – проговорил студент небрежно. – Моей сестре еще впору в куклы играть.

Смотрел он сейчас вроде бы дружелюбно. Не угроза слышалась в его голосе, что-то другое... С чего это он переменился? Прикинул и разобрался – смешно всерьез относиться к пустячному делу? Камешек на проселке ногой отшвыривают, не трактором волокут. Или понял: тыча человека лицом в грязь, глаза ему не откроешь, А ему надо было открыть глаза? Зачем? Чтобы больнее сделать?

– Мы с ней ровесники, – сказал Ешсоу.

– Но в вашем роду все еще в люльке бороды отращивают, что же касается моей сестры...

– Она мне слово дала, – перебил его Ешсоу.

– Ее слово ничего не значит. Даже суд, как известно, показания соплячек в расчет не берет.

– Она дала мне слово!

– По слухам, в вашей семье упрямство всем заменяло ум.

– Не трогай мою семью!

– А ты в родичи не набивайся, сиротка!

– Твоя сестра сама... – начал было Ешсоу, но студент не дал ему договорить:

– Слышал, слышал, слово дала. Так построй из него дом. Дом счастья!

– И построю!

– Надейся! Уж это на твое усмотрение.

С усмешкой оборвав разговор, брат Мананы повернулся к Ешсоу спиной. Удалялся он неторопливо, останавливаясь перед деревьями, запрокидывая к кронам голову, при этом он насвистывал что-то веселое, ни дать ни взять – приезжий зевака. Глядя ему вслед, Ешсоу подумал, что теперь он должен непременно жениться на Манане, вопреки всему! Он

испытал странное разочарование, словно это не было самым большим его желанием.

Он потом еще целый год встречался с Мананой, не так часто, как хотелось бы, но встречался. А потом они закончили среднюю школу, она – дневную, он – вечернюю. И сразу же девушка уехала в город, месяц гостила у тетки, еще полмесяца держала экзамены в пединститут и ненадолго вернулась домой уже студенткой. И сама, первая, легко произнесла:

– Помнишь, как мы говорили: «Вот после школы...» Но подождем еще год, мне первый курс закрыть хотя бы... И куда нам торопиться?

– И, правда, куда? – сказал он и ушел не попрощавшись.

До отъезда в институт Манана ухитрилась помириться с ним. Но чувство потери у него не прошло.

Ешсоу по наущению Серны и при поддержке ее родича поступил на водительские курсы. Теперь он ежедневно отмахивал тринадцать километров пешком до центральной трассы, затем на попутных машинах добирался до города, в котором обучался нехитрому, на его взгляд, ремеслу, тайны которого он, как ему казалось, и без того давно вызнал. Но, похоже, без подтверждающего документа знания сами по себе не представляли большой ценности. Впрочем, он не был уверен, что и подтвержденные документом они что-либо значат. В ту пору Ешсоу так исхудал, что люди стали подозревать, что он неизлечимо болен. Однажды даже родня отца, будто очнувшись от долгой дремоты, заявилась в дом, встревоженная дошедшими до нее слухами о недомоганиях племянника. При этом родичи смотрели зорко, но не на племянника, а по сторонам, и, обнаружив, что дом и двор содержатся в порядке, а на сарай даже новая крыша настелена, заключили, что парень не так уж и плох. Что же касается худобы, в юности редко кто набирает вес. Пройдет время – и племянник нагуляет жирок, вроде бычка, выкормленного на горных пастбищах. Радостно заржав над своей шуткой, они отдали дань столу, накрытому Серной при деятельной

помощи Плаксы и бестолковых советах тетки, и довольные, сытые, отправились восвояси.

– Не остались ночевать, и на том спасибо, – сказала Серна, проводив их.

– Опять побеспокоили тебя, – проговорил Ешсоу. – Как гости к нам – тебя на помощь кличем.

– Этим и живу, – вырвалось у нее.

И оба, смутившись, поспешно перевели разговор на другое, и Ешсоу не сказал ей, как намеревался: «Введем в дом молодую хозяйку, тебе легче станет».

Так шло время. Ешсоу получил права водителя. Манана благополучно перешла на второй курс, но и этого ей показалось недостаточно, чтобы рискнуть выйти замуж. В ту пору колхоз приобрел несколько новых грузовиков, только для Ешсоу работы не нашлось. Видимо, председатель не хотел рисковать, приглашая на работу новичка, когда и опытных водителей, по словам Мехала, девать было некуда. Тем не менее, одного такого опытного пришлось переманивать из какой-то городской организации, и водитель, внезапно преисполнившись уважением к себе, потребовал для себя участок, на котором собирались построить дом врачу, и ни на что другое не соглашался. Пришлось уступить. Потом, ясное дело, понадобились стройматериалы, понятно, лучшие из лучших, потом еще что-то. Председатель ублажал привередливого водителя, словно человека редкой специальности, которого днем с огнем не сыщишь. «Председатель для него и жены своей не пожалеет!» – веселились остряки.

Серна же все приставала к Ешсоу:

– Перебирайся в Сухум, я помогу с работой.

Однажды он не выдержал, упрекнул в сердцах:

– Гонишь из дому?

– Отчий дом от тебя никуда не денется. А там определишься, себя покажешь.

– И здесь найдется, чем заняться. Не бежать надо, хозяйку в дом приводить.

– Этому не бывать! – вырвалось у Серны.

Она стояла у открытой двери, прислонившись к косяку, и смотрела на двух старух – свою мать и тетку отца Ешсоу, сидевших в тени яблони, такой же дряхлой, как они сами, но все еще плодоносящей. Одна непрерывно судачила, другая процеживала через свою невозмутимость самые необходимые сведения.

– Я бы и сама уехала, – с силой сказала Серна, – не будь этих старух.

Но его занимало сказанное до того.

– Почему этому не бывать? Проклятье на моем доме? Люди гнушаются его своим назвать?

– Люди, – стоя к нему спиной, хмыкнула Серна. – Люди... Знаю я ее! Но даже при ее согласии ты-то как можешь?

– Она ничем не запятнала свое имя! – жестко сказал Ешсоу. – На нее никто не посмеет возводить поклеп, как... на других...

Чужая немолодая женщина, невесть почему считавшая себя вправе поучать, хотя на ее месте не каждая решилась бы даже перешагивать порог этого дома, вобрала голову в плечи, будто в ожидании удара.

– Что ж, ты прав, парень! Защищай свое счастье, пусть даже тень от счастья – защищай!

Сказала и шагнула за порог. Он видел, как она медленно вошла под яблоню, заговорила со старушками, приложила руку ко лбу, пожаловалась, видно, на головную боль и побрела к воротам. Ешсоу подумалось: когда не станет ее видно, она кинется бежать, чтобы скорее, не расплескав, точно драгоценную жидкость, донести слезы до узкой комнаты со щелястыми стенами, броситься лицом на взбитые подушки и выплакаться без помех. Хотя, возможно, на самом донышке сердца будет теплиться надежда: нежданно-негаданно придет некто, кому под силу осушить слезы, обжигающие отчаявшееся лицо. Примчаться бы огородами к дому, опередить, встретить у ворот, сказать: «Сдуру я не то ляпнул, Серна». Но он не двинулся с места. И дал себе твердое слово в ближайшее время внести ясность в свои отношения с Мананой.

Внести ясность, означало жениться. Приняв решение, он почувствовал себя как бы наполовину отомщенным. Одно было непонятно: кому он мстил и за что? С таким же злорадным чувством – «нате, получайте!» – он с Плаксой отправил Манане записку и спустился к ручью. Томился ожиданием долго, но, в конце концов, Манана пришла и спросила вроде с тревогой, а беспечность проглядывала в каждом ее жесте:

– Что случилось, Ешсоу? Знаешь, Жорик говорит...

Она так именовала Плаксу: Жорик! Он перебил:

– Ты дала мне слово, помнишь?

– С тобой не забудешь! – проговорила она как бы досадливо, но, вглядевшись в него, добавила: – Шучу я! Шуток не понимаешь?

– В субботу увезу! Решено! Не откладывая даже на день.

Тут она, кажется, и впрямь встревожилась, наморщила гладкий лоб, задумалась, напомнила, видно, просто так, для очистки совести:

– Я же только первый курс закончила, Ешсоу. Мне учиться и учиться.

– Доучишься на заочном!

– Знаем мы, как учатся на заочном! – заносчиво сказала она.

– И получше нас с тобой учатся! – возразил Ешсоу.

– Ладно, это мои заботы! – она усмехнулась. – Сама в них разберусь!

Ешсоу смотрел на нее во все глаза, будто только что обнаружил: от девчонки с ровным – или затаенным? – характером и осторожными повадками, с которой он когда-то учился в одном классе, осталось немногое. Тишина обособленного детства была разбита, как первый ледок, крепкими ступнями юности. Но и такая она ему нравилась. Всякая нравилась...

– Значит, решено, ты согласна?

– Сам ведь говоришь: слово дала!

Держалась Манана так, будто они вдвоем решили созорничать и ошеломить всех вокруг.

– Твои дома... – проговорил он, будто непреложным его долгом было указать, где можно пробить брешь в ее неуязвимости.

– О моих не думай!

Ее беспечность не пришлась ему по душе. Тревожила и внезапная уступчивость Мананы. А разве было бы лучше, если бы она стала придумывать сотни отговорок, вынуждая Ешсоу отметать ее возражения с решительностью лесоруба, отсекающего от ствола ветки? Манана же помедлила немного и оживленно стала строить планы по осуществлению задуманного. В субботу они встретятся поздним вечером – «пусть мои уснут покрепче!» – неподалеку от ее дома! «Иначе я с ума сойду, темноты боюсь». – «Разве ты подружки не возьмешь?» – «Возьму, но все равно боюсь!» Она попросила, чтобы Ешсоу пригласил дружков посимпатичнее, чтобы ее подружке было не скучно. Еще она пожелала:

– Увези меня далеко! И чтобы мои не сразу догадались, где ты меня спрятал. Пусть поломают головы. Это им на пользу.

Слова Мананы задели его. Не в прятки же она собиралась играть! Но вслух он только сказал:

– Далеко так далеко. Поедем к родне моей матери. К троюродному ее брату. У самых гор он живет.

– А утром с медведями поздороваемся! – засмеялась она.

Так весело и расстались, уговорившись до субботы больше не видеться. «Иначе мои заподозрят неладное, и нам придется туго!»

Ешсоу не решался довериться никому из приятелей, будто, приоткрыв дверцу тайны, как бы подставлял под удар свое счастье. Но другого выхода не было. Нельзя же в одиночку, без свидетелей, отправляться за невестой, как бы тайно она ни выходила замуж. И машина была нужна, не пешком же вести девушку в горы. После долгих колебаний выбор Ешсоу пал на Арсена. Тот был старше на несколько лет, уже отслужил в армии, и не раз был боярином у приятелей. К тому же он мог одолжить у своего дяди машину.

– Увезем с ветерком! – оживился Арсен, когда Ешсоу косноязычно изложил свою просьбу, хотя, как показалось, удивился, услышав имя невесты. – Кого еще позовем? Может, Темыра Ранба? Он у нас краснобай, да и парень видный.

– Согласен.

Ешсоу расстался с Арсеном с таким чувством любви и признательности, будто лупоглазый этот парень, вспыльчивый упрямец, был для него роднее родного брата. Ночью, лежа без сна, Ешсоу корил себя, что мало выбирается с приятелями, с тем же Арсеном, в город. Он только работу знает. Куда ему, конечно, тягаться со сверстниками, за чьими спинами – крепкие отцы. Но нельзя же и вовсе отбиваться от друзей и стоять, будто в рот воды набрав, когда приятели, пересмеиваясь с видом посвященных, делятся впечатлениями о своих частых вылазках в город. Какие, оказывается, легкие победы – «моргнул, позвал» – ожидают парней на набережной в курортный сезон. И до чего по-разному варят кофе в многочисленных кофейнях: «Главное – каймак! Без каймака кофе – не кофе, пойло!» Со знанием дела обсуждали приятели и кинофильмы, увиденные в городе – в деревенский клуб когда еще их завезут! – или футбольные матчи – тут уж все специалисты. А некоторые, большей частью студенты, разбирали по косточкам исполнение модных мелодии эстрадными оркестрами. Слушая их, Ешсоу насмешливо думал: «Будь на месте оркестрантов кони, такие въедливые парни целый косяк, верно, забраковали бы». Но насмешничай – не насмешничай, правду не объедешь: многое связывало приятелей Ешсоу, многое, что проплывало мимо него самого, как коряги, сносимые в половодье рекой. Теперь он переиначит все. Станет с багром против течения и выловит все, что приглянется. Будет о чем с друзьями поговорить, которых станет часто сзывать. Уж молодая хозяйка сумеет оказать им должное внимание. Арсен же – ведь он первым впустил его в тайну – будет самым дорогим, самым желанным гостем.

В субботу тот самый Арсен, которого он желал видеть в доме частым гостем, поздним утром подъехал к воротам на

красном «Москвиче», выпрошенном, должно быть, у дяди, чтобы другу было на чем увезти невесту. Он длинно посигналил. Ешсоу заторопился к нему, крикнул, еще не дойдя до ворот:

– Заезжай во двор!

Но Арсен не принял приглашения, сидел за рулем, нахохлившись. А когда Ешсоу подошел и, со смущенной улыбкой открыв дверцу, сел рядом, точно примериваясь к машине, приятель, не глядя на него, с отчужденностью горевестника сообщил то, что ему самому стало известно часом раньше: Манана вышла замуж. За своего сокурсника, городского парня. Приехали поздним вечером и увезли. Как было условлено. Родичи невесты знали о предстоящем, потому-то с наступлением сумерек завалились спать, храпели, должно быть, на весь дом, не мешая дочери собираться. Она вроде тайком выходила замуж. Что, впрочем, не помешало ее родне вызнать всю подноготную жениха. Судя по крепкому сну, полученные сведения их устроили. Мехал, наконец, продрав глаза, говорят, несказанно удивился, что дочери уже и след простыл. Между тем соседи глаз сомкнуть не могли из-за шума, поднятого свадебным кортежем. Сопляки какие-то, наверное, приехали, потому так носились на машинах по проселку, озорничая, а может, и насмехаясь над спектаклем, устроенным деревенской невестой. Заполучив в головную машину Манану и ее сокурсницу, подружку, тоже городскую девушку, она нарочно за день приехала к невесте будто бы в гости, те, кто были за рулем, нажали изо всех сил на сигналы. Такой тарарам подняли, мертвого разбудили бы. Мертвого, но не Мехала.

– Лисья порода, мать их за ногу! – выругался напоследок Арсен.

Ярости своей он не скрывал. Ешсоу понимал: ярость и помешает приятелю соблюсти тайну. Будет возмущаться недостойным поведением Мананы, осуждать вероломство ее родичей и мало ли что еще. И все вслух!

Ешсоу вышел из машины: «Извини, Арсен, побеспокоил тебя» – и повернул к дому.

– Понадоблюсь еще, позови, буду рад...

Сказано было чистосердечно, но Ешсоу почудилась насмешка. Что еще в его положении могло почудиться? Он шел по двору, прилагая неимоверные усилия, чтобы не думать о новости. Поднявшись на крыльцо, остановился. Ой-ди-ди, скажут женщины, один по ней убивался, срок ему назначила, другой увез. Усмехнутся мужчины: такие, как она, в девках не засиживаются. Вертихвостка десяток мужчин обнадежила, да лучшего выбрала. Остальные пусть головы расшибут. Разговоров хватит надолго.

Все, как она хотела. Все!

Ешсоу медленно вошел в комнату, сел за стол, уставился взглядом в окно, ничего за ним не видя, точно оно было занавешено темной тканью. «Не знать мне худшей беды! – сказал он себе. – Не знать!» Но, что именовать худшей бедой, трудно было себе представить.

Ешсоу услышал чьи-то шаги и сразу догадался: Серна. Больше было некому. До тетки когда еще дойдет, да и дойдет ли вообще; «Дочь Мехала вышла замуж? Значит, время приспело!» А Плакса? Он все легко пропускает через себя, как сито с крупными ячейками. Да и какой спрос с него? Еще не хватало искать опоры у мальчишки, который сам в опоре нуждается, и не один еще год будет нуждаться. Оставалась Серна. Из близких. Самих близких.

Он разомкнул плотно сжатые губы, чтобы сказать:

– Радуйся! Все получилось по-твоему!

– И порадуюсь! – сказала она за спиной голосом беды. – Наконец-то она оставила тебя в покое.

– В покое?

Он рывком повернулся к ней. Серна стояла, прижавшись спиной к стене. Бледное худое лицо ее показалось отлитым из металла – холодного, прочного.

– Она тебя не стоила!

– Не стоила?

– Женившись на дочери Мехала, ты не отмыл бы его рук, нет!

– Не отмыл бы?

– Думаешь, прощая убийц, можно им отомстить?

– Замолчи! – крикнул он что было мочи. – Не смей сваливать на других вину. Если бы не ты, если бы...

Она замолчала мгновенно, но не уходила, стояла, смотрела без гнева, обиды, с одной только жалостью. И он с ужасом подумал: до чего просто обижать тех, кто заведомо нас прощает.

– Уезжай в Сухум, – сказала, борясь со слезами. – Прошу...

– Мозолю тебе глаза?

– Говори что хочешь, только уезжай.

Много времени спустя Ешсоу понял: Серна, отсылая его, надеялась сберечь. От Мехала. Будто на Мехале свет клином сошелся. Будто такие мехалы не встречались повсюду. Похлеще встречались. Будто это было правильно: учить мужчину бегать от судьбы. Но ведь и волчицы не рассуждают, унося в зубах детенышей из норы, ставшей опасной. Он не был волчонком. Тем не менее, дал себя вытолкнуть из родной норы. Глупо винить сейчас в этом кого бы то ни было. И себя – глупо. Хотелось бы думать: с тех пор не приходилось спасаться бегством. От мнимых бед. И настоящих. Хотелось бы надеяться, что отношение к младшему брату, неспособность по-настоящему разгневаться на него – хотя бы сейчас! – не замешены на давнем чувстве вины: «Бросил ребенка под присмотром старой тетки, которая и сама уже нуждалась в присмотре». Бросил... Через день бывал же дома. День – за рулем, ночь в общежитии, и спозаранок отправлялся в дорогу домой, к вечеру – назад, в город. И так изо дня в день – не месяц, не два, годами. «Тебе хорошо, – негодовал Плакса, – в городе живешь, когда хочешь – кино смотришь, когда хочешь – мороженое кушаешь». И смотрел сурово. Стоило, однако, посулить: «Давай и тебя заберу в город!» – мигом прощение заслужил бы. Да только куда бы он пацана при-

строил? Не в общежитие ведь! Комнату на свои заработки снять он не мог. И старуху одну не оставишь. Да и невозможно было представить себе заколоченными двери отчего дома. Это при двоих-то сыновьях! Однажды Мехал остановил машину у ворот и посигналил.

– А-а, городской наш парень... Как ты здесь очутился?

Брови удивленно вскинулись, будто не знал Мехал наверняка, что Ешсоу сегодня дома.

– Где мне еще быть, как не на отчем дворе?

– Откуда я знаю, раз ты нас бросил, в город сбежал? Не ожидал я такого от сына Шураха. Неужели здесь не нашлось бы баранки, которую ты мог бы крутить?

– Не мне говорить вам, что не нашлось!

Брови опять вздернулись, не понимаю, мол, о чем ты.

– Покрутился бы возле нас, попросил бы хорошенько...

Ешсоу молча повернул к дому.

– Подожди, шуток уже не понимаешь? Я по делу!

– Вызовите на правление и выложите свое дело! – не оборачиваясь, кинул Ешсоу.

– Эй, парень не заносись! Только зацепился в Сухуме – и думаешь, орлом воспарил?

«Пусть я сдохну, если он не прав! – идя скорым шагом к дому, думал Ешсоу. – Сам дал ему право такое говорить. Сам слабину показал! Раз закроешь глаза на одно, на другое, себя пожалеешь – и зачем тогда обижаться, если люди спрашивают: “Слушай, парень, а когда ты прозрел? ”»

Потом узнал Ешсоу – мир, как известно, не без добрых людей! – председатель надумал им приусадебный участок урезать, раз, мол, трудоспособный парень – старший в доме! – в город подался. Но вмешался председатель сельсовета и, говорят, кое-что растолковал Мехалу за закрытой дверью и вмиг его утихомирил. Мехал как огня боялся председателя сельсовета, а ведь от того никто резкого слова не слышал. Просто председателя сельсовета не на чем было подловить, хотя, как уверяют некоторые, любого человека на чем-то, да можно поймать. Не любого, нет... Ешсоу временами с удив-

лением думал о том, что почти не помнит председателя сельсовета, давно уже умершего. А ведь он еще с отцом работал. И отец ладил с ним. А Ешсоу вот забыл. Подробностей же о Мехале и его семье он помнит столько, что не грех многое выкинуть из памяти, как ненужную ветошь, да не выходит. Ешсоу даже помнит, как умел смотреть Мехал – не на всех и не всегда, разумеется – обмахнет взглядом, точно веником, и униженным себя почувствуешь, и никчемным. «Попросил бы хорошенько...» – сказал тогда Мехал. Проще было мотаться без устали меж городом и отчим домом, умасливая Плаксу маленькими – на большие денег не хватало – подарками...

В тот летний день Ешсоу приехал домой позже обычного. Накануне так вымотался на работе – жара, и переполненный, как случается в разгар летнего сезона, автобус – что, добравшись до своей койки в общежитии, уснул крепко-накрепко, даже не слышал, как ребята в шесть утра собирались на работу. Плакса ждал брата с утренним рейсом, и когда тот не приехал, отправился с приятелем купаться на реку. «Наверное, решил: не приедешь уже» – сказала тетка, будто Ешсоу пропускал хоть один свободный день. Карман оттопыривал подарок брату – электрический фонарик – и Ешсоу, махнув рукой на ожидавшие его хозяйственные дела, отправился на реку. И вовремя! Как несся тот мальчишка – совсем еще пацан лет семи-восьми – оглашая пустую дорогу меж кукурузных полей воплями:

– Утопил! Жора Муртаза утопил! Утопи-и-и-л!

Налетев на Ешсоу, он выкрикнул, задрав к нему пунцовое лицо с совершенно безумными глазами:

– Утопил! – и сполз на землю, будто показывая, как утопленник пошел ко дну.

Ешсоу не помнил, как проскочил примыкавший к берегу луг, как с берега, ни в чем толком не разобравшись, сиганул в воду и тут – он это помнил отчетливо! – мощно, точно струя воды, под напором вырвавшаяся на волю, толкнулась в нем радость: он увидел обоих мальчиков, пускали, правда,

пузыри, но еще были на поверхности, выходит: вынырнул Муртаз, вынырнул! Плакса был ближе, но рванулся Ешсоу к другому. К Муртазу. Подхватил! Мальчика бил озноб, зуб на зуб не попадал. Он пытался вытолкнуть из себя: «Нет! Нет!» – а что «нет», поди, угадай. Оставив мальчика на берегу, Ешсоу кинулся к Плаксе, переполненный благодарностью, что братишка еще держится на воде. Маленький отважный мужчина!

Наконец все оказались на берегу, и на тревожные вопросы Ешсоу – «А, может, был еще кто с вами?» – ребята дружно, хотя и не глядя друг на друга, буркнули, что больше не было никого. Они сидели спинами друг к другу на самом солнцепеке и никак не могли согреться. Ешсоу скинул с себя одежду и, оставшись в одних трусах, выжал сорочку и брюки, попутно перебросив фонарик из своего кармана Плаксе. Брат мельком глянул на фонарь и положил возле себя, не обнаруживая ни радости, ни благодарности.

Пацан, тот самый, который, по сути, спас ребят – не будь его воплей, кто знает, как все обернулось бы – теперь нерешительно приблизился и остановился в стороне, глядя голодными глазами волчонка, невесть почему изгнанного из стаи.

– Скажите парню спасибо, это он рванул за помощью, – велел Ешсоу брату и его дружку, но они промолчали. – Кто он такой, что-то я не узнал?

– Внук мельника Ростома, – сказал Муртаз. – Ему давно домой пора, мать кричала, чтобы шел.

– Подойди сюда, внук Ростома, – шутливо окликнул Ешсоу, и, видя, что мальчик будто бы прирос к месту, сам к нему подошел, припомнил – а впрочем, должно быть, и ни минуты не забывал, раз первым к Муртазу кинулся, – как мальчик кричал: «Утопил!»

– Я вот что хотел у тебя спросить, – начал Ешсоу, намереваясь окольными путями вызнать, не ставя мальчика в неловкое положение, что же здесь стряслось.

Мальчик глянул на него ясными глазами, из которых так скоро, точно парус за горизонтом, исчез ужас, и с порази-

тельной готовностью – неужто столь было велико доверие ко взрослому человеку? – рассказал обо всем. Оживившись, он даже в лицах стал показывать, все больше и больше возбуждаясь, ощущая себя, очевидно, участником великих событий. Оказалось, ребята повздорили еще на берегу. Из-за того вроде, что Муртаз решил: лучше выбрать другое место для купания, выше по реке, где быстрое течение, а здесь вода стоячая, еще от прошлого наводнения остался бочаг, главное течение, вон, по другому руслу идет. Здесь на дне много ила, грязи. Правда, глубоко, но Муртаз не глубины испугался. Да он даже морской глубины не боится. Он на море часто ездит с отцом и плавает с ним наперегонки. Сколько захочет. Ему просто стоячая вода не по нутру. А Жора сказал: «Что ты мне в глаза отцом тычешь?» Мальчик выбросил руку, показывая, как тычет.

– Давай начнем с того, что они уже в реке купались, – предложил Ешсоу.

– Они не купались. Жора Муртаза в воду столкнул. А сам следом прыгнул и заставлял его нырять. Муртаз вынырнет, а Жора – бац его по голове и под воду заталкивает. Вынырнет – заталкивает, вынырнет...

Энергичным жестом, точно бил по невидимому мячу – сверху вниз – мальчик показывал, как это происходило.

– Заткнись! – кинул ему со своего места Плакса.

Мальчик мгновенно замолчал, вспомнил: «меня домой зовут!» – и умчался.

Муртаз оделся, нерешительно попрощался, будто стыдясь чего – ему-то чего было стыдиться? – и двинул к дороге. Плакса не повернул в его сторону головы, сидел, обхватив колени худыми руками, и смотрел в сторону реки.

Ешсоу глянул на заросший затылок брата, на выпирающие позвонки и, решив отложить все поучения на потом, подошел к нему, положил руку на плечо, сказал:

– Идем домой. Умираю с голоду!

Брат дернул плечом, сбрасывая руку, и снизу вверх посмотрел с такой обидой, с такой мукой, что Ешсоу опешил:

– Ты Муртаза хватал. Первого! А я – тони, так? Мне – на дно! Тебе плевать? Утону, так только обрадуешься? Обрадуешься! – Он вскочил на ноги. – Будешь плясать. Так? Так! Аса-аа!

Он размахивал руками, перебирал ногами, точно нетерпеливый жеребенок, не сводя с брата глаз.

– Случись что с Муртазом, как бы ты... – начал было Ешсоу, и осекся, не решившись взвалить на мальчика непосильный груз: «как бы ты жил?»

Плакса нагнулся, схватил фонарик, размахнулся, намереваясь зашвырнуть в воду, но в последнее мгновенье ужаснулся, верно, необратимости поступка, и рванул вместе с фонариком мимо брата, через луг к дороге, что пылила меж кукурузными полями.

Ешсоу натянул на себя влажные еще вещи, подобрал сорочку и латаные брюки Плаксы и отправился домой...

Он и думать не думал, что Плакса надолго запомнит случившееся, но когда года два, а может, все три спустя Ешсоу в сердцах упрекнул: «Испытание водой прошел, огнем, чем еще порадуешь?» – брат бросил ему, полыхнув яростным взглядом – а ведь за мгновение до того смотрел виновато! – «Ты ведь тогда не очень торопился! Повозился бы еще с Муртазом, может, я и пошел бы ко дну. Сейчас за треклятый сарай не пришлось бы платить!»

Ешсоу и дал ему тычка в зубы:

– Не за сарай! За грязный твой язык!

Ешсоу пошел прочь, не разбирая дороги, со стыдом осознавая, что близок к тому, чтобы пустить слезу, вторгаясь в запретную для мужчин зону – в зону плача о не состоявшейся жизни. Будто кто-то обязан ее для тебя обустроить!

Сарай, надо сказать, был никудышный – деревянный, крытый почерневшей от времени замшелой дранкой; принадлежал старику Хмыцу. Он хранил в нем сено, кукурузную чалу и всякую рухлядь. Понятно, сарай подожгли не нарочно, но сгорел-то он из-за небрежности Плаксы и двух его приятелей, одним из которых был тот самый Муртаз, не-

смотря ни на что на всю жизнь оставшийся «стремянным» Плаксы, хотя «всадник» ничуть его в том не поощрял. Троица, осваивавшая нехитрое умение пускать дым из ноздрей и воображающая, что таким образом схватила бога за бороду, облюбовала сарай Хмыца из-за того, что постройка находилась не во дворе и даже не близ ограды, а в конце участка с кукурузой. Впрочем, во дворе старика имелся и новехонький сарай, сложенный из кирпича и крытый шифером. А тот сарай, видно, просто некому было разобрать на дрова. Вот Плакса с приятелями и присмотрели его, уж очень удобно он располагался. К тому же старик не держал злых собак. Дорогу к сараю, между прочим, ребятам показал никто иной, как внук Хмыца. Но в злополучный день внука не было дома, ездил с родителями в город, иначе, кто знает, может, старик так не разошелся бы.

Ешсоу не мог понять, чего Плакса повадился туда ходить. Он и дома мог бы накуриться до одурения и приятелей зазвать к себе. Ведь тетка все ему спускала с рук, а Ешсоу бывал дома только через день. Так или иначе, Плакса и его компания предпочли чужой сарай, и там кто-то из них бросил в сухие стебли кукурузы то ли непогашенную сигарету, то ли спичку. Случился пожар. Спасибо, хватило у ребят совести остаться. Они пытались загасить огонь, позвали на помощь. Но до воды было далеко, а просушенный на солнце сарай мгновенно занялся огнем. И сгорел дотла. Пока бушевал огонь, Хмыц, говорят, твердил ребятам: «С вами ничего не случилось, и хорошо. Вы целы, и ладно. Остальное пусть полыхает огнем вместе с нашими заботами!» Но прошло время, и старик заговорил по-другому. Сын, вернувшийся к вечеру из города, видать, надоумил, да и первая радость, что худшего не произошло, остыла, и стало казаться: случившееся тоже немалая беда. В конце концов, речь зашла о возмещении убытков. «О сарае – слова не скажу. Но как быть с кормом для скотины? Зиму-то надо пережить!» Родители виновников, посоветовавшись, решили заплатить старику за сарай или помочь его тощающей скотине – назовите, как

хотите. Отец Муртаза и родители другого парня хотели меж собой поделить расходы. Но Ешсоу этого не допустил. Не в деньгах было дело, хотя и деньги не ветром задувало в карман, в поте лица зарабатывал. Тем не менее, из других соображений – кому кроме него наставит мальчика? – попытался он потолковать с Плаксой, а получил вот такую вот отповедь.

Казалось Ешсоу: навсегда запомнит несправедливый упрек, не простит. Запомнить-то запомнил, а простил в тот же вечер, когда Плакса боком пробрался в комнату, неся в подоле сорочки что-то, и буркнув: «Держи, горячее», – сунул сумрачному брату печеный початок молочной кукурузы и выскочил вон, по-своему, считай, белый флаг выбросил, мира запросил. И у Ешсоу не хватило духу возвращаться к разговору о сожженном сарае и застарелых обидах. Только старался, чтобы Плакса, по возможности, был на глазах. Но это не всегда удавалось. Брата всегда окружали друзья. Тянулся он, по наблюдению Ешсоу, к тем, кто жил в городе или другом селе, будто сторонние, глянув на парня свежим взглядом, могли увидеть в нем нечто, скрытое от тех, с кем он рос. И на выпускном вечере – а хорош же был Плакса во всем новеньком, оживленный, подвижный – он обхаживал городских родичей своего одноклассника, счел возможным познакомить их со своим братом, сказал о нем как бы с укором: «Сбежал от нас в город, живет припеваючи!» – а смотрел с гордостью и, разумеется, промолчал о том, чем занимается в городе его брат, живущий припеваючи.

Плакса легко поступил – не растопил ли он сердца экзаменаторов обаянием и непосредственностью? – на технологический факультет субтропического института и любил намекать брату, что он мог бы взять приступом любой столичный вуз, да пожалел Ешсоу – оплата за проезд до места учебы – и та во сколько обходилась бы, уж не говоря о том, что некому стало бы по выходным помогать старшему по хозяйству.

– А чем тебе здесь плохо? – только и находил, что возразить Ешсоу. – Друзей вон сколько.

Народу вокруг Плаксы и впрямь толклось множество. И сейчас хороводятся. Правда, друзья частенько меняются. То у одних нет жизни без Плаксы: Жорик да Жорик, то у других. И девушкам брат морочит головы, не слишком заботясь даже о том, чтобы не сталкивать их друг с другом.

– Поосторожнее, – пытается остеречь Ешсоу. – Наживешь нам врагов. Вот родичи твоих вертихвосток прослышат...

Но Плакса со смешком перебивает его:

– Не суши об этом голову. До драчки дело не доведу.

И не доводит же! Самому Ешсоу всегда не хватало обаяния, легкости. Лямку жизни, очевидно, надо тянуть так, чтобы никто не замечал, что она натирает плечи, если и натирает... Вот и на работе к Ешсоу, как ему представляется, двойственное отношение. С одной стороны, вроде ценят, на собраниях не забывают упоминать его имя, квартиру вот дали хорошую, и за это не пришлось – Плакса до сих пор не верит! – никого подмазывать, взятку совать. С другой стороны, пренебрежительное вроде к нему отношение, точно к недоумку. Взять, к примеру, диспетчера Мексуда. Крутой мужик, беззастенчивый. Водителям и в голову не придет сунуть ему путевку без рубля в придачу. Ешсоу тоже поступал как все, не хотелось жадюгой прослыть, кусочником. Так вот Мексуд стал наотрез отказываться от денег Ешсоу, сердито возвращал мятые купюры, прямо насильно всучивал обратно.

– Ты спятил, парень? За кого меня принимаешь? Кто не знает – ты на трассе ничего не имеешь! Сам не имеешь – мне даешь! С зарплаты даешь? Я, по-твоему, грабитель – с зарплаты брать?

Мексуд, похоже, переговорил с парнями, что на мойку машины перегоняют, и те тоже перестали брать с Ешсоу мзду. Порешили, наверное, меж собой пожалеть человека, на чистой ведь зарплате сидит. Как тут не пожалеешь! От их жалости недолго и нищим себя почувствовать. Умом понимает Ешсоу: дико так к этому относиться, и все же…

Никогда не забудет, как однажды остановил его на трассе инспектор ГАИ. Молодой, между прочим, но, как говорится, из молодых да ранних, уже умевший напускать на себя начальственный вид, глядеть высокомерно – «с кем только ни приходится иметь дело!» Ешсоу сразу смекнул: инспектор ищет, к чему бы придраться. Он так долго, точно переводил с чужого языка ни свой, вчитывался в документы водителя, что пассажиры возроптали. Инспектор круто повернулся к ним спиной, показывая, что для них с лихвой хватит и тыльной его стороны, и все время переводил взгляд с документов на Ешсоу – туда – обратно! – словно каждую буковку требовалось сверить с лицом водителя. Взгляд его с каждым разом становился все тяжелее – «доведешь меня, пожалеешь!» Подмывало повиниться. Неважно в чем. И откупиться. Не новичком был Ешсоу на трассе, знал, что надо инспектору. И сколько в таких случаях дают, он тоже знал, и на какой срок оставит его инспектор в покое ведал. Тем не менее, Ешсоу стоял, заложив руки за спину, всем своим видом показывая, что готов до вечера так простоять. Без всякой пользы для кого бы то ни было. Инспектор удивленно наморщил гладкий лоб – пытался разобраться, что за бестолковый человек ему попался, простых вещей не понимает. Такой тупой? Но ведь он не первый день ездит по трассе, значит, учителя у него уже были. Так в чем тогда дело, разорви его бомба? И тут инспектора, судя по прояснившемуся лицу, догадка посетила. Он даже дернул рукой, видно, хотел хлопнуть себя по лбу: «Где моя голова!? Как мог забыть!» Загадка, похоже, разрешилась. Инспектор еще раз заглянул в документы, будто сверяясь с ответом, кивнул, мол, все сходится.

– Совсем вылетело из головы! – сказал он, возвращая документы. – Говорили же мне о тебе. Езжай, дорогой, езжай, сын Шураха, да гляди в оба. Наедешь случайно хоть на поросенка, где деньги возьмешь хозяевам рот заткнуть?

– У тебя займу! – по-мальчишески огрызнулся Ешсоу и скорым шагом пошел к машине, ощущая спиной презрительный взгляд инспектора.

В тот день всю дорогу – аж до конечной остановки в другом городе – Ешсоу тешил себя мыслью, что на обратном пути он сам остановится возле инспектора, ввяжется в разговор, скажет все, что он думает о таких прыщах на ровном месте. Может, к словам и оплеухи не пожалеет. И будь что будет. Но на обратном пути инспектора на месте не оказалось. Да и Ешсоу поостыл. О Плаксе подумал. И мало ли о чем еще. Затосковал было: «Сколько мне проклятую баранку крутить?», – но взял себя в руки. Плач по своей жизни – удел благополучных. Ему же надо было отчий дом держать, брата на ноги ставить. И была еще Нара. Правда, пока на расстоянии. Он сам боялся сократить расстояние. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Но ведь не до конца жизни. Надо уметь и забывать. И неслучайно первое, что он увидел в Наре – это доброта. Заикнись он об этом кому-нибудь из языкатых знакомцев, тотчас бы вытащили на свет божий затасканный анекдот о девушке-дурнушке: «Зато характер у нее хороший!» Впрочем, он ни с кем не собирался говорить о Наре. В такой тайне все держал, что мало кто до самого последнего часа, пока он не ввел Нару хозяйкой в дом, догадывался, к кому он торит дорогу. В деревне, ясно, позубоскалили: «Боялся, что и эта сбежит накануне, потому таился ото всех!» Такая уж памятливая деревня!

Осенью сыграли большую свадьбу. И на свадьбу – Ешсоу привык многому не удивляться, но этого не ожидал – пришла Манана, поднялась в комнату, где в белом одеянии, точно прося милосердия – или одаривая им? – стояла невеста, преподнесла подарок – хрустальную вазу, пожелала, как водится, долгой счастливой жизни и вышла, ведя за руку пятилетнюю дочь – черноглазую и тонконогую. Затем она отыскала с помощью Плаксы – «В какого красавца ты вымахал, Жорик!» – жениха, коротавшего время в орешнике вместе с несколькими приятелями. Ешсоу, следуя обычаю, старался в этот день не слишком мозолить глаза старшим по возрасту, хотя среди близких, кроме престарелой тетки, некого было порадовать приличествующей жениху скромностью.

Не веря своим глазам – а ноги уже повели из круга друзей! – он выступил вперед, точно мишенью себя подставляя, и глянул на Плаксу с ожиданием. Впрочем, он сам не знал, что ему надо от брата. Плакса улыбнулся насмешливо понимающе – «Какие такие заботы, раз я здесь?!» – и присоединился к друзьям Ешсоу, шумно ему обрадовавшимся, будто год не виделись. В орешнике стараниями Плаксы был организовано пиршество – вынесли туда стол, заставили всякой снедью. В конце концов, не голодать же дружкам жениха, из-за того, что тот не хочет ни на йоту отступать от дикарских традиций предков. И сейчас завидев Плаксу друзья Ешсоу загудели, «а когда мы здесь выпьем на твоей свадьбе?». «На своей свадьбе я во главе стола буду сидеть, а вы – по бокам, пока же налейте мне чарку!»

До Ешсоу и Мананы никому не было дела. Или притворялись, что нет дела?!

– Со счастьем тебя! Решился, наконец? – сказала она.

– Решился!

–Поздравляю, – запоздало прошелестела и девочка, как, должно быть, учила мать.

– Спасибо... что пришли.

– Ты пригласил, как мы могли не прийти! – громко сказала Манана, в расчете на друзей Ешсоу. Сказала и заговорщицки подмигнула, давай, мол, прикрывай меня, не выдавай. Будто меж ними теперь допускалось существование, какой бы то ни было тайны. Самой даже пустячной. Ешсоу поразился тому, что с годами не притупилась в ней страсть к игре, где мячом под ноги катится чужое самолюбие. Отбивая мяч, следишь, куда он летит, чтобы с легкой душой бежать за ним. Просто так. Интереса ради. Но при этом надо следить, чтобы перевес в очках был на твоей стороне... Они поболтали о том, о сем. О чем – совершенно вылетело из головы. Только запомнил Ешсоу, как томилась девчушка, все косила глазами в сторону дома, двора, откуда доносился гул голосов, там бурлило, как ей, очевидно, представлялось, безудержное веселье.

– Скажи, – тихо спросила напоследок Манана, и притянула к себе дочку, – за минувшее наше, за ребячье, ты не сердишься, правда же?

Ешсоу, удивляясь самому себе, угадал: ей хочется – сама ведь подталкивает! – чтобы он обрушил на нее упреки, «жизнь мою перевернула!» Ожег бы несдержанными словами, которые, тем не менее, свидетельствовали бы о том, что боль его жива, значит, и она для него жива, не брошена в прошлом...

– Тебя, наверное, заждались подруги, соседи. И девочке скучно.

– Больше сказать нечего?

Он пожал плечами, не выговорил того, что вертелось на языке: «Спасибо, что не вошла в мой дом хозяйкой!». Но когда она повернулась и, потянув за собой тонконогую дочь, уже и не чаявшую оказаться в гуще веселья, пошла прочь, он едва не кинулся следом. Манана всегда добивалась, чего хотела. Поздним вечером молодая жена, указав на хрустальную вазу, сказала:

– Это от бывшей твоей одноклассницы, красивой такой, с дочкой была, не назвалась, не знаешь, кто?

Он взял вазу, покачал на ладони, точно взвешивая, и вышвырнул в окно, где утром – целехонькую! – нашел Плакса и куда-то дел.

Нара сказала:

– Я не знала... прости…

А он вспомнил, как однажды Нара поднялась в салон автобуса, на водителя, ясно, не глянув. В автобусе не было свободных мест, и она остановилась в проходе. Два молодых человека, развалившихся на своих местах, оглядели ее со вниманием и не удосужились оторвать задницы от сидений. Не приглянулась она им, иначе уступили бы место, а потом всю дорогу донимали бы болтовней. Нара, похоже, не заметила, что не произвела впечатления, стояла, покусывая нижнюю губу, и о чем-то сосредоточенно думала. Ешсоу было приятно время от времени заглядывать в зеркальце обзора, в которое была ему видна Нара. Он опасался, что в салон

войдет какой-нибудь высокий плечистый парень и заслонит собой ее. Он не обиделся, что Нара его не узнала. Вернее, что не пригляделась – приглядись, понятно, сразу узнала бы. К тому времени он давно и довольно упорно, хотя, возможно, и неуклюже, пытался навязать ей свое общество, при этом, сам пугаясь возможного исхода. Да только вот не водилось за Нарой привычки, поднимаясь в автобус, присматриваться к водителю. Кто знает, может, для нее все, кто сидел за рулем, были на одно лицо. Считала их просто приложением к автомобилю вроде запасного колеса, с той только разницей, что без запасного колеса можно обойтись, а без водителя – нет. Кто знает – по-настоящему! – какая на самом деле Нара? Тогда-то вспомнил Ешсоу, как еще мальчишкой рискнул спросить у конюха Уши, с которым водил дружбу, помнит ли он его мать, и какой она ему запомнилась. Никогда ни у кого – даже у самых серьезных и степенных людей! – не спрашивал об этом, а конюха по прозвищу «Ветер под кепкой» спросил.

– Веселая и красивая была. Как птичка. А что еще от женщины надо? – удивился Уша.

Веселая и красивая...

Молодые люди, возле которых стояла Нара, поднялись с места, и один из них лениво окликнул водителя, даже не окликнул, а так, бросил в пространство: «Остановку!» – и стал протискиваться вперед. За ним шел его приятель.

– За двоих! – небрежно кинул парень смятую трехрублевку.

– Получите сдачу.

Парень пожал плечами:

– А, зачем, слушай, эти копейки? Куда их дену?

– Возьми! – внезапно стервенея, повысил голос Ешсоу.

– Если деньги кусаются, давай мне! – подставил ковшиком ладонь второй пассажир, подталкивая приятеля к выходу. – Чего ради хай-уй поднимать?

Ешсоу бросил в подставленную ладонь сдачу. Парень небрежно зажал мелочь в кулаке, и две или три монетки, выскользнув, со звоном упали на пол.

– Не хотят из твоей машины уходить, что ты станешь делать? – засмеялся парень, а вместе с ним и пассажиры, сидевшие в первых рядах. Поднимать мелочь, парень, понятное дело, не стал, легко спрыгнул следом за другом наземь и, прежде чем захлопнуть дверцу автобуса, осведомился у своего дружка, указывая на водителя:

– Откуда такой взялся?

– Кусочник, наверное...

Ешсоу, подавляя в себе ярость, тронул машину и, отъезжая, услышал, как загоготали парни. В зеркальце он больше не смотрел. Но когда Нара выходила, она сказала:

– Здравствуйте, извините, я сразу не узнала вас.

«По каким приметам потом узнала?» – зло подумал он.

– Рад был подвезти.

И сдобрил сказанное насмешливой улыбкой, понимаю, мол, подобные слова приличествуют не водителю общественного транспорта, а владельцу собственной машины, прокатившему с ветерком девушку, достойную его высокого внимания.

– Спасибо. Большое...

В доброте ее взгляда растворилась его горечь. Часто потом случалось возить Нару. У нее, оказывается, жили родичи в городе, куда три раза в день доставлял пассажиров Ешсоу. Автобусов в том направлении ездило множество. Нара както мельком сочла нужным объяснить, что график, по которому ездит Ешсоу, для нее самый удобный. Он и не сомневался в этом, пока сама же Нара через много времени, не открылась ему: рейс устраивал ее исключительно из-за Ешсоу. Она, оказывается, не просто ездила, а изучала по пути его характер. Где лучше, чем на работе, узнаешь человека? Бедняжка, трудную же она себе задачу поставила. Хорошо еще, что не донимала вопросами, как однажды практикантка из газеты, присланная в АТК написать об образцовом водителе: «Вы очень любите свою профессию? С детства мечтали водить машину?»

Ешсоу попытался растолковать неоперившейся девчонке, что вовсе не мечтал крутить баранку, да и за что любить

тяжкую эту работу, когда целый день – в холод и жару – трясешься по тесным дорогам, вдыхая вонючий бензин и сатанея от напряжения, чтобы какой-нибудь частник, купивший права по случаю, не врезался в тебя? Но ничего у него не вышло. Девушка только глаза вытаращила: «Тогда почему мне указали на вас, как на образцового водителя?»

Он пожал плечами:

– Откуда я знаю?

А сам подумал: пожалей нас Господь, неужели так сложно довести до ума таких вот зеленых практиканток, что работа – не женщина, любить ее не обязательно. Но раз ты ею занимаешься, надо заниматься добросовестно, потому что кроме понятия любви – радостного, легкого! – есть понятие долга. И мужчине о том забывать не следует.

– Вы, наверное, шутите, – определила девушка в раздумье. – Я понимаю, работа у вас нелегкая. Но ведь нелегкую работу еще больше любят!

– Послушай, девочка, ты выгребные ямы видела?

Практикантка густо покраснела и потребовала:

– Говорите со мной корректно!

– Как?

– Вежливо! – разъяснила она свысока. – По мере возможности, конечно.

– Я тебя не обижаю! Но выгребные ямы существуют, точно тебе говорю, и кому-то приходится их вычищать. По-твоему, это с любовью делается? Надо делать – и делается.

– При чем тут вы? – злорадно осведомилась практикантка. – Вы-то автобус водите!

– Да, автобус, – сдался он.

Потом девчонка написала о нем в газете, мол, он с детства мечтал сесть за руль большой умной машины. Хотел бы он знать, она в отместку или не умела иначе?

А Нара глупых вопросов не задавала, и переиначить его жизнь – иди в вечерний, заочный, черт знает еще куда! – не пыталась. Впрочем, она и без того переиначила его жизнь одним своим существованием. «У врачихи ноги, между про-

чим, кривоваты, да и ростом она с травинку!» – сказал когда-то напарник Ешсоу. А уж его-то он считал понятливым. Но и понятливым не все открыто... Похоже, одна теща и знает настоящую цену Наре, потому и считает, что зять не стоит ее дочери. Безграничной доброты редко кто бывает достоин...

Из дома хлынул свет, распахнули, видать, настежь двери, и вместе со светом раздвинули темень ночи оживленные голоса. Слышнее всех был голос Плаксы. И, точно опасаясь, что кончится нить, на которую он нанизывал легкие слова, гости наращивали ее вопросами: «Жорик, значит, завтра будешь дома?» «Гярг, Фецба сказал – голову ради тебя готов положить, поберегись! Неизвестно, что взамен головы потребует!» Взрыв хохота. «Жорик, а про свое обещание ты не забыл?» – «Не бойся, у него не девичья память, правда, Гия?»

Как ни переиначивали его имя, он откликался. А на «Плаксу» откликнется? Странно, что не удается отринуть от себя детскую кличку брата, будто все норовишь могучую орешину обхаживать, держа в памяти, что выросла она из хилого саженца...

Голоса у ворот, шум отъезжающей машины, обязательный длинный прощальный сигнал… Чего среди ночи людей будить, не невесту увозят! Тишина. И никто не вспомнил: «А где же хозяин? Как можно уехать не попрощавшись...»

Брат не стал звать старшего, просто прошел в орешник, знал, где его найти – и это мгновенным теплом согрело сердце! – уселся рядом, прямо на траву, росную – Ешсоу едва удержался, чтобы не сказать: «Поднимись, простудишься!» – полюбопытствовал: «Старуха доняла?» А мог бы и смолчать.

– Плакса!

– Да?

Ешсоу почувствовал, что брат усмехнулся в темноте.

– Завтра спозаранок – в поле. Не вздумай отлынивать.

– Я тракториста позвал!

– Знаю твоего тракториста! Все пологие места оставит невспаханными.

– Нам и ровного места хватит. С лихвой.

– Тебе хватит, мне – нет.

– А погонять-то будешь меня! Другой на моем месте взъерепенился бы. Другой, не я!

– Женился бы ты, что ли. Диплом есть, работа есть...

– Дом – полная чаша! – подхватил Плакса, ясно, со смешком. – Только, знаешь, жениться, чтобы работницу в дом привести, такое уже, кажется, наши отцы не допускали. Уже они перебирали: по душе – не по душе...

– Думаешь, что-нибудь другое ожидал от тебя услышать?

– Зачем тогда спрашиваешь?! – Он легко вскочил на ноги и протянул руку: – Давай помогу, небось, ноги затекли!

Непринужденность его слов и жеста были по душе Ешсоу, было приятно и подняться, ухватившись за крепкую руку брата. Ноги и впрямь затекли, мурашки побежали по ним. Ешсоу топтался на месте, разминаясь. А напротив стоял младший брат и улыбался. Просто так. От ощущения полноты жизни.

Ешсоу с непонятным облегчением подумал, что его печаль уравновешивается улыбкой брата.

– Соскучился, – неожиданно для себя признался он.

– Я – тоже, – легко подхватил брат.

Ешсоу мгновенно поверил ему, хотя понимал: соскучились они о разном и по-разному.

ЗАКЛЯТЫЙ ДРУГ

Повесть

Это продолжалось четверо суток, бесконечных, как ожидание под завалами после землетрясения. В понедельник утром пятнадцатилетний сын Данакая, у которого как раз начались весенние каникулы, ушел прогуляться с друзьями на набережную и не вернулся.

Отец уже до такого состояния дошел, что чуть милицию не кликнул на помощь, да испугался делу навредить. Ждал вестей, а верные люди, да родичи рыскали по городу, в надежде напасть на след – сыновья стоящих крепко на ногах людей беспричинно не исчезают. Этому должно быть разъяснение. Но что-то с информацией дело обстояло из рук вон плохо. Никто не проявлялся. Ни с какой стороны. Данакай случайно оказался один в кабинете, когда туда ворвалась жена с воплем:

– Звонил!!! Из Новороссийска!

– Кто? На каких условиях?

Ламара непонимающе смотрела на мужа, будто за минувшие дни ни разу не предположила, что мальчика выкрали ради выкупа или для иных ощутимых требований.

– Что они велели передать, с чем вышли? – сиплым от сдерживаемой ярости голосом осведомился он.

– Кто они? Я же говорю, мальчик наш звонил. С ним все в порядке. Он – в Новороссийске.

– Раз с ним все в порядке, почему тогда в Новороссийске?

– В гости поехал… к Алеше.

– В какие гости, идиотка?

Данакай выскочил из кабинета, его ярость не вмещалась в нем. Жена– следом. Он – на набережную и она – за ним. Столько лет вместе прожили, а до сих пор не уразумела, когда надо подальше держаться со своими тупыми рассуждениями!

– Пойми, Дан, возраст у мальчика такой – подросток, – стала увещевать Ламара со скорбным терпением преподавательницы в школе для умственно отсталых детей. – Нагляделся по телику на проделки безголовых ровесников. Самостоятельности захотелось. Не подумал, в какой ад нас ввергает… Там же, в кино, родители только действию помеха. Но ведь главное – мальчик цел! Никто его не изувечил, сам никого не тронул, даже школу не пропустил, у него же – каникулы, сказал: Алеша ему обрадовался.

– Это утешение, что Алеша ему обрадовался?! – он круто повернулся к жене.

– Я говорила с ним – мне другого утешения не надо! Сейчас счастливее меня нет никого на свете! – сказала жена, и губы у нее задрожали. – Он – жив, здоров, что еще надо?

– Иди, ради бога, домой. Займись стряпней или подруг огорчи – не придется ни дом, ни машину продавать, – обошлись без выкупа!

– Зачем ты так? Они столько слез вместе со мной пролили!

И сразу же ее глаза налились влагой, набухли, как фасоль в воде.

Данакай смотрел на жену без жалости. И облегчения, что все обошлось, не чувствовал. Ничего не чувствовал, кроме ярости, которую он пытался укротить. Что толку обрушивать ее, на женщину, стоящую перед ним в ожидании дальнейших событий? Тем более главное событие для нее уже случилось – сын небрежным звонком из Новороссийска вознес на вершину счастья!

– Я – на теплоход! – Данакай посмотрел на часы. – Через час отчалит!

За минувшие дни расписание всех поездов, самолетов, теплоходов он изучил досконально и не только он один, а все, кто был допущен к тайне исчезновения Георгия. А сколько денег ухлопали только на чертовые теплоходы! Договаривались не только с капитаном, но и с матросами, чтобы дали знать, если вдруг мальчика – совали каждому его фотографию!– попытаются тайно вывезти на их судне. Береговой охране Данакай, само собой, не доверял, уж они-то бандитами прикормлены выше крыши!

– Какой теплоход? – ужаснулась жена. – Сколько же он будет добираться до Новороссийска? Поездом и то быстрее, уж не говоря о самолете.

Данакай скосил на нее бешеный взгляд. Но на эту женщину хоть ураган нашли, она уздечку и на него попытается набросить неспешной рукой. Тем не менее, жена под его взглядом пошла на попятную:

– Понимаю, тебе нужно остыть… разобраться...

– Остановиться, оглянуться! – с издевкой дополнил он ее умничанья.

Но она не сдалась и терпеливому тону учительницы не изменила:

– Так оно и есть, перечить не стану. Я вот недавно где-то вычитала: после принятия Второй поправки к Конституции…

– Ты и Конституция? Совсем, что ли, спятила?

– Я – не о нашей, об американской!

– Раз так, извини, я погорячился. Об американской Конституции у каждой нашей домохозяйки найдется, что сказать!

– Я – домохозяйка по твоей воле… – напомнила она, – ты не хотел, чтобы я работала.

– Да, не хотел! Зачем чужих детей калечить?! Одного, своего, человеком воспитать не сумела! Зато по американской конституции – специалистка!

– Вторая поправка – это разрешение на покупку оружия. Но забрать оружие можно только через сутки, чтобы сгоря-

ча не пустили его в ход. Человеку дается время остыть. Раз так, ты прав – теплоход-то, что надо. Согласна. По дороге в себя придешь, отоспишься. Да и мальчик не на улице ждет, не у чужих людей ютится.

«Кто принуждает тебя слушать этот бред? – спросил он себя – Собака лает, конь пасется! Пасись на своем поле и не слушай! Она же тебя не нарочно заводит, это само по себе у нее выходит. На самом деле жена стремится к ладу в семье! Всю жизнь! И всю жизнь срезает под корень!»

– Может, тебе что-нибудь привезти из Новороссийска? – спросил он вдруг. – Ну, платье или туфли?

– Боже мой, Дан, ведь ты ненавидишь магазины.

– Ради тебя и через ненависть перешагну!

– Попроси Алешину жену, пусть вместе с тобой выберет что-нибудь из одежды. Она, говорят, – со вкусом!

– Как насчет шали?

Тут-то до Ламары дошло. Вспомнила общеизвестную байку о человеке, кого вели на казнь, а умная – приблизительно такая, как она, жена напутствовала: «если вдруг помилуют, на обратном пути купи мне шаль».

– Шутишь? – удивилась она – В такой час?

– Конечно, шучу, – подтвердил он. – Зубоскальство – это ведь наша визитная карточка, как и лень. А какой такой час? Сыночек гостит у моего лучшего друга! «Не у чужих людей ютится!» – передразнил он ее. – Друг рад! Ты рада! Я и вовсе вне себя от счастья – отосплюсь на теплоходе, всю жизнь мечтал! Море – наша колыбель!

–Ты немного приободрился, слава богу! – постным голосом проговорила жена, показывая пример самообладания.

Он ненавидел ее якобы женственные уходы от острых углов, ее кажущуюся уступчивость, а как заведет в болото рыхлых своих рассуждений, постоянно орошаемых слезами – наверное, чтобы топь не засыхала! – не скоро выберешься! Если выберешься!

Ламара проводила до причала и там торчала до отхода теплохода, облучая мужа умоляющими взглядами, смысл

которых был ясен – отнесись к сыну с пониманием. Отец-то при надобности и колыбельную споет. А вот жизнь к ласковым песням не склонна, бьет за каждый промах наотмашь. Только где в том Ламаре разобраться, живет за спиной мужа, как за каменной стеной и там, в укрытии, можно любые словесные узоры вывязывать и любоваться ими. Данакай не сомневался, что жена покинув причал, позвонит Алеше, лишний раз попросит, чтобы заступился за ее ненаглядного сынка перед бешеным отцом. Должно быть, окончательно у мальца крышу снесло, как сказал бы сам прыщавый отпрыск, раз он не нашел другого адреса, чтобы заставить родителей поволноваться о себе.

Данакаю было немногим меньше лет, чем сейчас его сыну, когда к новым соседям, купившим усадьбу совсем неподалеку, стал приезжать мальчик Алеша, сверстник Данакая. Постоянно в усадьбе жили старики – родители отца Алеши. Но и сын вместе с женой наведывались к ним с завидной частотой, приезжали почти на все выходные. Внук проводил в селе не только летние каникулы, но и слякотными зимними днями не пренебрегал. Хотя нормальному мальчику чем заняться в деревне зимой? Разве что морочить своему дружку голову, приставая с нарисованными им самим настольными играми, а сам толком даже в нардах не мог разобраться, пока Данакай не научил не только фишки передвигать, но и выигрывать. Отец Алеши, кажется, почувствовал себя на седьмом небе, когда ему удалось приобрести для своих стариков дом поближе к побережью, где он работал и жил. Он спустил родителей с предгорного села, куда зимой невозможно было добраться – дороги заносила снегом, да и в любой сезон ездить по горным серпантинам никому не доставило бы удовольствия. Неизвестно даже о ком больше позаботился сын, переселив родню, о себе или о стариках. Видно, осточертело ему добираться до родительского дома по бездорожью на своей легковушке, даром, что она носила гордое имя «Победа». Автомобиль вызывал у Данакая горячую зависть, перемешенную с восхищением, как всякое чув-

ство такого рода. Временами Данакаю до чертиков – аж дух захватывало! – хотелось, чтобы треклятая «Победа» – рухнула с какой-нибудь кручи и рассыпалась, точно наспех собранная игрушка. Одновременно от ужаса и раскаяния замирало сердце, – невозможно было себе представить изуродованным это чудо техники. Нового хозяина соседней усадьбы звали звонким молодым именем – Сит. Был он еще крепок, обладал столь могучим голосом, что когда кого-то распекал, то сельчане шутили, как бы старик громовым своим рыком не вызвал камнепад в горах. На внука он никогда голоса не повышал, внук для него был всем хорош. Но когда тот, наслаждаясь летним бездельем, уверял, что после школы переедет к деду насовсем, старик даже не прикидывался, что верит.

– По стопам отца пойдешь, станешь лекарем, – говорил он веско и уже для Данакая продолжал: – Не знаю, откуда в нашем доме та зараза завелась, но его отец в вашем возрасте уже видел себя врачевателем и костоправом. Когда козленок, которого он называл своим, ногу сломал, сколько я не уговаривал прирезать скотинку, ни за что не уступил. Я ему взамен два козленка предлагал, а он наложил лубок на перелом, выхаживал любимца, как родственника, и главное выходил же!

– Чего же он в ветеринары не пошел, раз от души к животным относился, так их ценил? – с невинным видом допытывался Данакай.

– Не животных, он всякую жизнь ценит. Потому и охотник никудышный. Правда, на медведя уговорил раза два со мной сходить, но охотиться на птиц – убей, не станет. И этого на охоту не вытолкаешь, – кивал он на внука – сдается мне, и он свечу над жизнью будет держать.

– Селу тоже врачи нужны! – напоминал Данакай.

Он доверял словам старика не больше, чем цветистым тостам во время деревенских застолий. Про нужду села во врачах он, понятно, нарочно напоминал. Не сомневался – благополучные мальчики вроде Алеши, не станут месить грязь

в деревне в настоящей, а не выдуманной жизни. Старик же и вовсе добивал Данакая:

– Не с ним, с тобой землю ворочать будем! Попробуй с нами, крепышами, справиться!

Горластый старик, видя, как вспыхивает румянцем аж до самых ушей соседский мальчишка, возможно, полагал, что смутил его неумеренной похвалой. У доморощенного мудреца не хватало наблюдательности, чтобы заметить – Данакай чувствует себя втоптанным в грязь, ни за что ни про что униженным. Выходит, родился он с изъяном и не на что другое не годен, кроме как ходить за плугом, да присматривать за скотиной? Из волны неприязни к старику Данакай выплывал не честным гребком – не его вина, что на то у него не хватало сил! – а, цепляясь за скользкий хвост насмешки, нацеленной, само собой, нацелена не на деда, на Алешу, не ожидающего подвоха. Он никогда не ожидал подвоха, что тоже бесило Данакая.

– Наверное, Алеша не купается в ущелье Зыча, чтобы рыбок не распугать или русалок…

– Русалок еще во времена моей молодости сослали в никуда, и сроду не слыхал, что на стремнине рыбу руками ловят!

Старик при надобности мог снизойти и до насмешки, а не только выставляться мудрецом, будто бы старость всегда является об руку с мудростью.

– Тогда почему Алеша близко не подходит к ущелью Зыча?

– Что он там потерял? Вызов небесам, огню и воде только дурень может бросить! – возвращался к эпическому стилю старик. – А у моего внука светлая голова.

– Я однажды даже два раза переплыл поток от берега до берега и ничего! – врал без зазрения совести Данакай.

– Скажу твоему отцу, будешь знать – ничего! – грозился Сит. – Там, ниже по течению – омут. Отец тебе и растолкует, нужно ему, чтобы тебя туда затянуло или нет!

Алеша, слушая, неопределенно улыбался. Он прямо из кожи лез, чтобы прикрыть улыбкой, точно чистым лоскутком все, что вокруг его смущало по той или иной причине.

Так и подмывало зуботычиной стереть с его лица улыбку размазни.

Приходилось только диву даваться: за что Алеше в жизни такая награда: городское житье-бытье, удачливый отец, молодая мама – преподавательница иностранного языка, чьим тяжелым узлом волос на затылке – «распустит – щиколотки достанут» и легким шагом – «серна, да и только» стало обязательным делом любоваться в деревне. Среди соседей, восхвалявших заезжую невестку, была, разумеется, и мать Данакая, как же иначе! Он никогда не верил в ее искренность. Родители были немолоды, когда произвели на свет Данакая. Было время, когда сын даже сомневался – не подкидыш ли он? Да ничего такого выяснить не удалось. Родители и до рождения Данакая звезд с неба не хватали, только и знали, что ковырять землю. И, ясное дело, не поумнели на радостях с появлением продолжателя скудного рода. Без рвения, хотя и без очевидной лени тянули они крестьянскую лямку. Среди соседей слыли добрыми тихими людьми. С отрочества ненавидит Данакай это определение: тихий человек, скромный… Незаметный человек он и есть незаметный, чья жизнь, как застиранная одежда: вор – не польстится, но и стоящий человек не примерит. Данакай до сих пор, случалось, морщился, вспоминая – а ведь много воды утекло с тех пор! – как отец не хотел идти в сельсовет за справкой, когда молнией прямо посреди двора убило бычка. Все твердил: «Никто не виноват! Несчастный случай. С кого спрашивать?» У него никогда не случалось виновных, что бы ни произошло. Хорошо, что председательсовета оказался совестливым человеком, да и жил неподалеку, зашел, растолковал, что раз скотина, застрахована, так деньги полагаются и за грехи небес. На его месте другой себе те денежки и присвоил бы, трудно ли у такой темноты, как данакаев отец, подпись обманом заполучить, деньги, конечно, были копеечные, но, как известно, курочка по зернышку клюет. Отец же согласился страховку получить, похоже, из-за опасения как бы председатель не подумал, будто он страшится взять компенсацию за грехи

небес. И мать была подстать отцу. Если случалось заболеть чаду, то она, поглаживая его по руке – до чего раздражал его этот жест, но ни разу не осмелился сказать матери: «не утюжь мою руку» тоже, никуда не денешься, сын своих родителей! – говорила:

– Потерпи, день мой, что поделаешь, вон, уже полкласса хворь свалила…

Выходило, сыну лучше оказаться в числе больных? Иначе мать сгорела бы со стыда, будто он непонятно как сбил недуг со следа, указал путь к другим, а сам бегает здоровеньким? Может, Данакай и перебарщивал с выводами. Но покорность, с какой мать принимала его болезни, не уравновешивалась, и не могла уравновеситься, жалкой ее попыткой развлечь мальчика бесконечными пересказами случаев из жизни. Хотя словоохотливостью она не отличалась, и пустословие давалось нелегко, как и попытки побаловать больного какой-либо вкусной едой. По-настоящему хорошо она умела готовить лишь фасолевую похлебку да соленья. Легко представить, какую рожу скорчит Георгий, если поставить перед ним еду, на которой вырос его отец.

А что касается потока, свирепо бодавшегося с отвесными стенами ущелья Зыча, Алеше не удалось отгородиться от него улыбочками. Да и как удалось бы, если имелась тропа, которая уступами спускалась в одном месте к самому потоку? Река, точно подманивала дураков и коз, сбегавших сюда на водопой. В этом месте ее русло расширялось и она вела себя поспокойнее, хоть не настолько, чтобы нормальный человек захотел бы померяться с ней силой. Правда, она здесь не была ни слишком глубокой, ни широкой. Ледяной и стремительной – это да. Данакай не переплывал ее ни в каком месте, но знал – когда-нибудь переплывет и омут чуть ниже ущелья Зыча ему не помеха. Для улыбчивого внука громогласного Сита все могло обернуться большой бедой, и едва не обернулось. Но известный везунчик Алеша и здесь проскочил. Выловил его из потока, точно в продолжение службы Родине, геройский моряк Родион по кличке Жеребец. Ниже

ущелья Зыча и выловил. Не окажись он вовремя на берегу, легко себе представить, чем бы все закончилось, потому что слов «Это нечестно» или «Разрешите, пожалуйста, войти» горные потоки не понимают, а уж, сколько книг прочитано и взахлеб пересказано деревенским сверстникам – тем более в расчет не берется. Но Родион оказался там, где оказался. Он недавно пришел из армии, служил на флоте. Морячок по возвращении только и рассказывал, как тосковал по оставленному дома гнедому – тем летом, если он не гарцевал на коне, то с уздечкой в руке рыскал по лугам в поисках своего, как он выражался, самого верного друга, потому-то и прозвали его Жеребцом. Но, видно, кое-чему на флоте его обучили. Если и не тому, как врагу давать должный отпор, то, как спасать салаг, – определенно. Когда Данакай подоспел, Алеша стоял на коленях, и его рвало. А Жеребец поддерживал мальчика за плечи и нахваливал: «О-о-т, совсем молодец, еще немного и хоть ноги в стремена вдевай!» Куда там! Алеша судорожно переводил дыханье и каждый раз, когда его выворачивало, он поникал головой, а худые лопатки ходили ходуном под загорелой кожей. Потом рвота прекратилась, но парня бил озноб, зуб на зуб не попадал. Родион мельком глянул на Данакая и дернул за край своей мокрой рубахи – понятное дело, раздеться для спасательных работ он не успел, как его ни натаскивали за годы службы действовать на опережение событий. Данакай мигом сообразил, что от него требуется, скинул свою выцветшую, но чистенькую тенниску, главное – сухую. Родион натянул ее на клацавшего зубами Алешу, а сам разделся до пояса, и, выставив на обозрение татуировку на предплечье – неуклюжий якорь синего цвета – сел рядом с Алешей на землю и обнял его за плечи. Данакай догадался, что он снял рубаху, чтобы не замочить сухую одежду на Алеше. Не оборачиваясь, Жеребец укорил стоявшего за спиной Данакая:

– Ты-то куда смотрел? Не мог предупредить парня? Он – гость! Откуда ему знать нрав нашего потока! Не только человека, слона с ног сшибет!

«Тебя-то не сшибло!» – злорадно поймал его на несуразице Данакай. Про себя.

– Я только пришел! – выдавил он из себя.

Заговорив, почувствовал в горле ком и слезы были на подходе, точно у какой-либо соплячки. Но он не дал им пролиться.

Алеша кивнул, подтверждая сказанное, потом обернулся и поверх обнимавшей его руки застенчиво улыбнулся другу. Его улыбку, выходит, ничего не могло смыть!

– Я против течения стоял, – сказал он хрипловато. – Там, в ущелье. До десяти посчитал, потом сбило с ног, но до десяти посчитал. Клянусь мамой.

– Покажи мне того, кто тебе не поверит! – с деланной свирепостью воскликнул Родион. – Брошу в поток и не стану вылавливать. Ты – парень не промах, конечно, но твой бы дед сказал: с огнем, водой и лавиной умный тягаться не станет. И с этим не поспоришь! Все равно ты молодец! – он поднялся на ноги. – И ты – молодец! – сказал он на прощание Данакаю. – За гостем не доглядел, тем не менее, – молодец!

С тем и ушел, оставив друзей гадать – донесет он на них родичам или нет.

– Узнает мама, пришпилит меня булавкой к своему подолу! – сказал Алеша, глядя вослед Родиону, который шел под самым солнцепеком, обсыхая на ходу. Сорочку он натянул, но не застегнул на пуговицы, и полы ее широко развевались на легком ветерке.

– Так там же сестренка твоя пришпилена!

Да, была у Алеши еще и сестрица – плакса и дурнушка. А вышла потом так удачно замуж, как и писаным красавицам редко удается.

– Мама отыщет, куда булавку воткнуть! Если Родион проговорится!

– Жеребец не промолчит! – сказал Данакай. – И не рассчитывай!

Но, как ни странно, промолчал. Во всяком случае, Алешу никто в город не забрал до самой осени и не привязал

ни к материнскому подолу, ни к дверному косяку. Наверное, на сегодняшний день один только Данакай и помнит то событие, как помнит почти все, что было связано с Алешей. Такая напасть в его жизни – Алеша. Теперь уже и Алексей, а в стране, где служит, так, должно быть, обращаются к нему по имени-отчеству – Алексей Несторович, не иначе. После школы Данакай обманул надежды старого соседа – не стал землю ворочать. То есть ворочать ее приходилось, конечно, куда денешься, если отец к тому времени и вовсе одряхлел. Но поливал он землю потом как бы попутно, урывая время от главного своего дела – учебы в институте, педагогическом. Данакай поступил на факультет, где готовили преподавателей начальных классов. Туда люди чаще всего устраивали своих безнадежных тупиц дочерей в надежде, что там углядят их стоящие парни, оценят свежесть румяных щек, ясность незамутненных глубокомыслием глаз и возьмут в жены. Выбор Данакая был неслучаен, просто целился наверняка – знал, сюда он поступит и без сторонней поддержки, юноши на том факультете были на весь золота. А на какую такую поддержку он мог рассчитывать?! Другое дело – Алеша. Он советовался со всеми по поводу будущей профессии. Везунчики любят спросить совета. Просто дают возможность посторонним обозреть, как широк у них выбор. Алеша вознамерился стать военврачом. Мать была против – не хотела сына далеко от себя отпускать. А зачем ей непременно требовалось его возле себя держать? Изгороди ставить? Землю по весне распахивать? Или в городской квартире лишний гвоздь вбить для какой-либо необязательной полки? Если только утешения ради, так вполне могло хватить и дочери. Ясное дело, Алеша, настоял на своем, тем более отец был на его стороне. Да и мама, всплакнув, сказала: «Лишь бы твой выбор тебя не разочаровал!» Такие у них в семье были высокие требования к жизни – разочарует – не разочарует. А протаранить лбом изначально спиной к вам стоящую жизнь не пробовали? Что делать тем, кто, получив проклятущий диплом о высшем образовании, обнаруживает, что на зар-

плату молодого специалиста удастся разве что не сдохнуть с голоду, и то при поддержке продуктами из деревенского дома? Если к тому времени ты еще и женат, да еще на женщине, которой слишком много пришлось посулить в свое время, что тогда остается? Ждать, когда чистенькая работа упадет с неба, а потом разбираться по душе она или нет? Можно и подождать, конечно, зная наперед о беспросветности ожидания. Многие так и поступают, потом еще и злятся, что ничего стоящего не свалилось им в руки. Но ведь мужчина не женщина, чтобы жить в расчете, на чью-то туманную щедрость. При таком раскладе остается одно: пуститься на самостоятельные поиски добычи. Но, как известно, ни в какие времена никому не удавалось мамонта в одиночку завалить, оттого и приходится рыть, как крот, ходы к таким отпетым, как Кацанба, хотя, само собой, лучше иметь дело с какими-нибудь бравыми полковниками медицинской службы, почитающими устав. Те, если и продырявят сгоряча, так сами и залатают. Но дело имеешь не с ними, а с Кацанба, что, несомненно, хлопотнее. Зато Кацанба тебе поможет. Потом, рассчитываясь за помощь, ты посадишь его в долю. Сам он ничем рисковать не станет, деньги же к нему рекой потекут, не все, само собой, но очень даже ощутимый поток. А попробуй его перекрыть, или чуть русло сузить, – вчерашние друзья сегодня спросят: «Ты, что, Данакай, нюх потерял?» Не дай бог выяснится вдруг, – переклинило тебя не временно. Охотничьих собак, что по старости нюх теряют, как известно, пристреливают, чтобы не мучились. Или отказывают им в куске мяса. На пустой мамалыге долго не продержишься. Жена тут же наверняка вспомнит об Алеше, себя кляня вспомнит, как же она могла предать свою родниковой чистоты любовь. Хотя – нет. Она, конечно, умом не востра, но хватит соображения себя в предательстве не уличать. Упрекнуть себя в излишней доверчивости это – да, но в чем-то более неприглядном – никогда! Для того имеется Данакай. На самом же деле истинная причина кроется в другом. Просто всласть обсудив со всеми, в том числе и с Ламарой – в школе они за

одной партой сидели, – свои планы на будущее, Алеша уехал за образованием в далекий город. Ламара же выбрала институт, до которого от родительского дома можно было рукой подать – все равно, что выйти в булочную за буханкой хлеба. Данакаю же пришлось пройти куда большее – и в прямом, и в переносном смысле! – расстояние, чем она, чтобы очутиться в том же здании, хотя и не на таком «умном» факультете. Ламара училась на физико-математическом. Данакай был наслышан, что высокая медлительная девушка с воловьими глазами и пухлыми губами просватана за своим бывшим одноклассником и вскоре, наверное, выскочит замуж, и уже не будет сдавать на круглые пятерки экзамены. Странно, но ребята заглядывались на Ламару, хотя в ней вовсе не чувствовалось молодой живости, проворства, плыла себе по двору института, как кобыла в тумане, неторопливо переставляя длинные ноги. Данакай поначалу удивлялся, что в ней нашел Алеша. Со временем, когда у него прибавилось мужского опыта, азарта, он стал думать, что созерцательная самоуглубленность Ламары ошибочно воспринималась молодыми людьми как пренебрежение к их бесспорным личным достоинствам. Вот они и старались открыть ей глаза. Данакай часто стал ловить себя на мысли, что его подмывает вывести невозмутимую девицу из себя, рассердить, а то и до слез довести. Но через ее толстокожую приветливость не так-то легко было пробиться. До поры до времени. Понятно, что ждать и скучать Ламара умела не больше, чем ее непоседливые подружки, как бы она сонно не внимала остротам своих сверстников. По слухам, и люди постарше, даже из числа холостых преподавателей посматривали на нее с интересом, и каждый из них приходил к выводу, что она вполне вписалась бы в его дом, не нарушая, а умножая в нем уют. В какой-то момент, надо полагать, надоело ей довольствоваться телефонными звонками Алеши и кратковременными его приездами, тем более, когда обнаружила, что есть из чего выбирать. Это дурнушки терпеливо высиживают счастье, а Ламару никто бы не назвал дурнушкой. Наверняка, она со-

жалела об опрометчиво данном слове хорошему мальчику Алеше, но оказалась слишком ленива для резких движений, ждала, когда все само собой утрясется. Данакай своевременно вступил в состязание за приз по имени «Ламара», потому и оторвался от соперников на целый круг, хотя никто из них, кажется, его прорыва не заметил. Самонадеянность подвела бедолаг! А он не был самонадеянным и прямых вопросов не задавал, признаний не вырывал, заодно и не услышал: «Прости, но я дала слово другому». Позвонив в тот решающий вечер Ламаре, и назначив встречу, Данакай не изощрялся, придумывая, почему им срочно надо встретиться. Сказал: «Хочу тебя увидеть, немедленно!» И все! Нарочно назначил свидание возле главпочтамта, знал, письма от Алеши она получает именно там, «до востребования». Втайне себя потешил, но ведь и ей дал шанс опомниться. Если она не воспользовалась шансом, кого винить?

Машины с приятелями он оставил за углом почтамта, сам поджидал девушку у центрального входа с ощущением необъяснимой внутренней немоты, сродни разочарованию, будто задумал провернуть интересное дело, а на поверку оно оказалось скучнее скучного. Возможно, он и отступил бы, если бы до того опрометчиво не поделился своими планами с приятелями. Данакай был горд тем, что друзья откликнулись на его просьбу, выклянчили на вечер у своих родителей автомашины – по тем временам шикарные – «Волги». Поздно было обманывать ожидание приятелей. Данакай издали увидел Ламару в нарядном платье – ага, почувствовала, что неспроста ее в субботний вечер вытаскивают из дома. С внезапной яростью на всех и вся Данакай подумал, что зря дождался ее, но ноги сами вынесли навстречу девушке, точно охотничий инстинкт – не упустить дичь – кинул наперерез. Как кольнула досада, когда она, отнимая у него последнюю смутную надежду, с легкостью нырнула в поджидавшую машину, не спрашивая, куда и зачем они едут. То ли сыграло свою роль легкомыслие городской девушки, то ли мозгами, склонными к точным наукам, Ламара давно высчитала, что

рано или поздно так оно и случится. Когда выехали за город, Данакай сообщил девушке, что направляются они в его отчий дом, невестой ее везет, умыкает словом. Он не торопился бы со своим заявлением, если бы не приятель за рулем. Тот с первого мгновения, как только Данакай открыл друзьям свои намерения, канючил:

«Сразу скажи ей, Дан, правду. Учти, против ее воли не повезу! Велит отвезти туда, откуда забрали, немедля поверну машину назад! Охота тебе в игры наших дедов играть – играй. А я еще в своем уме, чтобы впутываться в подсудное дело!» – «Это в нем материнская кровь говорит, нет в нем куража!» – подтрунивали над занудой приятели. «Нынешние девушки закон знают, особенно такие, как она красивые! Теперь красотку за так не умыкнешь!» – не сдавался водитель. Но никто и не собирался за так! Ламара даже для виду не всплакнула, сидела ровно, прямо глядя перед собой. Может, ее медленный ум не распознал в сказанном масштабов события? «Давай прихватим кого-то из твоих подружек!» – предложил он. Надо же было приличия соблюсти для пожилых родителей Данакая и соседей. По их разумению, честная девушка одна бы ни за что не села в машину, набитую парнями. «Лизу!» – коротко сказала Ламара. Лизу так Лизу. Поехали за Лизой, один из ребят переместился в другую машину, освобождая место для подруги невесты. Вот уж кто насладился ситуацией в полной мере, так это Лиза. Она все дурочкой прикидывалась, допытываясь: «А где, собственно, жених?» «Угадай с трех раз!» – предлагал изрядно повеселевший водитель, как-никак подсудного дела избежал, невеста вела себя как овечка – покорная, молчаливая. Лучшего не приходилось ожидать. Данакай услышал, как Лиза шепотом упрекнула подругу: «Какая ты, оказывается, скрытная!» и, кажется, приуныла.

Ну а поздно ночью в старом отчем доме с протекающей крышей и тусклыми обоями Данакай снимал грех с души Ламары: не ее вина, что слово, данное другому, не сдержала, силком увезли ее, против воли. Один Данакай виноват! Так

получилось, что никто ему не говорил, что она чья-то невеста. Да, многие ходили по ее следу, но что и она уже сделала выбор, о том он не ведал. Не будь Алеша таким скрытным, поделись с другом, иначе, как сестрой Данакай не осмелился бы Ламару назвать. Но скрытность друга понятна, – оберегал имя девушки от лишних разговоров. Что себе не простит Данакай, так собственную недогадливость! Молодая, наконец-то роняя слезы, слушала благодарно. И сладко, наверное, было ощущать себя жертвой… Что не помешало к утру безутешной невесте шепнуть жениху, сколько девушек в институте на одном только ее факультете почувствуют себя несчастными из-за того, что он женился. А то он без нее этого не знал, как же!

В Новороссийске на причале в ожидании друга торчал Алеша. Данакай еще на подходе к берегу заметил его, наверное, оттого, что догадывался – так оно и будет. Давненько ведь не видел, а сразу признал, хотя и ожидал увидеть его в форме полковника медицинской службы. Алеша же был в штатском. Стоял он в толпе, но как бы обособленно, сам по себе. Такие фокусы ему всегда удавались! За счет чего – непонятно! Выглядел Алеша молодцевато – не разжирел и густую шевелюру сохранил, правда, сильно подпорченную сединой. А что еще остается, как не следить за статью, раз женился недавно на девушке, по слухам, вдвое моложе себя. Сынок – беглец рядом с ним не обозначился. И Данакай в это мгновенье отчетливо, как подсказали со стороны, понял: Герг, как он называл его в лучшие минуты, не прячется от гнева отца где-то неподалеку. Сын здесь и вовсе не появлялся – выходит, водят недруги по ложному следу, сводят с ума.

– С парнем все в порядке! – сообщил Алеша, не успев еще и толком поздороваться, очевидно, впечатленный выражением лица прибывшего.

Они обнялись. И Алексей торопливо сообщил последние новости. Звонили из дому – имени жены Данакая он не произнес, предпочел обезличенное «звонили». Выяснилось,

как только отчалил Данакай, вновь прорезался по междугородке голос мальчика. Он признался матери, что вообще-то находится в Одессе. Заодно совсем недавно перезвонил и Алексею, сказал, что сегодня же выезжает домой и что он по Одессе гуляет не в одиночку, а со своим приятелем студентом.

Данакай слушал и лихорадочно прикидывал про себя: доберусь до Одессы – голос сына аукнется из Иркутска! И в усеченной империи еще пространства хватает! Главное, какая цель? Какие ему условия выставят? Хуже нет, чем впотьмах блуждать!

Друг, похоже, угадал его опасения, много ли ума надо угадать, сказал:

– Мальчик по своей воле в Одессе. Нет стороннего вмешательства, поверь мне. Я говорил с ним долго. Ему ничего не угрожает, во всяком случае, от чужих.

– Тогда, кто из своих его на мушке держит?

– Он сам себя держит, возраст такой! – примирительно сказал Алеша. – Все образуется! Расслабься! Сегодня парень выедет домой. Он мне обещал.

«Да кто ты такой, чтобы мой сын перед тобой отчитывался», – едва не оборвал его Данакай, но вовремя совладал с собой и проговорил с приветливостью, какую мог только в себе наскрести:

– Спасибо моему пацану, не выкинь он такой шутки, когда бы мы еще с тобой увиделись, Алеша?

– Да, – признал Алеша – когда бы еще…Как ни приезжаю домой, ты то в командировке, то на отдыхе, то…

«То уклоняешься от встречи» – про себя продолжил Данакай невысказанный упрек и, нейтрализуя внезапно возникшую неловкость – в нем, не в друге – сказал:

– Я сейчас узнаю, какая из этих калош, направляется в нашу сторону. Заодно и выяснится, сколько у нас времени где-то посидеть, как в былые времена.

Алеша предложил отвезти его в аэропорт на самолет, если он намерен сегодня вернуться, билет забронирован.

Наверняка, Ламара просила по телефону отправить мужа назад как можно скорее. Можно подумать, соскучилась!

– А мне теплоход по душе пришелся! – усмехнулся Данакай. – Хочу еще раз на нем прокатиться.

Он обрадовался, когда выяснилось, что через два часа с небольшим, можно будет пуститься в обратный путь. А то, что дорога морем займет много времени, так черт с ним со временем. Куда уж торопиться? Приехали! Дальше некуда!

Алеша пригласил друга проехать в центр и пообедать в каком-либо приличном ресторане, но Данакай уверил, что для общения сгодится и какое-нибудь кафе поблизости, жаль времени на дорогу. Неважно, где они посидят, главное, что вдвоем.

– Кое-кто еще хотел бы к нам присоединиться, если ты не против, – сказал Алеша.

– Не против. Сообразим на троих, как здесь водится!

Алеша достал из внутреннего кармана модно сшитого пиджака мобильный телефон и, нажав какую-то кнопку, стал ждать ответа с бдительным, как у охотничьего пса, поднявшего перепелку, выражением на лице. «Отчего же он не в военной форме? – подумал Алеша. – Уволили его, что ли?» Не успел он озадачиться этим обстоятельством, как другу ответили. Алеша улыбнулся давнишней улыбкой – застенчиво неопределенной, той самой – из детства. Отчего-то у Данакая больно сжалось сердце.

– Это я, – мягко проговорил в трубку Алеша. – Нет, уговорить его остаться или даже вернуться самолетом не удалось. Так что у тебя единственный шанс увидеть его это быстренько присоединиться к нам. Мы будем в «Волне». Да, да, на втором этаже, здесь в порту. Мм-м, даже так? Ну поторопись.

– Твоя невестка скоро подъедет, – сообщил Алеша.

В нынешние времена разве что стопроцентная деревенщина так скажет про свою жену – «твоя невестка!» Зачем это Алеше понадобилось? Подчеркивал, мол, сколько живет на чужбине, но обычаев не забыл? Можно подумать, кто-то их

соблюдает, кроме тех, кто «законсервировался» на стороне! Или он воображал, что таким образом потакает Данакаю? Не исключено, что и намекал на когда-то существовавшее неравенство меж ними, хотя это вряд ли…

Устроились они не в кафе, а в довольно приличном ресторане. Алеша заказал множество блюд и красное сухое вино, чем кажется, несказанно удивил официанта. Откуда ему было знать, что раньше на той стороне, откуда эти двое, любым напиткам предпочитали красное вино. Теперь-то все глушат общедоступную водку, но Алеша сохранил верность красному вину. А еще чему, хотелось бы знать?!

– Вот и я! Здравствуйте!

Данакай поднялся и неловко пожал руку «невестке», отчего-то не посмев братским – скорее отеческим! – поцелуем приложиться к щеке.

– Я – Нара, – назвалась она, усаживаясь рядом с мужем и не сводя с Данакая широко расставленных круглых, как у совенка, глаз и улыбаясь во весь рот, предъявляя при этом, как золотой запас, ямочки на щеках. – Ой, мы так всполошились, когда позвонила тетя Ламара, а Наездника-то у нас нет, сразу в Москву Мышелову позвонили!

– Мышелов – кличка моего племянника, так он себя на сайте называет, – пояснил Алеша. – Ты же знаешь, Георгий с ним дружит.

– Понятно, знаю, не в таком большом городе мы живем, чтобы не знать, – сказал Данакай, хотя ни сном, ни духом о том не ведал. – Просто не слышал, что у моего сына кличка Наездник.

– Это его ник! – вставила молодая жена.

– Кличка на современный манер! – перевел для друга Алеша и, заметив, что Данакай поморщился, мол, он в разъяснениях не нуждается, быстро продолжил: – Племянник дни считает до каникул, все рвется к вам. Родителям ни разу не удалось сманить его на модный курорт. Мои старики счастливы – каждое лето видят внука. Шутят, правда, что он приезжает ради Георгия.

– Леша говорит, что и он пропадал в селе все каникулы ради вас! – подхватила разговор Нара.

Втиснулась в круг? «Жена Данакая для нее тетя, сказала же «тетя Ламара звонила», а его ровесник – просто Леша? Ну да, конечно, жена и семидесятилетнего деда может окликнуть «Мальчик мой». Но не при всех же, не при всех!» «Чего ты придираешься? – спросил он себя. – А зубы у нее какие ровнехонькие, будто дантист перестарался – и фарфор подобрал излишне белый, притом не допустил ни одного изъяна. Впрочем, и природа может перестараться. Изредка!»

– Слушай, почему ты не в генеральской форме? – вдруг спросил Данакай.

– Потому что до генерала еще не дослужился.

– Сегодня у Леши выходной, – вмешалась со своими простодушными разъяснениями Нара. – Он – не генерал, он – полковник, но оперирует, как маршал! Это не я – так у него в отделении говорят. Еще Лешу во все частные клиники приглашают оперировать. Когда случай сложный.

– Да-а, ты не просто женился, еще и агента по рекламе заполучил! – пошутил Данакай. – Где нашел такую?

– В Доумыше.

Так назывался хутор близ родного села Данакая. Вот оно что! Вывез Алеша девицу из глухомани! Тут побежишь без оглядки и за тем, кто вдвое старше, все равно фору даст окрестным недоумкам.

– Друг называется! Поделился бы планами, подсобил бы девушку умыкнуть! – сказал Данакай и тут же прикусил язык, вспомнив кое о чем, но кажется, он один и вспомнил. – Теперь понятно, почему Алеша так часто наезжал в дедово село, ждал, когда Вы подрастете!

– Он и не знал, откуда я, – беспечно проговорила она. – Мы в России познакомились, в Питере, я там, в медицинском училище занималась. Знаете, даже разыграла его, гречанкой назвалась.

– Это она думала, что разыграла, – усмехнулся Алеша. – Я-то сразу разглядел, кто передо мною.

«Прыткая девица, – подумал Данакай, – сама вылетела из медвежьего угла». Он порадовался тому, что недолго придется глазеть на то, как они поглащены друг другом. Одновременно его охватило азартное желание – задержаться здесь на недельку, задурить голову розовощекой хозяюшке дома друга, чей единственный козырь – молодость, недолговечное преимущество. Не таких глупышек обламывал он, особенно, если они были на примете у Алеши.

Он удивился силе своего побуждения и устыдился грубости его толкования. Но мало ли, что в голову придет! В конце концов, с шальных мыслей еще никто налогов не взимал.

Подали еду, разлили вино и, как полагается, первый тост подняли за встречу. Правда, молодая только пригубила напиток. «Беременная, что ли?» – с непонятной самому злостью предположил Данакай. Да и в еде она ковырялась без охоты. Зато поговорить – это было по ее части:

– Вы себе не представляете, как мы обрадовались, когда, наконец, Наездник позвонил. Мы узнали его номер телефона, перезвонили, ну чтобы он свои деньги не тратил, и целый час проболтали.

– Денег у него больше, чем мозгов! – недовольно буркнул Данакай.

– Нара имела ввиду, что парень звонил не из дому, – мягко заметил Алеша. – Знаешь, все-таки в чужом городе…

– Так и сидел бы дома! Можно подумать, на заработки поехал! – вырвалось у Данакая.

Он не собирался со счастливой парочкой обсуждать сына больше чем надо.

– Мышелов расстроился, что дружок, сорвавшись с цепи, поехал не к нему. Сказал: «Я бы ему дал политическое убежище!» – Нара опять предъявила свой золотой запас, мол, с ее позиции взрослой замужней женщины забавны, ну и трогательны, наверное, подростковые притязания на серьезные заявления.

– Можно подумать, его кто-то притесняет! – небрежно обронил Данакай. – Просто – настали каникулы, ему нечем

было заняться, у его же приятеля как раз в Одессе невеста учится…

– Вот и Мышелов говорит: «у того там – телка, а у Наездника – кто?»

Данакай с трудом припомнил, что Мышелов – это кличка племянника Алеши, того самого, который якобы души не чает в его сыне. Положим, и не чает, но отчего-то Герг предпочел Москве Одессу и паренька, который без его спонсорства и кувыркнуться со своей подружкой не может. В качестве большого кошелька студент возит с собой сына Данакая. Вот в чем корень его дружбы с сопляком: того щедро снабжают денежками. Хотя и не так щедро, должно быть, как Крысолова, или как там? Мышелова! Назвался бы сразу Котом, что ли?

– Недоумок мой за друзей голову положит, не пожалеет.

– Ой, это правда! – оживленно подхватила Нара. – Леша, расскажи, как он Мышелова от местных хулиганов отбил! Они с ножами были. Наездник, правда, каратэ занимается. Но нож, все равно, нож, правда же?

– Правда, – с непроницаемым лицом подтвердил Данакай, а про себя прикинул: какого черта сын выносил отцовские насмешки, клянча деньги на занятия в секции по плаванию. «Вырос у моря – и тебя за деньги надо учить, да? Как в воде держаться учить?» Какого черта плавание приплел, если занимался каратэ? Разве отец не дал бы добро на такой мужественный вид спорта? Из-за матери помалкивал? Уж она точно закудахтала бы – покалечат, мол, мальчика. Наседка бестолковая!

Друг, слава богу, не стал распространяться насчет великих подвигов беглого сына Данакая, очевидно, полагал, что тот в курсе событий, и предложил жене, точно отвлекая маленького ребенка от взрослых разговоров:

– Хочешь, сладкого?

– Да, пирожное «наполеон» и десерт со взбитыми сливками! И забудем на минутку о фигуре!

– Только на минутку! – сказал неожиданно Данакай. – На дольше о такой фигуре невозможно забыть… мужу.

Нара смутилась. Наконец-то! И низко наклонила голову. Теперь Данакай видел лишь прямой пробор густых волос, ниспадающих вниз тяжелыми прядями, как грива вороной кобылки.

Алеша жестом подозвал официанта и сделал заказ, а потом, будто ненароком коснулся руки жены и она, подняв голову, доверчиво глянула на него и сказала:

– Расскажи, Леша, как ты хотел стать наездником.

– Но у меня никогда не получилось бы так хорошо, как у Данакая. – Сказал он. – По правде говоря, я побаивался коней. Любовался ими до одурения, но сократить меж нами расстояние – это было совсем другое!

– А помнишь Жеребца? – спросил Данакай.

– Того, гнедого, на котором ты первый приз на майских скачках сорвал? – оживился Алеша. – Ты себе не представляешь, – сказал он жене – как мое сердце летело за кумачовой рубахой Данакая. До сих пор удивляюсь, почему оно не выпрыгнуло из груди и не покатилось мячиком ему вослед.

– И достался бы тебе бессердечный муж! – сказал Данакай, стараясь поймать ее взгляд.

Но Нара смотрела на мужа. Данакаю оставалось только наблюдать за ее тупоносым профилем и за тем, как она выгибала высокую шею и немножко выпячивала подбородок, словно подставляясь под взгляд мужа, как под «зрачок» фотоаппарата.

– Ты же знаешь, у нас мальчишки-наездники в красных рубахах и красных повязках на голове выступают. – Сказал жене Алеша.

– Конечно, знаю! – подтвердила она, покосившись на Данакая, а потом и вовсе обернулась к нему и проговорила, откровенничая: – Мне Леша рассказывал, как он однажды набил себе шишку из-за Вас. Нарочно стукнулся о ствол дерева, когда Вас там кто-то чуть не обогнал перед самым финишем. И зря. Вы пришли первым. И стали чемпионом.

– Да, чемпионом местного значения! – усмехнулся он. – Не думаю, что вашего мужа так уж занимали районные или областные скачки.

– Меня занимали и деревенские скачки! – вставил Алеша.

Но Данакай отмахнулся от него, сказал молодице веско, будто глаза ей открывая на сокровенное:

– Алешу занимали только книжки. Сколько он мне за лето пересказал их, не счесть. Я-то и в учебники не слишком заглядывал.

– Наговаривает на себя! – опять вмешался в разговор Алеша.

Лицо у него раскраснелось. Похоже, вино, которое они пили, перемежая воспоминания не слишком цветистыми, но прочувствованными тостами – «за нашу землю», «за тех, кого мы потеряли» и так далее – давало о себе знать.

– Попросту у меня руки до книг не доходили.

– Зато до коней доходили! – сострила Нара. – А сейчас вы ездите на них?

– Сейчас я езжу на «Ауди». Сколько в «Ауди» лошадиных сил, Алеша?

– Не знаю, честное слово. И никогда лошадиная сила под капотом меня не интересовала. Другое дело, сами лошади. Помнишь, у Юрия Лакербай: «Придержи, шофер, придержи, Я хочу проиграть жеребенку. Ради тихой абхазской струны, Ради славных имен на кинжале, Ради прошлого этой страны, Где всегда лошадей уважали!» Скажи, сегодня ты свое «Ауди» придержал бы, чтобы жеребец, о котором ты вспоминал, первым пришел к финишу?

Испытывая неловкость из-за неуместности рифмованных выступлений Алеши – все под свою юную простушку жену подделывается? – из-за затянувшегося разговора о деревенских развлечениях – подчеркивается, что призы на скачках брал, а не бегал по корту с ракеткой?! – Данакай против воли проговорил резковато:

– Слушай, я имел ввиду, упомянув Жеребца, вовсе не коня, ни гнедого, не вороного, ни чалого. А человека! Ты

что начисто забыл о Родионе? Кличка у него такая была – Жеребец?

– Почему забыл? Я каждое лето с ним встречаюсь! Его старший сын такой же сумасшедший лошадник, как и он. А дочка любит в доктора играть. Все заказывает мне детские аптечки, она еще со мной консультируется, как ей кукол лечить.

– Хоть дочка у него удалась! – сказал на это Данакай и глянул на часы.

– Уже пора? – с искренним сожалением спросила Нара.

И он неожиданно остро почувствовал желание утешить ее, сказав, что еще уйма времени. И у него. И у нее. У них вместе.

– Да, пора собираться, – признался он виновато.

– Алеша, во имя нашей дружбы, прошу тебя, позволь оплатить счет.

– Дома, – сказал Алеша. – Вот приедем домой, плати, сколько хочешь, хоть с утра до ночи. А здесь и не проси.

– Вы же у нас в гостях! – не осталась в стороне и Нара.

– Мой мудрый с детства друг, – он кивнул на Алешу, – уверял еще давным-давно, что мы все в этом мире в гостях. Вас и на свете тогда не было. Так что здесь мы – на равных, и за угощение плачу я.

Но, разумеется, счет оплатил Алеша. Зато ритуал был соблюден.

На причале Данакай задерживаться не стал. Наскоро обнялся с другом, подержал в своих ладонях длинные пальцы Нары с узким ободком обручального кольца на безымянном, и поднялся по сходням на теплоход. Затылком он чувствовал сияющий взгляд молодой жены друга. Хотелось бы знать, так ли неисчерпаемы запасы ее благожелательности, или это муж внушил ей некую легенду о друге, или вообще о великой мужской дружбе? Без всякого основания на то, между прочим. Хотя, какое основание требуется сказителю, кроме собственного желания населять мир по своему усмотрению?

Теплоход все не отчаливал. Алеша с женой топтались на берегу, несмотря на то, что Данакай знаками показывал им, чтобы они уходили, не дожидаясь отплытия теплохода. Их непременное желание достоять до отхода дурацкой посудины, раздражало его, как и то, что теперь они держались за руки – не протиснешься меж ними. Хотя, если взяться умело за дело… Наконец проклятущий теплоход лениво отчалил. Нара отлипла от мужа, приставила ладони рупором ко рту и крикнула: «Дому – привет!» Данакай поднял руки над головой и, крепко их сцепив, отсалютовал провожающим. Он оперся о поручни с чувством огромной, необоснованной потери и возникшей из-за этого внутри пустоты. А ведь ничего необратимого не случилось! Не случилось ведь! Из-за Герга, если дело обстоит именно так, как обстоит, незачем с ума сходить. Всего лишь – взбрыкивание необъезженного жеребенка – наследничка, а не что-нибудь похуже, как он опасался. И кто Герга нарек Наездником? На ком и на чем он ездит? Не на отце во всяком случае! Здесь, где сядешь, там и слезешь. Доберется до сынка Данакай, устроит ему показательный урок. Для острастки. И за свою бесплодную поездку в Новороссийск добавит, внесет в отдельную платежку!

– Зачем на волны смотришь? Мутить тебя начнет!

Возле Данакая остановился плечистый парень с обветренным лицом, одетый по – молодежному броско, но во все чистое, новое. Данакай недружелюбно глянул на него, не одобряя бесцеремонного обращения, нашел тоже себе сверстника! Тот, нимало не смутившись, непринужденно предложил:

– А не спуститься ли нам в каюту? Перекинулись бы в картишки. Раз времени хоть завались.

Шулер, сообразил Данакай и разозлился:

– Я, что, на длинноухого похож?!

– Откуда мне знать! – пожал плечами парень. – Во всяком случае, на лбу не написано – ума – палата!

– Язык! – сдерживая нахлынувшее бешенство, рыкнул Данакай. – Укорочу!

– Обознался, извини, босс…

Парень ухмыльнулся и валкой походкой пошел прочь, всем своим видом подчеркивая, что не из чего было шум поднимать.

Данакай вновь засмотрелся на морское поле, вспарываемое, точно плугом, носом судна. Он услышал, как парень громогласно – возможно, ему назло – приглашал кого-то в картишки перекинуться, убить время.

Убить время…

…Он рванул дверь в подъезд, ринулся вверх по лестнице и надолго утопил палец на кнопке звонка, нарочно не воспользовался своим ключом.

Жена открыла быстро, улыбаясь во весь рот.

– Дан?

– А ты кого ждала? Вождя всех времен и народов?

Она все топталась перед ним, но он увидел в открытую дверь на кухню сына. Тот сидел в махровом купальном халате с капюшоном и потягивал кофе – прямо как в кино, засранец чертов!

Оттолкнув жену, Данакай ворвался на кухню:

– Бродяга! Сволочь! Убью!

Он схватил со стола кухонный нож, сын вскочил с места, а жена повисла на руке Данакая всей толстозадой тяжестью и заверещала:

– Данико, успокойся, умоляю, Дан…

Сын насмешливо фыркнул, тем не менее, метнулся в сторону, благо размеры кухни позволяли, и проскочил мимо отца. Правда, тому удалось ухватить сына за рукав, но парень выскользнул из халата, отбросив его, как ящерица – хвост, и удачным маневром достиг кухонной двери. Задержавшись в проеме, он одарил отца совершенно бесстрашным взглядом. Под халатом у парня обнаружились спортивные шта-

ны и черная футболка с изображением красного дракона на груди. Взгляд наглый и одежка вызывающая! А как медлил в проеме двери – испытывал терпение отца. Или прочность материнских рук? Только, когда возопила Ламара: «Гурик, далеко не уходи Гурик!» он, пожав плечами, отступил в коридор.

Затем громко хлопнула входная дверь и Ламара опять заголосила:

– Гу-у-урик!

Так она называла сына. Мужа – Дан. Сына – Гурик. Не имена, собачьи клички какие-то. Данакая передернуло от омерзения, будто впервые услышал, как она их окликает. Стоило хлопнуть входной двери, как Ламара разжала руки, обмякнув, прислонилась к стене, а он отшвырнул в угол нож, и рухнул на первый попавшийся стул.

– Испугал, мальчика испугал, до смерти, – выдавила из себя жена, борясь с нахлынувшими слезами.

Испугаешь его, как же! Да и кого в нынешнее время на испуг возьмешь?! Куда проще на мушку! Но растолковывать это жене не стал – все равно, что толочь воду в ступе. Бесполезно объяснять и то, что, если не задашь сейчас сыну трепки, то он напрочь перестанет считаться с родителями. «Раз проглотили обиду, и второй раз не подавятся!» – решит стервец, и окажется прав. Начни только обиды глотать – не остановишься.

Жена отвернулась, уперлась лбом о стену, будто слезы пряча, а лила их напоказ, по его разумению.

– Не затопи кухню! – буркнул он, тяжело поднимаясь на ноги. – Соседей зальешь!

– Ты – куда? – спросила она сырым голосом.

– На работу, куда же еще?!

– Но ты же устал, с дороги…

– Я всегда с дороги. С большой!

– Хотя бы поел!

– Сыт по горло!

– Сорочку смени на свежую и носки…

Она, изменив обычной своей медлительности, засуетилась вокруг Данакая. Со свежим бельем он скрылся от нее в ванной и долго не выходил из-под душа, злорадно прикидывая про себя, как его жена, бесцельно бродит по комнатам, попутно что-то вяло прибирая, в ожидании, когда он, наконец, уберется восвояси, и она сможет позвать в дом дорогое чадо. Ламара наверняка знает, где сын отсиживается. До приезда отца они, безусловно, успели договориться о явках и паролях, не только ведь кофе распивали.

– В следующий раз во спасение твоего сыночка и шага не сделаю! – пообещал он, покидая квартиру.

Она жалобно заблеяла, не столько упрекая, сколько напоминая вроде – а то забудешь, как же!

– Он и твой сын.

Медленно, точно опасаясь всколыхнуть в себе боль, Данакай спустился по лестнице и, выйдя из подъезда, направился к гаражу. Дверь гаража была распахнута настежь. Этого только и не хватало – угона машины! Он ускорил шаги, но, войдя в полутемное помещение, обнаружил «Ауди» на месте. Привалившись к дверце машины со стороны водительского места, стоял сын и, дергая себя за мочку правого уха – он всегда так поступал, когда не давалось решение задачки – о чем-то сосредоточенно думал.

– Вот, где ты отсиживаешься! – сказал Данакай, интонацией давая понять, что гнев его поутих.

– Не отсиживаюсь, тебя дожидаюсь!

– Дождался и что скажешь себе в оправдание?

Мальчик отошел от автомобиля, точно вежливо предлагая отцу занять привычное место, и прислонился к стене гаража, закусив нижнюю по-детски еще припухлую губу.

Открывая дверцу машины, Данакай оказался в опасной близости с сыном. Он пристально посмотрел на него, Георгий против ожидания своих глаз виновато не отвел и не напрягся в ожиданий тумака. Собственно, чего ему было напрягаться, если Данакай еще ни разу в жизни не поднял на него руку? Но ведь и сын таких коленец раньше не выкидывал!

– Чего же молчишь? – спросил Данакай, усаживаясь на сиденье. – Попросил бы, так я сам купил бы тебе билет в Одессу, Трапезунд или куда еще! А Новороссийск какого черта приплел?

– Я хотел, чтобы ты на своего друга посмотрел. На Алешу…

– Зачем мне на него смотреть? Он, что, пугало?

Гнева Данакай не ощущал. И любопытства тоже. Только какое-то сосущее чувство, как от голода. А, может, и вправду голоден?

– Сам знаешь зачем!

– Я знаю одно: с сыном мне не подфартило! Иди отсюда! К матери иди! Хотя бы с ней посчитался! Чуть до разрыва сердца не довел! Не вздумай только вымучивать из себя извинения, какой мне толк в них?

– А от меня какой толк?

Намеревался, очевидно, надерзить, вышло же щенячье жалобное повизгивание.

– Никакого!

– Так зачем же ты на меня время тратил по чужим городам ездил?

– Сам не знаю! Дай выехать из гаража!

Георгий пошел к выходу, остановился в светлом проеме, повернул к отцу темноволосую всклокоченную голову и проговорил:

– Молодую жену друга видел? Не захотелось и ее увести, как у тебя заведено?!

И не давая опомниться отцу, скрылся с глаз.

Данакай подумал, что сам он ничем не обидел своего старика до самой его смерти. Ведь прекрасно осознавал и недалекость отца и то, что тот прожил жизнь спустя рукава – не нажил ни добра, ни имени, но не обидел! Интересно, чтобы запели сынок и патентованная зануда жена, выбрось он их из своей жизни? Высохли бы тогда денежные ручьи, омывающие семейку, и при жесточайшей жажде немного бы мальчишка накуролесил, а его мамаша навеки прикусила бы

язык, сожалея о своих бездумных откровениях. Вот уж корова так корова.

Данакай повернул ключ зажигания и выехал из гаража. Сына не было видно, наверняка уже засел на кухне с матерью и она напихивает его едой – изголодался, мол, бедняжка в тяжких мытарствах.

Подъезжая к зданию, где располагался офис, Данакай загадал, что если он первой увидит Тину, то неурядицам пришел конец. С этой женщиной его ничто не связывало, просто работали в одном здании. Но, если, придя на работу, он раньше всех встречал Тину, целый день все складывалось как нельзя лучше. Так он, во всяком случае, примечал. Но встретил его у входа шакал Банджо. Имя Банджо не было прозвищем, как можно было предположить, оно значилось в паспорте. В глухой деревушке, где помощник Данакая родился и куда его теперь и калачом не заманишь, ни сном, ни духом не ведали, что банджо – название заморского музыкального инструмента, приняли за звучное имя. В ту пору телевизоры, открывающие людям глаза на мир, не имели столь широкого распространения, как нынче. А шакал – это да, было полноценным прозвищем помощника Данакая. Заслуженным!

– Уже и не рассчитывал тебя сегодня увидеть! – обрадовано оскалился Банджо.

– Соскучился?! – хмыкнул Данакай и. обойдя помощника, пошел по коридору к своему кабинету.

– Все прикидывал, придешь завтра или нет, – уточнил невозмутимый помощник, следуя за ним по пятам.

Так гуськом и вошли в кабинет. Данакай молча прошел к своему столу, сел. Банджо устроился напротив в кресле для посетителей, заложил ногу за ногу.

– Знаю, парень уже дома, – бодро заговорил он. – Мы тут чуть с ума не сошли от беспокойства. А пацан, оказывается, просто поехал развеяться…

– Да, ветер еще гуляет в голове, – небрежно сказал Данакай, давая понять, что тема исчерпана и вовсе его не занимает.

Но шакал Банджо намека не понял или не захотел понять:

– Главное, не случилось того, что мы опасались…

– А мы чего-то опасались?

– Ну знаешь, Данакай, сейчас время такое, всего приходится опасаться…

– Разве что… Ты лучше расскажи, что новенького у нас?

– Сегодня, наконец, состыковался с Кацанба.

Два месяца у Кацанба не находилось времени на встречу, а стоило Данакаю отлучиться…

– Как он поживает?

– От души! Как всегда!

– Чем тебя потешил?

–У него одна потеха: оставить других разутыми, раздетыми…

– Намеревается на этот раз нас разуть. Туда ведешь?

– Не я веду, он ведет. Знает, собачий помет, нам без него цеха не расширить, и новое оборудование в отцовском подворье не закопано!

– Он все знает, а ты – ничего? Лучше бы ты до сих пор на задворках отчего двора хлев вычищал!

– Что я могу? – Обиделся Банджо. – Нам-то без него не раздышаться, а он и так дышит полной грудью.

– Ты пошел навстречу, чтобы поведать о недостатке кислорода, или для чего-нибудь другого?

– Да на что ему я сдался со своими разговорами? Все, что ему надо, он итак знает.

– А как же! Он – человек осведомленный! – согласился Данакай. – Кто осведомлен, тот и вооружен.

– Кацанба сказал, что на той неделе лично встретится с тобой, если условия устроят нас.

– Если не устроят?

– Решение – за тобой.

Это он так льстил Данакаю. По своему разумению.

– Если решение только за мной, то смотри, чтобы ты своих процентов не потерял.

– Какие такие проценты? – вскочил на ноги шакал Банджо.

– Те самые, что за моей спиной выторговал!

Он тоже поднялся с места и направился к двери.

– Не ожидал от тебя такого недоверия, – сказал ему в спину верный, якобы, друг.

Он вышел, не оглядываясь. В коридоре догнал Банджо.

– Данакай, не слушай того, кто про проценты нашептал! Кому-то понадобилось клин вбить между нами! Вот и все!

– Я так и подумал! Не принимай близко к сердцу! Собери на завтра к восьми утра наших!

Сейчас он уже не сомневался, что Кацанба сторговался с Банджо.

– Соберу! – с готовностью сказал Банджо и замедлил шаги, отстал наконец.

У самого выхода Данакай столкнулся с Тиной. Она приветливо поздоровалась, да только это уже не имело значения.

Он некоторое время сидел в машине, собираясь с мыслями, но как только завел двигатель и выехал на проспект, набрал такую скорость, будто куда-то опаздывал или нарочно дразнил гаишников. Иногда и такой кураж – подразнить гаишников! – находил на него. Но сейчас не время для куража да и спешить незачем. У Нателлы сегодня выходной. Это раньше, когда от курортников не было отбою, уже с ранней весны она продыху не знала, все водила экскурсии, заученно восхищаясь на немецком языке красотами и древними развалинами родного края. Теперь с курортниками – напряг. Да и в университете у девушки немного пар, а с частными учениками и вовсе плохо, все помешались на английском языке. Хорошо у нее только с Данакаем.

– Ты?– удивилась Нателла, открыв дверь. – Откуда?

– С неба свалился!

– Нет, ты правду скажи!

– Сел в машину и приехал! Какая еще правда нужна?

– Машину у подъезда оставил?

– На лестничную площадку завел!

– Ты шутишь! А соседи что подумают? Увидят твою машину и…

– Иначе они ни о чем не догадываются?

– Но зачем глаза людям мозолить?

Данакай крепко сжал ее плечи, наклонившись, потерся щекой о ее упругую щеку и с непонятной досадой вдруг подумал, что с некоторых пор эту девушку никогда не застанешь врасплох – всегда она свежа, нарядна и здорова. Можно подумать, здесь поставлен надежный заслон недомоганиям, неурядицам, малым и большим заботам, раздирающим других людей. Разве что он своим появлениям без предупреждения пробивает брешь. И, очевидно, латая брешь, она даже не заикнулась о сыне Данакая, неужто не наслышана о деле, из-за которого он столько времени балансировал над бездной отчаяния? Наверняка, о том город гудел, слухи в таких случаях расползаются как жижа из лопнувшей трубы. И только одна Нателла ни о чем таком не ведает? Или все-таки удалось Данакаю удержать нежелательную информацию в достаточно узких рамках? Это означало, что делом сына занимались только верные люди, умеющие держать язык за зубами. Выходит, он правильно рассчитал, кому можно довериться?! Данакай немного приободрился, и даже предположил, не исключено, что и насчет сделок Банджо погорячился. Хотя чутье подсказывало: здесь что-то не так… «А где было твое чутье, когда ты разве что бродячих собак не подозревал в похищении сына?» – спросил он себя.

– Ты, что, обиделся? – отстранившись, настороженно посмотрела на него Нателла.

– Есть на что обижаться?

Она прислонилась лицом к его груди, предоставляя вдыхать аромат зеленых яблок, которыми пахли ее коротко стриженные густые волосы.

– Поедем за город! – предложил он не с того ни с сего.

– Что-то мы рано открываем сезон поездок на заброшенные пляжи! Ты хоть помнишь, какой месяц на дворе? – спросила она, щекоча его своим дыханием.

В лицо смотреть Нателла почему-то избегала. Может, все-таки кое-что дошло до нее о выходке Герга, и она недовольна, что он с ней не связался, о нешуточной своей проблеме не рассказал, не посчитал ее достаточно близким человеком, чтобы он мог на ее сочувствие рассчитывать?

– Моя работа не зависит от сезона, зачем мне помнить? – шутливо сказал он.

– Апрель только проклюнулся! В море сейчас даже приезжие не заходят.

– Очень хорошо! Значит, никто не помешает!

– Можно подумать, курортники – нам помеха! И вообще что нам делать за городом? – Она, наконец, подняла на него глаза. Смотрела Нателла не с обидой, а с непривычным для него упрямством.

– Нам помеха – местные, понимаю! Боишься показаться со мной на людях?

– Это для кого-то новость? Тебе – хорошо, ты – мужчина!

– Убей меня за это, пристрели!

Он повернулся к дверям, но Нателла не дала уйти, живо заступила дорогу.

– Погоди, я только переоденусь! Как мне одеться?

– Под настроение!

– Нет, лучше – в новое!

С тем она и ушла в спальню переодеваться, а Данакай прислонился в передней к стене, прикрыл глаза и подумал, что зря сегодня он появился здесь. И уж совсем ни к чему было затевать поездку за город! Что его гонит? Куда? И Нателле – лишняя нервотрепка, встретится ненароком кто-нибудь из ее дальних родичей потом она целый день будет изводиться, гадая подумал он о них что-то плохое или нет.

– Ну, как тебе?

Он открыл глаза. Нателла вырядилась в костюм – светлое платье – она бы, наверно, определила цвет, как кремовый, женщины любят подобные уточнения, – и пиджак такого же цвета, длинный, чуть ли не вровень с подолом платья.

– Как в кино! – сказал он.

– В хорошем кино?

– В дорогом! Но мне больше по нутру, когда ты…

– Знаю, что тебе больше по нутру, – перебила она и, встав на цыпочки, – ему нравилось, что она ростом невеличка! – обняла за шею и поцеловала в губы.

Он и ожил.

– Послушай, – сказал Данакай уже в машине, косясь на то, как она села в неудобной позе – боком, в надежде, что так труднее будет узнать ее из встречных автомобилей. – Давай, женюсь на тебе!

– Овдовел внезапно?

– Уедем вдвоем, куда глаза глядят.

– Хоть сейчас!

– Родишь мне двоих сыновей и двух дочерей. Людей из них воспитаем!

– Хоть завтра!

– Что «завтра»?

– Рожу!

– Я – серьезно, Нателла!

– Если серьезно, то четверых не обещаю, но двоих – запросто, не завтра, конечно, со временем.

– Договорились?

– Считай, что гербовой печатью закрепили!

– Вижу, развеселил тебя!

– А какие же причины для грусти? Уже представляю себя в свадебном платье, со скромно опущенными долу глазами и нежным румянцем неведения на щеках.

– Особенно хорошо у тебя получится с неведением, – посулил он, хмурясь, и замолчал.

И она притихла. Так в безмолвии они съехали с трассы на узкий не мощеный переулок и, колесами разбрызгивая весенние лужи, добрались до пустынного берега в густой молодой траве. Нателла выскочила из машины с неожиданной резвостью и, неловко расставив руки для равновесия, сбежала с высокого берега к песчаной отмели и, увязая в песке, добралась до прибоя и встала у самой воды, как вко-

панная. А ведь казалось: если он не догонит, не удержит, так и промчится по воде, точно пущенный умелой рукой плоский камешек-«блин». Пока не утонет, конечно, исчерпав инерцию.

Данакай неторопливо вынул из багажника запасное колесо, положил на траву неподалеку от машины, накрыл плотным пледом и, усевшись на него, закурил, наблюдая за одинокой фигурой у воды. Он ждал, когда ей надоест стоять у моря изваянием одиночества. Данакай подумал, что она слишком долго водила иностранцев по достопримечательностям родного края, что-то лепеча по вызубренному путеводителю. Теперь вот и себя вклинивает в какую-то по-книжному воспринятую картинку. Ему картинка не понравилась. Данакай уже взялся за вторую сигарету, когда Нателла, наконец, сменила позу и отправилась назад. Он не поднялся, чтобы помочь ей вскарабкаться на берег.

– Тебе и вправду понравилась моя обновка? – спросила она, останавливаясь напротив.

– Настолько, что готов оплатить!

– Уже оплатил! Ухнула все деньги, что ты на прошлой неделе оставил мне на жизнь.

– Хорошая сделка… Но как свадебный наряд не сгодится, верно?

– Какая еще свадьба? – Она отчего-то испугалась. – Не о чем больше говорить, да?

Нателла прошла мимо него и села в машину.

– Я – всерьез! – сказал он громко.

– Поедем домой, пожалуйста.

– Я и думать не думал, что ты не согласишься выйти за меня замуж! – сказал он, когда они выехали на трассу.

– Я и так при тебе, – проговорила она, прямо глядя перед собой. – Зачем тебе канитель с женитьбой? Сам же предупредил год назад: «Семья – это от Бога. Сюда не вмешивайся».

– Ты еще вспомни, что я тебе говорил десять лет назад!

– Десять лет назад я не слушала недозволенных речей, а зубрила уроки в школе. Между прочим, я на медаль закончила школу, если кто о том не помнит!

– Такой подвиг забвению не подлежит! А вот ты по-моему не ту музыку завела, перепутала, что ли, меня с каким-нибудь балбесом экскурсантом?! Еще стихами заговори. Желательно по-немецки! Я и развешу уши…

– Не развесишь, – сказала Нателла тихо, и в голосе ее послышались слезы. – К сожалению…

Они уже ехали по самой людной улице города. Он приткнул машину к бровке тротуара. Наклонился к ней – поцеловать.

Нателла отпрянула, вжалась в дверь.

– Поцелуй меня!

– Здесь, сейчас?

– Целуешься по расписанию? В определенные часы, в определенном месте?

– У всех на виду?

– Под гул одобрительных аплодисментов!

– Мне надоели твои шутки!

– Я не шучу!

Данакай рывком притянул ее к себе и стал целовать. Какой-то весельчак за рулем проезжающего мимо автомобиля посигналил и прокричал в окно:

– Завидно, да!

Нателла резко высвободилась и враждебно сказала:

– Ты это сделал нарочно! Чтобы все видели! Тебе нечем хвастать, кроме как молодой любовницей?

– Ты, что, кинозвезда, тобой хвастать? – не остался и он в долгу.

Она рванула дверцу машины, чтобы уйти. Данакай удержал ее за локоть. Свободной рукой открыл перчаточник, вынул пачку денег и положил ей на колени со словами: «за доставленные неудобства!»

Данакай понадеялся, что она швырнет их ему в лицо, и тогда он скажет: «Сама видишь, нет у тебя иного выхода, как

выйти за меня замуж. Другие отношения ты переросла!» И все пойдет по другому руслу, желанному.

– Послушай, если бы я точно не знала, что ты не колешься, решила бы – ты под кайфом! – сказала она, осторожно высвобождая локоть. – Таким тебя еще не видела!

– И не увидишь!

– Хорошо бы! Позвони, когда придешь в себя!

Она переложила деньги в сумочку, наморщила нос и на миг зажмурилась, что на заре их любви означало при встрече на людях – «ослепляешь меня, любимый!» – и вышла из машины.

Вслед он не посмотрел. Чтобы не наделать глупостей, не побежать за ней, как какой-нибудь дурной юнец. Полгода, как Нателла уже готовила себе пути к отступлению. Он с каждой встречей это все явственней ощущал. Даже по стоимости вещей, которых она себе выбирала, а Данакай оплачивал, легко можно было определить: цена обратно пропорциональна температуре их отношений. Просто аккуратная девушка Нателла, которая досталась ему вовсе не девушкой – здесь ему не в чем себя упрекнуть, мол, растлил, уравнял с легкомысленными курортницами, лишил возможности устроить свою судьбу! – основательно готовилась к будущему без него. Она была достаточно умна, чтобы понимать: радостью не запасешься впрок. И другое было очевидно: раз в первый сумасшедший год их встреч, когда он придумывал для себя тысячу дел в далеких городах, чтобы таскать девушку повсюду за собой, тем не менее, не удалось окончательно оторвать его от семьи, то на это больше незачем рассчитывать. Значит, остается укрепить свое материальное положение по принципу – с паршивой овцы хоть шерсти клок. В данном случае с Барана. Вот такой расклад! Раз все было столь очевидным, то какого черта он обрушил на нее предложение, которого она уже не ждала? На что рассчитывал? На то, что она от счастья потеряет голову, кинется на шею, захлебываясь слезами радости со словами: «люблю, люблю, люблю», как это ни раз случалось прежде, причем и по пустякам? Он вспомнил, как

она с вызовом, невесть кому адресованном, ведь они были в таких случаях одни, восклицала: «Да, да, да, жажду, просто мечтаю выйти за него замуж, хоть режьте, хоть вешайте!» И впрямь, опасайтесь мечтать – ваши мечты чреваты исполнением. А, может, ей просто надо дать время свыкнуться с новой мыслью?

Данакай завел машину и поехал в бар к Вадику. С барменом его связывало давнее приятельство. Но три недели назад Вадик проиграл ему в карты крупную сумму и… обиделся. Между тем Данакай не позволил себе заметить даже в шутку, мол, незачем без денег садиться играть, не стал допытываться, когда получит законный выигрыш. Правда, не озвучил и того, на что, вероятно, рассчитывал приятель: «Считай, на «интерес» играли», то есть должок прощается по дружбе, пощекотали де нервы друг другу, и ладно. Не будь при этом посторонних людей, Данакай так и сказал бы. Но нельзя же при солидных людях, которые тоже принимали участие в игре, все превращать в детскую забаву. Проигравший просто выглядел бы болваном, у каждой игры, в конце концов, есть свои правила. Да и не в такую уж неподъемную сумму влетел Вадик, чтобы позориться! Тем не менее, при расставании приятель глядел волком.

В полутемном баре было пустовато – это к вечеру набьется народ, да и то, как повезет. Данакай подошел к высокой деревянной стойке, и, нарочно поступая вразрез с дешевым шиком заведения, неумело скопированным из увиденного в зарубежных фильмах, прогудел на деревенский лад:

– Доброй тебе работы, человек доброй наружности!

– Брось! Какая работа? Сглазил ты меня! Ушел фарт! Сплошная невезуха! – пожаловался бармен и потискал руку Данакая в своей широченной ладони.

Такому надо бы баранки многотонных грузовиков крутить, а не тонкие ножки фужеров. Но кто сейчас занят своим делом, скажите?!

– Тебя сглазишь, как же, – усмехнулся Данакай, зная, как охотно Вадик жалуется на неурядицы, чтобы удачу не спуг-

нуть. Он не сомневался, что не только карты, но и жизнь любит слезу.

– Смешай какую-нибудь отраву!

– Давай по рюмочке чистого коньячку пропустим, смеси пусть длинноухие пьют.

– Коньяку так коньяку.

Они выпили по рюмочке.

– Хорошей выдержки! – похвалил выпивку Данакай, чтобы доставить бармену удовольствие, да и потому, что это было именно так.

– Здесь только мне выдержки не достает! – сострил Жора, ткнув друга кулаком в плечо.

Он налил еще по одной. Они молча выпили, точно приезжие. Местные без тостов не обходились, и высокие вертящиеся стулья, и плакаты с полуголыми девицами им не были помехой.

– Везунчик ты, Данакай, – сказал вдруг бармен. – Даже из-за границы приезжают люди на выручку.

– Если я везунчик, зачем меня выручать? – насторожился Данакай.

– Выручают, потому и везунчик! – уверил Вадик и плеснул коньяк в пузатые бокалы. – Давай выпьем за счастливую дорогу Нателлы.

Данакай едва сумел скрыть удивление. С Вадиком он никогда не заговаривал о Нателле ни впрямую, ни намеками.

– Немца этого, говорят, она с первого раза сразила наповал. Особенно своей строгостью. Я не шучу! Это для нас она – Легкий подол! Для них – сама скромность. Сам знаешь, какие у них нравы.

– Обыкновенные! – онемевшими губами проговорил Данакай.

Он не сводил глаз с плескавшейся в бокале жидкости. Спустя секунду сообразил: коньяк плещется оттого, что рука у него дрожит. Данакай выпил и поставил емкость на стойку.

– Обыкновенные – не обыкновенные, но через две недели у них свадьба. Жених ждет ее в Москве, оттуда сразу – нах Берлин. Ты, наверное, и сам знаешь об этом.

– Знаю, – обронил Данакай, – даже свадебный подарок купил.

– На твоем месте, я бы расщедрился и на подарок жениху! Выручил тебя человек! Ты с местной девушкой шашни завел, а сухим вышел из воды. Затей я такое, ее родня уже давно с карабинами за мной бегала бы, мол, «опозорил нашу девочку, так женись». На всех ведь немцев не напасешься!

– Мне пора, – поднялся с места Данакай

– Куда торопишься?! Посиди еще!

– В деревню съездить надо – соврал Данакай – хоть соседей проведаю, раз больше некого.

– Тяжело, когда от близких только могилы остаются, – запечалился вместе с ним бармен. – Ты на машине?

– Само собой. Я уже и забыл, когда пешком ходил.

– Отсюда прямиком в деревню? – осведомился друг, наливая по новой.

– Зачем куда-то еще сворачивать?

– И то верно…Давай, на посошок!

Данакай достал бумажник, чтобы расплатиться

– Сегодня я угощаю, – запротестовал Вадик, но Данакай не дал.

– И то, мне деньги надо копить – долг отдать! – сказал бармен, напряженно улыбаясь.

– Да какие счеты меж приятелями, забудь!

Но и после сказанного напряженная улыбка не сразу сошла с лица бармена, да и смотрел он без благодарности. Может, время ему требовалось, чтобы усвоить счастливую новость, а может, боялся в нее поверить? Еще бы: сумма в общем-то немаленькая, хотя и не столь крупная, чтобы из-за нее ненавистью полыхать. Наверное, когда Данакай вошел в бар, Вадик предположил, что он явился за долгом, потому-то и заговорил о том, о чем не стоило. Из-за злости уколол – мол, любовниц твоих, еще пышущих жаром, выхватывают

из-под тебя. Теперь, наверное, жалеет, что язык не придержал. Но кто же знал, что так дело обернется? В одном Данакай не сомневался – информация про Нателлу была правдивой. Ложные слухи бармен всегда тщательно отсеивал, берег репутацию осведомленного человека, что ему и не так уж редко приносило барыши.

– Ну, Вадик, не скучай! – Данакай пошел к двери.

– Какое там «не скучай», часа через два здесь дышать нечем станет, набьются бездельники!

Выходя из бара, Данакай обернулся. Вадик стоял с телефонной трубкой, но помахал ему свободной рукой. Звонил он, наверное, жене, сообщал: с долгом все улажено. Вадик всеми своими неурядицами делился с женой. В семье именно она была мозговым центром. Друзья, в том числе и Данакай, из-за этого подшучивали над ним. Если тот жаловался, что не знает, как отделаться от очередной опостылевшей подруги, советовали: «Ты у жены спроси, она выход найдет».

Данакай вышел наружу, постоял. «На свадебное платье девушка от меня получила. Не исключено, что останется и на сувенир для жениха!» – сказал он себе, прислушиваясь к тому, как ширится в нем пустота, которую он ощутил еще тогда, когда отчалил от новороссийского берега, оставив на берегу заклятого друга и его юную жену, сияющую глазами, ямочками на щеках, и восторгом неведения. Он рассчитывал, что пустота исчезнет. С учетом, что природа не терпит пустот. Но, наверное, не в его случае! Данакай сел за руль, раздумывал минуту-другую, и поехал в деревню, превращая ложную информацию, навскидку сброшенную на Вадика, в правдивую. Зачем – он не мог бы объяснить. Разве что зайдет к тетке Алеши с приветом от племянника. Тетка жила в усадьбе с тех пор, как не стало стариков. Бывают же счастливчики, у кого всегда в запасе какая-нибудь безмужняя бездетная тетка, которая взваливает на себя заботы об их усадьбе, живности, дедовых могилах… Данакаю же после смерти родителей пришлось продать отцовский дом, некому было за ним смотреть. Его приобрел такой работящий чело-

век, что даже оторопь берет. Ни один кусочек земли у нового хозяина зря не пропадает. На каждом клочке что-то полезное растет, где – лавр, где – овощи, где еще черт знает что…

У выезда из города Данакая остановил инспектор ГАИ, знакомый парень, из дальних родичей Вадика. Данакай с досадой предположил, что инспектор попросит о какой-либо услуге, иначе зачем он стал бы его останавливать? Тот открыл дверцу и сел рядом.

– Как дела, Мераб? – поинтересовался Данакай после взаимных приветствий.

– Хуже некуда! Невозможно стало работать. Хоть обвяжи голову черным платком и отправляйся, куда глаза глядят.

– Проверки замучили? Начальство достает?

Вступление инспектора ему вовсе не понравилось.

– Сказал же – нет жизни. В другое время я бы тебе только рукой помахал бы, а сейчас вынужден проверить, не выпивши ли ты.

– Трезвый я, разве не видишь?

– Я-то вижу, а что прибор покажет?

– Прибор покажет, что мы с твоим родичем пропустили по коньячку, – доверительно сообщил Данакай.

– Вот видишь! Как работать, когда и со своих приходится спрашивать?

– Не проверишь, напарник живьем тебя съесть! А результатов проверки ты, ясное дело, скрыть не можешь! подсказал Данакай.

– Прибору рот не заткнешь!

– А сколько требуется, чтобы рот напарнику заткнуть?!

– Кто знает… люди сейчас балованные.

Данакай рывком вытащил бумажник из заднего кармана брюк и кинул на колени инспектору:

– Здесь всем хватит! Включая и наводчика!

– Не плюнь в колодец, – вскинулся инспектор, – пригодится…

– Не пригодится! Выметайся вон!

– Свихнулся, что ли? Не последний раз видимся…

– Еще одно слово, пристрелю как собаку!

Он сунул руку под сиденье, где – и инспектор это знал – у него был припрятан пистолет.

– Точно бешенный! Вот что делают большие деньги с людьми! – рискнул высказаться инспектор, но из машины выкатился немедленно, впрочем, не забыв прихватить бумажник. Он-то большими деньгами не ворочал, и сорить ими при любых обстоятельствах не намеревался.

– Не пожадничай, делясь с наводчиком! Информация у Вадика всегда проверенная!

С этими словами Данакай круто развернул машину и поехал назад. Инспектор крикнул вслед: «Не трогай Вадика, хуже будет!» Куда уж хуже?!

Выехав на набережную, Данакай бросил машину в начале улицы, даже дверцу за собой захлопнуть не удосужился и скорым шагом пошел по тротуару. Кто-то окликнул его из дверей кофейни, но он не повернул головы. Несколько раз встречные знакомцы приостанавливались, желая поговорить, но он проносился мимо с таким лицом, что никто не решился заступить дорогу. Никто не сказал: «Из-за пустяков с ума сходишь». Пусть их много и набралось пустяков, но кто мешает каждый отсечь, и рассмотреть по отдельности, как рабочий момент? В конце концов, это не камни в горах – сдвинешь один, другой, а потом камнепад не удержишь. «В моем случае так оно и вышло, подумал он, камень за камнем и все по нарастающей». «Пусть каменный дождь прольется над твоим домом» – вспомнилось ему одно из устойчивых проклятий, которого не раз доводилось слышать, когда он жил еще в деревне и месил там грязь.

Набережная улица окончилась. Данакай спустился к морю и двинулся вдоль прибоя, увязая в песке. Туфли и низ брюк намокли. Изрядно запыхавшись, он добрался до старого деревянного причала на отшибе, где обычно собирались рыбаки. Данакай не надеялся здесь встретить знакомых. Никогда не увлекался рыбалкой и не мог понять тех, кто часами сидел с удочкой в ожидании улова, в общем – то ненужного.

Столько терпения и выдержки ради бесполезного дела. Лучше уж бегом заниматься, кровь по жилам разгонять, сердце укреплять. Какая-никакая, а все же польза. Неожиданно для себя Данакай приметил среди рыбаков молодого человека, который проживал с родителями в том же подъезде, что и Нателла. Он не относился к числу тех, кого непременно надо остерегаться – как бы своими разговорами не запятнал чистое имя девушки. Молодой человек был из русской семьи – сын военного. Отца его Данакай знал, правда, не близко. Парень же учился в университете. Если в его семье и сплетничали о Нателле, это мало, что меняло. Мнение чужаков не делало погоды, к тому же через них слухи никак не просочились бы в родительский дом Нателлы. У семьи молодого человека был свой круг знакомых и свое, очевидно, понимание о нравственности, никак не совпадающее с местными канонами. Как и у немцев! Данакай махнул парню рукой, и тот, отделившись от своей компании, пошел к нему. Пока он приближался, Данакай все пытался вспомнить, как его зовут, но так и не вспомнил.

– Здравствуйте, – поздоровался парень.

Если он был и удивлен, то это никак не отразилось на его курносом лице с белесыми бровями и глазами цвета зимнего неба.

– Я слышал, в вашем подъезде квартира продается!

– Так уже купили. Армяне из Сочи. Говорят, через два месяца въедут.

– Это у Нателлы они купили?

– Ну, да! У нас в подъезде никто больше квартиру не продавал.

– А эта квартира точно продана?

– Вроде точно. Если хотите, у мамы спрошу. Она наверняка знает.

– Не стоит, раз уж продана. Скажи, у тебя есть лодка?

– Ну?!

– Можешь одолжить?

– Могу.

– Я тебе задаток оставлю, чтобы ты не беспокоился о ней.

– А чего мне беспокоиться?

– Все равно, возьми!

Данакай сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил завернутую в плотную бумагу и перетянутую резинкой пачку денег – резервные, как он называл. Он давно не чувствовал себя уютно, если не имел при себе крупную сумму денег наличными. Так сердечники не переступают порога дома без лекарства в кармане. Данакай протянул пачку парню.

– Не понял! Вы одалживаете лодку или покупаете?

– Как получится. А где она у тебя?

– Вон, там, с краю, выкрашена в голубой цвет, неделю назад покрасил и новое название дал. Давайте я вас провожу.

Они вместе подошли к лодке. Она называлась «Лариса».

– Раньше как ты ее окликал? – осведомился Данакай, силясь улыбкой подчеркнуть, что вопрос шутливый.

– «Надеждой», – сказал парень и неожиданно покраснел. – А вы надолго выходите в море?

– Хочу на другой берег!

– Но у меня обычная весельная лодка! – впервые не скрыл удивления парень.

– Я вижу.

– Так выпошутили, насчет другого берега?

– Еще не знаю.

– Хотите, я сяду за весла, покатаю Вас?

Но Данакай отказался, вышел в море без него. Напоследок, правда, узнал, как его зовут. Парня окликнули: «Вовка, ты скоро?»

Вовка, Вова, Володя, Владимир… «Владимир миром володей, моим печальным грустным миром», – так однажды в стихах обращалась к Данакаю однокурсница Ламары. Владимиром он стал не для рифмы, а для конспирации, будто бы всем и каждому на обоих факультетах не было известно, что сочинительница пропадала по нему. Но на нее никогда не за-

глядывался Алеша, потому шансов понравиться Данакаю у нее не было. Только бедняжка о том не подозревала, подсовывая Данакаю свои стишки, написанные на вырванных из блокнота листиках с отпечатанными убогими цветочками в верхнем углу. Возможно, он и сам о том не подозревал. Кажется, она в стихотворении сдавала ему свои города, не выстояв, и степи у нее были без волков, а с сайгаками быстрыми, и с чем-то травоядным еще…Смешная была девочка, но не уродина, нет… Без должной гордости девушка, но с открытым сердцем. Не по храбрости открытым, по наивности… Через два года после женитьбы Данакая, она вышла замуж и уехала. Стихи писать бросила и миров со всякими нежизнеспособными существами, надо думать, никому больше не предлагала. Иногда ее показывают по телевизору – ведь она стала известным математиком – как приезжает на родину, так сразу хватают за руку и тащат в студию, гордятся ею, – но Данакай всегда переключает на другую программу. Зачем ему мир, которого он не принял?

СОДЕРЖАНИЕ

Взгляд поверх ворот, выходящих на луг
Роман
7

Бык удачи
Повесть
274

Живая ветвь
Повесть
345

Заклятый друг
Повесть
459

Басария Этери Федоровна

СОБРАНИЕ

В 2-х томах

Том первый

Роман
Повести

Редактор Д.Начкебиа
Художник Р.Габлиа
Верстка Н.Гунба

Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Тираж 500 экз.
Физ. печ.л. 15,9. Усл. печ. л. 26,7.
Заказ №

Отпечатано в ООО «Флер-1»
350058, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2